ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[11] 2003

ПЕТЕР ЭСТЕРХАЗИ: "ИСПРАВЛЕННОЕ ИЗДАНИЕ" (ПРИЛОЖЕНИЕ К РОМАНУ "HARMONIA CAELESTIS") / СТИХИ БАРТОЛО КАТТАФИ И ДЖЕРАРДА РИДИ / РОМАН ДОНА ДЕЛИЛЛО "МАО II" / ИСПАНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ МАНУЭЛЬ РИВАС В РУБРИКЕ "NB" / НАШИ ГОСТИ: ШАНДОР КАНЯДИ

Основан в 1891 году

[11]

2003

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
журнал

5 Петер Эстерхази. *Исправленное издание.* Приложение к роману “Harmonia cælestis”. Перевод с венгерского и послесловие Вячеслава Середы

108 Бартоло Каттафи. *Стихи.* Перевод с итальянского и вступление Евгения Солоновича

113 Дон Делилло. *Мао* II. Роман. Перевод с английского С. Силаковой

160 Джерард Риди. *Стихи.* Перевод с английского и вступление Анатолия Кудрявицкого

№8

165 Мануэль Ривас. *Карандаш плотника.* Роман. *Рассказы.* Перевод с испанского и вступление Н. Богомоловой. *Вместо послесловия.* Мануэль Ривас: из интервью разных лет. Перевод с испанского Н. Богомоловой

Наши гости

268 *Шандор Каняди: “Все другие края для меня – океан; моя суша, моя земля – здесь”.* Вступление и запись беседы Л. Васильевой. Шандор Каняди. *Куплеты о красном трамвае.* Перевод с венгерского Н. Горской

Среди книг

275 Сергей Зенкин. *Меланхолический пророк.* Николай Богомолов. *Русская сторона души*

Курьер “ИЛ” 283

Авторы номера 286

© “Иностранная литература”, 2003

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Журнал основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература". С 1955 года –
"Иностранная литература".

Главный
редактор

А. Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н. А. Богомолова
заведующая отделом критики и публицистики

Л. Н. Васильева
заведующая отделом художественной литературы

Т. А. Ильинская
ответственный секретарь

А. Я. Ливергант
заместитель главного редактора

Общественный
редакционный совет:

С. С. Аверинцев
В. П. Аксенов
С. К. Апт
А. Г. Битов
П. Л. Вайль
М. Л. Гаспаров
Е. Ю. Гениева
А. А. Генис
В. П. Голышев
Т. П. Григорьева
Б. В. Дубин
А. Н. Ермонский
В. В. Ерофеев
Д. В. Затонский
Вяч. Вс. Иванов
В. Б. Иорданский
А. С. Мулярчик
Д. Б. Рюриков
М. Л. Салганик
Е. М. Солонович
П. М. Топер
Н. Л. Трауберг
М. А. Федотов
Б. Н. Хлебников
Г. Ш. Чхартишвили

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Редакция :

О. Г. Басинская
С. М. Гандлевский
Т. Я. Казавчинская
И. В. Кивель
И. И. Кузнецова
А. Е. Соколинская
К. Я. Старосельская
Л. Г. Харлап

Журнал выходит при финансовой поддержке
Министерства культуры РФ и Министерства печати РФ.

Ежегодные литературные премии журнала
спонсирует МДМ Банк (Московский деловой мир).

"ИЛ" В 2004 ГОДУ

"Согласно Душеньке" – последний роман знаменитой английской писательницы БЕРИЛ БЕЙНБРИДЖ, воссоздающий на основе подлинных документов эпохи и силой авторского воображения историю любви великого человека своего времени Сэмюэля Джонсона.

"Шкура" – одно из самых ярких произведений о Второй мировой войне, в центре повествования – события, связанные с высадкой в 1943 году союзных войск в Неаполе, свидетелем и участником которых был автор, итальянский писатель КУРЦИО МАЛАПАРТЕ.

"Железо, ржавое железо" английского писателя ЭНТОНИ БЁРДЖЕССА, автора знаменитого "Заводного апельсина", – роман об истории двух семей, переживающих бурные и трагические события первой половины XX века.

"О времени и о реке" – фрагменты романа-эпопеи классика американской литературы ТОМАСА ВУЛФА, трагическая история любви и дружбы, разворачивающаяся на фоне широкой панорамы европейской и американской жизни 20-х годов прошлого века.

"Белая крепость" – историческое повествование известнейшего турецкого писателя ОРХАНА ПАМУКА о судьбе молодого итальянца, попавшего в плен к туркам и встретившего там своего двойника.

"Bambini di Praga 1947" и **"Кафе "Мир""** – гротескные, иронические, почти сюрреалистические истории молодого БОГУМИЛА ГРАБАЛА, ярко запечатлевшие атмосферу чешских городков и деревень 40-х годов XX столетия.

"Крашеные губки" – роман аргентинского писателя Мануэля Пуига о жизни захолустного городка 30–40-х годов XX века, воссозданной в поэтике танго, любовного романа и романа-фельетона.

Две повести известного американского писателя ДЖИМА ГАРРИСОНА **"Гей, на Запад!"** (забавные столкновения с сегодняшней цивилизацией индейца-лесовика, попавшего в Голливуд) и **"Я забыл поехать в Испанию"** (ироническая и грустная история немолодого писателя, бросающего обременительную профессию, чтобы осуществить юношескую мечту).

"Как я стал идиотом" – роман двадцатилетнего французского писателя МАРТЕНА ПАЖА о молодом человеке, мечтавшем быть "как все".

"Словарь имен собственных" – эпатажный роман молодой, но уже успевшей прославиться бельгийки АМЕЛИ НОТОМБ.

"Мерседес-бенц" – остроумный и увлекательный роман-монолог ведущего польского прозаика ПАВЛА ХЮЛЛЕ, калейдоскоп удивительных историй, поведанных мужчиной женщине за рулем учебного автомобиля.

"Ведь мы – другие. История Феликса С." – дебют молодой немецкой писательницы ЯНЫ СИМОН. Роман посвящен проблемам тридцатилетних, переживших объединение Германии.

Специальный номер, на страницах которого будут представлены произведения американских авторов, удостоенные – уже в XXI веке – престижных литературных премий.

"Страсти по Эвите" – документальный роман аргентинца АБЕЛЯ ПОССЕ, воссоздающий одну из самых поразительных биографий XX века – историю жизни легендарной Эвы Перон.

"Дали глазами Аманды" – главы из книги известной певицы, актрисы, художницы АМАНДЫ ЛИР, которая долгие годы входила в круг самых близких друзей Сальвадора Дали и в своих воспоминаниях воссоздает многие малоизвестные эпизоды жизни великого художника.

"Осада храма Рождества Христова" – фрагменты из документальной книги итальянских журналистов ДЖУЗЕППЕ БОНАВОЛОНТЫ и МАРКА ИННАРО, которые стали свидетелями и участниками событий, развернувшихся в Вифлееме в апреле 2002 г.

"Герман Гессе" – книга уже известной читателям "ИЛ" немецкой исследовательницы ЛАХАНН БИРГИТ, посвященная жизни великого писателя.

"Крик горгульи" – фрагменты публицистической книги министра иностранных дел ФРАНЦИИ ДОМИНИКА ДЕ ВИЛЬПЕНА, где в остро полемическом ключе поднимаются проблемы отношений между властью и обществом.

Эссеистика: А. МУНЬОСА МОЛИНЫ, Ж. ДЮПЕНА, С. НООТЕБОМА, С. СОНТАГ, Л. ШАШИ, К. МАГРИСА, О. ХАКСЛИ, П. ЛЕВИ, ДЖ. М. КУТЗЕЕ.

Постоянные рубрики журнала: "Документальная проза", "Литературная биография", "Вглубь стихотворения", "Из классики XX века", "Литературное наследие", "ИЛ: истоки и история", "Трибуна переводчика", "Среди книг", "Беседы", "Комментарий", "Курьер ИЛ".

Подписаться на журнал можно во всех отделениях связи.

Подписной индекс "Иностранной литературы" – 70394 в зеленом объединенном каталоге
"Подписка-2004. Пресса России".
Стоимость подписки на один месяц – 95 рублей плюс доставка.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию, могут оформить льготную подписку по адресу:
Пятницкая улица, 41
(м. Третьяковская или м. Новокузнецкая).

Помимо этого в редакции можно приобрести отдельные номера "Иностранной литературы".
Справки по телефону: 953-51-47.

Петер Эстерхази

Исправленное издание

Приложение к роману “Harmonia cælestis”

Перевод с венгерского и послесловие Вячеслава Середы

Предисловие

ПОКА не иссяк материал, надо продолжать, кому бы и чего бы это ни стоило, — эту фразу из романа Миклоша Месея “Фильм” я слышу по радио в тот самый момент (23 января 2000 года, в два часа с небольшим пополудни, минуты я записать забыл), когда после долгой волынки я наконец берусь за перо; мне кажется, будто старый товарищ по ремеслу подбадривает меня и укрепляет мой дух, хотя и испытываю некоторое разочарование от того, что мне самому это не пришло в голову и я нуждаюсь в дружеском понукании.

Сейчас мне пригодилась бы любая помощь, но именно сейчас я одинок, как еще никогда в своей жизни. (Избегать жалости к себе я буду стараться изо всех сил, хотя уже вижу, догадываюсь, что старания эти окажутся тщетными.)

Очень хотелось бы, чтобы эту книгу читали лишь те, кто прочел “Гармонию”. Но, конечно, читатель волен поступать как ему заблагорассудится, что толку мне его умолять? Хотя... очень скоро вы сами увидите: по ходу рассказа, а точнее, по ходу событий я был иногда способен на все что угодно; и “умолять” — это самое меньшее.

Осенью 1999-го я обратился к К. с просьбой помочь ознакомиться с касающимися меня материалами Комитета по хранению исторической

© Esterházy Péter, 2002
© В. Середа. Перевод, послесловие, 2003
Печатается в сокращении. Публикация подготовлена при финансовой поддержке фондов “Венгерская книга” и “Венгерский дом переводчика”. Главы из романа П. Эстерхази “Harmonia cælestis” опубликованы в “ИЛ” (2002, № 10).

документации[1], если таковые имеются, — следили за мной или нет в свое время, прослушивали ли мой телефон; чуть ли не каждый у нас убежден, что половина гэбэ занималась именно им, мне в это не верилось, более того, я был убежден, что мною не занимались вовсе, но все же хотелось удостовериться в этом, и вообще я считал своим, так сказать, гражданско-демократическим долгом внести некую лепту в расчеты с прошлым или, во всяком случае, проявить к нему интерес, ознакомившись с предположительно существующими документами.

К. — отличный специалист, хорошо ориентирующийся в подобного рода делах, уж он-то наверняка подскажет, с какого конца мне начать. Характерно, что я начал с поисков протекции и обходных путей, даже не подумав, что в Комитет можно прийти просто так, потому что для того он и создан, чтобы туда мог прийти всякий желающий. И действительно, из слов К. выяснилось, что если я запрошу искомые документы не как гражданин, пользующийся своим законным правом, а в качестве исследователя "темы", то смогу получить больше материалов.

Что меня интересует? Ничего особенного, просто хочу узнать, есть ли обо мне что-нибудь в архиве бывшей секретной полиции. А возможно, заодно уж взглянуть, нет ли чего о моей семье. Может, отца моего прослушивали. (В свое время К. работал вместе с отцом в блаженной памяти "Budapester Rundschau"[2], и я, начиная роман "Harmonia cælestis", даже собирался "проинтервьюировать" его, но потом отказался от этой затеи. Работая над романом, я немало общался с моими дядюшками и легендарными, фантастическими тетушками, иногда записывал их на магнитофон; эти встречи, разумеется, были потрясающе интересными, но вскоре я понял, вынужден был понять, что валять дурака бесполезно, я хотел сачкануть, откосить от работы, уповая на то, что ее кто-то выполнит за меня. Но все пришлось делать мне самому. Так что, если иметь в виду роман, я не жалел, что этот разговор с К. тогда не состоялся, — может, потом как-нибудь, думал я, когда закончу работу, то с удовольствием пополню свои познания об отце, а пока хватит; сколько можно!)

У меня сохранились заметки, которые я набрасывал, разговаривая по телефону с К. Будто школьник, записывал я, что мне надлежит сделать. Письменно запросить в отделе обслуживания посетителей Комитета исторической документации специальную форму, что-что? специальную форму для научных исследователей. К. дважды повторил мне свои инструкции. Затем, сказал он, Институт истории революции 1956 года напишет в архив отношение. А какую тему мне выбрать? Мою роль в венгерской литературе, начиная с 70-х годов. (Первое предложение звучало, кажется, так: "П. Э. и его эпоха", но я отказался его даже записывать.) Позднее тема моих исследований вроде бы трансформировалась, распространившись и на семью, но точно я уже не припомню... С этой проблемой — вот уж чего со мной не бывало — теперь мне придется сталкиваться постоянно: я должен приспосабливаться к реальности. До этого приспосабливаться нужно было только к словам.

Но все, о чем я рассказываю, занимало меня лишь постольку-поскольку: в то время я заканчивал "Гармонию", как про́клятый вкалывал от зари до

1. Комитет по хранению исторической документации — созданный в 1996 г. специальный архив для хранения документов бывшей службы госбезопасности ВНР (с 1 апреля 2003 г. — Исторический архив венгерских служб безопасности). (*Здесь и далее, кроме специально оговоренных случаев, – прим. перев.*)
2. Издававшийся в Венгрии немецкоязычный пропагандистский еженедельник.

зари. Роман я завершал несколько раз, точнее, мне несколько раз казалось, что он готов и остальное всего лишь формальности, хотя и умом, и по опыту я должен был знать, что так не бывает, формальностей в таком деле не может быть и глупо считать, будто все остальное лишь "дело техники"; пока роман *действительно* не готов, с ним может произойти что угодно, он как граната с выдернутой чекой. Если что-то почти готово, это значит — оно не готово.

На три дня мне пришлось прервать работу, coitus interruptus, но перерыв этот произошел, собственно говоря, ради другого coitus'а (учитывая все воспоследовавшее, стиль этой фразы небезупречен и даже фальшив, да я и сам фальшив — живу, как будто того, о чем предстоит рассказать, нет и в помине). Я отправился в Вену, где мне вручали Государственную премию Австрии. Три дня райской жизни, прекрасный отель, отличные рестораны, легкий променад, торжественная церемония в резиденции федерального канцлера, беззаботное опьянение от успеха. Слушая на церемонии саксофон Деша, я не ощущал даже нетерпения, переживая момент скорее как глубокий спокойный вздох перед последними днями работы. Я не знал, что это последний момент в моей жизни, когда мне дозволено радоваться как ребенку, а радоваться я умею, такой уж характер, в этом деле я суперталантлив, меня этим наградил Всевышний (и глаголал с небес Господь, радуйся, блин, душа! и стало так, во славу дел Твоих, Господи), я не знал, что совсем, совсем скоро все кончится и во мне поселится такой безграничный мрак... впрочем, не безграничный, границы его будут точно совпадать с границами моего тела, — словом, я и подумать не мог, что ощущение легкости на сердце я испытываю в последний раз. И никогда больше не испытаю.

Впервые я закончил "Гармонию" 16 декабря 1999 года и в доказательство серьезности своих намерений нескромно записал в блокноте: *23 часа 7 минут* и добавил: *ГОТОВО!* Большими буквами. В первой части романа оставались еще некоторые проблемы, которыми я намеревался заняться еще летом, но не получилось (время ушло на подготовку речи: я должен был выступать на открытии Франкфуртской книжной ярмарки), однако я не придавал этому значения, полагая, что все это пустяки, технические детали, всего-навсего нужно поменять порядок первых десяти фрагментов, один день спокойной, неспешной работы.

Спокойная, неспешная работа, стоило мне за нее только взяться, вылилась в сущий кошмар. Ибо — несколько упрощая дело — когда упомянутые фрагменты оказались на своих местах (сюда, в самое начало, переместить фразу: "Трудно врать, черт возьми, когда правды не ведаешь", там вставить новую фразу, ну и т. д.) и я взялся за 11-й фрагмент, то выяснилось, что в этом месте должен стоять не 11-й, а, положим, бывший 87-й. 12-й же должен быть не 12-м, а скорее всего 301-м. То есть вся композиция требует пересмотра, для чего нужно составлять тематические перечни, снова все держать в голове, но поскольку это непросто, то потребовался еще и перечень перечней, и самое главное, всю первую книгу романа нужно было осмыслить и переосмыслить, максимально сосредоточившись на материале, к чему я был не готов.

Кое-как я пережил праздники, и началась, наверное, самая напряженная в моей жизни трудовая неделя; я практически не одевался, ел от случая к случаю, перестал бриться, в полночь падал в постель, в семь утра просыпался с таким ощущением, будто лег минуту назад, и тащился к письменному столу, забыв обо всем и вся, ничего, кроме текста, нумера-

ции, композиции, для меня не существовало. Иногда во второй половине дня я ложился минут на пятнадцать, такое со мной бывало и раньше, но теперь эти четверть часа я спал как убитый, трупом (как мой отец, см.: "Гармония", стр. 686[1]).

Духовные, физические и моральные силы мои были на пределе. Быть на пределе — ощущение классное, но внушающее человеку сознание беззащитности. Мне казалось, если кто-нибудь сейчас бросит на меня взгляд, я заплачу. Или врежу ему по морде. Наверное, жить со мной в эти дни было интересно.

Но взбунтовался против этого только Миклош (13 лет). Или других недовольных я просто не замечал. Какой ты отец? Нормальный отец так себя не ведет. А как он себя ведет? тупо спросил я, сидя на кухне. Нормальный отец уделяет внимание своему ребенку, нормальный отец играет с ребенком — со своим родным сыном! — в пинг-понг, нормальный отец совершает с ребенком экскурсии по *окрестным* горам! Но ведь я... Да знаю я, все я знаю, роман! Ну да! Nix ну да. На первом месте должна быть семья! воскликнул он, будто строгая, но утратившая последнюю надежду жена. Я оживился, зная, что на это ответить, и, как провинившийся муж, агрессивно ответил, что ему прекрасно известно, как важна для меня семья, но работа — прежде всего! На что Миклош, все еще в роли оскорбленной жены, выскочил из кухни. Я только пожал плечами, ну и бегайте от меня все, что я могу поделать? Эту мою беспомощность, видимо, понимал и сын; минут через пятнадцать он вернулся за своей пиццей и, уходя — хотя и без слов, да и что тут было сказать? — потрепал меня по плечу, как будто он был благоразумным взрослым, а я — пацаном, ладно, мол, какой есть, такой есть, отныне будем считать, что нормальный отец — это ты.

8 января я закончил, опять записал: *ГОТОВО*, суббота, полдень (минуты на этот раз не указывал), после чего отнес рукопись своей машинистке Гизелле. Мне нетрудно понять Достоевского, влюбившегося в свою секретаршу. Додиктовался, что называется. Гизелла — первая читательница моих романов, так что положение у нее щекотливое, не менее щекотливое, чем мое. Утонченная, образованная дама, Гизелла, хотя и придерживается весьма строгих принципов (во всяком случае, таково мое впечатление), ведет себя безупречно и никогда не злоупотребляет моей беззащитностью (ведь текст, который я ей вручаю, еще дымится, настолько он свеж), за что я ей благодарен безмерно. Гизелла не обижает меня, но и не жалеет; мне, естественно, хочется поскорее выцарапать из нее похвалу (честно говоря, мне хочется, чтобы от моих шедевральных текстов она падала в обморок, а я приводил бы ее в себя, хлопая по щекам, полно, полно, дорогая Гизелла, мне, конечно, понятно, что вас взволновало, но зачем же так, это перебор), я снова и снова пытаюсь дать ей повод для комплимента, ну, похоже, текст вроде бы, более или менее, в общем и целом, в порядке, не так ли? Но Гизелла высказывается только тогда, когда этого хочет она, а не тогда, когда этого хочется мне. Я бы это назвал жесткой деликатностью. Она не любит ненормативную лексику (поскольку, кроме меня, она печатает Надаша, можно представить, как тяжела ее жизнь) и иногда отчитывает меня, и все же это игра, хотя спрашивает она вполне серьезно: зачем, с какой целью, в чем смысл и нужно ли это вообще.

1. Здесь и далее — ссылки на венгерское издание романа "Harmonia cælestis" (Budapest, Magvetö, 2000).

Но все это болтовня, я тяну время, что и ошибка, и глупость, ибо времени у меня нет. Было, да кончилось; для меня теперь существует лишь настоящее время.

На следующий день, 9 января, я валялся с тупой головной болью, но к вечеру все же решил вернуться к роману — "причесать" немного 2-ю книгу; работа казалась мне детской забавой, нужно было просмотреть еще не использованные карточки, вставить в текст то, что можно, и вообще чуток поогладить, похорошить текст. Но организм мой проявил характер и в шесть утра в понедельник был уже на ногах, а в половине седьмого я, еще не одетый, в шлафроке и шерстяных чулках, как какой-нибудь литератор-любитель из английских аристократов, был уже за столом. В субботу, 15-го, я снова встал в шесть утра и в четыре пополудни записал в свой блокнот: *вот теперь ГОТОВО!* — подчеркнув все жирной чертой. Роман действительно был готов. Собрав тетради с рукописью 2-й книги, я помчался к Гизелле, попытался, но тщетно, выудить из нее первые впечатления, а вечером открыл за ужином бутылку шампанского и не помню в который раз посмотрел по ТВ "Криминальное чтиво".

Еще осенью я грезил о том, чтобы, закончив роман, отправиться вместе с женой (моею любушкой) на край света, куда-нибудь, где тепло, на Мальдивские острова, черт знает куда. В конце концов нам выпало это последнее, "черт знает куда", Dichtung und Wahrheit[1], и мы отправились на четыре дня к Балатону, в сиглигетский дом писателей. Все было замечательно. В воскресенье, 23 января, туда, в четверг, 27-го, обратно. Мы гуляли, отсыпались, у меня слегка побаливала поясница (пришлось уделить ей внимание). Перед отъездом в дом творчества, в пятницу вечером, на автоответчике меня ожидало сообщение: звонил М. из Комитета исторической документации, просил с ним связаться. Я позвонил ему уже из Сиглигета, и мы договорились о встрече в пятницу, 28-го, в час дня.

Я пытаюсь восстановить картину этого четверга, в определенном смысле тоже последнего в моей жизни, но получается плохо. Помню, вечером я был на традиционном ужине еженедельника "Элет эш иродалом", которые устраиваются в конце каждого месяца, — собственно, этими встречами редакторов и читателей исчерпывается вся моя регулярная светская жизнь, и, несмотря на работу, усталость, я посещаю их с удовольствием: только здесь я могу ощутить, что страна еще существует, что существуют город, коллеги, друзья и подруги, да и кухня вполне приличная. Так что последний четверг моей прежней жизни закончился весело.

И вообще, мало-помалу мною стало овладевать хорошее настроение, более того — почти счастье, я чувствовал, мне казалось, что книгу мою ожидает удачная судьба. Еще во вторник, 25-го, в день святого Павла, позвонила Ж., сказала, что прочитала рукопись и — ах! ох!.. Я стоял в кабинете директора дома творчества, напротив сидела Р., полгода назад подарившая мне два замечательных редких слова (жарник, колобец), которые помогли мне сделать более достоверными сцены из жизни во время ссылки (*Harmonia cælestis*, стр. 600); Р. сидела за своим столом, деликатно глядя мимо меня, пока я со счастливой, если не идиотской, улыбкой слушал, без преувеличения можно сказать, растроганный голос Ж., слушал, насколько очаровал ее мой роман и насколько очаровал ее мой отец. Единственной неподдельной радостью, которую

1. Поэзия и правда (*нем.*); название автобиографии И. В. Гёте.

мне доставил роман, было восторженное отношение Ж. и, пожалуй, еще одного человека – директора издательства Г., потому что все остальное, все добрые слова о моей работе утонули во мраке, который накрыл меня на следующий день, 28 января, в этом мраке я с тех пор и живу и теперь уже буду жить до конца моих дней.

Сразу после 28-го я начал вести нечто вроде дневника, который и публикую ниже. Однако об этом дне записей не осталось, о чем я теперь сожалею, ибо воспользоваться и без того не слишком богатым воображением в данном случае, как вы сами увидите, я не могу. День Карла и Каролины, время восхода и захода солнца нетрудно уточнить, но за то, что оно действительно взошло и зашло в этот день, я ручаюсь (уточнил: 7:16 и 16:38). *13 ч, ул. Этвеша, 7* – записано у меня в ежедневнике, *хлопоты, подавленное настроение,* это об утренних часах того дня. Затем: *13 ч: !!!,* четыре восклицательных знака и: *оцепенение → книжная лавка, Мора, Гёте ½ 8.* Имеется в виду творческий вечер Терезии Мора в Институте Гёте.

Подымаясь по широкой лестнице в кабинет М., я естественным образом и думать не думал ни о чем плохом и все-таки нервничал, ощущал посасывание под ложечкой, как в добрые кадаровские времена. Этот М. до 90-го года, поди, тоже работал в гэбэ, думал я. Он принял меня любезно, если не сказать радушно. Мы пили кофе, важная персона с важной персоной. Вид у него был немного смущенный, что показалось мне перебором: в надменности своей я полагал, что смущение это от снобизма. На столе перед ним лежали три досье в коричневых обложках. Гляди-ка, высокомерно подумал я, работали все же ребята. М. наконец-то приступил к делу, но говорил как-то обиняками: да, запрос мой они получили, но материалов оказалось не густо, к тому же на все, что касается периода после 1980 года, сперва нужно получить разрешение МВД, а это требует времени, так что он приносит свои извинения.

Все эти словеса, произносимые с важным видом, я слушал с некоторым раздражением. Да, еще кое-что – только вы не пугайтесь (я презрительно скривил рот), но он счел своим долгом показать мне... разумеется, меня это не обрадует, но все же... как бы это сказать, да проще всего, если я сам взгляну, и мне сразу будет понятно, о чем идет речь, и он подтолкнул лежавшие перед ним досье в мою сторону. Не знаю уж почему, но в этом едва уловимом движении было что-то пугающее. Это рабочие досье, донесения одного осведомителя, и он тяжко вздохнул, как будто само существование осведомителей было его личной непереносимой болью.

Ну чего тут тянуть резину? Я это не перевариваю – мы же взрослые люди! – неужто нельзя объяснить все по-человечески, подумал я, открывая досье.

И сразу понял, в чем дело.

Поверить в то, что я увидел, было невозможно. Я положил руки на стол, чтобы скрыть дрожь. Казалось, что все это сон. Как теперь быть? Упасть в обморок, и тогда все решится само собой? Или бежать, выпрыгнув через закрытое окно? Я сразу вспомнил о правилах этикета (после этого дня я вспоминал о них многократно), поблагодарил председателя Комитета за доверие, добавив, что хотел бы все это прочесть, на что М. ответил, что он уже ознакомился и не надо пугаться, это не самое худшее из того, что ему доводилось читать. Мне захотелось поскорее исчезнуть, чтобы никто не видел сейчас моего лица. Я шел по проспекту Андраши, смотрел на дома: не рухнули ли они, но дома стояли как ни в чем не бывало.

Эта книга — не детективный роман, поэтому нет нужды и возможности оттягивать до последних страниц выяснение, кто убийца (между тем мне больше всего на свете хотелось бы оттянуть этот жуткий момент): открыв досье, я сразу узнал почерк моего отца.

В этой книге я публикую его агентурные донесения, точнее, те выписки, что я из них сделал, а также мои комментарии, которые возникали, когда я читал документы. Я не хочу (не хотел) подвергать их особому редактированию, хотя понимаю, что все, в том числе и это, должно иметь форму.

Я наблюдал за собой, словно за подопытным кроликом: как я поведу себя в этой ситуации, что буду делать, сталкиваясь с теми или иными вещами, и что будут те или иные вещи производить со мною?

Досье первое

<Выписки из документов и мои непосредственные комментарии к ним (разбросанные по тетрадям и карточкам) были закончены к лету 2000 года, после чего, уже приводя их в некоторый порядок, я еще раз переписал все, добавляя новые комментарии; в основном они относятся к 2001 году и заключены в квадратные скобки []. Теперь, уже в 2002 году, я переписываю все это третий раз, и если появится новый текст, то буду отмечать его такими вот угловыми скобками.>

[Первая запись относится к воскресенью; попробую восстановить, что было со мной в пятницу и субботу. Я шел по проспекту Андраши, затем очумело ввалился в книжную лавку писателей. Не передать, насколько приятно мне было внимание окруживших меня барышень-продавщиц, насколько я был благодарен им (и благодарен сейчас), а ведь они представления не имели, в какой я беде. Кстати, и сам я только тогда осознал, что случившееся — не сон. Мне казалось, что я растворяюсь в воздухе, растекаюсь, что меня уже нет, что со мной может произойти сейчас что угодно, я кого-то убью или вы...бу, мне теперь, озлобленно думал я, все по фигу, я ни за что не в ответе. Последний раз в подобном трусливо-подлючем настрое я пребывал после смерти матери.

Не знаю, от силы ли или от бессилия, но я потащился еще на вечер Терезии Мора. Быть может, из боязни одиночества? Почему не слинял домой? Зачем отправился с коллегами после этого мероприятия еще и ужинать? Был во мне какой-то пьяный кураж: дескать, вот, я и это выдержу. Да вы и не представляете, кто я такой.

В субботу утром я смотрел в Театре комедии репетицию "Одной женщины" по моей книге. В блокноте два слова: *неплохо*, и далее: *оцепенение*. Оцепенение — наверное, это ключевое слово.]

30 января 2000 года, воскресенье

[карандашом, быстрым почерком — наверно, старался поспеть за лихорадочно работающим мозгом]

Чего еще не бывало: мне страшно. Страшно за жизнь. Во мне целая прорва страхов. Самый элементарный — а что если это выплывет на поверхность. Насколько я понял, пока об этом знают трое. Надеюсь, они не будут болтать. Хотя тема для сплетен — лучше не придумаешь. В лю-

бом случае я должен приготовиться ко всему, и этот дневник – тоже подготовка. Не защита, поиски не оправдания, а позиции. Я ищу свое место, свое новое место. Мне нужно определить свое отношение к этому и – к последствиям.

Я не хотел бы, более того, *не желаю* (я говорю это, как ребенок, все еще полагающий, что мир таков, каким он велит ему быть) попадать в ситуацию, когда любой может что-то сказать и мне придется краснеть. Да, мне стыдно, да, я в дерьме, но все равно не хочу, не хочу краснеть.

Хотя что я могу поделать? Я беззащитен. Я слаб. Конечно, нужна некоторая доля подлости: ведь я – это я, а мой отец – это мой отец (правда: *мой* отец), – но отныне любой, любое ничтожество может бросить мне несколько уничижительных слов, и мне нечего будет ответить. До сих пор политическим подонкам было трудно меня достать (выпускник гимназии ордена пиаристов, отец четверых детей, отпрыск чистых и благородных венгерских кровей – так что канайте, ребята, куда подальше, стричь фонтаны, пасти ежей). [Бывало, что этим своим положением я пользовался, не желая переусложнять некоторые примитивные споры. И это, конечно, неправильно: то, о чем я говорю, за что выступаю, должно иметь силу даже будь я комсомольцем, гомосексуалистом, импотентом и вдобавок евреем, даже в этом случае. Или – какой кошмар! – протестантом! Шутка.]

Но это еще не самое страшное, этот страх, если достанет смирения (написав эти слова, я всхрюкнул, и захотелось добавить: хе-хе, какая, однако же, небывалая стилистическая неуверенность проявляется в этом тексте), можно одолеть. Страшнее то, что, вопреки рекомендации поэта, мне не хотелось бы изменять свою жизнь. Но боюсь, она все равно изменится. [Ведь скольких людей, сколько интересов я взбаламучу...]

И еще, пусть не самое важное: мне не хочется жить в тоске, становиться подавленным и затраханным. Ибо есть во мне, как выразился (не без иронии) Месей, некий онтологический оптимизм, с которым я не хочу расставаться. Не хотелось бы отдавать его. Будь я сейчас 25-летним (и будь я не я), то мог бы стать алкоголиком. Или впасть в глухую депрессию. Ибо все это выше моих сил. Для меня это слишком.

Не хочу, не желаю. И становиться серьезнее не хочу. Серьезность и остроту мне всегда приносил язык. Он помогает мне, всегда помогал. О языке, родной речи я говорю всегда, как о матери, и думаю о нем так же, с такой же нежностью. (При слове "мать" мне приходит на ум отец, и вот уже текут слезы. Лучше выражусь так – говорить, что я плачу, не хочется.)

Не хочу, чтобы у меня изменилась "походка". Да, сердце мое тяжело, как латинско-французский словарь Гаффио. (По всей вероятности, до последнего вздоха я буду интертекстуален.) Точнее, не сердце – желудок, точь-в-точь как в "Гармонии": "Наутро, едва я проснулся, мне в глотку вцепился страх. То был не тот страх, с которым я был знаком" (стр. 688). Эти слова я черпал из головы, их диктовало воображение. А теперь вот плетусь по стопам своей книги.

[Еще две записи от того же числа – на обороте верстки романа Катрин Рёгла. Спасибо, Катрин.]

Что касается Господа Бога, то к нему я еще вернусь (как же я буду на него орать, призывая его к ответу), но, с другой стороны, кому-то я все-таки должен быть благодарен за то, что узнал об этом только сейчас, а

не тогда, когда мне было двадцать или, положим, тридцать лет. Я никогда бы не написал свои книги, не написал бы "Производственный роман" или позднее, накануне и в начале 90-х, свои эссе — ничего из того, в чем проявилась моя так называемая раскрепощенность.

Я не смотрел на отца *снизу вверх*, как на какой-то пример, образец для себя, я просто смотрел на него, учился у него, ну и любил, как только можно любить отца (как, естественно, и сейчас — о боже, что будет с этой любовью? опять я оплакиваю себя). Я даже думал — и писал, — что говорю не только от своего имени, но и вместо него. Я гордился им. Тем, что его не смогли размолоть (!), превратить его в жертву, обиженную и фрустрированную, — он был *свободной жертвой*, и для меня это значило очень много. Через него я мог гордиться своей семьей — и от этого (в частности) чувствовал себя сильным. Или скорее: раскованным. То есть уверенным в себе без необходимости напускать на себя важный вид. Мог спокойно быть нерешительным и при этом уверенным в себе человеком, потому что мне не нужно было думать о себе. Не нужно было никому ничего доказывать. Я знал, что у меня есть надежный (семейный) тыл — и все дороги к нему вели через отца.

Только не очаровываться этим текстом. Не публиковать его из гордыни.

Иногда, когда я пишу, у меня дрожат руки.

Две недели покоя. Четырнадцать дней. Это все, что я получил в награду за девять с половиной лет каторжного труда. Не слишком-то щедро, так вас всех в душу мать! И опять — напряжен, как струна! Постоянно прислушиваться ко всему, все замечать, все записывать, ни на мгновение не расслабляясь!.. А ведь как я надеялся, как планировал (и как счастлив был, какое испытал облегчение от того, что все-таки, все-таки закончил "Гармонию"!) пожить полгода, годик расслабившись — читать, делать заметки, радоваться жизни, коптить небо.

И вот на тебе, ковыряйся теперь в этом дерьме — на то ты и *говномес*, если вспомнить опять же роман (стр. 687). Когда я это закончу, то уже — так мне кажется — никогда не смогу написать на бумаге слово "отец". Папа. Папуля. Папочка. Старик. Старина. (Опять слезы.) И о семье тоже не захочу, а впрочем... Характерный идиотизм: я уверен, что Господь управляет людскими судьбами, в том числе и моей, в соответствии с инструкциями, почерпнутыми из моих романов.

Можно предположить, что я не смогу написать не только слово "отец", но и слово "я". Или смогу, но совсем иначе, с другой, более "отдаленной" дистанции. Наверное, кто-нибудь (из коллег) даже скажет: везет же людям!

[Завел тетрадь, надписав ее: Исправленное издание, год 2000-й, январь, 30-е →]

Нет ничего проще, чем придумать первую фразу. Напр.: Трудно врать, черт возьми, когда правды не ведаешь. Но врать делается для меня все легче. Уместна была бы и первая фраза из "Производственного романа": Мы не находим слов.

Начальных фраз, одна другой лучше, я мог бы придумать три короба, но все это пока я не начал писать то, о чем до сих пор и понятия не имею. Что это будет? Что из этого может выйти? И будет ли вообще? [И

может ли, и должно ли быть?] Как было бы хорошо, если б этого не было, не должно было быть. Сидеть бы теперь перед чистым листом бумаги, в черном вакууме после вели-и-иких свершений, в творческом кризисе, не в силах выдавить из себя ни строчки, вот это было бы хорошо. Боги мой, чего бы я не отдал за это!

Интересно, чего? Сколько? Вот именно: ничего бы я не отдал. Сколько раз я бахвалился тем, как меня покоряет все, что вокруг меня, как я преклоняюсь предо всем сущим. Поскольку все сущее мне интересно! Ну что же, интересуйся, давай!

Впервые в жизни я пишу от бессилия. Пойду, куда меня поведут документы, и пусть будет что будет. Лучше всего было бы молчать. Схоронить в себе эту тайну. Молчать как могила. На это сил у меня достало бы: унести свою тайну в могилу. Я пишу не затем, чтобы спасти, что можно спасти. Нечего тут спасать. Но и этим бахвалиться я не буду.

Рудольф Унгвари в одной из своих статей цитирует Сенеку: "Если твои поступки честны, пусть все о них знают, если они постыдны, что толку таить их от всех, когда ты сам о них знаешь? И несчастный ты человек, если не считаешься с этим свидетелем!"[1]. Да, постыдный поступок совершил не я — но и не кто-то другой! Во мне всегда жило некое "мы", включающее и отца, с этим "мы" я сжился, и если когда-то это было полезно и помогало мне, то как я могу теперь с этим "мы" не считаться? То есть могу, но это и будет истинное убожество. Быть убожеством я не хочу. (До этого, хотя мне вот-вот стукнет пятьдесят, такая возможность даже не возникала.) Я не хочу выбирать убожество.

Мы не хотим: мой отец и я.

А вот это — дурная фраза. Тут я дал маху. Отделить его от себя я, конечно же, не могу, но все же мы с ним не сообщники. Осенью 1999-го, выступая на Франкфуртской книжной ярмарке, главным гостем которой в тот год была Венгрия, я сказал под конец своей речи: мой отец и я благодарим присутствующих за внимание. И попросил благородную публику поднять бокалы за моего отца, бедолагу, которому в своей жизни пришлось выпить бог знает сколько неимоверной дряни. (В этом месте я не мог не плакать, и поскольку во Франкфурте я хотел этого избежать, то еще дома раз пятьдесят прочел сам себе эти фразы и, выступая, уже не читал, а барабанил их наизусть, не особо вникая в их смысл.) Это было моим вызовом, бунтом, безрассудной дерзостью, обозначаемой греческим словом "хюбрис". Я представлял себе, будто таким вот жестом можно обеспечить ему загробный покой. Но все это не так просто, не так красиво. <Хотя в определенном смысле это так и теперь. Небеса даруют человеку свободу, он воспользовался своей свободой, я пользуюсь своей, и одно на другое влияет.>

31 января 2000 года, понедельник

Не знаю, как все это упорядочить, из меня просто хлещет. Круговерть мыслей: вокруг отца. Я уже полагал, что покончил с ним, не как некий Эдипчик, а в том смысле, что завершил роман, что вот он, стоит — не отцов хер, конечно, и даже не памятник, но фигура, *значительный образ*. Именно к этому я и стремился: с помощью моего старика создать сильный образ Отца.

1. Луций Анней Сенека. Нравственные письма к Луцилию. Письмо XLIII (5).

Получилась настоящая деконструкция. О чем по "сугубо художественным" причинам я догадывался и прежде. Семейный роман как форма для меня подозрителен, вольно или невольно он ностальгичен, от чего не спасает, чего не может уравновесить ирония (ирония как приправа: смешно), нужны более радикальные средства, которые я и нашел в первой части книги, демонтировав, разобрав на детали форму семейного романа... Кстати, не так-то просто распотрошить что-то до конца, потому что за кадром все равно остается какая-то нить, надежда, намек, что поставленное тобой под сомнение "целое" неким образом все-таки существует.

Понимая все это, я не хотел (ни в малейшей степени) возвеличить свою семью, своего отца именно как жертвы. Я хотел показать, что на самом деле история пожрала все и вся.

Но удалось это только теперь.

"Значит, что б ни случилось — а оно, разумеется же, случится, — так просто нас не возьмешь?" (стр. 349). Разумеется же, случится; но только теперь я вижу, что представить это "что б ни случилось" у меня не хватило фантазии. Вообразить я могу почти все что угодно, но это — то, что сейчас, в чем я сейчас, — нет, не могу. ("Однажды я видел жирафа, но это был не жираф". Таких дней не бывает, как этот, сегодняшний.)

По колено — но не в крови: в соплях.

Я — это я. Понимаю, что кто-то сейчас недоверчиво улыбнется. Я сам в этом виноват, в это недоверие мною вложено много труда. Все эти "угадай кто есть кто", лица-маски, калейдоскоп ролей и цитатология и вообще постоянная сосредоточенность на расплывчатом пограничье фиктивного и реального — это, пожалуй, больше всего для меня характерное — что именно? тема? предмет интереса? влечение?.. Во всяком случае, на протяжении десятилетий — в том числе и в "Гармонии" — я расставлял для читателей ловушки на этот предмет. Я не хочу сказать, что попался сам, но все же, услышав сейчас от меня слова об искренности, о личной, гражданской искренности, многие с полным правом могут от них отмахнуться.

Со мной приключилось то же, что с пастушонком из притчи, любившим кричать понарошку: "Волки! Волки!", — когда они появились, то, сколько он ни кричал, никто не бросился ему на помощь. А мне и кричать нет смысла — нет человека, который сейчас мог бы мне помочь. Да и чем тут поможешь?! Ну да ладно, буду говорить как умею, кто хочет, поверит, что я могу поделать? Говорю с вами я, Петер Эстерхази, родился 14 апреля 1950 года, мать — в девичестве Лили Маньоки (по документам — Ирен, но это имя она не любила), отец — Матяш Эстерхази, номер удостоверения личности — AU-V.877825. Это, стало быть, и есть "я" (вдаваться в подробности сейчас не хотелось бы, no details, please).

Хорошо бы рассказать обо всем, уже будучи стариком. Мужественные расчеты старого человека с прошлым. Когда все причастные к этой истории уже умерли. Когда умерли уже все мои младшие братья. И я тоже. Как же я осложню им жизнь. Бедные мои, бедные. Что они будут делать? Куда им деваться? Я хотя бы могу укрыться в словах.

Чуть было не написал, что не могу больше плакать, у меня нет слез, я выплакал их, когда он умирал, но тут я задумался, как его назвать; назову его ключевыми словами для всей "Гармонии": "мой отец". Да пошел бы ты на хер со своей небесной гармонией! — На это мои слезные протоки не среагировали, но, когда я забормотал про себя: мой отец, мой дорогой, дорогой отец, слезы брызнули все же из глаз.

Как всегда: "Не могу смотреть ни вперед, ни назад" (с. 341). *(Здесь оставлено чистое место.)*

Однако писание — как дошло до меня сейчас — дело все же веселое. Страшный мрак, но сама работа, само делание чего-то не может не быть веселым. Всякое творчество радостно. (?) <Так и теперь, когда я по второму разу переписываю разбросанные по тетрадям и карточкам записи и они начинают складываться в нечто целое, меня охватывает какая-то детская радость. Но зато все трудней ощутить еще раз жуть и панику первых дней. Когда удается заново пережить их, мне больно, когда же не удается, то тоже больно. Нет, спокойно все это похоронить не получится.>

Читать маркиза де Сада; об одиночестве человека. Каков он, человек одинокий, голый. Потому что отец был само одиночество. Второе его лицо не давало ему защиты. Никто не мог его защитить — ни человек, ни Бог. [Но почему?! Почему?!] Ни моя мать, ни братья мои, ни я, никто... Быть может, лишь одна женщина.

Смешно, черт возьми, но мне только что пришло в голову, что ведь все это есть в романе: "Жизнь отца (после 1956 года) вошла в более нормальную колею. Не в нормальную, а всего лишь в *более* нормальную, ибо главной проблемой все очевиднее становилось именно это различие, и вообще — что такое сама эта колея. Ведь, наверное, все же труднее выдержать то, что мы можем выдержать, чем то, что выдержать невозможно, ибо в первом случае нужно спрашивать у себя, что́ я выдержу, во втором же, когда нам приходится выдерживать невозможное, вопрос этот даже не возникает, и так спокойнее — твое дело только выдерживать.

Вот тогда-то мой отец стал действительно одиноким.

Подлинным было не то одиночество, которое он испытывал тогда, на бахче, когда он, как равный, мужик среди мужиков, стоял, обалдело уставившись в объектив, — а это, теперешнее. Как и у всей страны, у него не было ничего, кроме настоящего, и к этому одиночеству он никак не мог приспособиться.

С этим его одиночеством мы ничего не могли поделать. Ни один из нас. Ничего" (стр. 695).

Все это есть в романе — я только не знал, что означает это его одиночество. Я думал лишь о страданиях (о его собственных и о тех, которые причинял другим он), но не о страшном его разрушительном деле. Не о подлости.

1 февраля 2000 года, вторник

Завтра пойду знакомиться с документами.

Ты мог бы пойти и сегодня.

Но у меня вечером выступление, бог знает, как это на мне отразится, лучше до вечера поберечь себя.

Ну а так ты только изводишь себя, варишься во всем этом!

Почему? Мне приходит в голову уйма замечательных фраз.

Нет, это какой-то кошмар!

Какой кошмар? О чем ты кудахчешь! Какого х... я должен делать?! Я делаю то, что всегда! Всю жизнь! Разве не так? Беру ручку и вожу ею по бумаге! Вот и все! А что мне еще остается?! Что я могу еще делать?!

(Да раз...бать вас всех в доску!) (О, Гизелла!) [Некоторое количество таких выражений надо будет потом сократить. Я страстно желал этих слов, как никогда прежде. Мне не только казалось, что подобной стилистики требует от меня ситуация, эти благоухающие слова не только естественным образом слетали мне на уста, но я, сверх того, как ребенок, считал себя совершенно невинным. Не знаю, кем надо быть, чтобы на фоне такой человеческой мерзости, не боясь быть осмеянным, споткнуться о "... твою мать"?! Каким надо быть необарочно-мещанским ханжой?! Каким жалким пуританином?!]

Жуткая атмосфера, как будто все это сделал я. Будто я кого-то убил. И живу, как переодетый принц. Под тяжестью смертного греха. Каин тоже ведь избранный. Каинова печать — знак избранности.

Характерно, что́ на первом месте у меня постоянно — жалость к себе, какое-то выспреннее нытье. Наверное, нечто подобное человек ощущает, внезапно узнав, что смертельно болен. Почему именно я? Разве нет в этом возмутительной несправедливости?

Нет.

И вообще, хорошо еще, что это произошло со мной — ну и хохма, чуть было не продолжил автоматически: а не с моим отцом. Мне так нравится его защищать. Любой сын поступал бы так же. Это — в каком-то смысле — примерно то же, как если бы я замочил его у развилки трех дорог где-нибудь (!) на безжизненном греческом плоскогорье. Ведь защищать нужно и можно только беззащитного, а беззащитный отец — это греет сыновнее сердце. Если он слаб — тогда я силен как дуб. Как отец. Q. e. d.[1], etc.

За всю жизнь я столько не ковырялся в своей душе, как за одно это утро.

Лгуна, говорят, догнать легче, чем хромую собаку: до сих пор я делал с реальными фактами, документами, произведениями все, что хотел. Чего хотел мой текст. Теперь это невозможно. Придется глотать все подряд. До этого глотать приходилось читателю — все, чем я потчевал его, было подвластно мне одному, реальность была лишь моею служанкой.

Теперь голова моя опущена долу, ее опустили, она опустилась. Да, сэр. Сию минуту, сэр. Прошу прощения, сэр. (Нет, это не так, ... вашу мать, сэр. Описка: "отца".)

Можно ли после этого писать? <Существует ли жизнь за пределами моего отца?> Характерно, что меня это интересует. Именно это. Ничто другое. Ответа на этот вопрос я не знаю. [Писать можно. А можно ли говорить — неизвестно.] <Без ложной скромности могу признаться: я уже ничего не знаю.>

Моя жена Гитта, которая чувствует себя в новой ситуации еще ужаснее, произносит страшную трезвую фразу: Он стал таким же, как и все. А между тем это не освобождало его от воза каждодневных забот, от серо-

1. Quod erat demonstrandum — что и следовало доказать (*лат.*).

го героизма, который в шестидесятые, семидесятые годы нужен был для того, чтобы содержать семью с четырьмя детьми.

Мне вдруг вспоминается: а ведь они даже не пустили его на похороны деда, который скончался в Вене! Он вкалывал на них за спасибо!

Как ребенок, раздирающий на себе болячки, я нарочно придумываю самые жуткие фразы (что делать?! мне на ум, как обычно, приходят фразы). Дети мои. Ваш дедушка когда-то был графом, а теперь стал ничтожеством, стукачом. — Рефлексирую, следовательно, существую. Ерунда, что значит был графом? Почему ерунда? Можно сказать, разумеется, что он был не графом, а "человеком", но разве это не демагогия? Он был графом, был тем, кем казался, отпрыском знаменитого рода, в почете состарившимся, ну и проч.

Это не исповедь — это отчет. Так вышло. Случаются в мире такие вещи.

Притча про пастушонка: с точки зрения поэтики — перебор. (Все это настолько мрачно, что я с удовольствием представляю себя кем-то вроде... вроде писателя, кого же еще, до последнего вздоха интересующегося только творчеством. Это неверно, но неверно не тривиальным образом, то есть неверно так, что на самом-то деле верно.)

Кто-то рассказывает мне по телефону: Ты представляешь, и этот подонок NN, этот стукач еще разевает пасть! При слове "подонок" я вздрагиваю. Отныне так будет всегда.

Он нас предал, предал себя, семью, предал свою страну.

[Поначалу я думал, что все это нужно поставить в более широкий контекст, изучить мифы, историю великих предательств и т. д. Потом мне стало как-то неинтересно, кое-что я, конечно же, изучил, но не все.

Соответственно, кое-что я прочел об Иуде. Но, глядя сейчас на записи, я не всегда могу различить, где я цитирую, где комментирую, ну да бог с ним. Вольфганг Тишерт. Каждый из нас — Иуда ("Неизбежность предательства"). Автор надеется, что анализ истории (или историй) об Иуде покажет не только то, как в результате предательства человек терпит поражение и трагически гибнет, но и то, что необходимо понять: предательство — неотъемлемая составная часть жизни.

Не является ли предателем сам Господь? (Освенцим.) Ни земной, ни небесный Отец на это нам не ответит. И это, его молчание, тоже есть часть предательства.

Иисус был одним из двенадцати: одним из нас.

Иуда Вальтера Йенса ("Случай Иуды") — не предатель, а некий необходимый, закономерный святой, подтверждающий величие человека, его свободного бунта, посредством которого становится ясной необходимость спасения. Примерно так. — Соответственно мой отец сорвал маску с гнилого режима Кадара, показал истинные масштабы его разрушительности; предательство отца носит не личный характер, это не личное его падение, а репрезентативный портрет всего общества, целой нации. (Молодец, малыш, замечательно говоришь, спасибо.)

Что, собственно, выдал Иуда? Местопребывание Христа. Но разведать его было не так уж трудно. Не составляло большого труда и опознание Христа (поцелуй Иуды). Мой отец тоже доносил о вещах всем изве-

стных, без каких-то дурных намерений. (Дурно было все это целиком. Но это сюда не вписывается.) <Что он действовал без дурных намерений — тоже вранье.>

Неожиданные результаты дает изучение оригинального греческого текста. Греческие слова "предать", "предательство" в переводе отнюдь не однозначны. "Предать" может означать также — выдать, отдать на произвол, а также передать, оставить, завещать, отдать. Латинский перевод использует слово "tradere", от которого происходит "традиция". Выходит, Иуда всего-навсего передал то, что видел и слышал, как и все остальные апостолы?

Любопытно, что в Первом послании к Коринфянам (11, 23) апостол Павел использует это слово дважды. Тень Иуды, падающая на Павла, свет Павла — на Иуду?

Герменевт означает: передающий. Стукач в качестве герменевта. Интерпретировать кого-то значит выдавать его. Перевод — преданность и предательство. Мой отец превосходно переводил с немецкого, английского и французского.

Доносить, пересказывать, продолжать традицию — все это связано с риском.

Бог предает людей силам враждебным, равно как Иуда — Христа (Послание к Римлянам. 1. 18, 24).

Много еще интересного сказано про Иуду, в любом случае ясно, бытие и предательство, жизнь и отступничество друг от друга неотделимы. Только там, где между людьми есть доверие, может быть предательство. Предать нас может только ближний (или мы — его).

Без истории об Иуде и прочих бесчисленных в Писании случаев предательства (Адам и Ева, Каин и Авель, Иаков и Исав, Иосиф и братья) мы были бы лучшего мнения о себе. Но видим мы и другое — предательство совместимо с жизнью. Приходится с ним мириться, потому что мир невозможно очистить от предательства. Так что Иуда для нас — не выродок, а скорее брат, родственник, более того — зеркало. (Вот, старик, это все, что мне удалось наскрести в твое оправдание.)

Как становится человек предателем?

Желание стать другим сопровождает нас всю нашу жизнь. Пример — апостолы, покинувшие свой дом, семью и последовавшие за незнакомцем... Маргарет Бовери в своей книге "Предательство в XX веке" пишет о том, что детство всех выдающихся предателей было бездомным, безродным (heimatlos). По легенде, младенца Иуду, как и Эдипа, вышвыривают вон из дома, ибо мать его увидела сон о том, что сын ее будет вместилищем пороков. А затем, как оно и положено, Иуда убивает отца, женится на матери и присоединяется к Христу. Который его принимает (!).

Предательство не бывает результатом осознанного решения, человека охватывают страх и паника. И тогда... Мне нетрудно это представить: мрачное тесное помещение, угрожающие тебе мордовороты. Страх, паника, потом — безразличие.

По мнению Шиллера, цель трагедии заключается в том, чтобы растрогать и потрясти. История моего отца лишена трагизма. Поскольку лишена масштабности. Сексот III/III[1] не стоит и упоминания. Ну конечно, когда речь о нашем отце, то можно поломать голову над причинами,

1. Так в нынешней Венгрии называют информаторов службы госбезопасности коммунистического режима; III отдел III главного управления МВД ВНР занимался "борьбой с внутренней реакцией".

попытаться что-то понять, но в принципе — все это мура, забудем. Мой отец на фоне Иуды — все это и впрямь ерунда. Не стоит выеденного яйца. Правда, в силу того, что имя моего отца — впервые в жизни я говорю именно в такой последовательности, а не наоборот — совпадает с моим добрым именем, дело получает некий метафорический смысл.

Предательство — это как ураган, есть в нем что-то архетипическое, но есть и ответственность. Ответственность предателя в том, что он за предательство отвечает. Мой отец — не ответил. (А что если я, считая это семейным наследством... впрочем, это мы уже проходили. Взять на себя. Чушь. Это было бы слишком просто, хотя и трудно. Начать с того, что мне не хватает угрызений совести. Взять на себя я мог бы только формально. Как пай-мальчик. В обмен требуя благосклонности. Ну да ладно, оставим. Я вовсе не собираюсь что-либо изменить, я только хочу описать.) Возможно, отец и пытался взять на себя свой позор, только позор-то оказался слишком тяжелым. Тяжелым, потому что тяжел он, невероятно тяжел. Как для Иуды. Тот стал самоубийцей, этот, недотянув, — алкоголиком. Наверное, так это все случилось.]

В антракте выступления, в гримуборной Камерной сцены, под затихающие аплодисменты, которые я сорвал за изображение, назовем это так, героической жизни мужчины с нелегкой судьбой, торопливо записываю на обороте верстки романа Катрин Рёгла, на листке, где я делал заметки для выступления: Вот и еще один *конец семейного романа*[1], хотя ничего подобного я не предполагал. Человек предполагает; а располагает?..

2 февраля 2000 года, среда

Вчера, с блеском проведя авторский вечер на одной из лучших столичных сцен, где читаны были фрагменты моего нового многообещающего романа, я переместился в один из самых старинных столичных театров, дабы принять участие в небольшом торжестве после моей премьеры, которая состоялась одновременно с вечером. Блеск, роскошь, талант, успех — не буду темнить: было (или, во всяком случае, было — наряду с прочим). Сейчас восемь утра, я (чтобы не забыть) кропаю все это в тетрадь, весь в соплях, только что перессорившись со всеми, кого обнаружил в доме, настоящий кретин, просто образцовый муж. Я в таком напряжении, что бросаюсь на всех, особенно если я прав, то есть во мне бушует такая мелочность, что становится жутко.

Половина десятого. Пишу в электричке, держа тетрадь на коленях (как Тибор Дери на знаменитом снимке). Еду в Архив; но сперва нужно заскочить в Институт 1956 года, забрать переделанное рекомендательное письмо, которое позволит мне изучать документы, касающиеся всей семьи.

Я нервничаю, как в кино.

Как будто я направляюсь в (кадаровскую) полицию. То есть боюсь. Я боюсь не "архивных событий", которые мне предстоят, а того, что меня сейчас арестуют, станут допрашивать, истязать. Как Белу Саса[2]. Подвергнут тому, чего они не успели до 1990 года. Поразительно, но страх, возникающий из этих фантасмагорий: реальный. Чу-у-увст-во ме-е-е-ры!]

1. Название известного романа Петера Надаша, опубликованного в 1977 г.
2. Бела Сас (1910—1999) — журналист, в 1949 г. был одним из обвиняемых в нашумевшем политическом процессе по так называемому "делу Райка"; автор разоблачительной книги об этих событиях ("Без всякого принуждения"), опубликованной в 1963 г. на Западе.

Еще утром, перед тем как выйти из дому, я отправил факсы в Белград и Париж (знай наших!), на столе у меня — чилийский (или аргентинский?) литературный журнал, с обложки которого на меня ободряюще смотрит — смотрю я сам. Так к какому же миру, какому из этих двух я принадлежу? Опять только к бумажному?! Ну, к этому, должен сказать, я привык. (Жалость к себе.) (Жалость к себе и конечная станция — "Площадь Баттяни".)

Ну не лежит у меня душа к этой реалистической прозе. Нужно писать, что происходит вокруг меня, не более и не менее, но странно, мне скоро пятьдесят, а я ничего подобного никогда не делал. Хотелось бы постоянно иметь рядом с собой (или даже внутри себя) видеокамеру и магнитофон. Ведь фразы свои я обычно соизмеряю с другими фразами, а не с "реальностью"; и только теперь мне видна вся их худосочность.

В Институт 1956 года я проникаю почти как вор; кто-то передо мной набирает код домофона, его впускают, и я, тать крадущийся, шмыгаю вслед за ним, тут же осознавая свою изворотливость (нашел слово: пришибленность!) и ловкость. Секретарша, завидев меня, размахивает письмом.

Пожалуйста, все готово. Так что надеемся...

На что? в лоб спрашиваю я, как мне кажется, не агрессивно, а скорее отважно. Она подымает на меня глаза не то чтобы неприязненно, но и не дружелюбно.

Надеемся, что найдете, что ищете.

Я не ищу ничего, просто хочу заглянуть в то, что есть (да заткнись же ты, наконец!).

Ну да. Раз уж есть...

Я благодарю ее, стараясь быть непосредственным и любезным. Боже мой, неужто теперь так и будет? [Так.] <Так.>

То же самое я разыгрываю и здесь, в читальном зале Архива. Я боюсь, что, взглянув на меня, все заметят... заметят отца. Что меня тут же разоблачат. Посмотрят на меня и кивнут: ну да, ведь папенька ваш — сту...

...кач!, написал я, когда ко мне подошел М. Принес папочкины материалы (слезы; но это я так, обозначаю в качестве видеокамеры; ну почему стукачом оказался не отец Месея или Надаша, уж они описали бы это все гораздо точнее, почему я должен заниматься вещами, не отвечающими моему та-ла-ан-ту?! — о, о, если б глупость болела! а впрочем, болит!).

Он опять мнется, воплощая собою предупредительность и тактичность. Задача его, можно сказать, не проста.

Выявили еще одно, четвертое, досье, говорит М., из которого видно... ну, в общем... материал хороший (при слове "хороший" я испытываю облегчение)... надеюсь, он вас не разочарует... (Или: он вас не расстроит? А ведь разговор состоялся минуту назад; Жигмонд Мориц был прав, когда по-наглому записывал всех подряд.)

Он улыбается, я — тоже. Я забываю, что он все знает, и веду себя, как нормальный. Он предлагает мне свою помощь — если что-то будет мне непонятно, ну да, я всю жизнь мечтал! сейчас сядем и будем вместе изучать "материал"! хотя я не сомневаюсь, что это было бы мне полезно. Как бы то ни было, я благодарю его за помощь, обижать М. я не могу, еще не хватало настроить его против себя!

10.54. Передо мною четыре досье, но я тяну время, открывать их не хочется. Тяну время, хотя тянуть нечего, времени у меня нет. Мне принесли еще какие-то документы, и я решаю сначала заняться ими. С некоторым священным трепетом открываю первую папку. Какие-то нудные донесения — чем занимались посещавшие Венгрию аристократы. Слово "граф" неизменно в кавычках. **На данный момент в "Перечень нежелательных лиц" нашими органами предложено включить 18 чел., в число наблюдаемых — 4 чел.**

"Наблюдаемые" — неплохое словечко. Мне попадаются знакомые имена. [Я их выписал, но публиковать буду только инициалы, хотя понимаю, что было бы интересней, если бы здесь фигурировали такие фамилии, как Сечени, Каройи, Зичи, Хорти, но достаточно — более чем! — что их имена оказались в этих бумагах, унижающих их, оскорбляющих и позорящих.] Мне попадается И. С., которая поддерживает связь с М. Р. Кажется, это мать моего зубного врача. А вот моя бабушка. И тетя. Венский адрес написан неверно, вместо Rennweg — Renbeg. Кретины. Остановилась, читаю я, в доме д-ра Матяша Эстерхази, то есть у нас. Это я выпишу. Среди контактов — Мамочка. Тетя Мэри, ее контакты: тетя Жужи, мой отец, она сама (идиоты!) и дважды — бабушка, один раз как Эстерхази Маргит, второй раз как жена Эстерхази Морица.

Все это я читаю не как сын сексота, а еще прежним своим существом, надменно, с презрением, в сознании своего превосходства. К новому положению нужно еще привыкать. [Какое еще положение? Просто в число презираемых придется включить моего отца, только и всего.]

Какие красивые далекие имена: Надин такая-то, Зенке такая-то.

Еще одно тоненькое досье о моей тетушке, начальнику отдела III/III-3 из отделения III/II-2b. Отделы, отделения, учет, регистрация: как будто я вдруг открыл новый мир, неведомый и невидимый до сих пор.

Только что (в 12.15) ко мне подошел симпатичный сотрудник архива, просто так, поздороваться. Отходя, он махнул то ли мне, то ли в сторону Папочкиных бумаг (видео!): Так-то лучше... Я в ярости. Что лучше?! Лучше чего?! Я ничего не понял. Сороконожка, потеряв сороковую ногу, лишилась слуха.

Я не могу удержаться и открываю четвертое досье. Перед глазами его фантастический почерк! (Об этом почерке я пишу в романе.) Примерно с 1960-го он уже регулярно переводил и поначалу всегда делал черновики, сбрасывая на пол исписанные карандашом листы. Я разглядываю (как когда-то) почерк отца: интеллект, уверенность, красота, напор — все есть в этом почерке. Возможно, из-за этого эдипова фона я так обрадовался однажды, когда какой-то графолог-любитель с изумлением и восторгом, чуть ли не потеряв дар речи, уставился на мой почерк и взволнованно объявил, что готов бесплатно составить подробное (читай: 50-форинтовое) описание моего почерка. Было это в кафе на проспекте Бартока, лет тридцать тому назад.

В конце дела — указатель имен, чуть ли не вся высшая аристократия Венгрии; в глаза мне бросается мое собственное имя, я вспыхиваю, сердце уходит в пятки, и с шумом захлопываю досье. Если не вижу — значит, этого нет. Зато видят меня, я-то есть. Неужто и обо мне он писал доносы? Я невидящим взглядом смотрю в пустоту, при этом невыносимое самообладание не забывает продиктовать мне, чтобы я взял на изготовку ручку. Я снова готов упасть в обморок.

Втайне от остальных, про себя, я плачу. Но это так, к слову (видеокамера!), безоценочно.

Я вновь открываю дело, листаю, как какой-нибудь светский журнал. Не читаю, а только разглядываю. Как разглядывают картинки. **Надежный, проверенный агент.** Агент, твою мать! невольно рычу я себе под нос. (Не мать – отца! Хохма многоразового использования.) **Н. с., к. и. Чанади** – это мой отец [то есть негласный сотрудник, конспиративное имя – Чанади].

Вот и 21/XII-1977 г. он пишет. Я тоже – как раз в это время я дописывал последние страницы "Производственного романа". И был счастлив, как, видимо, никогда потом. Но наше общее счастье, наверное, было ниже среднестатистического показателя.

Нет, так не пойдет, надо все по порядку, с начала и до конца проработать, как говорится, весь материал. Меня охватывает минутное [но далеко не последнее] искушение не заниматься этим дерьмом, вернуть. И носить эту тайну в себе.

Я возвращаюсь к бумагам о моей тетушке, которую в 1950 или 1951 году по ложному обвинению или вовсе без оного отправили в Киштарчу, знаменитый лагерь для интернированных. Шедевр от 18 октября 52-го, по форме – просто социологический очерк: **...после Освобождения, обзаведясь собственным гужевым транспортом, она занялась извозом. Проявляя изворотливость и приспособленчество, втерлась в доверие к своим "коллегам" и в день получки даже пила вместе с ними в корчме. Своим ловким коварным поведением ей удалось замаскировать свое графское происхождение перед извозчиками, которые поначалу сторонились ее.**

Периодически она наезжала в Пешт, где останавливалась у своего старшего брата и, вырядившись, предавалась развлечениям в кругу своих приятелей аристократов, таким образом компенсируя свои изменившиеся обстоятельства по месту проживания.

Что за кретинизм! Замаскировав графское происхождение... компенсировала изменившиеся обстоятельства... Интересно, кому нужны были эти идиотские доклады?!

Из другого дела, о дедушке (28 дек. 1945 г.): **За недоказанностью антидемократических проявлений, следствие в отношении гр. Эстерхази предлагаю прекратить.**

На сегодня достаточно.

В электричке по пути домой, 15 ч, тетрадь на коленях. Устал. Блаженная усталость на совесть потрудившегося человека. В...зду.

Выходя из Архива, я столкнулся с работающей здесь милой историкессой (будем называть ее так) и с утрированным оживлением, будто под кайфом (есть такой анекдот, как раз про меня, теперешнего: сидит на утесе орел, пролетающий мимо ястреб спрашивает, чем занимаешься? кайфую, а как это делается? бросаешься со скалы и камнем падаешь вниз, падаешь, падаешь, а в самый последний момент, р-раз, и наверх. Сидят на утесе орел и ястреб, чем занимаетесь, спрашивает лиса, кайфуем, а можно я покайфую с вами? пожалуйста, и, р-раз, все трое камнем срываются со скалы, слышь, лиса, спрашивает орел, а ты летать-то умеешь? не умею,

орел поворачивается к ястребу: вот это кайф!), начинаю болтать, что в понедельник приду опять и что *прочие* материалы уже просмотрел, кое-что я знал и до этого, к примеру историю, как была интернирована моя тетя, я даже использовал ее в "Производственном романе".

Да, кое-что показалось знакомым. (Они что, перед этим читают, или как это делается?) А что касается... понимаете, наш председатель распорядился так (я слушаю, не выдавая волнения, пытаюсь узнать, что́ она знает)... я рада... потому что... я не знала, как вас предупредить... мы не имеем права разглашать тайны... Я с этим материалом незнакома, но знала, что он существует (так знает или не знает?)... короче...

Я приду в понедельник утром, закончил я разговор. Она сказала еще, что материалы, касающиеся меня, нужно рассекречивать, а это требует времени, но она поторопит. (До сих пор об этом ни слуху ни духу. Но я и не собираюсь больше туда приходить. Или все же — когда закончу? Когда вновь обрету свободу (?)?(<Подожду, пока выйдет книга. А там поглядим, какие желания-нежелания во мне останутся.>

3 февраля 2000 года, четверг

Ночью, без четверти два, в постели. Тетрадь я все время держу при себе — всегда есть опасность: вдруг что-то придет мне в голову. Хотя сегодня... день пролетел незаметно, впустую. Я в основном защищаюсь. Так устроены мои клетки, что первая их реакция — впасть в крайность: ерунда, не стоит выеденного яйца, его принуждали, он не выдержал, но он никому не вредил, он их видел насквозь, он был выше их, пусть первый бросит в него камень тот... и т. д.

Вечером, не то чтобы провоцируя, но все же как бы *примериваясь* (к чему? к чему, черт возьми?! [да к тому, в какой степени сын отвечает за отца]), я спросил у своего друга, не думает ли он, что депутат, чей отец был гэбэшником, мог бы выбрать себе другую стезю. Мой друг стал орать, что я свихнулся... что, похоже, есть все же черта, которую я не способен или не смею переступить...

Если следовать этой логике, то тебя — из-за твоего отца — не надо было принимать в университет! — Голос его просто искрится от ярости.

Мне странно и интересно слышать, как он произносит: "твоего отца". Как будто щекочет, я вот-вот рассмеюсь. Мне даже приятно, что он наорал на меня. А еще мне приходит в голову, но это так, между прочим, что, произнеся "твой отец", он даже не догадывается, что попадает не в бровь, а в глаз; ерунда. Случай и в самом деле тривиальный. Я спорол глупость, что в свете последних событий неудивительно. Не желая в этом признаться, я говорю что-то о практичности, о том, что это "не лучший вариант", поскольку политика — дело сугубо практичное. Но так мы дойдем до того, что, если политиком станет еврей, это тоже не лучший вариант (!), потому что это может вызвать неудовольствие антисемитов (при благополучном исходе дела).

<Сегодня утром мне вступило в поясницу. Еле переползаю от кресла к креслу. Мне вспоминается упомянутый выше мой друг, который считает, что все физические болячки имеют внутренние причины. Так что, возможно, мой организм восстает против написания этой книги, но ничего у тебя, старина, не получится, я напишу ее, даже если ты сдохнешь.

Ей-богу, ты зря стараешься. И вообще, можешь поцеловать меня в задницу. Вот тебе вольтарена таблетка — и будь здоров.>

Пришла корректура "Гармонии". Издатель сияет. Хороший издатель.

Мой план: просмотреть "Гармонию" на предмет выявления таких мест и фраз, которые могут "корреспондировать" с новыми обстоятельствами. (Новые обстоятельства! — красиво сказал, маэстро!) А именно: читая фразу, попытаться вспомнить, из чего она родилась. То есть читать, как будто читаю семейные мемуары об отце, а не роман. Покажу это на примере: "О том, что отца избили до полусмерти, лупили его, как мальчишку, били, как лошадь, для начала, по первой злости, отбили почки, а потом методично дубасили по всему телу и главным образом по ступням, я узнал далеко не сразу" (стр. 685). Конкретно о том, как отца избивали в 56-м, я ничего не знал, припоминаю лишь, что после 4 ноября он на несколько дней исчез, точнее, мне как-то удалось выжать из него, что его били, били дубинками по ногам (с варикозными венами). Сопоставить такие места.

Могут быть интересны и мои записные книжки. [Полистал, случайно попалась на глаза запись: *Жизнь моего отца: ложь и предательство. И красота.* — Хм, сейчас это любопытно. Чуть ниже: *Моя жизнь: ложь и предательство. Без боли.* – Это тоже сейчас любопытно. <Особенно в свете вольтарена.>]

7 февраля 2000 года, понедельник

Еду в гэбэ. Так я это теперь называю. Преувеличение. Сейчас принесут материалы. Вчера посмотрел экранизацию "Подушки Ядвиги". Насколько иными глазами я наблюдал, как Ондриш помимо собственной воли становится стукачом.

Только что (9.20) выяснилось (для меня), что досье (мои досье, его досье, наши досье [нет!]) хранятся у самого председателя, то есть он как бы не выпускает их из своих рук; в данный момент, сообщает сотрудница читального зала, у него люди из национальной безопасности, поэтому нет возможности принести дела. (Из национальной безопасности — от этих слов по спине пробегают мурашки. Неужели это происходит со мной?) Сотрудница читального зала делает обиженную гримасу, просит у меня извинения за то, что моей работе мешают такие препятствия. Ей невдомек, что основное препятствие в этой работе — я сам.

Если бы господин председатель нам доверял... но вы видите... (магнитофон!)

Что вы, что вы, какие препятствия, ничего, мне есть чем заняться, я прячусь в кусты, изворачиваюсь, проклинаю этот момент, опасаясь, что между нами возникнет сообщничество. Я опасаюсь того (всего), что досье станут слишком загадочными и ими заинтересуются. Да и сам я — вполне подходящий объект для привлечения всеобщего внимания. Или все давно обо всем знают? Оскар знает, но не лает?

Элвис: Don't cry, daddy. Я не плачу, просто слезы из глаз текут. Это различие почему-то стало для меня существенным. Быть может, за каждым таким слезоизлиянием не обязательно стоит все мое существо, быть может, есть здесь какая-то чисто [?] <?> физиологическая составляющая, когда на определенные эмоционально окрашенные слова, ситуации сама собой возникает реакция — как у собаки дедушки Павлова! В соответст-

вии с новым для меня кругом обязанностей писателя-реалиста я буду теперь отмечать все слезные места — в точности как мой дед, отмечавший на полях слабые пассажи, — буквой "с", с. = слезы, из глаз текут слезы.

Когда я вхожу в Архив, у отдела обслуживания всегда толпится народ, в основном — пожилые мужчины. До меня долетают обрывки фраз: кого-то "взяли за нелегальный переход границы", кто-то пострадал "из-за дела Миндсенти". Сколько страданий (мелких подчас) накопилось за сорок пять лет! И вот теперь они пытаются расследовать свою жизнь. Приходят сюда, чтобы найти успокоение — в архиве!

Правы те, кто костерит этот Комитет. Если доступ к документам невозможен или затруднен, если личные, человеческие права бывших следователей чуть ли не важнее прав тех, кого они унижали, за кем следили, — это не демократия. Это консервирует страх и озлобленность, порождает фрустрацию. А фрустрированный человек беззащитен перед демагогией, в которой правды содержится ровно столько, сколько необходимо для поддержания озлобленности и страха. Не будь я в привилегированном положении, я тоже не получил бы доступа к документам. Правда, жил бы теперь спокойно... Как красиво я рисовал себе следующие десять лет своей жизни. Теперь они, эти десять лет, будут рисовать меня; нечего сказать — волнующая перспектива.

Я сотворил миры из ничего, изрек (так и оставлю: изрек) наш математик Янош Бойяи, когда изобрел неевклидову геометрию. В "Harmonia cælestis" я творил миры из всего — теперь же из всего приходится творить ничто. Мой отец стал теперь, лишь теперь стал действительно графом по имени Ничто. Слова эти только теперь получают (получат) свой истинный смысл. До этого было просто красивое и, может быть, меткое выражение. Правдивое выражение, но была в нем и нравственная победа: эти ничтожества, эти нищие на самом-то деле не нищие, а, похоже, очень даже богатые (может, платят меньше НДС, чем платили сто, двести, триста или четыреста лет назад), богатые, потому что сохранили самое главное: самих себя.

[Есть такой облегченный (софт) вариант прочтения "Гармонии", который, по-моему, способствует успеху романа. Читатели переживают в нем заново *свои собственные* страдания (но это еще в порядке вещей, это только бахвальство) и от того успокаиваются, книга как бы делает их сильнее, ведь, *что бы там ни происходило,* мы выжили. Мои читатели смотрят на меня более спокойно и радостно, чем мне хотелось (мечталось). Они как бы выковыряли из романа изюм, оставив в стороне все, что не вписывается в эту "спокойную" линию. То есть книга им это позволила.

Я знал, что многие будут читать роман буквально, один к одному, невзирая на то, что текст постоянно и самым беспардонным образом играет (работает) на грани вымысла и реальности. Но последствия того, что в книге появляется *история,* я не продумал, не учел, что это история не только семьи, но и страны. И упомянутая формула — "что бы там ни происходило" — слишком неоднозначна, важно знать, что именно происходило. По порядку, от недавнего к более давнему прошлому: из чего возник режим Кадара, из чего — 1956 год, из чего — эпоха Ракоши, какую роль мы играли в войне, в холокосте. Серьезного разговора об этом в романе нет. Это плохо. Но все это я когда-нибудь опишу еще более точно.

Я сижу в своей комнате: за стеной — нечто вроде воскресного семейного обеда с участием тестя, "взрослых" детей, но выйти к ним я не в состоянии, ну не могу я курсировать между двумя мирами. (Помню, "Производственный роман" я писал в конторе, по ходу дела поддерживая — пусть не на самом высоком профессиональном уровне — производственные разговоры...) До моего слуха доносятся непринужденные голоса, звонкий смех моей младшей — Жожо, приглушенное, мужское уже, бормотание Марцела, как хорошо им сейчас, не наслушаешься, — а мне ковыряться тут в грязном белье их дедушки. Они мало общались с ним (кроме, может быть, моей старшей дочери Доры), боясь его и восхищаясь им на расстоянии; в качестве деда шедевра он не создал.

Наступит час, и им тоже придется плакать. Жожо, наверное, ничего не поймет. Я думаю об этом с каким-то детским презрением. Как о своем несчастном далеком племяннике, который, прочитав роман, не может никак успокоиться из-за оскорбительного, по его мнению, пассажа. Боль его совершенно реальна, и мне очень жаль его. Идиот, думаю я теперь, переживая свою беду, — стенаешь из-за какой-то сгнившей руки, когда у меня вон целый отец сгнил! (Я не хочу тебя обижать.)

Не переступаю ли я некую грань, которую переступать не следовало бы? Быть может, нельзя так уж полагаться на искренность? Ибо сейчас я делаю именно это. Бывает, наверное, когда в наших общих интересах — молчать? Это так, но кто может указать, где она, эта грань?

В "Прощальной симфонии"[1] я писал: "Он просит сына, чтобы тот не бил, не пинал его, хотя признает его правоту... Начинает, уснащая свои мольбы примерами из греческой мифологии, взывать к пониманию... Его доводы — чисто физические (мне больно, сынок)... И снова, суммируя аргументы, он не ссылается ни на заповедь о любви к ближнему, ни на обязанность уважать отца своего, ни на обычаи и приличия. Он просит, умоляет сына подумать о том, стоит ли умножать в мире боль. (Стоит ли умножать в мире боль?) Это все, чего он просит у сына. И еще глоток палинки".

Мне кажется, я вижу его, слышу, как он умоляет меня. Чтоб вас всех разорвало! Я привязан к мачте и готов слушать песни сирен. Перебор.]

Сердце едва не выпрыгивает у меня из груди: мне несут документы. Мы улыбаемся. Я кошмарен, все, что я сейчас делаю, настолько лживо, что это уже смешно. Я боюсь здесь буквально всего и всех, ощущение — будто провалился в кадаровскую эпоху, не оттого ли я по утрам ругаю всю эту гэбню, в то время как сам испытываю к ним чрезмерную, ничем не оправданную благодарность? Разгадка в страхе (скелет в шкафу!), отсюда — компенсаторный гнев, ненависть и заискивание: короче, я обнаруживаю в себе все признаки посткоммунистического общества. Не знаю, если бы мне пришлось сейчас вести себя достоверно и "жизнеподобно" (а не переписывать, помалкивая в тряпочку, эти бумаги), едва ли я смог бы остаться нормальным, быть гражданином, человеком с достоинством и правами (в частности, на ознакомление с документами), проявлять благоразумие (а не поливать гэбэшников, что полная глупость)!

М. словно бы наблюдает, как я поведу себя в этой ситуации. Точно так же мы наблюдали в детстве за мухой, щелчком запендюрив ее в паутину.

1. "Прощальная симфония" — пьеса Эстерхази (1996), написанное в ходе работы над романом "Harmonia cælestis".

(Ну это, пожалуй, я приукрасил.) Возможно, он просто любитель литературы. А может, он вовсе не наблюдает и это всего лишь моя истерика.

Я получаю то, что заслуживаю. — Жалость к себе, то и дело невольно накатывающую на меня, я буду обозначать сокращенно "ж. с.", а слезы — как "с.". Стало быть, с. — это слезы, ж. с. — жалость к себе. А теперь я начну знакомиться с новой историей моего отца. Ж. с. <Читаю: "...По Геродоту, мудрец Солон сказал Крезу, что на вопрос, каков он на самом деле, он сможет ответить только в конце истории". Насколько мне помнится, сказано было: "в конце твоей истории", то есть вне ее, а не посредством ее, и это, наверное, правильно.>

Номер архивного дела: **М-37234/1** (2 досье)
М-38203/1 (2 досье)

Надписи на обложке:
Строго секретно
Подразделение: Политический отдел
Рабочее досье
Квалификация: агент
Конспиративное имя: Чанади
Дело "В" (вербовочное) **№ Н-11799**
Номер тома: 1
Начато: 5 марта 1957 г.

Сердце снова стучит у меня где-то в глотке. <Здесь в работе был двухчасовой перерыв. По рекомендации младшего брата меня посетил массажист. Взглянув на меня, на мою осанку, на спину, спрашивает: Скажите, что за груз вы тащите на себе?! И, судя по всему, довольно тяжелый. Это моя работа, не без гордости простонал я.> [Я старался копировать документы отца слово в слово, но помню, что иногда делал это в лихорадочной спешке и в конце не сверял свои выписки с текстом оригинала. Например, что касается некоторых сокращений, я не помню, принадлежат ли они мне или так было в тексте. Однажды я даже подумал, не взять ли несколько текстологических уроков у Йожефа Янковича[1], но потом плюнул. Не много ли чести для текстов подобного рода!]

Содержание: донесение, дата, о ком. Много знакомых имен, имен моего детства, многократно воспетые тетушки, дядюшки, имена с легендарного Олимпа Взрослых. (Пока вы отдыхаете, Индезит [мой отец] работает.) Затем — алфавитный именной указатель. **Фамилия, имя: А. А., род занятий: граф, стр. 61.** Пятеро Эстерхази, на 219-й странице — дедушка. Заглянуть? Или методично, лист за листом, читать все подряд? Фамилия Esterházy везде с искажениями — через "sz" и "i" вместо "s" и "y". Что это, месть диктатуры пролетариата? [Вот нашел чему удивляться! Смех и только!]

На 29-м листе — первое **Донесение**. В правом углу листа:

Составил: Чанади
Принял: ст. лейт. Варга
Дата: 2 марта 1957 г.

Вот это действительно больно — видеть почерк, который я так люблю. Я даже гордился (горжусь) им. Об обладателе этого почерка можно

1. Йожеф Янкович — литературовед, подготовивший целый ряд академических изданий венгерских писателей.

было думать только самое лучшее, с. Начну переписывать. Пусть привыкает рука, пусть войдут в меня эти слова. То я Оттлика[1] переписываю, то такую вот дрянь — прямо скажем, ну и диапазон.

О том, что начавшиеся 23 октября 1956 г. будапештские демонстрации переросли в вооруженное восстание, народонаселение (sic!) **Чобанки узнало на следующий день, 24 октября. Вследствие остановки транспорта многие жители, работающие в Будапеште, Будакаласе, Помазе и Сентэндре, вынуждены были остаться дома, и это привело к некоторым сбоям в снабжении продовольствием.** Переписывая эти слова, я вспоминаю чувство яростной, жуткой скуки, о котором писал Паскаль. Я сравниваю наши почерки: его мне нравится больше. Мой — торопливый, неровный, отдельные буквы сливаются, какие-то просто пропущены (но это Гизелла исправит). В его почерке чувствуется, что он старался писать разборчиво... **Данных о нападениях на партийных или государственных руководителей у меня не имеется. В начале ноября прошел слух о каком-то списке, который якобы содержал имена людей, подлежащих уничтожению, однако говорить с кем-либо, кто видел этот список собственными глазами или знал, кто его составлял и кто в него был включен, мне не доводилось.**

После 4 ноября имели место два несчастных случая: молодой человек по фамилии С. был случайно застрелен своим товарищем, а гражданин Х. был застрелен ночью патрулем национальных гвардейцев, поскольку якобы не подчинился их приказу остановиться. По слухам, оба виновника этих убийств эмигрировали.

Что касается лозунга "В марте начнем сначала!", то люди воспринимают его в основном как шутку.

Чанади

Еще два коротких донесения, датированных тем же числом. Я смотрю на пожелтевшую бумагу. Понятно, что их писали в нашей квартире, и вполне возможно, что я прикасался к ним, что на них — следы моих пальцев. Бумага аккуратной стопкой всегда лежала на левом дальнем углу письменного стола. В мозгу непроизвольно проносится и такая фраза: в нашей квартире находилась не только эта бумага, но и мой отец. Тут на минуту я спотыкаюсь, не зная, что написать: "отец" или "папа". Во всяком случае они были там: не только бумага, но и мой Папочка...

Донесение. Ш. В. проживает в Помазе. В свое время имел поместье в Даноше и еще до Первой мировой войны был депутатом парламента; в 1920-е годы — министр финансов. Сейчас ему около 80 лет, живет уединенно.

Й. П. (муж Ирмочки! — вот, опять я ссылаюсь на свой роман как на нечто реальное, под этим именем ее знает читатель романа) **проживает в Чобанке, в свое время имел поместье в комитате Ноград, в политической деятельности не участвовал. Работает в местном лесном хозяйстве. В ходе октябрьских событий** — не называет их контрреволюцией! [но это только пока!] — **вел себя пассивно.**

Чанади

Ну что же, пристойные, состарившиеся в почете и уважении тексты.

1. В 1982 г., в честь 70-летия известного венгерского прозаика Гезы Оттлика, популярного в среде тогдашней писательской молодежи, Эстерхази предпринял символическую акцию, за три месяца переписав 400-страничный роман Оттлика "Училище на границе" на один-единственный лист ватманской бумаги.

Заключение: Первое донесение агента (с трудом пишу это слово, но мало-помалу все же начинаю привыкать)**. Задание состояло в том, чтобы дать подробную информацию о двух лицах, а также о событиях после 23 октября. Задание выполнено не лучшим образом.** Что значит "не лучшим образом"? А сам-то ты в первый раз лучше, что ли, сработал? — Мне, конечно же, не до шуток, но уже поздно. Я вижу, какой он гигант, мой отец. Я ничего не вижу. Просто пишу все подряд.

Задание: Осуществляется ли на данной территории подготовка к событиям 15 марта[1] и возможны ли подрывные действия? Какой деятельностью занимались (sic!) **лица, занимавшие** (sic!) **в период контрреволюции** — черт возьми, да научись же ты писать по-венгерски! Помнится, кто-то из критиков, кажется Шандор Радноти, упрекнул меня в эстетстве; применительно к данному случаю он был бы абсолютно прав: глядя на этот текст, я вижу именно текст, и его качество вызывает во мне ощущение *боли,* пусть это и смешно, учитывая, о чем идет речь, — **ответственные посты?**

16 марта 1957 года

1. Во время беседы в корчме с неизвестным (В деревенской корчме неизвестных лиц не бывает! Уж это-то можно было сообразить?! С.) **я слышал, что список якобы был составлен по национальному признаку, но поскольку лицо это список не видело, то люди теряются в настоящее время в догадках, кто был в него включен — венгры, немцы, сербы или словаки. После 4 ноября в сельском совете было собрание, на котором обсуждалось так наз. дело о списке, но ни к какому решению относительно авторов или содержания этого списка участники не пришли.**

2. Что касается лозунга "В марте начнем сначала", то об этом разговоры были только в том смысле, в каком о нем говорилось в печати, а также по радио, кроме того, лозунг переиначили, дескать, "в марте нам врежут по новой". О каких-либо контрреволюционных приготовлениях я не слышал. 15 марта никаких нарушений правопорядка не было. Несколько случайных замечаний по этому поводу: "все это безответственная пропаганда", "пусть занимаются этим те, кто все это выдумал".

Чанади

Стоило мне написать "Чанади", как я осознал, что тоже пишу донесения. Донесение о пяти мышах[2]. Донесение о человеке. Ну, это уж слишком.

Пока что, вообще говоря, мой отец не опасен, он явно старается писать лишь о том, о чем они знают и так.

Заключение: Донесение должно быть гораздо конкретней. Агент еще только начинает входить в работу. Да, они тоже не идиоты. Видно, как они вынуждают своих людей давать как можно больше конкретики, не позволяя им блефовать. Что ж, посмотрим, как это у них получится.

Задание: Кто подготовил список и какой деятельностью занимались данные лица?

1. 15 марта 1957 г., в годовщину венгерской национально-освободительной революции 1848 г., по данным венгерских спецслужб, готовились новые выступления противников коммунистической диктатуры, но слухи об этой подготовке оказались сильно преувеличенными.
2. "Донесение о пяти мышах" — название новеллы Миклоша Месея, а также его одноименного сборника новелл (1967), передающего экзистенциальное самоощущение человека в период после подавления революции 1956 г.

23 марта 1957 года

Вот это уже конкретика. **По имеющейся информации, из жителей Чобанки в октябрьских вооруженных действиях в Будапеште принимали участие Л. Р., Т. и С.**

[Когда я переписывал это донесение, был во мне какой-то запал, чуть ли не упоение, я переписывал документы до потери пульса, не осмеливаясь заказать ксерокопии. Теперь я в некоторой растерянности. Понимаю, что есть в этом некий снобизм, но все же не умолчу, коль скоро было именно так: мне захотелось чего-то чистого, человеческой чистоты, и последние полчаса я читал Канта. Идея эта пришла мне в голову потому, что вчера один мой друг рассказывал мне: по телевидению шел какой-то слюняво-сентиментальный фильм о Гёльдерлине и он, не выдержав, вырубил телевизор и отправился читать "Гиперион". А все-таки хорошо, когда у человека есть друг. И есть Кант. — Смешно! Реальность, мог бы сказать я умудренно и по-писательски, создана не для описания, а для употребления. Или, как (приблизительно) говорил наш классик Миксат: женщина создана для любви, покуда она молода, и для мотыги на все остальное время.]

Как выяснится в дальнейшем, С. успел эмигрировать на Запад. Хорошо бы, если и двое других тоже. Но в любом случае это уже небезобидное донесение.

Задание: сбор дополнительной информации об указанных лицах. Посещение посольства Австрии. Ничего себе!

30 марта 1957 года

В Чобанке в ходе октябрьских событий с памятника героям войны была сбита красная звезда. Насколько я слышал, виновным является С. — зять Б. Ш., бывшего владельца щебеночного карьера. М-да, это уже не шумелки-пыхтелки а-ля Винни-Пух.

Заключение: Донесения агента становятся более содержательными. Между тем еще не прошло и месяца! Заключение — на обороте написанного почерком Папочки донесения. Составил его старший лейтенант Лайош Варга. **Чанади имеет блестящие возможности для сбора разведданных о враждебной деятельности затаившихся в Чобанке бывших хортистских офицеров, на разработку которых его следует в первую очередь ориентировать и нацеливать. К нам Чанади относится очень хорошо, и нам следует этим воспользоваться.**

... вашу мать! Как это понимать? Что значит "очень хорошо"? Мне хотелось бы верить, что его избивали до полусмерти и он вынужден был хоть что-то им сообщать. Но я в этом не уверен.

13 апреля 1957 года

Отец побывал в австрийском посольстве. **Агент выполнил поставленное перед ним задание, но ожидаемых результатов не добился. Новое задание — составить характеристику на жителя Чобанки А. Б.** Странное дело, кажется, в это время мы вернулись уже в Будапешт и жили в Ромаифюрдё. — Слово "характеристика" написано через "о", знаки препинания мне пришлось расставлять самому. Ну и страна!

20 апреля 1957 года

На клочке бумаги. **Донесение. А. Б. проживает в Чобанке, женат, имеет одного ребенка. Последнее время работал в Кишковаче, в госхо-**

зе, в качестве садовника, в настоящее время ездит на работу в Будапешт. Гм, не густо. Что-то я сомневаюсь, Папочка, что старший лейтенант Варга это проглотит. **Заключение: информация слишком краткая и немногословная, могла бы быть гораздо подробней, что было доведено до агента на конспиративной встрече.**

Ага, значит, были конспиративные встречи. "Было доведено до агента" — уж лучше б он написал, что его от...здили. Потому что, с одной стороны, попросту говоря, он это заслужил [что за идиотизм?! да, его отметелили, и поэтому он стал стукачом, а поскольку он стал стукачом, то заслуживает, чтобы его продолжали бить? отчего он станет еще лучше стучать, за что лупить его надо еще сильней! <А может, это не такой уж идиотизм?>], а с другой стороны, есть в этом что-то героическое! Или просто ему забивали башку всей этой лабудой, и вся эта чушь оседала в его гениальных мозгах... с.

27 апреля 1957 года

Контакты с бывшими офицерами — имена я здесь опускаю — **мною установлены либо возобновлены.** "Возобновлены контакты..." Гляди, как он насобачился в употреблении этих кретинских терминов! **По моей информации, в событиях октября-ноября никто из них участия не принимал. В ходе бесед с ними в качестве главной проблемы фигурировали вопросы выживания.** По совести говоря, эту фразу, коллега, можно было слегка шлифануть. **Задание: Углубление контактов, доклад о настроениях во время празднования 1 Мая.**

4 мая 1957 года

В Чобанке празднование 1 Мая состоялось в местном доме культуры при достаточно активном участии публики. Школьники читали стихи, с торжественной речью выступил представитель из райцентра. — Затем продавали гуляш по 6 форинтов порция. — Под вечер настроение поднялось еще выше, была даже потасовка (кажется, из-за женщины), в которой участвовал и оратор из райцентра.

Анекдот, граничащий уже с наглостью. Однако на этот раз наш старлей не ворчал.

12.32. Пора заканчивать. По аналогии с "отсидеть ногу" я "отписал" руку. Во второй половине дня мне нужно побывать в нескольких местах, и везде я буду весел и дружелюбен, как подобает, и буду радоваться встрече с приятными людьми.

9 февраля 2000 года, среда

С утра бормочу про себя: ну почему, почему?.. с.

Это не укладывается в мои представления о твоем отце. — Меня почему-то смущает, что и Гитта беспрерывно думает только об этом. А что, я должен был ожидать, что она в это не поверит? Сочтет, что я вру? Что я все придумал? Или возьмет и — как прежде бывало — изменит мир? Не изменит.

Мы разговаривали с Мартой о деле Тара[1], рассказывает Гитта, к которому Марта отнеслась весьма снисходительно, на что я ей заявила,

1. Имеется в виду писатель Шандор Тар, о котором осенью 1999 г. стало известно, что в 1980-е он, поддерживая связи с писателями-оппозиционерами, был секретным агентом кадаровской политической полиции.

что вовсе не обязательно было быть стукачом! Ведь не был же стукачом мой отец! И мой тесть тоже не был! — кричала я ей воинственно.

Вчера весь день работали с Ж. над "Гармонией". Один из самых прекрасных дней в моей жизни. Ее маскируемый строгостью профессионализм, предметная работа над текстом уже сами по себе, безо всяких слов, есть высокая похвала, касающаяся не столько моей личности, сколько выполненной мною работы; короче, я наслаждался.

Прекрасный и полноценный день. Ж. рассказывает, что на новом месте работы (какая-то государственная контора) ходят слухи, будто отец З. по поручению органов следил за евреями, намеревавшимися эмигрировать, и по его доносам их снимали с поезда. Правда, ей неизвестно, знает ли об этом З. Я слушаю ее с непроницаемым лицом — вылитый Бастер Китон. И думаю [как часто <еще как часто!> я думал об этом впоследствии], что должен вести себя так, чтобы после (когда вскроется правда, а точнее сказать, реальность) никто не мог упрекнуть меня, в том числе и Ж., если вспомнит об этой сцене, в лживости моего поведения. Кстати сказать, это тоже наследие кадаровской эпохи: коль скоро все было лживым, а это было именно так, то что можно было сказать о нас самих?

Contradictio in adjecto[1]: я и есть сама лживость. Ж. с. Великая Книга Фальши — не так ли писал критик Радноти о "Введении"[2]? Похоже, все мы пророки в своем отечестве. Ж. с.

А откуда там (в этой самой конторе) об этом узнали? — спрашиваю я безо всякого интереса, словно бы между прочим. (Я человек рефлексии, однако всему есть пределы.)

Об этом стало известно Ш., который занимался историей еврейских советов.

И он случайно наткнулся на этот документ?

Да, случайно.

Я, знаменитый своей дотошностью, начинаю лихорадочно рыться в рукописи, что-то пытаясь сверить. Так, выходит, если кому-то придет на ум заняться венгерской аристократией, он случайно может наткнуться на документы Папочки и, хотя конспиративное имя в них не расшифровывается (а досье о вербовке якобы было уничтожено <а если нет, то я с удовольствием с ним ознакомился бы, хотя сейчас, перед выходом книги, и опасаюсь что-либо предпринимать>), достаточно трех секунд, чтобы понять, кто такой этот Чанади. Или это не так просто? Должен признаться, что я с удовольствием сделал бы эти материалы закрытыми для исследователей. И даже, по утверждению М., имею на это право. Но сделать этого не могу, любой мой жест подозрителен. Даже сам факт, что я торчу в этом читальном зале. Перебор.

Какая грустная книга, говорит она мне немного спустя. Сколько страданий в ней. Страданий твоего отца.

Я тяжко вздыхаю и говорю: Я не знал (в горле у меня комок)...не знал, что он так страдал. С. Из-за с. я вскакиваю на ноги, дескать, приспичило в туалет. И мы оба тихонько хихикаем.

1. Противоречивое суждение, опровергающее само себя (*лат.*).
2. "Введение в художественную литературу" — опубликованная в 1986 г. книга П. Эстерхази, сделавшая автора одним из лидеров новейшей венгерской прозы.

Когда я вернулся, Ж., как бы безотносительно к моей личности, вдруг сказала, что, читая роман, она иногда плакала. Немного зная ее, я не думаю, что с ней это часто бывает. Это как раз то, что надо! восклицаю я бесшабашно, когда читатель глотает слезы и сопли — это мне по душе!

Ж. — очень тонкий редактор и критик, ей и в голову не придет отождествить, скажем, автора, то есть меня, с повествователем, и все же она постоянно говорит о "моем отце". Когда я обращаю на это ее внимание, она просто пожимает плечами. Сначала меня это удивляет, и лишь постепенно я понимаю, насколько точен этот ее жест с точки зрения поэтики.

Послушай, а ведь это потрясающая сцена, когда твой отец и проч.

Ангел мой, надменно отвечаю я, все так, только это цитата оттуда-то и оттуда-то. На лице ее изумление, ага, говорит она, чуть подумав, так значит, сцена с пожаром оттуда же... Да нет, эта сцена, насколько я знаю, реальная. И тут начинается игра, когда она пытается угадать, где вымысел, а где правда, при этом (к моему удовлетворению) довольно часто попадая пальцем в небо.

Да нет же, клянусь тебе, это чистая правда! Но она лишь отмахивается и смеется.

На прощание я обнимаю ее, обнимаю долго и с благодарностью. Как многим я ей обязан. Мне кажется, она влюбилась в моего отца. <Вчера, по случаю именин Доры, позвонила, наверное, самая гениальная из моих так называемых танти. С каким удовольствием я прочитала бы еще раз твою книгу, да только я уже не могу читать. Но когда читала, то сразу опять влюбилась в твоего отца. И это уже не в первый раз. Стоило мне его только увидеть, как — бац! — сразу влюблялась в него. Короче, держитесь, собаки, как он завещал...>

Эх, хорошо было бы все *это* опубликовать не сразу. Дать бы отцу еще некоторую отсрочку, лазейку, фору, пусть полюбят его и другие, пусть полюбят его во всем мире, пожалеют, поплачут над ним, пусть сначала оценят его, а потом уж оплевывают. С. [С.] [На меня накатывает невероятное, сотрясающее все тело рыдание, и, как это ни смешно, я отворачиваюсь от стола, чтобы не заляпать тетрадь...]

10 февраля 2000 года, четверг

Жду отца.

По дороге в Архив (а шел я со стороны площади Героев) в очередной раз взглянул на печально известное здание, что на проспекте Андраши, 60, до недавнего времени Управление госбезопасности, а до этого, в годы войны, резиденция венгерской фашистской партии. Обыкновенное будапештское здание, ничем особенным не выделяющееся. Кроме запаха крови, приходит мне в голову.

Вчера Ж. рассказывала, что однажды, не так давно, встречалась с Папочкой, когда он принес в издательство какой-то перевод. Но о том, кто был этот "достойный внимания" мужчина, ей сказали потом, и она очень сожалела, что упустила возможность с ним познакомиться.

[Только что получил по почте рецензию о романе, часть которой я здесь воспроизведу. До чего же все это смешно; не хочется быть богохульником, но это юмор Всевышнего, точнее, некая Гениальная Шутка, лишенная юмора. Ибо юмор — качество человеческое. С другой стороны, что

значит быть человеком, я заново постигаю только теперь. “Новая книга П. Э. — да будет позволено мне сказать несколько громких слов — это роман о гармонии, взаимопонимании и мире. Роман, создающий дружественные, непротиворечивые отношения между вещами, мирами, фразами. Между правдой и фальшью, историей и историями, романом и книгой. Между отцом и сыном. Воплощение этой гармонии и есть душа этой книги”. Вот почему потребовалось “Исправленное издание” — книга, которую вы сейчас читаете.

Отец у вас был просто фантастический, признался на днях В., который тоже прочел роман. Я искренне и привычно кивнул ему в ответ. И боюсь, что при этом еще улыбнулся.

А вчера в интервью на вопрос о том, в чем сложность работы, которой я занят сейчас, я ответил: в том, что самым тщательным образом мне нужно расставить все по своим местам, отделив в душе любовь и презрение. И добавил, что концентрации это требует невероятной. — Что верно, то верно...]

1 июня 1957 года

Донесение о том, кто в период революционных событий вступил в национальную гвардию. Шесть имен. Из них один в заключении, другой был убит в ноябре, двое эмигрировали. Но двое все же остались! Затем следует список фамилий бывших офицеров армии, полиции, жандармерии. Как сказано в “заключении”, слишком краткий. К тому же слишком “порядочный”. **В контрреволюционных событиях участия не принимал, в течение всего времени оставался дома... Страдает пороком сердца.** Или: **занимается пчеловодством.**

<Кстати, чтобы напомнить, в каком мире мы жили/живем: за неделю до этого, 23 мая, были арестованы бывший президент республики Золтан Тильди, государственный министр правительства Имре Надя Иштван Бибо, нынешний президент республики Арпад Гёнц. Правда, одновременно, как сообщает историческая хроника журнала “Беселё”, на той же неделе венгерское радио начало получасовые передачи на религиозные темы.>

К этому времени мы уже точно жили в будайском районе Ромаифюрдё, ибо следующее свидание с офицером-куратором состоялось в кофейне “Фень” в 11 утра в день Петра и Павла. Интересно, как ему удавалось ходить в кафе по утрам?! **Задание: Агенту поручено собрать сведения о поведении и контактах С. У.** При слове “агент” меня охватывает невольное возмущение (или, если быть терминологически точным, в мозги шибает моча), какого хрена он обзывает агентом моего отца, пускай своего обзывает, коммуняка вонючий! Ж. с., с. М-да, вообще-то это удар — поливать коммунистов отныне мне будет не очень удобно. Или наоборот? Точнее, мне теперь ясно, что поливать их нет смысла (в чем я и так был всегда уверен).

<В связи с коммунистами и моим отцом мне приходит на ум — не составить ли список казненных в течение 1957 года? 19 января казнен Йожеф Дудаш, руководитель Национального революционного комитета, казнен также Янош Сабо (все звали его дядя Сабо), руководитель повстанческой группы на площади Сена, 26 июня казнили Илону Тот, Миклоша Дёндёши и Ференца Ковача, 20 июля, после процесса о массовых беспорядках в Мишкольце, — Гезу Балажа, Ласло Г. Тота, Золтана Саса, Ласло Лендела, Ференца Комьяти, Дежё Шико и Золтана Надя, 12 авгус-

та покончил с собой находившийся в предварительном заключении председатель Задунайского национального совета Аттила Сигети, 10 декабря казнен майор Антал Палинкаш (Паллавичини), бывший участник антифашистского сопротивления под руководством Байчи-Жилински, тот самый Палинкаш, который в дни революции доставил в Будапешт находившегося под домашним арестом кардинала Миндсенти, 21 декабря при сознательном попустительстве властей умер в тюрьме объявивший голодовку министр правительства Имре Надя Геза Лошонци, 30 декабря казнен Ласло Иван Ковач, первый командир группы сопротивления, располагавшейся в переулке Корвин, а 31 декабря к смертной казни приговорены участники народных возмущений в Мошонмадяроваре Арпад Тихани, Лайош Гуяш, Имре Жигмонд и Антал Кишш.>

Как раз в день моих именин куратор получил донесение о С. У. — ничего интересного и ничего негативного. Интересно мне только, успел ли он прибыть на праздничный ужин и сколько, одну за другою, осушил по дороге рюмок, чтобы забыть о кафе "Фень", кураторе и о самом себе. [Сказал Гитте, что собираюсь составить список всех тех кафе, куда гоняли моего отца на встречи с этими... А может, он уже существует, если же нет, Петер Лендел и Имре Кертес, истинные знатоки Будапешта, возможно, смогут помочь, и тогда посещу все эти заведения, выпив в каждом по пятьдесят грамм чего-нибудь, а потом — на такси и домой. Естественно, я буду пьян, меня будет тошнить, и ты положишь мне на лоб мокрое полотенце. Положу, конечно, просто отвечает мне Гитта.] <Акция по причине не подчиняющейся мне спины отложена...>

<4 июля 1957 года под влиянием протестов мировой общественности отменен смертный приговор писателям Дюле Обершовскому и Йожефу Гали; Президиум ВНР заменил его на пожизненное заключение.>

13 июля встреча была назначена в кондитерской "Паризер". В донесении речь идет о бывшем капитане жандармерии: **На мой вопрос о его участии в октябрьских событиях он ответил, что в течение двух дней был командиром отряда национальной гвардии, пытаясь противодействовать наплыву хулиганствующих элементов, однако сложил с себя полномочия, видя, что народ пьет и "безобразничает".**

Папочка представляется мне теперь какой-то куклой-марионеткой, которая разговаривает с людьми для того лишь, чтобы потом написать эти никчемные, в несколько жалких строк, донесения, никчемные уже в том смысле, что содержат сплошные банальности. Короче, туфту.

Но это не так. [Донос никогда не бывает бессодержательным. Совершенно пустым. Даже если в нем ничего нет, он все же о чем-то говорит. — Более четверти века назад я написал "Шпионскую новеллу", в которой, не знаю уж как меня угораздило, попал прямо в глаз: "Что конкретно в доносе содержится — дело второстепенное. Главное — чтоб *содержалось*. А уж пришить пинжак к пуговице — это, брат, мы всегда сумеем". Помню, этот "пинжак" мне трижды приходилось восстанавливать в корректуре.]

Задание: Следующее задание не получил, так как передан на другой участок. Перебрасывают, стало быть. Вместо Варги на этот раз дважды, 7 и 10 сентября, в кондитерской "Паризер" с отцом встречается лейтенант Иштван Тулнер (новая метла).

10 сентября 1957 года

День рождения моего младшего брата Д. **Докладная записка. Докладываю, что сегодня провел встречу** (в этот момент к моему столу приближается Д. [не мой брат!], и я утыкаюсь в досье, якобы не замечаю его, я весь — одно большое "якобы"; переписывание этих текстов похоже на монашескую епитимью; как бусины четок перебирая с тоской слово за словом, я продираюсь по беспросветной жизни своего бедного, бедного отца; какие, однако, это разные вещи — представлять и воображать себе что-нибудь и ощутить своей шкурой, что так оно на самом деле и есть!) **с агентом Чанади. Никаких донесений на этой встрече агент снова мне не представил. На мой вопрос он ответил, что не видел необходимости фиксировать наблюдаемые им явления, ибо статья, опубликованная в сегодняшней "Непсабадшаг", вполне соответствует тому, что он видит в окружающей жизни.** Остроумно, смело и даже нахально! Похоже, он решил отвязаться от них. Первый испуг прошел, и он оклемался. Но передо мной — еще три досье, так что можно представить, чем кончилась эта попытка. **Такое заявление агента не соответствует действительности, поскольку в его окружении имеются лица, которые, исходя из прежних сигналов, по ряду вопросов занимают принципиально иные позиции.**

Я обратил на это его внимание. Интересно, каким же образом? "Позвольте обратить ваше внимание..." И вообще, они были на "ты" или на "вы"? **В ходе встречи я пришел к выводу,** тут после перекура мимо меня возвращается Д., но еще до этого я, проявив чудеса находчивости, положил на досье лист бумаги, чтобы он не заметил номер архивного дела, — чертовски трудно бояться, не ведая, кто представляет опасность, так что боюсь всех подряд, — лист бумаги от приоткрытой двери приподымается на сквозняке, и я ловко прихлопываю его блокнотом: до чего ж утомительное это дело — страх, **что агент всеми способами уклоняется от подачи письменных донесений, не желая себя компрометировать. Таким образом, вербовка, на мой взгляд, прошла недостаточно основательно, агента держали на слишком длинном поводке.** Вот сука! С. **Считаю необходимым в ближайшее время заняться агентом более основательно.**

На длинном поводке: как собаку, что ли? Выходит, не зря возникает мотив собаки в моей "Прощальной симфонии"? О том, что в Центральной (Восточной) Европе интертекстуальность выглядит именно так, я (в принципе) знал и прежде. У вас мания преследования, оттого что вас преследуют. Ему тогда было тридцать восемь, мне столько было в 1988-м. Детей было четверо: семи, шести, четырех лет и одного года, у меня в том же возрасте — тоже четверо: тринадцати, одиннадцати, шести лет и одного года. Но, как говорит поэт, наряду с различиями имеются и другие сходства.

В донесении от 23 октября — короткие, в пару строк, характеристики аристократов, в том числе на дядюшку Д. Б., я помню его — милейший человек, ласковый, немного похожий на режиссера Готара; мы были у него несколько раз на пляже "Беке". И точно, агент сообщает: **в настоящее время работает лодочником на Римской набережной, на пляже "Беке", там же и проживает, политически абсолютно пассивен.** О нем же, 7 октября: **Когда я посетил его снова, он как раз собирался куда-то, поэтому я пригласил его к нам, он обещал быть в конце прошлой недели, визит, однако, не состоялся.**

Или все-таки не такой уж он и марионетка? Живет своей жизнью, приглашает к себе друзей (?!?) якобы для того, чтобы можно было потом отчитаться? В признании Чурки[1], пожалуй, самое неожиданное было то, что он стал завсегдатаем ипподрома, в сущности, по приказу. Что эта часть его личности (и имиджа) — легкомысленного игрока, пижона (то самое, что так привлекало в его ранних новеллах) — была выдумана, хотя бы отчасти, в недрах органов безопасности. Возможно, не стоило бы в этом контексте упоминать имя Гейзенберга, но наблюдение явным образом меняет самого наблюдающего.

26 октября опять в кафе "Мювес". Итак, 21, 23, 26-го, бог ты мой! А мы-то все ждали его, невольно испытывая тот ужас, который передавался нам от Мамочки. Это запуганное ожидание: будет ли он навеселе и, если да, то в какой степени. "Вчера видели твоего папашу — спал в электричке". **Донесение агента слишком коротко и бессодержательно. Состоялся подробный разговор о его дальнейшей работе.** Старик пытается вырваться, но все это безнадежно. [Я много читал о штази, почти все они, словно бы оказавшись в творческом кризисе, рано или поздно тоже пытались, но страх, угрозы, покорность помогали преодолеть кризис. Или все же — но очень редко — их отпускали.] **В качестве задания агенту поручено дать подробные характеристики на своих близких знакомых.** Очень похоже на тренировку. Это я хорошо запомнил: десять раз до штрафной, потом два раза до центра поля и еще четырехсотметровка. Язык на плече. Не знаю, кто может это выдержать? А потом то же самое еще раз.

1 ноября, 8-го, 12-го. Ну это уж слишком. Да дайте же ему отдохнуть немного. Хоть на время отстаньте от Папочки. <С.>

В декабре у нас появился новый лейтенант, зовут его Шандор Вёрёш. (Красивое имя. — Я еще смотрю на них всех снизу вверх, хотя непонятно, уж мне-то с какой стати? Рефлекс?) **Заключение: Связи с К. Л. агенту поддерживать неудобно, так как приходится ездить к нему в Леаньфалу из Пешта.** На К. Л. открыто личное досье, вот они и форсируют. **По мнению агента, К. Л. не испытывает к нему доверия.**

Мимо проходит Д., закончил работать. Я пишу (эти самые строки), лишь бы не поднимать головы. Мне кажется, он все знает.

25 января 1958 года

Слава богу, хотя бы на Рождество его оставили в покое. <9 января казнили профессора классической филологии Арпада Брусняи, а 15-го — вторую группу из осужденных по делу о беспорядках в Мошонмадьяроваре: Габора Фёлдеша, главного режиссера дьёрского театра им. Ш. Кишфалуди, Ласло Вейнтрагера и Лайоша Цифрика.> Семья собралась, как обычно и как собирается по сей день; читали рождественские молитвы, пели, жгли бенгальские свечи; двое моих младших братишек еще верили, что елку приносит в дом Боженька, а мы с Дёрдем, хотя и неохотно, уже кое-что подвергали сомнению. Хранили свою невинность и елку наряжать отказывались. Папочка обворожительно играл на рояле "Stille Nacht". Чтобы доставить удовольствие Мамочке, весь декабрь он

1. Иштван Чурка — венгерский прозаик и драматург, с конца 1980-х политик праворадикального толка, уличенный в сотрудничестве с кадаровской политической полицией.

заставлял нас зубрить слова. „Alles schläft, einsam wacht, nur der heilige"[1], орали мы, неимоверно фальшивя (фальшивил я) и не уставая поражаться, как здорово он играет. Я до сих пор вижу перед собой его пальцы — огрубелые от работы, сильные, — летающие по клавиатуре. Не Гленн Гульд, конечно, но все же — непобедим! **Заключение: Необходимой для нас работой агент заниматься не в состоянии, поскольку, уехав из села Чобанка, не может поддерживать контакты с интересующими нас лицами или может, но крайне нерегулярно.**

Поехать ему все же пришлось <тем временем 5—6 февраля в специальном изолированном помещении тюрьмы на улице Фё началось секретное судебное заседание по делу Имре Надя и его сообщников; а 18 февраля Президиум ВНР своим указом разрешил деятельность довольно широкому кругу мелких предпринимателей, начинается кадаровский "нэп", мир мелкого бизнеса, и как раз в это время обжаривается лучок для гуляш-коммунизма, короче, "репрессии плавно перетекают в консолидацию">. **В соответствии с полученными распоряжениями я прощупал их мнение по вопросам внешней и внутренней политики.** Дальше с тоскливой унылостью повторяются заключения, замечания, указания. **При посещении данных лиц агент, в свою очередь, должен пригласить их к себе.** — Не припомню такого.

24 апреля 1958 года

С оперативной точки зрения донесение интереса не представляет, поскольку речь в нем идет о семейных проблемах. Ну прямо как какая-нибудь бездарная рецензия на мою "Гармонию". **На данной встрече агент был передан** как сирота! или коробка конфет! **капитану Тоту, который использует его на другом направлении.** Мать честная, нам дали капитана! <В этот же день был казнен Йожеф Силади из группы Имре Надя.>

Первая встреча с Тотом (дату я записать забыл) в кафетерии "Сигет". В донесении есть такая полуфраза: **...с ним меня познакомил мой отец.** "Мой отец" — как дико это звучит в данном тексте. Как провокация, как скабрезность. Он хочет сказать, что его отец был (и остался) человеком исключительной порядочности. Я тоже в последние десять лет нередко использовал этот прием. Но чтобы и он!..

Капитан Тот недоволен: **Агент по-прежнему поставляет неудовлетворительные, поверхностные донесения.** Кстати, когда-то в этом же упрекали и меня: "Глубже, глубже!" — "Но куда глубже, если мы на мели?!" Прошу прощения: перо повело не туда. **Однако приглашать его на конспиративную квартиру пока что рано, поскольку он недостаточно проверен.** Вот это и есть малая венгерская порнография[2] в чистом виде!

Слава Богу, пока ни одно из наших донесений не повлекло за собой так наз. оперативных мероприятий.

6 мая 1958 года

На сей раз пишет товарищ Тот (наш капитан). О том, что мы опять не представили сводку о настроениях, мотивируя это тем, что доклады-

1. Искаженная строка известной немецкой рождественской песенки "Stille Nacht, heilige Nacht" ("Тихая ночь, святая ночь").
2. "Малая венгерская порнография" — роман П. Эстерхази.

вать не о чем, что мы нигде не были, ни с кем не встречались. (Вообще-то отец был дома, кропал что-то на машинке, гонял с нами в футбол, добывал мозговую кость для супа. Короче, жил!) Похоже, мы все еще кочевряжимся. По-настоящему нас еще не достали. А может, по-настоящему-то и не достать?

Затем я провел с ним беседу, в ходе которой было установлено, что означенное лицо не участвует в широкой общественной жизни, а со времени женитьбы, заимев четырех ребятишек, значит, наш Тот — деревенский, **из которых все еще малые, нигде не бывает. Отчасти потому, что с дитями они никуда не хотят "врываться"** (выражение моего отца), **а с другой стороны, пойти в одиночку мужу или жене невозможно.** Потом ситуация изменилась, и мужу стало возможно; на сей счет — и вообще относительно расширения связей — Тот снабдил его рядом советов.

Меня снова охватывает нетерпение, какие-то коротенькие отписки, сущая ерунда, 20 мая, 5 июня. Одна из встреч — в кафе "Сигет", в 8.30 утра. Рано, однако, начинался его трудовой день! **На встречу явился без письменного донесения!** Однако на этот раз Тот не стал выражать неудовольствия.

С поставленной задачей агент справился только частично, поскольку заболел его сын, а затем и жена. Я мог бы писать ему записочки, точно такие же, какие он писал мне, когда я пропускал занятия. Три основных версии: головная боль, легкое недомогание, носовое кровотечение. [Я вдруг подумал о внезапной смерти: бац! и помер. Ну нет. Получится банальный роман, а мне нужно завершить именно эту книгу! Ж. с.]

Примечание: Агент представляет очень поверхностные донесения. Поэтому встречи должны быть организованы таким образом, чтобы имелась возможность проводить с ним работу и заставлять его переписывать донесения. Кроме того, поскольку он зачастую выполняет порученные задания, но не дает письменного отчета, следует заставлять его фиксировать результаты в письменной форме. В этом мы полная противоположность. Я фиксирую все. Потому что мое задание как раз в этом и состоит. О-о-о! **Планируемые мероприятия: Установить контакт с оперработниками III-го района Будапешта и договориться о проверке агента** — ура! значит все-таки нас прослушивали?! пардон! — **и круга его общения, поскольку он проживает на их территории. Задание:** отправиться на панихиду по князю Миклошу Эстерхази (свою фамилию я все же буду выписывать полностью). Эк они озаботились о семейных чувствах! Основа общества — она и в аду основа общества! **Посредством этого мы сможем определить круг проживающих в Венгрии родственников и близкое окружение семейства Эстерхази.**

<Тем временем, между двумя донесениями, был завершен судебный процесс Имре Надя. Коллегия Верховного суда под председательством Ференца Виды, с участием народных заседателей Петерне Лакатош, Дёрдя Шуйяна, Калмана Фехера и Михая Биро провела завершающую часть слушаний по ранее отложенному уголовному делу. Представителями обвинения выступали прокуроры Йожеф Салаи и Миклош Береш. Суд приговорил: Имре Надя — к смертной казни, Ференца Доната — к двенадцати годам тюремного заключения, Миклоша Гимеша — к смертной

казни, Золтана Тильди — к шести годам тюремного заключения, Пала Малетера — к смертной казни, Шандора Копачи — к пожизненному заключению, Ференца Яноши — к восьми и Миклоша Вашархейи — к пяти годам тюремного заключения. 16 июня смертные приговоры приведены в исполнение.>

Задание выполнено, отчет о траурной мессе, **но событий, которые могли бы нас заинтересовать, упомянуто не было.** Далее следует — **довольно поверхностный** — список знакомых отца, много знакомых имен, дядя Оси, П. В. Это было 25 июня, а 2 июля домашнее задание он не выполнил — и чего ты их не пошлешь куда следует?! — но состоялась устная беседа, которую Тот зафиксировал. О дяде Й. Л. (ничего особенного) и о том, что агент с сыном (ау, это я!) побывал в Помазе у тети Э. Ш. (помню, помню) **с тем, чтобы разместить рибенка** (sic!) **у ние** (sic!) **на лето.** Ш., по сведениям Тота, обладает широким кругом знакомств, и агент мог бы здесь собирать информацию о многих лицах (это мысль!). С агентом, по мнению Тота, следует еще основательно поработать, агент боится письменных донесений. Боится... <Эдип боится своей матери.>

Ха-ха, на этой же странице разнос Тоту устраивает его начальник: **Агент боится не письменных донесений, а просто не хочет работать. На конспиративную квартиру приглашать его запрещаю. Нужно найти другую возможность, чтобы он писал под контролем.**

Завтра продолжу, сейчас мне пора уходить. — По дороге домой, в электричке, держа тетрадь на коленях: когда-то И., моя дальняя тетушка <та самая, которая, прочтя "Гармонию", призналась, что снова влюбилась в моего отца>, рассказывала, кажется, что одно время отца моего упрекали в том, что он заключил компромисс с режимом. Как я думал тогда, в вину ему ставили то, что в 56-м он не покинул Венгрию, что пошел работать в "Rundschau", то есть повел себя столь же практично, как и вся страна: дескать, что остается делать? Теперь же есть ощущение, что, возможно, они знали об *этом*, но поскольку перенести это было невозможно, решили опустить завесу молчания? Я же в своем максимализме и проч. пытаюсь грубо ее разорвать? Мне уже кажется, что не стоит это публиковать. Или наоборот, нормальным было бы опубликовать, показав пример гражданского мужества? Только этого мне не хватало — чтоб меня обвиняли в стремлении быть примером! — А, черт, забыл прокомпостировать билет. (Пронесло, контролер зацепился с кем-то языком...)

Светит солнце. А солнце обычно напоминает мне о футбольном поле, о любительском стадионе "Чиллагхедь", о наших болельщиках. Дядя Бела, господин Пек. Как же они уважали моего старика! Да и на нас, его сыновей, смотрели не так, как на остальных! Не знаю, что они видели в нем такого особенного? Любили его многие, и многие уважали, включая автора этих строк. (Сострил, называется.) Не знаю, надо бы с кем-то поговорить о принципах мироздания.

Добравшись до дому, я падаю замертво и засыпаю. Просыпаюсь же от того, что с губ моих срывается фраза: "Да будь она проклята, всякая диктатура!" Одно только чтение и то выбивает человека из колеи! Я в гэбэ хожу только читать, но вся жизнь моя связана только с этим, все остальное я не воспринимаю, не знаю, на какой планете живу, все остальное не имеет для меня никакого значения. А как вся эта история выбивала из колеи его — это же постоянный напряг, еженедельные

встречи со всякими говнюками, беседы, допросы, переписывания донесений, поездки куда пошлют? Ничтожество, о котором идет речь в романе, было не таким уж ничтожеством, о настоящем ничтожестве я узнаю сейчас. И делать все это (жить, растить нас) без малейшего внутреннего удовлетворения! Во время ссылки, хотя условия были суровые, можно было держаться ощущением нравственного превосходства (да, я об этом уже говорил, но ничего), а теперь ты — кусок дерьма, круглый ноль, ты предал себя, свои принципы, свою страну и даже свой класс — чем же тогда держаться? О боже!

11 февраля 2000 года, пятница

Берусь опять за досье; как складывается судьба моего отца? По-прежнему 1958 год, я учусь во втором классе. Классной руководительницей у нас была тогда "тетя Виола". Не так давно, прошлым летом, я столкнулся с нею на набережной Дуная (приняв решение ежедневно прогуливаться до реки, я через полтора года наконец впервые осуществил его <недавно я принял его еще раз>; моя учительница гуляла с мужем; они не знали, что Папочка умер. (Неужто я не послал им извещение?) Узнав печальную весть, они недовольно покачали головами. Я готов был просить у них прощения, дескать, я в этом не виноват, в этом виноват не я, на что они могли бы ответить словами Камю: человек всегда хоть немного, но виновен.

А как гордился тобой твой отец! неожиданно сказала тетя Виола и улыбнулась. Теперь покачал головой я. Мне и раньше уже говорили, что отец якобы гордился моими книгами; но от меня он это скрывал.

Я тоже горжусь им, ответил я, также несколько неожиданно, тете Виоле; она говорит мне "ты", я с нею на "вы", и это уже навсегда; точно так же, как навсегда я останусь ей благодарен и никогда не забуду, какими глазами смотрела она на меня, когда я был восьмилетним мальчишкой; от этого взгляда во мне возникало чувство, что я... ну, по меньшей мере, достоин любви. Да, горжусь, повторил я.

14 февраля 2000 года, понедельник

Спешу в Архив. (Ну чем не роман воспитания: мне больше не хочется говорить "в гэбэ", и кроме того — если только не будет слишком веских причин — свои всхлипы типа "... вашу мать!" обещаю заменять выражением "тысяча чертей!".) По дороге читаю Чорана. Почему Чорана? Да просто книжка удобная, входит в карман.

Читаю о прощении. О том, что, конечно, можно простить врага, но, как говорит Мориак, невозможно *забыть*, что ты простил его. Нет ничего более непроясненного, чем то, что мы называем прощением.

Я работаю против забвения. Мне хочется, чтобы дело Папочки не забыли, а, напротив, запомнили. Прощения я не хочу. (Если б хотел — умолял бы, на коленях ползал. Если б это хоть что-нибудь изменило.) Так чего же мне нужно? Ну... чтобы все это... было видно. Чтобы выяснилось, *что* было в действительности, а в действительности, как выяснилось, было *это*.

17 октября 1958 года

В половине третьего у Базилики. <В этот день и на следующий арестовывают интеллигентов, примыкавших к бывшей партийной оппозиции, — Ференца Мереи, Шандора Фекете, Андраша Б. Хегедюша, Гертру-

ду Хофман, Имре Келемена, Дёрдя Литвана.> **Осв-ль** (осв-ль — это мой отец, то есть то, что от него осталось!) **выполнил задание не так, как мы с ним условились. В задачу входило не только перечисление лиц, но и их характеристика, однако он этого не сделал. Во время встречи обсудить это не удалось, поскольку она состоялась на улице, в людном месте, к тому же шел дождь.** Ха-ха! **Задание: Я разъяснил ему еще раз, как можно узнать мнение человека о том или ином вопросе.** Эх, непростая это профессия! **Он заверил меня, что все понял, и мы расстались.** Ну как в школе. Ваш сын ведет себя на уроках невнимательно, упорно мешает другим.

Старика прижимают к стене. Вот когда ему пригодилась бы любая помощь — сил земных ли, небесных или любых других.

Тут же подшит **"План работы с агентом"**, составленный Тотом 20 июня 1958 года. **Главное управление милиции МВД. Отдел политических расследований. Отделение V. — Агент завербован 23 февраля 1957 г. капитаном милиции т. Ласло Шюмеги.** !!! — Посмотреть в газетах, взошло ли вообще в этот день солнце — в день падения, в день погибели моего отца, накануне его именин, дня Матяша?

<22 ноября 1958 года

Казнен молодой парень из Ференцвароша Ласло Онештяк (повстанческая группировка Гёндёра).

28 ноября 1958 года

Казнены Золтан Галгоци, Йожеф Надь, Лайош Ваш, Эржебет Шалаберт, Альберт Лахки, Йожеф Бургермейстер и Габор Шимон, приговоренные к смертной казни по делу о самосуде на площади Кёзтаршашаг.

1 декабря 1958 года

Казнен Иштван Андял, приговоренный к смертной казни по делу о группе повстанцев с ул. Тюзолто.>

17 февраля 1959 года

Примечание: Осведомитель выполнил задачу не так, как планировалось, встреча с Л. произошла спонтанно, однако и эта встреча дала ценные результаты... По сообщению осв-ля, Л. — не враг. Заключение: Информация представляет определенную ценность и может быть использована при вербовке Й. Л.

Вот она, западня в чистом виде. Напишешь "враг" — значит, настучал, напишешь "не враг" — значит, дашь материал для вербовки. Выход один — не писать ничего! (Эх, чья бы корова мычала...)

24 марта 1959 года

13.00, зал ожидания Западного вокзала. **Агент не справился ни с одним из порученных ему заданий. Ссылается на то, что он не нашел искомое лицо, а также ссылается на болезнь жены.**

На следующий день ему исполнится сорок. Сорокалетний мужчина! Бог мой! Мы в расцвете сил, кое-что уже сделано, но многое еще предстоит, легкая меланхолия, ибо уже видны наши возможности, масштабы, словом, момент значительный. И что же мы вместо этого видим? Побитого шелудивого пса, с поджатым хвостом крадущегося вдоль плетней.

Сейчас я ощущаю себя скорее в позиции читателя, а не писателя. Читаю эту, мягко выражаясь, дрянь и переписываю ее в тетрадь. Я все еще как бы чего-то жду — не пробуждения, нет, просто, быть может, я наконец хоть что-то пойму. А впрочем, я почти уверен, хотя и сопротивляюсь этой уверенности, что ничего не произойдет, будут попытки как-то увернуться, будет смирение, будут мелкие в каждом конкретном случае мерзости, составляющие в целом одну большую. И не будет никакого объяснения, а будут лишь унижение и позор.

<Миклош Янчо спрашивает, над чем это я так остервенело работаю. Над небольшим романом, легким и развлекательным; как обычно: свобода, любовь, ухмыляюсь я, но, видимо, несколько судорожно, потому что старина Миклош долго и пристально глядит мне в глаза, потом кивает и гладит меня по щеке. Ну да, говорит он, это было заметно уже и в "Гармонии".>

31 марта 1959 года

Наводил (в соответствии с указаниями) справки об Ф. Х. у жены В. П. А также у Ирмочки. Выяснил, что Ф. Х. живет в Пилишчабе. **Осведомитель пытался выполнить полученное задание... В ходе беседы он просил нас проинформировать его, кто из аристократов живет в Пилишчабе, поскольку он мог бы собрать через них больше сведений.** — Уже проявляет усердие! Новая ступень: он впервые активен, играет роль не безвольно, в силу неодолимых обстоятельств, а деятельно, с желанием. Как сотрудник. Здесь впервые он — их коллега.

Следующая встреча — в 13.00 у Западного вокзала в день моего рождения. А я-то еще обижался и изумлялся, почему он опаздывает, почему явился поддатый и, осклабившись, разом задул все девять свечей на торте. Вот так это делается, пацан, с гордостью сказал он.

Когда я упомянул об этих частых конспиративных встречах у Западного вокзала, Гитта вспомнила: дядя Фрици как-то рассказывал ей, что видел старика недалеко от вокзала на бульваре Св. Иштвана — пьян был в дым, едва держался на ногах. Теперь об этом придется думать немного иначе, чем прежде.

28 апреля 1959 года

Впервые на квартире. Обычная мутотень, у Х. интересовался относительно Y, у Z. — относительно V. Капитан доволен, **осв-ль весьма кстати проинформировал, что недавно гостившее у него лицо из Вены проявило интерес к следующим лицам...** — Что за идиотизм?! Толкут воду в ступе. Хотя... Само по себе отдельное донесение может быть совершенно пустым, но в совокупности они все же дают некоторую информацию. Велико искушение считать их кретинами, которые переливают из пустого в порожнее, заставляют писать совершенно бессмысленные донесения, оценивают их и проч. Нет, нет, все это не бессмысленно, все это — не пустое.

7 июля 1959 года

Я условился с осв-лем, что посредством обычной переписки он поинтересуется у своей младшей сестры, где она будет находиться во время Всемирного фестиваля молодежи. Дело в том, что означенная до 1956 года являлась агентом органов.

М-м-м! Нет, нет, нет. (Какой же брутальной и беспощадной может быть обычная фраза. С перепугу у меня едва не остановилось сердце. А ведь я давно знал, тетя сама рассказывала, что в лагере Киштарча, куда она была интернирована – просто так, ни за что, – ей предложили подписать некую бумагу и она подписала, и рассказывала потом об этом как о деле вполне пустяковом, но неизбежном. Не так давно о "прекрасных деньках в Киштарче" был снят телефильм: встреча бывших зэков с бывшими охранниками. Весьма драматичное зрелище. Глядя на свою тетю, ее мудрое и безукоризненное поведение, я испытывал гордость. Эти качества были не просто личным достоинством. Я увидел вдруг, что она – дочь моей бабушки (и дедушки).(Это уж слишком. Я не знаю, что с этим делать... От удара, который мне нанесла эта фраза, я забыл, что знаю об этом, знаю, что это ложь. Ну и система, ну и дерьмо!.. Словом, это пустое. Но, глядя на небрежное, для самого Тота совершенно второстепенное утверждение (которое родилось опять же благодаря деятельности моего отца), я могу только выть и стонать, испытывая даже не боль, а нечто граничащее с потерей сознания.

25 августа, 5, 29 сентября, 13, 29 октября 1959 года

Прощаясь, я повторил приглашение, добавив, что к тому времени, возможно, добуду для ее мужа какой-нибудь перевод. Должен заметить при этом, что последнее обещание было дано не всерьез, поскольку в области перевода все еще продолжается "мертвый сезон". Ах, дяденька пошутил...

Мне вдруг приходит на ум: я опозорю, вываляю фамилию Эстерхази в грязи. Это уж несомненно. Но если смотреть исторически – к чему я теперь не способен, – то от фамилии не убудет.

И другое: не должен ли я отказаться от "Гармонии"? Не могу, не осмеливаюсь, не желаю. Сама мысль об этом – мысль лживая.

У нас в гостях дядя Й. Л. с женой. До чего же ты мне надоел, папуля. **Принимать меры не требуется.** Все эти приглашения – какая-то жуть, как будто наша квартира была паутиной, а гости – мухами. Бедная Мамочка, эти ее изощренные и вкуснейшие сандвичи, фаршированные гренки (гениально!) и грибочки под маринадом... кто бы подумал, что все это тоже служило тайной полиции!

Требуется выяснить. Выяснил (фигурант проживает у одного инженера на бульваре Св. Иштвана, с женой давно разошелся, поскольку та психически нездорова). Требуется поехать. Съездил. **Приложение: 4 ж/д билета.** О боже, нам, кажется, компенсировали расходы.

10 ноября, 12 декабря 1959 года, 3, 12, 15 января 1960 года

...Коротенькие донесения на папиросной бумаге. Нормальной, видимо, жалко. Я тоже жалею каждый клочок бумаги, которую можно усеять буквами. Товарищ Тот: **Лично с бароном О. агент не знаком, хотя и встречал его в Сентэндре. По его впечатлениям, О. — идиот. Похоже на то, что с головой у него не все в порядке.** Помню, мне очень нравился его тон, когда он отзывался о ком-нибудь в таком духе, "преодолевая классовые барьеры". Но чтобы так?..

Новое имя, которое я выписываю [хотя и не расшифровываю] исключительно как литературоведческий раритет <догадаться, впрочем, нетрудно>: **Посетил вдову А. С.-М., проживающую в Будапеште.**

Мероприятия: В настоящее время осведомитель передается в распоряжение Будапештского управления.

На этом первое досье заканчивается, точнее, в нем есть еще справка на 15 страницах, датированная январем. В ней значится, что завербовали его в марте 1957 года. **Завербован был в качестве агента, но поскольку в разработке конкретных дел не участвовал, а получал задания только по сбору информации, мы переквалифицировали его в осведомители.** Для нас это лучше? **Поначалу испытывал трудности с составлением донесений. Аргументировал он это тем, что многие обстоятельства считал несущественными и потому не описывал их.**

Аргументировал... Сколько раз я слышал, как он что-то аргументировал! Это было красиво! Его ум, его reine Vernunft[1] производил впечатление. Он говорил коротко, с неотразимой логикой: если — тогда... А затем позволял практическим соображениям подчинять себе свою же собственную (неотразимую) логику. Да, возможно, что это так — но сейчас мы имеем то, что имеем — например... Не нужно учиться — нужно знать. Из дому нужно выходить не рано, не поздно, а своевременно. (Но если на дороге *неожиданно* возникла пробка! — В таком случае нужно выходить раньше. — Так ведь *неожиданно!* — Он холодно пожимал плечами.) — Впрочем, в беседах с Тотом он едва ли аргументировал, скорее оправдывался.

На основании его донесений дополнительных лиц на учет не поставлено. Это уже кое-что.

16 февраля 2000 года, среда

Личная искренность — фактор внеэстетический. Искренним должен быть текст, а не автор. Кого интересует автор?! И вот, пожалуйста: я вожусь со своей личной искренностью, которая стала вдруг материалом моей работы. Но искренностью своей я отнюдь не растроган. (Впрочем... тот факт, что я происхожу из бог знает какого могущественного и старинного рода, тоже не волновал меня и не волнует ни в малейшей степени, и все-таки были люди, которым казалось, что это не так... Словом, надо остерегаться! [?] <Чего?>)

Досье второе

10 часов 10 минут. Досье начинается с именного указателя. Много знакомых имен: Катуш, Бабица, куча Эстерхази, дядюшка Питю. Содержание: сто пятьдесят позиций, 375 листов. Дело окончено 9 августа 1965 года, но есть в нем еще и заключительная справка, датированная 26 июля 1977 года. Когда я прочитал ее, кровь бросилась мне в голову и я едва не лишился сознания. Никогда не подозревал, что тело способно на такую реакцию. **Негласный сотрудник под конспиративным именем Чанади был завербован в качестве агента** (и проч.) **в марте 1957 г. с помощью компрометирующих материалов.** Что такое? Что это могло быть?

Сегодня последний рабочий день перед отъездом в Берлин, поэтому я беспорядочно, не в силах остановиться, листаю досье, пытаясь вообразить тогдашнюю нашу (детскую) жизнь с этой точки зрения. Что из этого следует? Из этой трясины, из этой грязи и смази? На входе — одна, даже несколько человеческих жизней, на выходе — ничего?

1. Чистый разум (*нем.*).

17 февраля 2000 года, четверг

В сердце, на сердце у меня постоянно что-то тяжелое, независимо от конкретного настроения. Я несколько изменился.

Только что получил по почте вырезку из "Франкфуртер альгемайне цайтунг" — рецензию, в которой можно прочесть, как беззаботно и элегантно лавирую я среди человеческих драм и исторических катаклизмов и бог знает среди чего еще...

Мне приходит на ум — отныне это выражение, как и с. и ж. с., я буду писать сокращенно (м. п. у.), тем самым обозначая некий автоматизм, так как мысли приходят мне в голову бесконтрольно, так действует сейчас организм, точнее, мой мозг, иными словами, я хочу показать себя не как сознательное существо, а как нечто живое, как наделенное речью животное. М. п. у., что неплохо бы разузнать, сколько аристократов стало стукачами. Но это бы означало, что я пытаюсь обелить отца. Нет. Обелять не буду.

Как полагает Гитта, Мамочка должна была знать. Я раздраженно молчу, и это еще мягко сказано. Твой свекор — ангел и дьявол в одном лице, якобы заметила ей однажды Мамочка. Но это не доказательство. Пьянство, бабы тоже могут довести человека и до ангельского, и до дьявольского состояния. Man probiert[1].

18 февраля 2000 года, пятница

19 февраля 2000 года, суббота

Вчера я было начал что-то (но что?), а потом почему-то (но почему?) бросил. — Этой фразой в принципе можно описать целую жизнь.

Представляю себе — это я тоже буду писать сокращенно (п. с.), потому что картины и образы тоже всплывают в сознании совершенно спонтанно. Ж. с., с., м. п. у., п. с.: я словно утрачиваю язык. Вместе с отцом теряю язык. Блестящая мысль, кокетство чистой воды. Не говоря уж о том, что отца я не потерял, он остался, каков есть, таков есть. Это даже не новый отец — сколько раз я писал, говорил, что не знаю его... И — пожалуйста! Я и теперь не узнал его лучше. И даже не думаю, что он сам мог бы дать мне какие-то объяснения.

Что бы он делал? Молчал, опускал голову, заливался краской стыда? Или, сорвавшись, заплакал бы, содрогаясь, сухими мужскими слезами? А может, напротив, смерил бы меня неестественно долгим взглядом, холодным, как взгляд гэбиста, и плюнул в меня словами: Так было. Не имеет значения. И пожал бы плечами. Чистоплюй, подумал бы он с презрением. А я заорал бы, заплакал. Отчего он стал бы меня презирать еще больше. — Ну хватит.

Я потерял не язык, с языком все в порядке, а вот имя свое я действительно потерял. До сих пор мне было с ним хорошо. Я им пользовался, использовал его, на него опирался. (Угрызений совести у меня нет, я использовал его только для добрых, достойных дел. Да и нужно было понять, осознать, что́ оно означает.) По собственной воле я с ним не порвал бы (полагая, что это и невозможно). Но так получилось. Опьяняю-

1. Можно попробовать (*нем.*).

щая, страхом опьяняющая мысль, точнее сказать, ситуация. Я и сам не способен пока что ее представить, лишь потом, когда все свершится, я пойму, о чем сейчас говорю.

Словом, я п. с., как, завершив эту рукопись, покажу ее своему другу. Позвоню ему, скажу, что хочу заехать, потому что мне нужно, чтобы он прочитал мою рукопись, и спрошу, когда он свободен. Только чур, не отказывать мне.

Это еще почему? (Я молчу.) У тебя беда?

Беды нет — есть трагедия. Но не надо пугаться, я просто хочу взвалить на тебя небольшой груз, знаю, знаю, что тебе хватает и без того, но... на кого же, если не на тебя? Все это минуту назад я представил себе гораздо ярче, да не хватило терпения описать.

Господи, как было бы *хорошо,* если все это я просто выдумал бы. В смысле поэтики все в порядке: non fiction под видом fiction и проч. Пусть все это будет плодом (гениальной) фантазии. Смелой идеей. Правда, с нравственной точки зрения идеей сомнительной — но за все ведь надо платить. Новый фаустов договор, я — в роли Леверкюна. Размечтался!

20 февраля 2000 года, воскресенье

Слушаю, как в утренней радиопередаче кто-то возмущается: почему до сих пор недоступны для всех досье B и P [вербовочные и рабочие] сетевых агентов — ведь те, кто вели их, возможно, как раз в благодарность за эти услуги сегодня сидят на хлебных местах, в то время как жертвы, те, на кого они доносили, кому поломали жизнь, влачат теперь жалкое существование; приблизительно так. (Сама программа как таковая мне глубоко противна — сплошная предвзятость, неискренность, ложь, и именно оттого, что в ней демагоги спекулируют на реальных людских страданиях. Но еще противней, что в данном случае я полностью с ними согласен. Однако придет время, они и на меня собак спустят.) Мой отец о теплых местечках и не мечтал, жил героическими будничными заботами о своей четырехдетной семье, но в том, что его донесения никому не вредили, я сомневаюсь. Вредили. Наверняка вредили, не могли не вредить.

Почему? Почему? Что это было, какие компрометирующие обстоятельства? Видимо, что-то личное. Секс? Обычно используют это. Ну а конкретно? Что, сзади? С собакой? Тысяча чертей!

22 февраля 2000 года, вторник, Берлин

Ощущение, будто отец отпустил меня на каникулы. Глотнуть кислорода. Возможно, весь материал нужно было просмотреть сразу, но есть свой резон и в том, чтобы сделать паузу. К тому же я не могу похвастать тем, как здорово я все это переношу. А кроме того, не знаю, переношу ли. То есть никак не переношу, потому что не знаю, что́ нужно перенести.

25 февраля 2000 года, пятница

С утра, словно на работу, я отправился в Wissenschaftskollegium[1]. В 1996—1997-м я провел здесь год, весьма удачный с точки зрения "Гармо-

1. Берлинская коллегия наук — основанное в 1981 г. научное заведение, предоставляющее годичные или полугодовые стипендии видным ученым и деятелям искусств из разных стран мира.

нии". Работал я чрезвычайно интенсивно, получая неоценимую помощь от библиотечной службы Коллегии. Достаточно было представить перечень книг, и несколько дней спустя книги уже лежали на моем рабочем столе. Заказывать можно было неограниченное количество, что было самое уникальное, поэтому — никаких разумных самоограничений, я мог поддаться любой нелепой идее, и из сотни таких нелепостей (читай: глупостей) три-четыре непременно шли в дело.

На сей раз я приехал сюда, чтобы сверить для немецкого перевода "Гармонии" попавшие в роман цитаты; это проще, чем ворошить мои записи, в которых нередко немецкий оригинал отсутствует вовсе. К тому же я изрядно устал после долгой работы и рассчитывал отдышаться в библиотеке, работа здесь есть, но ее не так много, думать много не нужно, а главное, что меня окружают книги. Одного я не мог предвидеть — что в дело вмешается мой отец и помешает приятному отдыху.

Но раз уж я здесь, я решил выжать из этого пребывания как можно больше. Заведующая библиотекой Гезина Боттомли (основной объект нашей благодарности) направила меня к одной из своих сотрудниц (интересно, что в Будапеште, обок с документами, я почти автоматом выписывал только инициалы, а здесь стал писать полные имена; когда, кроме эстетических, приходится принимать во внимание и моральные соображения, я сразу теряю стиль), которой я изложил свою "тему". Семья и штази. Предательство. В особенности отцовское (это мое слабое место, жизненно важная для меня тема — что действительно правда). Мифология отцовского предательства. И что говорят о себе сами предатели, что их толкнуло на это. Сын Геринга, насколько я помню, тоже писал об отце, короче, мне интересны и дети нацистов. (Прости, Папочка, я понимаю, что хватил через край... И мне, помнится, стало стыдно.) В первую очередь меня занимает (!), продолжал я бесстрастно, как некий последователь Флобера, момент, когда открывается этот неведомый мир; потрясение, которое человек при этом испытывает. Когда открывается, что человек — не тот, за кого он себя выдает. И кто он на самом деле.

Я говорил вдохновенно, красиво (как же противно мне это теперь писать), да и немецкий мой в этот день был в приличной форме. Говорил глубоко, как человек умудренный, понимающий что-то в жизни. Тысяча чертей!

Фрау Райн — деликатно и очень интеллигентно — тут же поведала мне одну историю, с героями которой она лично знакома; муж годами шпионил за своей женой, донося на нее в штази, однако сегодня он видит это иначе и пытается всех убедить, что он (всего лишь) пытался объяснить штази мотивы поведения своей радикально настроенной спутницы жизни, то есть фактически защищал ее. [История Веры Волленбергер.] И обещала подобрать для меня соответствующую литературу.

Издательство "Магветё" прислало мне типографские оттиски романа. Я, торжествуя, обнюхиваю их. Потом, по ходу работы, это пройдет. [Поначалу я планировал две вещи: внимательно просмотреть оттиски и заодно выписать кое-что "относительно отца". Но вскоре выяснилось: либо оттиски, либо отец. Тем не менее некоторые цитаты я все же выписал.]

Стр. 50. **Если, к примеру, сын моего отца выражал свою радость, видя, какая большая это семья, есть в ней одногорбые и двугорбые, герои и предатели, мой отец тут же заявлял возмущенный протест:**

какие такие предатели?! Кто конкретно?! Конкретно, бля, — ты. **Как можно так говорить! Подобные вещи он явно считал в принципе невозможными.** Мы действительно однажды поспорили с ним, когда я показал ему опубликованный в журнале отрывок, касающийся дела Дрейфуса[1] (стр. 361). Возмущение, которое вызвал у него этот текст, я счел симптомом сенильности. После выпавших на его долю бед, трудностей и печалей, полагал я, он на старости лет уже не желает быть объективным, хочет, чтоб все было хорошо. Однако его раздраженная реакция, помнится, меня удивила.

Я только теперь замечаю, что выписки из романа делаю той же (особой) ручкой, какой переписывал агентурные донесения. Действительно, я читаю роман как текст, знающий больше меня, и пытаюсь понять, что нового говорит он мне об отце.

Стр. 106. **По мнению моего отца, усиление энтропии может быть связано с греховностью человечества.** Однако о том, что отец мой непосредственно может быть связан с усилением энтропии, наверняка не мог подумать *никто*.

Стр. 108. **И только страдания делали его, моего дорогого, достойным упоминания.** Он не страдалец! [По почерку видно, насколько я был возбужден. Перо буквально шипит: Он не страдалец! Теперь я об этом задумываюсь. С одной стороны, страдалец, конечно. Это очевидно. Более чем. Но с другой — он стал достойным упоминания и по иным причинам.] <Замечаю, что я читаю все это, в особенности же доносы отца, с таким чувством, будто в любую минуту могу умереть. Это слишком. Знакомясь с разнообразными материалами об агентах штази, я вижу, что в основном все как-то с этим справляются.>

27 февраля 2000 года, воскресенье

Мне опять снился Папочка. Раньше такого не было. Но восстановить сон не удается, сюжет плывет, кто-то спутал какие-то документы, и кажется, виновата Мамочка. Когда я впервые увидел во сне лицо отца, то очень обрадовался. (Оно было совсем близко.) Казалось, что у меня снова появился отец (и казалось, что это здорово). Как по заказу зашла речь о дядюшке Й. Л. Словом, рабочий сон.

Поговаривают, будто он был осведомителем, сказал Папочка и добавил что-то еще, но я не запомнил.

Поговаривают и другое! — ответил я, хотя не уверен, действительно ли ответил. Во сне я намеревался сказать ему: хватит крутить, рассказывай.

[Но он все равно не сказал бы мне ничего вразумительного. Им приходится врать, чтобы не загнуться. И даже когда они говорят правду, то кажется, что они врут — чтобы не загнуться. Бог ты мой, как же я был смешон, когда с важным видом стал уговаривать его сесть за мемуары. Старик, ты так много знаешь, и знаешь такие вещи, которых, кроме тебя, не знает никто. Он даже не отмахнулся, а только кивнул, высмеяв меня взглядом.

А может быть, все же стоило на него насесть, прижать к стенке?! В худшем случае это кончилось бы его смертью. Что с того? Он и так по-

1. В деле Дрейфуса, бездоказательно обвиненного в 1894 г. в шпионаже в пользу Германии и осужденного на пожизненную каторгу, фигурировал майор французского Генштаба Фердинанд Эстерхази. Впоследствии именно он был признан действительным виновником шпионского скандала и изменником родины.

мер. Ну а вдруг весь этот позор (то есть, в конечном счете, я) придал бы ему сил?..]

Стр. 128. **...пиная перед собою какой-то коричневый круглый предмет. Ага, кивнул сын моего отца, это грех, это грех.** Так и есть.

Стр. 188. **...он перед вами в ответе, сынок, ну скажи, где он опять шатается?..** Скажу, Мамочка: они с капитаном Тотом разрабатывают очередные планы... **тщетно, тщетно причитает мама, вопрос ее не имеет смысла, если отец отсутствует, то сказать, где он, невозможно, и вовсе не потому, что он ловко прячется, что у нас недостаточно информации — ее просто нет. Моя мать всю жизнь пыталась засечь невидимые параметры. Уж я их выведу на свет божий, эти параметры, говорила она. Но сегодня мы знаем, что это было невозможно *в принципе... Кто такой мой отец – зависело от вопроса.*** *Теперь* этот фрагмент переливается какими-то новыми цветами радуги. Онтология и история, вдруг обнявшись, пускаются в пляс. (Перебор.)

...первоклассный ум, но слабак и дерьмо, говорит моя мать в романе. Интересно, что она знала о нем вне романа. Перед смертью она была уже так немощна, что не выдержала бы, проболталась.

Стр. 194. **...повернулся к ней; ей казалось, что она знает это лицо, но до смерти так и не узнала его (и не только она, никто).** Вот, вот.

1 марта 2000 года, среда

К. в своей жесткой и беспощадной манере, нацеленной только на правду, отзывается о писателе-стукаче: Везет же людям! Такой материал! Наблюдать подлость с такого близкого расстояния, можно сказать, изнутри! — Я понимаю, о чем он.

Стр. 235. **Возможна, однако, иная интерпретация, исходящая из того, что, определяя моего отца, глагол "являться" нужно употреблять только в будущем времени. В таком случае слова моего отца должны звучать так: Я таков, каким в свое время явлюсь. Так что вопрос, кто такой мой отец, остается открытым. Мой отец еще будет являться нам, снова и снова.** Дай-то бог, скажу я, чтобы не выпадать из стиля.

Я чувствую: что-то важное потеряло смысл. Но что? Все рушится. Или было всегда порушено, только я принимал это к сведению, скажем так, не в полном объеме.

3 марта 2000 года, пятница

Посмотреть Библейский словарь: измена, обман, коллаборационизм (синонимы). [Наскоро просмотрел. "Тщетно питать иллюзии относительно обреченного на одиночество человека: он инстинктивный лжец". А вот Псалтирь, 115, 2: Я сказал в опрометчивости моей: всякий человек ложь. — Мой отец был так называемым обреченным на одиночество человеком.]

Стр. 303. **...проведя несколько дней в тюрьме (что там было, никто не знает), он часто плакал.** После 4 ноября 1956 года его действительно увезли то ли в Помаз, то ли в Сентэндре; как его забирали, не помню, запомнилось только, как он вернулся домой несколько дней спустя. Очки его были разбиты. Мне казалось, что в милиции его били. Позднее я несколько раз пытался его расспрашивать, но отец отвечал как-то невразу-

мительно: ничего, мол, приятного. Но что там было? Они тебя били? Такие вопросы я задавал ему не однажды. Наконец он признался, что били — били по икрам, по тромбозным венам. Больно было? по-идиотски спросил я. Можно сказать, кивнул он с видом знатока. Или тромбофлебит появился после побоев? До чего же дырявая у меня голова. — Что касается поэзии и правды (Dichtung und Wahrheit), то слезы я ему приписал свои. Это я после 5 мая 1998 года (дня смерти отца) не мог удержаться от слез и **часто плакал**, так часто, до смешного часто, что стал считать; **рекордом был 21 плач — 16 целых и 5 полуплачей.**

Стр. 322. **Он (отец мой) так радовался всему сущему, что не делал различия между добром и злом, не испытывал побуждения к этому.** Ну... это теперь понятно...

Стр. 348. **...что есть люди, которые ни в ком не нуждаются. Я, к примеру сказать, не такой, а вот он — я был в этом уверен — такой. Но я ошибался.** И опять: я понятия не имел, насколько я ошибался! Насколько нуждался он — в ком-то, в ком бы то ни было, в чьем лице он мог бы увидеть себя.

Стр. 429. История с прослушиванием! И вообще со звонками! К примеру, когда звонил гэбэшный куратор, отец разговаривал с ним вполголоса, с таинственным видом, а потом объявлял, что ему нужно срочно ехать за переводом. На лице нашей матери — черная туча ревности, на наших мордашках — презрение. Хотя люди, встречавшиеся в то время с отцом, видели нечто другое, а именно то, что этот проклятый режим не всех сумел растоптать.

В действительности — сумел. И Грабала, и моего отца. — Я пытаюсь подобрать ему компанию поприличней.

Стр. 496. **В семье же отца... никогда никого и ничего не боялись...** Между тем, как я вижу сейчас, сам он был воплощением страха. Испуга. Его припугнули, и он испугался. Но все же не выдавал свой страх ни в малейшей мере. И именно у него я учился храбрости (и, кстати, тому, что последняя вовсе не однозначна безумству.)

Я снова расплакался, как тогда, в мае, в день смерти отца. И плачу опять и опять. — Короче, заваривая в кухне чай, я снова подумал: давай с этим подождем, пусть раскручивается пока "Гармония", пусть в мире полюбят моего отца. На что я слышу вопрос (то есть м. п. у.): а что, после этой книги его перестанут любить? Тут-то и накатил на меня неожиданный приступ, и я зарыдал в темной кухне, прижавшись к стене, стучась головой о холодный кафель... Я пытался подавить в себе этот приступ, чтобы ответить (как будто в реальной сцене):

Не надо его любить. Я и сам люблю его только потому, что он — мой отец.

Я мог бы выписывать из романа почти все подряд — настолько все актуально. Стр. 566. **Как-то раз мне пригрезилось (или приснилось), что я расспрашиваю Господа Бога о своем отце. Допытываюсь, вытягиваю из него, словом, навожу справки. Какой он? Хотелось знать, что он за человек. Быть хоть в чем-то уверенным. Так я проводил время, находясь в животе у Мамочки. Но Господь, сколько я из него ни вытягивал, никак не мог толком ответить на мой вопрос.** Понятно теперь почему.

Папочка, дорогой, я уже не способен смотреть на тебя как на реально существовавшего человека. Ты как будто явился ко мне из романа, из дрянного (дерьмового).

Стр. 631. **...и только из вашего отца им не удалось сделать слугу.** Еще как удалось.

Вечером позвонил Й., он только что прочел рукопись. Жаль, что отец не дожил до этого, говорит он. Потому что роман — это памятник всем изуродованным судьбам. В судьбе моего отца, в этом *трудном достоинстве,* он увидел некую сатисфакцию: мой отец представляет их всех и т. д.

Старик, на хера ты все это разрушил?! Или ничто не разрушено? Даже наоборот? Так мы больше узнаем о "мире", о "конструкции бытия". Не знаю. Возможно, читателям (тут мне хочется захихикать) не помешает разочарование, которое ты им доставишь? Они его заслужили? Уточняю: мы его заслужили. В какой степени его заслужил я? — это мой личный вопрос.

6 марта 2000 года, понедельник

Стр. 696. **Видеть себя в зеркале ему не хотелось, уж лучше часами простаивать в полумраке винного погребка, это было приятней.**

Письменный стол, беспрерывное стрекотание пишущей машинки да кисловатый мрак погребка — и все. Быть может, книга права: это все. А то, что я теперь добавляю к ней, не имеет значения.

Не надейся, имеет.

Финал романа тоже получил дополнительную окраску, которая может одновременно вызвать рвоту, истерические рыдания и смех: **...отец сидит за своей "Гермес-бэби", за машинкой, строчащей как пулемет; отец бьет, колошматит по клавишам, и из машинки летят и летят слова, летят, опускаясь на белый бумажный лист, одно за другим, — слова, до которых ему дела нет, не было никогда и не будет.** Не стану лукавить, красивый финал, лучшего не придумаешь — многозначный, трагичный и возвышающий. Одно только "но": он строчит донос.

Пожалуй, это можно назвать ницшеанским юмором. Какая, по сути, сверхчеловеческая смелость нужна для того, чтобы всю эту красоту разрушить и ниспровергнуть. — Такой смелости у меня нет, я просто иду по следам отца. Как в том анекдоте, только наоборот: он не смелый, он просто слепой. [В *такой* ситуации написать хорошую книгу нетрудно, нужно только иметь соответствующего отца.] <Но это всего лишь ж. с. Если серьезно, то возможность и смысл написания такой книги обусловлены существованием "Harmónia cælestis", о которой нельзя утверждать ни того, что ее написать нетрудно, ни того, что ее мог бы написать любой.>

7 марта 2000 года, вторник масленицы

<Служебное объявление: до 22 мая датирование записей отменяется, поскольку расписание моей теперешней жизни к отцу никакого отношения не имеет.>

Вчера экспресс-почтой отослал в Будапешт типографские оттиски. Мой отец улетел.

Вчера же почти одними и теми же словами я заявил моим издателям Г. (по телефону) и Й. (во время обеда), что должен еще написать нечто вроде аппендикса страниц на сто [хотя к этому времени мне было уже понятно, что будет больше; уже тогда я видел всю — говоря по-простому — прелесть и уникальность открывшихся мне документов,] сто скорбных (sic! ну и кретин) страниц. Как лживо и интригующе это звучало, хотя говорил я чистую правду! [Эту фразу, не в силах противостоять соблазну, я повторю еще не один раз.]

Статья социолога Дёрдя Чепели о секретных службах, журнал "Критика", 2000, № 2. Это про отца, про то, как он проникает в частную жизнь, оскверняет ее, марает. Делает людей беззащитными. "Режим порождает организацию, члены которой в обычной жизни представляются нам такими же, как все остальные, хотя быть как все они не могут". Мне кажется, будто я читаю отчет, комментарий, рассказ непосредственно об отце. "Им приходится пребывать в двух мирах. Не каждый пригоден для этой роли... Нужно быть чуть ли не сверхчеловеком (мой папа!.. с.), чтобы исполнять эту роль: оставаться верным другом, любящим мужем (мой папа), надежным сотрудником, беззаветным трудягой, нарушая при этом элементарные требования, которые налагают на него эти амплуа, преступая законы сотрудничества, предавая другого. Другой полагает, что партнер на него просто смотрит, не догадываясь, что на самом деле тот за ним наблюдает, подсматривает. (Мой наблюдательный папа.) Кто на это способен?"

Автор цитирует рассказ Горького "Карамора" (один из переводов которого озаглавлен "Предатель"): "Разумом я сознавал, что делаю так называемое подлое дело, но это сознание не утверждалось соответствующим ему чувством самоосуждения, отвращения, раскаяния или хотя бы страха. Нет, ничего подобного я не испытывал, ничего, кроме любопытства". Это уже подходит к моему отцу. Хотя любопытство... насколько я помню, он этим не увлекался.

Конец статьи (подзаголовок "Преступление и наказание"): "Доносительство — это цепь деяний, которые сами в себе несут наказание. Внешний судья здесь не нужен. (Это верно! Я ни в коем случае не хотел бы им быть.) Не важно, прольется ли свет на деяния доносчика или нет, сама роль его столь противоречива, что если однажды он по своей или не по своей воле согласился ее исполнять, то уже никогда не освободится от возникшего в связи с этим душевного бремени". Никогда.

15 марта[1], я стою на вокзале в Базеле. И вдруг как доброму патриоту [А скажи-ка, сынок, у кого ты учился патриотизму? Ну хватит!] мне приходят на ум Петефи, революционная мартовская молодежь, идеалы, их чистота. В связи с чистотой м. п. у. грязь, а в связи с грязью — отец.

И снова: я словно в (своем) романе. Ибо где еще можно так вот перескочить с грязи на Папочку? И еще внезапно охватывает жуткое ощущение, что я больше не смогу написать ни строчки. Это я еще допишу, потому что история должна быть завершена, ну а дальше — финита. Костолани вон тоже закончил в 51 год. Правда, ему было легче, потому что он помер. Ж. с., ж. с., ж. с.

1. 15 марта — венгерский национальный праздник в честь демократической революции и национально-освободительной борьбы 1848—1849 гг.

Или, рассуждая практичней: наступит большой непроглядный кризис, глубокий, как колодец во Фракно (стр. 147). До сих пор мне везло, судьба благосклонно позволяла мне без труда переходить от одной книги к следующей. Я должен теперь готовиться. Как-то прорваться. Не позволить себе растеряться.

А что, если я напишу, но не стану публиковать? Тогда положение было бы легче. И дело не в том, что мне хочется защитить семью ("пусть тебя женсовет защищает!"), мне хочется, чего бы это ни стоило, отстоять свое право писать!

Чушь собачья! Чего тут решать? Все идет, как должно идти. Внимать — вот и все мое дело. Задача моя — не писать, а внимать. Если смогу внимать, то смогу и писать.

Ну вот и первая рецензия на нашу книгу, папуля. Теперь все будут говорить о тебе. Надеюсь, ты тоже рад? <С., с.>

Будь это в моей власти, я уничтожил бы все к чертовой матери.

Но представим простоты ради, что мы встретимся на том свете. Вслед за тобою я прибываю в рай и вижу как на ладони буквально все. И что бы ты мог мне сказать, дорогой мой? Я полагаю, смутился бы даже сам Господь. Но мы ведь этого не хотим, не так ли, старик?!

Вместе с П. мы не спеша идем по улице Кечкемети в сторону ресторана, предвкушая замечательный вечер. Он вспоминает о старых временах. Да, отец твой... был все же замечательным человеком. И как это ему удавалось? Спас всю семью. Ведь вы же в порядке, все четверо, разве не так?! А скажи, вас преследовали, ущемляли? (П. живет за границей.) Наверное, прежде всего твоего отца? Я думаю, ему было очень трудно при коммунистах.

О трудностях мог бы отчитаться только он сам, говорю я холодно, словно мой дедушка (к которому П. относился с большим уважением); моя фраза звучит как острота в английском стиле.

Ты видишь, папа, в чем беда: ты умудрился изгадить даже такой приятный, в общем-то, разговор. И в этот теплый весенний вечер, пусть ненадолго, лишь на мгновение, я ощутил внутри холод и отвращение, которое испытываю ко всем остальным агентам III/III.

А кстати, когда завербовали твоего отца? рассеянно спрашивает у меня Гитта. И, уставившись друг на друга, мы отказываемся верить своим ушам.

Весной 1957 года, в тесной неосвещенной комнате, находясь в окружении целой группы немногословных и мрачных мужчин, наверное, можно было испугаться. Испугаться смертельно. Подписать и пообещать все что угодно. Ну а позднее, потом, разве нельзя было что-то придумать? Или придумка его заключалась в том, чтобы сделать вид, будто он на них работает, на самом же деле... А что на самом же деле? Он и работал на них. Они же, заполучив одного из самых именитых венгерских аристократов, стали сильнее. Увереннее в себе, и эту уверенность сразу почувствовали остальные.

Очевидно, как и другим, ему тоже пообещали, что все останется в тайне. Какое счастье, что документы попали ко мне, а могли бы ведь рвануть неожиданно, скажем, через пять, десять, двадцать лет, словно ми-

на... Хорошо также, что не я один о них знаю, поэтому у меня нет искушения сожрать эти бумаги.

Уж я смог бы обосновать, почему старика следовало бы оставить в покое. С.

Когда мы несколько легкомысленно, упиваясь афористичностью высказывания, изрекли, что страна (я, ты, он, мы, вы, они) разменяла на гроши пролитую в 56-м году кровь, то изречение это, среди прочего, означало, что определенным людям, нашим согражданам, мы выдали разрешение на то, чтобы делать сексотами, человеческим мусором других наших сограждан (напр., моего отца). Ни тех, ни других это не оправдывает — это просто факт. И я не могу считать себя невиновным, думать, что виноваты "другие", что это *отдельные* игры гнусных коммунистов и гнусных стукачей; нет, это касается всех, хотя не все были, являются (гнусными) коммунистами или стукачами.

Эпоха Кадара состоялась при нашем согласии (хотя кто-то и упирался слегка, не скрывал своего отвращения).

Вынести нравственный приговор своему отцу мне мешают отнюдь не сыновние чувства (эмоций своих я не сдерживаю: презираю, оплевываю его, плачу, рву и мечу, люблю), дело в другом: мы не можем его (его случай) "вырывать из контекста". Самый простой пример, который мне вспоминается: папа римский, выдающийся человек, не погнушался подать руку Кадару, который, если оставаться в том же эмоциональном русле, был все же большей свиньей, нежели мой отец. Или взять самого симпатичного мне политика — Хельмута Шмидта, заигрывавшего с Хонеккером. Не я ли просил об этом Хельмута Шмидта, потому, скажем, что не хотел Третьей мировой войны?

М. п. у., что вполне возможно, от меня отвернется моя семья. Вспоминаю, как в пражской пивной сидел в полном одиночестве Грабал; пивная была для него родным домом, и никто *не осмеливался* подсесть к нему, к человеку, всю жизнь писавшему об этом "совместном сидении"; так и я буду сидеть в смертельном одиночестве, презираемый в кругу любящей меня семьи. Замечательная картинка. Ж. с.

19 мая 2000 года, пятница

Звоню М., сообщаю, что в понедельник намереваюсь прийти в Архив. Давно не видали вас, отвечает он, но на этот раз его голос меня не пугает.

22 мая 2000 года, понедельник

Без четверти девять, проспект Андраши; я сижу на скамейке, как какой-нибудь пенсионер, которого забыли на солнышке. Слишком рано пришел — Архив открывается в девять...

Я недавно прочел (где-то, чью-то, могу назвать, где и чью) статейку довольно гнусного содержания; мне жаль, папа, что подобные типы тоже будут вытирать о тебя ноги. Но иначе и быть не может — нелепо ожидать от гнусного злопыхателя, чтобы он вел себя как достойный, отзывчивый, порядочный человек, ведь тогда он бы не был гнусным злопыхателем, из какового предположения мы исходили. (Предположение наше в точности подтверждается фактами современной реальности.)

Ну, пора спускаться в забой.

<Сегодня, в день вербовки моего отца, я планирую открыть полученную от приятеля в берлинском Wissenschaftskollegium бутылку вина урожая 89-го года (последняя бутылка из "прежней" эпохи). Saint-Emilion Grand Cru, Château La Rose Côtes Rol. Переписывая название с этикетки, я понимаю, какое это извращение. Пожалуй, уместней было бы весь этот день поститься. А впрочем, не все ли равно? Мне кажется, главное, чтобы этот день был посвящен отцу, чтобы я думал о нем, думал с сочувствием, быть может, даже оплакивал, если получится, или молился, или уж, на худой конец, чертыхался, если день сложится неудачно.>

Ну вот я и прибыл на место. Досье еще нет (это правильно! хранят их надежно!). В последний раз я был здесь 16 февраля, прошло три месяца. За это время отец написал бы не менее десяти обстоятельных донесений.

Мне снова приходится привыкать к его великолепному почерку.

Не знаю почему, но именно в этот момент меня покидает вся моя смелость. Все это слишком больно, нет, нет, это надо оставить в наследии. Пусть публикуют дети. Заработают кучу денег. Я готов передать им рукопись на смертном одре как тайное фамильное сокровище, как самую драгоценную корону семьи, перед тем как бессмертная душа покинет узилище тела. — Mehr Licht[1]. Ж. с.

Меня покинула смелость, я боюсь, что на меня будут смотреть как на чудовище. Или с жалостью. [Как смогут, так и будут смотреть...] Как на человека, чей отец ушел в холод. Неплохое, кстати, было б название.

<Внезапно м. п. у., что, наверное, самым трудным будет не тот момент, когда книга эта взорвется. Разумеется, ее выход будет опасным, повлечет за собой всякие непредвиденности, но самым тяжелым бременем будут последующие за этим будни. Когда кто-нибудь, через пару лет, спросит непринужденно: Скажи, это твой отец был гэбэшником? Э-э, да нет, не совсем, он только писал доносы.... Ну понятно.

И все. Тишина. Ни изумления, ни отвращения, ни сочувствия, ничего. И это неизвестно какое "понятно" мне придется свинцовым грузом тащить на себе всю жизнь.>

В первом донесении описываются родственные связи членов семьи Эстерхази. Тоска. **Агент получил задание, используя свои связи, возобновить дружеские отношения с А. С. Посетить его на квартире, познакомиться с обществом, которое там собирается.**

26 января 1960 года

Я спросил у него (у Б. Э.), **нельзя ли поговорить с А. С. насчет перетяжки мебели, т. к. последний занимается именно этим.** Непонятно, в чем тут проблема? Мы с братьями, честное слово, любили попрыгать в креслах, это я могу подтвердить под присягой, и бывало, что нога Марци застревала в обивке и та иногда прорывалась. **А. С. интересует нас потому, что на его квартире собираются молодые аристократы.**

9 февраля 1960 года

У А. С. я поинтересовался, придет ли он к нам, если мы устроим пирушку по случаю именин. Приглашение он с радостью принял, по-

1. Больше света (*нем.*) — предсмертные слова Гёте.

просив лишь предупредить его за неделю, поскольку на масленице он часто бывает в гостях. Ах, эти беспечные 60-е годы! **20-го текущего месяца я собираюсь его пригласить.**

Тысяча чертей!

Агент должен посетить семью Б. Э. и тоже пригласить их на именины.

16 февраля 1960 года

Б. Э. с супругой **приняли приглашение с явной радостью.** А кто бы не радовался, бляха муха, когда их приглашает к себе такой рафинированный господин, как мой батюшка? Это же равносильно награде. **Несколько дней спустя я снова их посетил, жена сообщила мне, что у мужа произошел нервный срыв, он не смог пойти на работу, так что все под вопросом** и проч. Да, нелегкая у них была жизнь.

23 февраля 1960 года

Задание заключалось в том, чтобы под видом именин пригласить к себе на квартиру гостей. Я трясу головой, что-то шиплю про себя, и это еще мягко сказано. Жизнь по заданию гэбни! Что на это сказать? Или лучше молчать? (Спросить у Гитты. Так и так. Понимаешь? Сегодня я читал вот об этом. Ты умная женщина, объясни мне хоть что-нибудь.)

Короче, шумная вечеринка у нас на квартире, А. С. (**который, сославшись на усталость, ушел рано**) пригласил агента при случае заглянуть к нему. Сеть заброшена, но вообще-то много шуму из ничего. **Капитан Фаркаш: От вечеринки я ожидал большего.** [Я вспоминаю, как кто-то недавно вполне серьезно признался мне: От Маркеса я ожидал большего. Трудно было сдержаться и не заржать.] Кстати, Фаркаш этот пашет как вол. Государственный человек, исполняет свой долг. Ему так же не повезло, как и моему отцу: оба жили при диктатуре. **По информации агента, гости танцевали, пили,** это верно, из нашей маленькой комнаты все было слышно, **политические вопросы при нем не обсуждались. В соответствии с инструкциями, агент сообщил гостям о намерении запросить заграничный паспорт, чтобы навестить в Вене своего старого и больного отца.** (?)

<2 марта 1960 года

Казнен Янош Сабо, командир кечкеметских повстанцев, осужденный на индивидуальном процессе.

Сегодня день Матяша, так что всех благ тебе, Папочка. Вчера я все же открыл бутылку бордо — в гостях у нас был Й. ("Й.-младший"), и поскольку нас это радовало — и меня, и его, — я сказал ему, что должен, "пусть по другому случаю", открыть бутылку хорошего вина, так что выпьем за наше счастье! Я был ему благодарен за помощь, о которой он даже не догадывался. А вечером кто-то из гостей, заговорив о сексотском прошлом Грабала (о котором мы изо всех сил пытаемся забыть, хотя он поведал об этом сам, с большой искренностью большого человека — но, увы, это не помогло), заметил, что было бы интересно взглянуть на его донесения, поскольку не исключено, что он дурачил госбезопасность. Это исключено, сказал я, может быть, он пытался их одурачить, но в конечном счете в дураках оказался он сам. Не бывает безвредных доносов, и все

стукачи — мерзавцы! заявил я воинственно и оглянулся по сторонам. Но никто мне не возразил.>

3 марта 1960 года

Прежде чем переписывать, я прочел следующее донесение. Глотаю слезы, но это не получается. С. Плачу скорее от бешенства, от стыда, нежели от сочувствия. **Я мог бы собрать информацию о заграничных благотворительных обществах, о составе их руководства, а также о том, какую деятельность они ведут в отношении Венгрии и через каких лиц. Могу также узнать, какое участие принимают в работе этих организаций представители венгерской аристократии, живущие в Вене.** И т. д., еще два абзаца в таком же духе об эмигрантских объединениях и о том, поддерживают ли их официальные австрийские органы.

Ах ты подонок. Предатель позорный. Ну вот, мы поднялись еще на одну ступеньку. Sic itur ad astra[1].

Примечание: В последние недели агент ставит вопрос о том, что хотел бы выехать в Вену навестить своего старого и больного отца ("старый и больной" стало постоянным гэбэшным эпитетом для моего деда), **а также родственников. При этом он предлагает выполнить для нас ряд заданий. Он подчеркивает, что оставаться за границей не собирается, поскольку здесь у него жена и четверо детей.** Семья — дело святое! Стучим мы или не стучим, семья остается семьей, хранительницей традиций и ценностей! Шутка. **По его утверждениям, он давно порвал с прежним строем и собственным происхождением.** Неужто и правда он так сказал? Возможно. Во идиот! Он порвал с собственным происхождением?! Мать его! **Тот факт, что он не эмигрировал в 1956 году, а позднее пошел с нами на сотрудничество, означает, что он связал себя с нашим строем.** Или все это он им лепит, чтобы они отпустили его к деду? Нет, нет. Не годится так проявлять сыновние чувства. Нет. **Он заявил также, что хотел бы встретиться с кем-нибудь из моих начальников, чтобы и с ним обсудить свою просьбу и связанные с нею соображения.**

Предлагаю, чтобы агента выслушал кто-нибудь из руководящих товарищей. Поездку — хотя это и небезопасно — со своей стороны считаю возможной. Если агент вернется на родину, мы выиграем гораздо больше, чем потеряем в том случае, если он не вернется.

22 марта 1960 года

Очередная серия донесений. Ощущение — словно бредешь по пустыне. О встрече с Б.-Б. в ресторане "Карпатия". О живущей в Париже дочери Д. К., которая собирается разводиться с мужем. Еще одно длинное донесение. Вся носоглотка забита песком, мне нечем дышать.

Длинное донесение содержит автобиографию и нудное описание планируемой поездки в Вену. Все строго, предметно; если можно так выразиться применительно к этому тексту, здесь он искренен. **Я родился в графской семье... Имею четверых детей в возрасте от 4 до 10 лет. В настоящее время работаю помощником паркетчика, кроме того, занимаюсь переводческой деятельностью, сотрудничая с Центральным бюро переводов.** Затем — о бабушке и об М. **После освобождения из ла-**

1. Так идут к звездам (*лат.*).

геря для интернированных последняя рассказала, что однажды ее хотели завербовать, но она отказалась (это Фаркаш подчеркнул красным карандашом), **за что на длительное время была помещена в карцер.**

На поставленные вопросы агент **отвечал искренне**, а я что говорил! даже Фаркаш заметил. **В частности, он сказал, что если находятся объяснения для заграничных поездок Жигмонда Сечени, то и он сможет дать объяснения любопытствующим.**

1, 8, 13, 23 апреля, 3, 13, 20, 27 мая 1960 года

Здесь возникает принципиальная (связанная с композицией) проблема: можно ли выразить тихий ужас всего происходящего, который складывается из малозначительных, на первый взгляд, кирпичиков-донесений, показать, как обрывочные сведения сплетаются в паутину, как расставляются постепенно унизительные силки для беззащитных, ничего не подозревающих людей? С близкого расстояния все кажется пустяковым и скучным — и вдруг тебя ослепляет беспощадная жестокость целого! Не может быть, чтобы мой отец этого не замечал! Он словно кому-то мстил! Но за что?

Агент в основном кружит вокруг адвоката Б.-Б., а также Е. С. и компании, собирающейся у А. С. Вместе с Б.-Б. и его арабским другом Ахмедом они едут на каток "Милленариш" смотреть конькобежные соревнования. (?) Потом Б.-Б. приглашает его в кафе "Фортуна", в компанию, собирающуюся там по вторникам. (Шутки шутками, но из этого видно, что в то время еще была светская жизнь.)

По просьбе А. С. я тоже сыграл партию в бридж. Из комментариев куратора можно установить, что в компании было еще два агента. В "Фортуне" он снова должен был встретиться с Б.-Б., но вышел прокол, потому что "Фортуна" 5 апреля была закрыта, о чем Б.-Б. знал, поэтому не пошел туда. Душой и организатором компании является адвокат Г. **По нашей информации, он отбывал тюремное наказание за взяточничество. Установлено также, что он использовался как сетевой агент, материалы сданы в архив; в качестве агента он фигурирует также в картотеке угрозыска.** Короче, мы не одни.

Когда я пишу все это, мне кажется, будто это *я* что-то преувеличиваю, перегибаю палку.

Сверх задания агент соизволил также заложить Б. Э., который просил его, если тот получит паспорт, отвезти одно письмецо; сперва надо получить, ответил агент, за что удостоился похвалы Фаркаша, **наш агент поступил совершенно правильно,** и на этот счет в свое время он получит инструкции.

Это класс: приехала жена упомянутого выше Ахмеда, поэтому, по словам Б.-Б., их дружбе конец, потому что жена этой связи не одобряет... **В связи с этим докладываю, что Б.-Б. при встрече с моей свояченицей высказался в том смысле, что якобы "между мной и моей женой что-то не в порядке, потому что я регулярно встречаюсь с ним один на один, больше того, ищу поводы для таких встреч". Разговор этот свояченица передала моей супруге.** Здесь, как я полагаю, агент скорее пытается обратить внимание на обстоятельства, угрожающие его работе, чем как-то освободиться от этого бремени. Фаркаш все понимает: в связи с семейными неурядицами **агента в данный момент нужно вывести из этой компании.**

Четыре часа, я чертовски устал, но нужно еще побывать в телестудии "Дуна-TV" — интервью, разные словеса о грандиозной фигуре отца.

23 мая 2000 года, вторник

В Архив опоздал, спал как труп, как после тяжкого физического труда.

Вчера, по дороге от Южного вокзала до телестудии, я заметил, что многие меня узнают. Интересно, как будут смотреть на меня *потом?* Самое худшее, что можно предположить, — не презрение или отвращение, а сочувственное участие. Мне что же, придется каждую секунду своей жизни демонстративно нести на себе это бремя, рану, семейную трагедию, как траурную повязку на рукаве? Как будто это предписано правилами хорошего тона, элементарной вежливостью? Изволь быть серьезным и грустным. А куда же мне деть свою конструктивную легкомысленность?

22 июля 1960 года

Из донесения, "не представляющего особого интереса", выясняется, что тем временем умер дедушка. Даже этого — возможности попрощаться с дедом — он не смог добиться от своих новых друзей! Затем длинный пассаж о Б.-Б., который поделился с ним, при каких обстоятельствах познакомился с Ахмедом (в кафе сидела компания арабов, и Б.-Б. помог им с английским). **На словах агент сообщил, что по его впечатлениям Б.-Б. — гомосексуалист. Никаких доказательств он привести не может, просто у него такое чувство.** Мы уже и о чувствах докладываем? **О подобных наклонностях Б.-Б. нам докладывал уже и агент под конспиративным именем Удварди.** Лично я, ребята [okay, gays[1]], догадался об этом уже довольно давно...

Много конкретных сведений о Б.-Б., который при поддержке Ахмеда собирается ехать в Египет преподавать венгерский язык.

[Вчера — торжественный концерт Куртага и Лигети. Такой вечер способен чуть-чуть приподнять страну. В антракте кто-то поздравил с книгой, добавив: Завидую. Это чему же? Что у тебя прямо-таки фантастическая семья. Один отец чего стоит!.. Ну, это мы еще поглядим, пророчески — и очень тихо — ответил я.]

16, 26 августа 1960 года

В погоне за М. К. — сыном бывшего премьер-министра (да тут все сыновья бывших премьер-министров! мог бы сказать мой отец, тот, который остался в романе, с.; из-за с., а также из-за великого своего ума я делаю заключение, что все-таки что-то бесповоротно кончилось, ж. с.). Дошел до того, что без предупреждения (ну и хам!) явился к нему домой, где застал только жену М. К.; хозяин с 8 утра до 11 вечера работает на речном трамвае. **Она пригласила меня заходить еще, можно с детьми.** Ну уж нет!!!

Наблюдая, как появляются и исчезают мотивы, как отца заставляют бегать сегодня за этими, завтра, словно забыв о них, совсем за другими, никак не скажешь, что действие направляет уверенная рука.

М. п. у.: Вопрос — до какой степени разложился отец? Неужто до мозга костей?

1. О'кей, гомики (*англ.*).

Внезапно — ощущение было такое, словно в сердце, в нутро мне вцепилась ледяная рука, — я осознал одну вещь: эти так называемые "порядочные", "правильные" фразы отца в его донесениях возникли не оттого, что он пытался не навредить, помочь людям, попавшим из-за него в беду, а просто потому, что он был искренен. [Выходит, и это качество я унаследовал от него...] Он был искренен по отношению к своему куратору. А может, и нет — просто писал *все подряд*. Он пишет: Z невиновен, потому что он думал, что Z невиновен. И все. Если он думал бы, что Z изменник, то написал бы: изменник. Просто Флобер. Нет, скорее Стендаль.

9, 23 сентября, 7, 14, 25 октября, 4, 11 ноября, 2, 29 декабря 1960 года

[Летит крылатое время, и тащится вслед за ним — от донесения к донесению — мой отец.] Меня вновь поражает красота его почерка. Поражает, как точно, красиво расставляет он запятые. В прошлой жизни вопрос пунктуации я считал вопросом этическим. Выходит, я ошибался.

Бридж у А. С., общение на английском. Язык как хранитель нравственности: **...разговоров на политические темы не было, и сам я ничего подобного не инициировал, поскольку — по просьбе А. С. — вынужден был сконцентрировать все внимание на том, чтобы исправлять (достаточно многочисленные) языковые ошибки.** В интонации этого донесения я улавливаю некий новый оттенок, некий новый, самоуверенный акцент, подчеркивание противостояния "мы — они" (только с обратным знаком, не с тем, к которому мы привыкли). **...Однако никаких признаков противозаконных связей мною обнаружено не было.** Как будто он стоял на другой стороне. А впрочем, оно так и было: стоял.

Агента проверяют с помощью другого агента — под конспиративным именем Марго. Что еще за Марго? Женщина? Близкая подруга? Да какое мне дело до этого!

В связи с А. С. длинное донесение о каком-то письме по поводу отравления голландским маргарином, разобраться в котором я даже не пытаюсь. **Разговоров на политические темы не было, а когда С., как хозяин дома, выступил с пропозицией** — его словечко, мои братья тоже им пользуются — **послушать по радио венские новости, общество единодушно от этого отказалось.**

Пытается провоцировать Б. Э., и когда тот, к примеру, осуждает политику США, агент заявляет, что **такие вещи можно прочесть и в "Непсабадшаг", мне это не интересно, на что Б. Э. ответил, что в данном вопросе позиция его совпадает с "Непсабадшаг".** Наблюдатель не просто наблюдает, но и меняет жизнь тех людей, за которыми он наблюдает, что видно буквально из каждого стукаческого донесения.

Продолжается сетевая проверка агента. Правильно, так и надо.

[Вчера в Чакваре, "старинном фамильном гнезде", читал главы романа. Прекрасные отзывы об отце, фотография былой футбольной команды, на которой отец — вылитый Мицу; мой отец как мой сын. Пожилой, примерно моего возраста, человек в спортивном костюме упрекает меня, почему я не требую возвращения некогда отнятых богатств — земли, леса, шахты, дома, замки, считает он, загибая пальцы. Я легкомысленно ссылаюсь на существующие законы, но это не производит на него должного впечатления, он полагает, что все это ерунда и нечего тут тянуть время.

На что я в более резкой форме заявляю ему: но ведь тогда либо он — либо я. Если я получу прежние владения, то у него не останется ничего. И вижу, как он согласно кивает, чего ж тут не понимать, он готов вернуть мне поместье — вместе с ответственностью. Заметно, что свобода его тяготит, и многие — пусть не он лично, но чуть ли не все село — помнят, что "тогда" все было в порядке. Этого порядка и хочет от меня пожилой человек, рассчитывая, что я буду для них "добрым графом". Хватит, меня уже записали в почетные гои, теперь быть почетным графом? Как убежденный республиканец я осторожно намекаю им, что графские привилегии — это анахронизм, но сельчан это не убеждает. Свобода, равенство, братство, кисло восклицаю я и приступаю к раздаче автографов.]

Мероприятия: Из состава встречающегося на квартире С. общества с целью вербовки отобрать и взять в разработку ряд лиц. Найти средства для разложения данного общества. Все понятно, плевать им на то, что, как было ими же установлено, данная группа лиц в политическом отношении интереса не представляет, люди играют в бридж и шлифуют свой невысокого уровня английский язык. Сколько скрытого разрушительства! И мы к этому приложили руку.

И. П. я уговорил продолжить давать уроки фехтования, прерванные два года назад. Так и слышу, как он напевает об этом молодой женщине. А что пишет майор? **Находящейся в разработке И. П. следует уделить внимание. Учитывая ее связи, нужно взвесить возможность вербовки.** Мы-то знаем, что это еще ничего не значит... Вот твари, чуть ли не всех залапали! **Агенту дано задание установить с И. П. более тесный контакт.** Это тоже еще ничего не значит... хотя, солидаризируясь с матерью, эту тетку мы ненавидели, как кукурузные клецки. Откуда Мамочке было знать, что установления "более тесного контакта" требовали интересы нации?

[Только что получил письмо от одного из бывших учеников колледжа им. Св. Имре, "учащимся которого на протяжении ряда лет был достойный всяческого уважения Ваш отец. В связи с этим мы обращаемся к Вам с просьбой поддержать — хотя бы в память об отце — наше дело. (Восстановление памятника героям.) Мы с благодарностью примем от вас любую сумму".

В память об отце я готов пожертвовать. Старик, жертвую 10 тысяч форинтов, чтобы твои соученики еще в течение года сохраняли о тебе добрую память. Или тебе насрать на них? Крути не крути, а фактически получается так. Можно ли к этому что-то добавить? Мне кажется, можно, но что?]

<6—7 февраля 1961 года

Этой ночью милиция провела обыски примерно в 400 будапештских квартирах. Утром член политбюро Дюла Каллаи на встрече с католическими епископами заявил, что органами госбезопасности в связи с обвинением в антигосударственном заговоре арестован ряд церковнослужителей.>

16 февраля 1961 года

Задание заключалось в том, чтобы на день Матяша пригласить гостей. Двадцать раз прочел эту фразу — ничего не произошло.

9 марта 1961 года

Боже мой, что за почерк? Вкривь и вкось, буквы валятся, наверное, он был пьян. А кто бы не пил? На его месте я и детей лупил бы, во всяком случае некоторых. Помню, Дёрдь получал от него оплеухи, но в большинстве случаев, как мне кажется, по заслугам. <Недавно мы разговаривали с ним, стоя около дома, и вдруг он сказал: ты знаешь, теперь я жалею, что вел себя с ним так нагло. Никогда не поверил бы, что он может такое сказать; он принес нам обед, так как Гитта сломала руку и не может готовить.> С именинами вышел прокол, потому что отсутствовали как раз М. К. с супругой. М. К. прислал телеграмму: из-за болезни младшей сестры не на кого оставить детей. Потом сообщил письмом, что сломал палец ноги. Либо сестра, либо палец! А может, он догадался? Или действительно сломал палец?

<15 марта 1961 года

Католический епископат под давлением Государственного комитета по делам религий опубликовал коммюнике, в котором осудил антигосударственную деятельность и прочие "преступления" арестованных священников и церковных деятелей.>

24 мая 2000 года, четверг

9 часов 50 минут. Передо мной на столе четыре досье. Пора спускаться в забой. День за днем проходят как в опьянении. Ничего, кроме документов, в памяти нет, "получил задание", "агент в соответствии с инструкциями", "принятия мер не требуется". Вчера был у Гёнца [прощальный прием в связи с истечением президентского срока], много приятных людей, хорошо. Впрочем, это не значит, что не у Гёнца приятных людей было бы меньше. Однако пора, за дело.

30 мая 1961 года

Как обычно, о супруге Д. К., но: **Задание выполнить не удалось, поскольку поименованная в ночь с 8 на 9 текущего месяца была арестована.** Что бы это могло означать? В это время проходят аресты священников, раскручивается дело общества "Регнум Марианум"[1], "заговор" Ласло Эмёди. Дядя Эмёди возглавлял приход неподалеку от нас, на Чиллагхедь, мы бывали на его мессах, он же преподавал моим детям Закон Божий. Насколько я помню, встречался он и с моим отцом, пожимал ему руку. Laudatur Jesus Christus. In aeternum[2], господин доктор.

Значит, в то время, когда проходили эти фальсифицированные процессы, явившиеся последним всплеском террора, <а заодно был торжественно открыт Ханшагский канал>, он беспрерывно сновал между товарищами по несчастью, выжидал, наблюдал, интересовался, исполнял и докладывал. Что он думал об этом? Что *можно* об этом вообще подумать? Наверное, ничего. Только делать, напиваться и снова делать...

6 июля 1961 года

Квартира Херцега. Значит, его уже приглашают на конспиративные квартиры. Тетя Д. рассказывает, что К. получила 5 лет, А. И. — 4, Х. В. —

1. Существующее с 1902 г. католическое общество, занимающееся религиозным воспитанием молодежи и развитием бойскаутского движения. В 1960-е гг. руководители общества неоднократно подвергались репрессиям.
2. Слава Иисусу Христу. Во веки веков (*лат.*).

3. **У меня сложилось впечатление, что строгость вынесенного приговора весьма удивила их.** Здесь — из драматургических соображений — следовало бы заплакать, но мне уже не до того.

Агент посетил также квартиру М. К., чтобы поговорить с ним о матче Венгрия—Австрия, но К. не было дома. **Жена его рассказала, что он действительно был на матче — билет для него достал один из его племянников, сын К. К.** Вот и здесь четко видно, что доносчик вредит *всегда,* в любом случае. Казалось бы, совершенно нейтральная и пустая фраза. Но смотрите, что пишут эти кретины: **Часть донесения, касающаяся М. К., имеет оперативную ценность. М. К. был на матче с каким-то немцем или австрийцем, но это его жена утаила от Чанади. Данное обстоятельство делает подозрительными обстоятельства К.** Вот и все (зато каковы стилистические перлы!)

Еще одна любопытная фразочка: **Чанади не на пользу то обстоятельство, что в его присутствии люди воздерживаются от разговоров на политические темы. Это подозрительно, но проверить данное подозрение пока что не удалось.**

Кроме того, агент докладывает, что его навестила Элеонора Шварценберг из Вены. Тетя Элли отлично играла в шахматы. **Она поинтересовалась, что мне известно о процессе по делу священников... Я рассказал ей то, что известно из венгерских газет. Она сообщила, что моя сестра хотела бы пригласить на лето одного из моих сыновей.** Это обо мне, тысяча чертей и ... вашу мать! **Поездкой она осталась довольна (таможня, обслуживание, питание).**

13 июля 1961 года

Из-за проблемы с ключами в квартиру попасть не удалось, хи-хи: "Где ключи? У Фери" ("Производственный роман"), **поэтому разговор состоялся в одном из ближайших кафе. Поскольку обычно агент пишет донесения на квартире, в данном случае пришлось ограничиться устным докладом.**

Внезапно на меня накатывает волна тщеславия и гордыни: если все это я напишу, опишу как следует, книга будет не только о моем отце и т. д. Правда, мне чуточку страшно за мою жизнь. (Хотя в принципе типичная для писателя ситуация, но кому какое дело до моей личности. И все же это мучительно. И невесело.)

21 июля 1961 года

Ну вот и ключи обнаружились! Б., С., П., Й. П. с компанией, донесение о настроениях в обществе в связи с берлинским кризисом: жена П. как раз в это время получила повестку о штрафе в размере 10 тысяч форинтов и ни о чем, кроме этого штрафа, говорить не хотела, плевала она на берлинский кризис.

2 августа 1961 года

10—11 ч, квартира Херцега. **Сообщаю, что при моем посредничестве мои родственники собрали сумму в валюте, соответствующую 10 тысячам форинтов (11 047 шилл.). 31/VII деньги, поступившие на мое имя в Венг. национальный банк, мною получены и переданы супругам П. Они были растроганы и не знали, как отблагодарить меня за столь успешное содействие.**

Это бред! (Но приходится верить.) Подлость в личине братства. Как говорит режиссер Готар: Если нечто подобное я включу в свой фильм, то никто не поверит. Однако на этом день еще не кончается. **Провел внеочередную встречу с агентом. Передал загранпаспорт для его сына.** Я задыхаюсь, мне нечем дышать. А мы-то всегда считали и говорили, что *время от времени кто-то из нас получал возможность* выехать за границу, так как прочие оставались у них в заложниках. Это был более героический вариант, чем тот, что раскрылся сейчас. Чтобы гэбэ заботилось о совершенствовании моего немецкого!..

9 августа 1961 года

(Однако как участились встречи. Но теперь — уже? — мне его не жалко.) Агент рассказывает всем знакомым, что его сын едет в Вену. **М. К. поинтересовался, была ли у меня протекция при получении заграничного паспорта. Я категорически это отрицал, сказав, что подобные вещи — всего лишь часть тактики, направленной на то, чтобы держать людей в неопределенности, т. е. на то, чтобы невозможно было предугадать, кто получит, а кто не получит паспорт.** Агент ведет политические разговоры с К., который, в частности, заявил, что если в Советском Союзе через двадцать лет все услуги будут бесплатными, то **мы в лучшем случае можем рассчитывать на бесплатные похороны.**

18 августа 1961 года

Разговор с И. П., тема — моя поездка. *Curriculum vitae (фрагмент): В юные годы играл немаловажную роль в качестве коммунистической наживки.* П. интересуется, надолго ли едет ребенок. **...Я отпускаю его до начала учебного года, учитывая, что, кроме него, у меня еще трое сыновей, которых я не хотел бы лишать такой же возможности. Как "заботливый отец", я высказал надежду, что за время этой поездки, несмотря на обострение берлинского кризиса, не произойдет ничего чрезвычайного.**

До чего же противно его лукавство. — Агент набирает очки. Как настоящий постмодернистский автор (с постмодернистами как с евреями: постмодернист — это всякий, кого мы так называем, либо тот, чья мама-ша была постмодернисткой), он замешивает вымысел на реальности, конструирует подлинные ситуации, в рамках которых дает полную волю фантазии. По тону, он — все в большей степени — соучастник. "Как заботливый отец" — подмигивает он офицеру-куратору.

<26 августа 1961 года

Казнены Ласло Никельсбург, Лайош Ковач, и Иштван Хамори, осужденные на процессе по делу повстанческой группировки с площади Барош. Это последние из казненных в рамках возмездия за 56-й год. Эпоха Кадара может стартовать!>

29 августа, 12, 20 сентября, 5, 12, 19, 26 октября, 9, 23 ноября, 7, 10, 28 декабря 1961 года

Задание: Агенту поставлена задача организовать посещение футбольных матчей вместе с М. К., устранив препятствующие этому семейные обстоятельства. Сказали бы мне, и все дела... Я так любил ходить с ним на футбол, на проспект Юллеи, на "Народный стадион"... <С.> **Мероприятия: Обеспечить Чанади необходимыми билетами.** И

нет этому ни конца ни краю, эта гадость лезет в каждую щель. Значит, вот он, первоисточник мифической радости от походов с отцом на футбол. **Наверно, так выглядит рай: отец, замечательная еда, все красиво, подумал я** (стр. 547). Так, значит, за это я должен благодарить гэбэ.

<Я долго (и как-то беспомощно) ищу отрывок о походах с отцом на футбол... На стр. 688 натыкаюсь на описание страха, испытанного ребенком после предательства. Теперь это можно прочесть по-иному, так, словно это рассказывает отец 24 февраля 1957 года: **Наутро, едва я проснулся, мне в глотку вцепился страх. То был не тот страх, с которым я был знаком. И вцепился он даже не в глотку, а гнездился где-то в желудке, в легких, в сердце. Казалось, он сотрясал, раздирал все нутро, я задыхался, мне не хватало воздуха, всего меня медленно заполняло прозрачное, кристально-чистое жуткое чувство вины.**

Такого еще не бывало: я испытываю отвращение к себе и страх перед Богом.

Есть Бог или нет Его, но я остался с Ним один на один. Deus semper major[1], — повторял я про себя.

Я стал молиться — про себя, чтоб никто не увидел. Но никто и не видел. Вокруг меня не было никого. Никого. Зажмурив глаза, зажав рот и весь сжавшись в комочек, я взмолился: Господи, помоги, смилуйся надо мной! Умоляю Тебя, не мсти мне, не искушай, не насылай на меня испытаний, дабы узнать, как поведу я себя в беде и снесу ли удары.

Будь все это записано на магнитофонную ленту, я мог бы сказать, что Господь не услышал мольбы отца. Напрасно говорил Ему мой отец: **неожиданным и потрясающим откровением меня осенило, что мне никто не поможет... только Бог. И если Он не поможет, то так и придется жить в этом тошнотворном мраке.** Собственно, так он и жил, покуда не умер. (Таково самое незабываемое впечатление моего отца от общения с Богом, и было то 24 февраля 1957-го.)>

Агент докладывает, что получил извещение о кончине вдовы Яноша Эстерхази. Тут же несколько строк о Яноше Эстерхази (том самом, который в словацком парламенте голосовал против антиеврейских законов). — Обо всем, обо всех.

В соответствии с договоренностью два билета на матч Венгрия—Голландия я передал К., сославшись на то, что сам пойти не смогу.

<10 декабря на заседании Всевенгерского совета отечественного Народного фронта прозвучали знаменитые слова Кадара: Кто не против Венгерской Народной Республики, тот с нею и проч. (Христос в данном вопросе занимал позицию кадаровского предшественника Ракоши, Евангелие от Матфея, 12, 30: Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает.) С этих слов Кадара — секунда в секунду, — собственно, и началась кадаровская эпоха.>

11, 25 января, 15 февраля, 8, 22 марта, 3, 5, 19 апреля 1962 года

Агент передан мною тов. Ленделу. Гудбай, друг Фаркаш. Интересно, они хоть пивка попили по случаю завершения совместной деятельности?

1. Бог всегда велик (*лат.*).

Пространное донесение о наших знакомых А. С., М. К., И. П. [От следующей фразы у меня и сейчас обрывается сердце — так больно. Разумеется, вовсе не факт, что труды их увенчались успехом.] **Всеми троими мы занимаемся с целью возможной вербовки.**

Как явствует из донесения агента, попытка собрать информацию об А.С. в Аграрном университете завершилась провалом. Целевому объекту стало известно, что им интересовались органы внутренних дел.

Задание: познакомиться с машинисткой, некоей М. К. Лендел дает подробные инструкции. **М. К. интересует нас как возможный объект вербовки.** Совсем охренели, ну хватит уже! Хотя все логично: по мере консолидации количество стукачей на квадратный километр увеличивается.

Завинчивают гайки: **Агент задание не выполнил. Когда я его отчитал, он сослался на семейные обстоятельства.**

А это любопытно: **В настоящее время положение с агентом сложное, поскольку все его связи с аристократами носят односторонний характер. (Он посещает их, но ответных визитов они не наносят.) Это ограничивает наши возможности, так как односторонние контакты чреваты провалом.** Судя по подписи, Фаркаш вышел в начальники, это он пишет Ленделу: **К М. К. агента пока что не направлять. Посмотрим, чем кончится его поездка.** (?)

Внезапно п. с. такую картину: я стою перед ним и холодно говорю ему прямо в лицо: Чанади. Вместо того чтоб взбеситься, он смотрит в ответ с тихой злодейской ненавистью. Как настоящий гэбэшник (откуда мне знать, каким должен быть настоящий гэбэшник?). Я так пугаюсь, что изо всех сил бью его по лицу, прямо по очкам. — О дьявол. У меня что-то слишком разыгралось воображение... Никогда мне и в голову не приходило поднять на отца руку. Случается, я замечаю, что кому-то из моих детей очень хочется послать меня куда подальше. Но за собой этой бессильной злости по отношению к нему я не помню. По отношению к гиганту отцу (потому что отец, он всегда гигант), стоя перед которым мы не в силах ничего предпринять. Будь у меня эдипов комплекс (а может, и есть — в психологии я профан), я, наверное, был бы счастлив.

25 мая 2000 года, четверг

Вчера, после воображаемой драки, я внезапно вскочил и покинул Архив. По дороге домой прогулялся.

Вопрос вчерашней прогулки: что же руководило моим отцом? Страх? Нет. Это бы мы заметили. Беспомощность? Это я отвергаю. (Стоп. А кто я такой? Кто я такой, чтобы отвергать или принимать? Меня кто-нибудь спрашивал?) Или это была авантюра, циничные игры в безмерной жизненной пустоте? Нет, слишком уж мелко и мелочно! Чего-чего, а мелочности ни я, ни другие, кто был с ним знаком, в нем никогда не видели. (Разве что в старости, но тогда — извините! — он уже не был доносчиком!) А видели красивого, щедрого, всегда готового прийти на помощь мужчину, интеллигентного, умного человека с тонким юмором и широким кругозором, одного из лучших в своей области профессионалов, надежного и усердного, содержавшего ценой героических усилий свою многочисленную семью [с.] . <Как тупо я переписываю

сейчас эти "с.".> Нельзя сказать, что это неправда, хотя теперь все неправда, мир больше не тот, что был, и, честное слово, меня нисколько не удивит, если завтра не взойдет солнце. Увидим.

7 июня 1962 года

Докладываю, что в течение недели у меня гостила Мария Эстерхази, гражданка Австрии, 76 лет, проживает в Вене. А вот как этот фрагмент действительности дистиллировало художественное воображение (стр. 696): **После того как Мария-Поликсена-Эржебет-Романа — в просторечии танти Мия — запросила (и получила) эмиграционный паспорт, время от времени она сваливалась на нас из Вены (цель поездки — посещение родственников)... Дело в том, что визиты тетушки были в некотором смысле контрольными и для родителей: достойно ли *держимся* мы на вражеской территории, стоит ли еще *твердыня*.**

Твердыня, как позволяет предположить роман, стояла. Точнее, никакой твердыни не было уже и в помине и вопрос этот был идиотский, но мы все же держались. Словом, казалось, что "вопреки всему" было все-таки нечто, что сохранялось во всей чистоте и святости. Причем книга словно бы намекает, что это касалось не только узкосемейной истории, но и всей страны. Это неправда. Привычный для венгров самообман, суть которого, как мне кажется, заключается в том, что ужасы всегда совершали другие — немцы, русские, нилашисты и коммунисты. Ну а мы, с одной стороны, ничего не могли поделать, а с другой — все, что было возможно, мы делали. Назвать это речью свободного зрелого человека никак нельзя. Как фашизм, так и коммунизм пронизали нас куда глубже, чем нам хотелось бы думать. Речь идет вовсе не о коллективной вине, а, напротив, о личной ответственности как основе любого сообщества. Но ведь не у всех же отцы были стукачами! Нет, конечно. О чем я и говорю. Ведь неправда и то, что ни у кого отцы не были стукачами. Неправда, что стукачами становились исключительно те, чьи отцы уже были ими, что существовал некий специальный слой... Мой — был, твой — не был. Поэтому я все это и пишу. [Не поэтому; пишу потому, что ничего другого не остается.]

Впрочем, оперативной ценности донесение не представляет.

16 августа 1962 года

В этот день ЦК Венгерской социалистической рабочей партии принял постановление "о завершении расследования противозаконного судебного преследования деятелей рабочего движения в годы культа личности". Из партии исключили Эрнё Герё и проч. бывших вождей, 14 офицеров госбезопасности и находившегося в эмиграции в СССР бывшего генсека Матяша Ракоши, агент же подготовил характеристику М. К.-младшего — корректную и даже прочувствованную. **Насколько могу судить, М. К. — хороший семьянин... Он не относится к типу людей, вечно плачущих по потерянному богатству, а, совершенствуя свою профессиональную подготовку, стремится создать для семьи приемлемые жизненные условия... О своих заграничных связях высказывается скупо, и то только когда ему задают вопросы... Особых пристрастий не имеет, любит ездить на мотоцикле и играть в бридж.**

Но офицер все же делает вывод, что **имеются все возможности для ведения разведывательной деятельности в рамках данной категории.**

<24 февраля 1963 года

В день Матяша состоялись парламентские и местные выборы: 98,9 % голосов были отданы за кандидатов Отечественного народного фронта.

21 марта 1963 года

На открытии первой сессии нового Государственного собрания Янош Кадар объявляет всеобщую амнистию. (Но всеобщей она не стала.)

2 апреля 1963 года

Отменен учет школьников по классовому происхождению (постановление ЦК ВСРП).>

23 мая, 6, 14, 20 июня, 3 июля, 16 августа 1963 года

[В общей сложности четыре донесения. Новый куратор — майор Тот.] Перечень знакомых на Западе — от тети Мэри до Ирмики и дяди Казмера. Мне *взаправду* неловко. Я хихикаю про себя.

На станции электрички у Римской набережной (думаю, в пристанционной забегаловке) **я поднял вопрос о советско-китайской полемике... В связи с китайским вопросом услышал два анекдота** — последнее слово зачеркнуто, другим почерком вписано — **высказывания: Кто такие китайцы? Это члены-корреспонденты соцлагеря. — Чем занимаются теоретики соц-зма? Разрабатывают тезисы мирного сосуществования соцстран.** И этот напыщенный хер — мой отец?

<Из тюрьмы вышел Арпад Гёнц.>

26 мая 2000 года, пятница

Солнце встало (раньше, чем я). Вчера с моим другом саксофонистом Дешем ездили в Сомбатхей. Хорошо. Все любят и уважают моего Папочку. В игре Деша есть для меня нечто чисто этическое. Этика труда? Внимания? Серьезности? Духовная строгость. Мы, покачиваясь, словно на корабле, едем в его комфортабельном автомобиле, чувствуя себя хозяевами времени и властителями покоя. Двое друзей на волнах задунайского океана. И вдруг он мне говорит: И все эти стукачи, именно стукачи надрывают глотки, только теперь — как защитники нации. На сей раз сердце мое не подпрыгнуло. В этом мирном покачивании все само собой разумеющееся разумелось само собой: если мы говорим — а мы это говорим, — что режим был плох, что он унижал, опускал, перемалывал членов общества, то это и *к нам* относится. Ведь не может так быть, чтобы все это относилось только к другим, а мы ни при чем. В принципе я думал об этом и раньше, но думал, пожалуй, слишком спокойно и отстраненно. Да, разумеется, и к нам тоже относится, но "мы" ведь вели себя как порядочные. А "отношение" подразумевает всегда нечто конкретное, осязаемое. Но чтобы все было настолько конкретно — на это я не рассчитывал.

Мне кажется, мой отец — метафора нашей страны.

14 сентября, 10 октября, 6 ноября 1963 года

Задание заключалось в том, чтобы навестить И. П. На полях — почерком строгого, но доброжелательного учителя венгерского языка: **Зачем, с какой целью? Следует уточнить!**

Разговор шел со скрипом, потому что И. П. красил при этом гал-стуки. Агент, несомненно, войдет в число видных историков-микрореа-

листов, отражающих в капле море и проч. Кстати, здесь же выясняется, что весной ему отказали в паспорте; это странно.

10.30—12.30. Когда-то, еще в самом начале, мне всегда было жалко, что они беспощадно ломают ему весь день. Теперь — нет. Из этого и состояли его дни. В каком смысле они их ломали?

Наконец-то он получает паспорт. По просьбе Й. М. привезти книгу Жигмонда Сечени "Праздники" и т. д. **7 ноября агент отправляется в Вену. В связи с этим был проведен инструктаж в секторе III/II-2b МВД и в группе III/d.** [Я с волнением перелистываю справочник Архива: что за подразделения? Выясняется: контрразведка. Еще немного, и мы станем шпионами, из чего явствует, что при диктатуре быть шпионом не есть ремесло порядочного человека и не может им быть.]

[Читаю интервью Ш. К. о том, как он был агентом госбезопасности. Бедняга. Он уверен, что действительно не вредил. <Задним числом вычеркиваю его имя, заменяя инициалами.> С отцовской его деятельность не сравнить, он почти не писал донесений, да и то, что писал, было непригодным и проч. Боже мой, как хорошо, что он умер (мой отец). Мне легче стыдиться, чем видеть стыд на его лице. Легче молиться за него (хотя молиться всегда нелегко), чем орать на него или с презрительной миной молчать. Но мысль о том, что лучше б он помер, прежде чем был завербован, мне в голову не приходит! Этическое состояние мира от этого, возможно, чуточку улучшилось бы, но что было бы со мной и с моими братишками? С. Сколько доброго мы от него получили. Ж. с. <Снова с., но это уже на верстке.>]

27 декабря 1963 года

Пространный восьмистраничный отчет ("тссс! ваш отец работает"; кстати, фраза эта, замечу, нередко звучит в этом доме и в наши дни) о зарубежной поездке. В Австрии он находился с 7 ноября до 19 декабря; мне почему-то помнится, что поездка была короче.

Педантично перечисляет, с кем он встречался: О. Д., чьей супругой является Ж. С., проживает и проч. — все эти имена знакомы мне с детства, чуть ли не мифологические имена: Шварценберг, де Круа, Ревертера и, разумеется, Эстерхази. Одним из заданий было собрать информацию о Ф. Й., но встретиться с ним не удалось. Он торгует металлом, в том числе и с социалистическими странами. **Как говорят, он неоднократно бывал в Москве, где ему подарили советский автомобиль; но он несколько месяцев держал его в своем венском гараже, поскольку к так наз. "Osthandel"[1] австрийские деловые круги относятся отрицательно, да и в обществе это не самая "приличная" тема.**

Везде, где я появлялся, встречали меня весьма радушно. Этот тон звучит (уже) с "нашей", коммунистической стороны. **Почти все интересовались современной ситуацией в Венгрии, на что я отвечал в соответствии с реальным положением дел.** Вполне гениальная фраза; я думаю, он не лгал. На частый вопрос о том, можно ли спокойно поехать в Венгрию, стандартный ответ звучал так: **разрешение на въезд в Венгрию является вместе с тем гарантией свободного выезда.** Афористично сказано.

1. Восточным сделкам (*нем.*).

В контакты с эмигрантскими организациями он не вступал, навестил в Эринге семью дядюшки Казмера (извините!). Поблизости жил бывший генерал генштаба Ф. Ф. К., **однако родственники сочли, что "разумнее" было бы воздержаться от встречи с ним, поскольку венгерские агенты уже вели за ним слежку.** Последнее вызвало интерес у майора Тота.

3 января 1964 года

Об эмиграции он все же докладывает — о сварах между группировками эмигрантов 1945 и 1956 годов. **Тем не менее даже при сходстве принципиальных платформ между ними ведется борьба за кусок хлеба, маскируемая политическими фразами. Конкретно сражаются они за благосклонность американцев (т. е. за финансовые подачки), и, в зависимости от настроений, господствующих в США, готовы оказывать услуги той политической группе, которую поносили прежде.** Понятная, четкая фраза, он хочет что-то сказать и действительно говорит.

Ко мне направляется К. и показывает досье, над которым работает. Интересно. Но ответить взаимностью я ему не могу, хотя мои материалы не менее интересны. <Мир Восточной Европы, слышу я в этот момент по радио, — мир безрадостный, разрушающийся, страшный.> Я отвечаю ему, что на фоне всех этих доносов Шекспир, действительно, серый реалист. К. предостерегает меня, что в них, в этих документах, все же сильна специфическая языковая среда, в которую нас погружают гэбэшники. В реальности все было не так жестко. Да, конечно, все это стилизация бессодержательной ерунды, но все же предательство есть предательство. Сколько мы говорили, что кадаровский режим — это сопли, и вот что, оказывается, за ними стояло: сломанные хребты, жизни, судьбы.

Я говорю чуть более приподнятым тоном, чем это предполагает наш разговор, и все время смотрю в лицо К., слежу за его глазами, чтобы он не мог взглянуть на мои досье. Интересен этот идиотизм, коренящийся в страхе, main идиотизм. К. серьезно кивает. И упоминает еще книгу Тимоти Гартона Эша[1], которую стоит прочесть, да и перевести бы не помешало. <Я прочел, и правда отличная книга. Отличная английская книга. Эш, конечно, не просто англичанин, он в первую очередь — Эш. Однако показывает он молодого англичанина, в конце 70-х годов какое-то время пожившего в обоих Берлинах и пытавшегося найти место в собственной системе координат для этого многократно чуждого ему мира. После падения Берлинской стены Эш беседует с бывшими сексотами и офицерами штази, ничего не замазывает, не скрывает, руководствуясь при этом только одним стремлением — понять. Наверное, будь я англичанином, то писал бы сейчас не такую книгу, как эта.>

17 января 1964 года

Задание: По средам и пятницам, а также по воскресеньям в утренние часы посещать кафе "Имбис", по возможности располагаясь неподалеку от собирающейся там компании. Стараться вести себя незаметно. Взять с собой перевод, иначе компания может обратить внимание на то, что он сидит в одиночестве и ничем не занят. [Вне-

1. Имеется в виду книга английского политолога Тимоти Гартона Эша "Досье. Личная история" (T. G. Ash. The File: A Personal History. L., 1997).

запно м. п. у.: Боже, смилуйся! — Правда, сегодня Страстная пятница, и, наверное, эти слова пришли мне на ум не так уж случайно. Как бы то ни было, с точки зрения моего отца существование Бога было бы в данный момент крайне выгодно. Он мог бы искренне раскаяться в содеянном, а Господь Бог мог бы простить его; небольшой переходный период в чистилище, и вперед, в поднебесье, в рай. А может быть, он не раскаялся бы, т. е. восстал против Бога, и тогда загремел бы к грешникам. В любом случае порядок и справедливость были бы восстановлены. Ну а проще всего, да простится моя нескромность, было бы назначить Богом меня, и тогда одним выстрелом мы убили бы сразу двух зайцев.] **Пока что агент должен вести только наблюдение. Примечание: Наша цель — путем соответствующей комбинации внедрить Чанади в группу лиц, разрабатываемых под кодовым названием "Завсегдатаи".** Ишь, комбинаторы!

31 января 1964 года

Докладывает о кафе "Имбис". Донесение соответствует информации агента Банхиди, уже внедренного в эту компанию. Агент находился в "Имбисе" 24 января с 18 до 19 ч, в воскресенье 26-го с 10.15 до 11.45 и 29 января с 17.00 до 18.15. Понятно теперь, откуда проблемы с семейной жизнью, почему она идет через пень-колоду.

12 февраля 1964 года

И. П. отказано в заграничном паспорте. **На мой вопрос, если все же поездка удастся, не собирается ли он эмигрировать, он ответил отрицательно, сославшись на то, что семья его остается дома.** Однако у Тота подход к этому вопросу более комплексный: **Можно предположить, что П. имеет намерение эмигрировать, и если сумеет выехать, то останется за границей.** Вот и пиши им после этого донесения...

Читая следующее донесение, я тяжко вздыхаю и шепчу про себя: Вот суки, вот суки. Как улитки, ползают по всему городу — стукачи, офицеры-кураторы, — оставляя за собой следы отвратительной слизи. С каким самоуверенным гневом писал я когда-то, что в конце концов не все мы в этой стране были стукачами или гэбэшниками, что было здесь примерно десять миллионов людей, *которых это не касается.* Тогда мне трудно было представить, насколько — и как тяжело — касается это и лично меня, и других.

[Сегодня мне исполнился 51 год. Ему было столько в 1970-м. И он еще по уши был в этом дерьме. Что он о себе думал? Наверное, ничего: избегал этой "темы". Которая валялась у него под ногами.

Я где-то прочел: "Ответственность несет тот, кто делает выбор. Бог не несет ответственности". Весь день мысленно составляю портрет отца: весь день листаю словарь синонимов — делаю вид, что работаю как обычно, подыскиваю слова, переставляю их с места на место и, как это ни смешно или пошло звучит, чувствую себя среди них замечательно, — собираю синонимы слов "низкий", "подлый". Этот синонимический ряд — только одно из лиц моего отца. С моей стороны несправедливо было бы написать: Матяш Эстерхази, 1919—1998, и далее следовали бы слова, которые венгерский язык придумал на тему подлости.

Работа идет небыстро: я пишу слово и пытаюсь увидеть за ним моего отца. Приходится, а что делать? Жалкий — отец. Убогий — отец. До-

вольно сложная процедура. За каждое слово я помещаю лицо отца или, наоборот, пытаюсь представить лицо, которое подсказывает мне то или иное слово. Потом я составлю список: какие слова я могу принять как действительно относящиеся к тому отцу, которого я знал - - - - в этот момент ко мне заглянула Г., мол, какой-то важный звонок, и я слышу нечленораздельный вопль отвратного типа, который слышать не желает ни о каких звонках, и вообще, когда наконец меня оставят в покое?! Я задыхаюсь. Что странно. В горле полная сушь, я не знал, что можно охрипнуть от одной-единственной фразы. Теперь знаю - - - -, то есть, в сущности, к тому человеку, которого я описал в "Гармонии".

Пасхальное воскресенье с братьями. Рассказываем друг другу разные байки про отца, точнее, рассказывают в основном братья. Вспоминают, как однажды воскресным утром, когда отец еще спал, Дёрдь и Марци натянули ему на ногу мокрую банную рукавицу и как он пустился за нами в погоню. У нас была фора: сперва ему нужно было найти очки. Мы рванули в ванную и успели там запереться. Отец требовал, чтобы ему сию же минуту открыли. А мы говорили: откроем, если Папочка обещает не наказывать нас. Еще чего, я могу вам пообещать только пару солидных затрещин. В таком случае мы не откроем.

Я слушаю это как сказку. А братья, рассказывая, сияют от счастья. <С.> Мы смеемся до слез. Тем временем я, как заправский ведун, шепчу: Смейтесь, смейтесь, покуда не поздно. Как жаль, что нельзя ничего изменить, я с удовольствием сыграл бы роль доброго старшего брата, готового защитить своих младших братишек <с.> от всякой напасти.

Есть такое венгерское (да и восточноевропейское) представление об истории, некая вечная тема (и самоощущение!) обиды; дескать, со времен короля Матяша идет сплошное падение, история усыхает, и мы, современные венгры, являемся ее жертвами. И все это длится по нынешний день. Мой так называемый "подлый отец" важен именно с этой точки зрения, являясь экзистенциальным свидетельством того, что мы были не только жертвами. Ведь именно мы производили на свет предателей. Мой отец — частица этого "мы", поэтому я считаю удачей публикацию "Гармонии", которая доказывает именно это, и именно так ее все восприняли. Он один из нас, носитель общих страданий.

Ужин с Д. Л. Мне нравится твой отец. Фотография твоего отца. Рафинированный, элегантный. Незапятнанная душа! Л. смотрит на меня выжидающе. В таких ситуациях я неоднократно лживо кивал собеседнику, но с Л. — я чувствую это — мы настолько близки, что я не смею пошелохнуться и только гляжу на него. Или я ошибаюсь? спрашивает он как-то насмешливо, совсем как наш Папочка. Как человек, знающий ответ заранее. Еще немного, и я сболтнул бы: нет, ты не ошибаешься. Но я неподвижно вглядываюсь в его лицо, ощущая, что из глаз моих катятся слезы. Прикрывшись салфеткой, я начинаю смеяться, одновременно и смех, и слезы, на что Л. говорит мне: Прости, пожалуйста. Мы очень близки с ним. Ж. с.

Всякое истинное произведение искусства, как говорят, содержит в себе некую тайну. Неужто *это* и есть тайна "Гармонии"? Надеюсь, что это не так.]

<Неожиданно м. п. у., что поначалу Гизелла ни в какую не соглашалась печатать слова, относящиеся к оральному сексу, ставя в таких местах отточия. Не надо, душа моя, никаких отточий, потому как если что-то должно быть в тексте, то этого не миновать, усмехался я. Но потом както, когда мы кончали работать с ней над "Гармонией", я позвонил Гизелле, объявив, что есть хорошая новость: душа моя, я вычеркнул один минет. Никогда еще я не слышал по телефону такого гробового молчания. Ну, махнул я рукой, тогда уж не знаю, как вам еще угодить!

В ближайшее время я должен нести ей на перепечатку первые две тетради. Кроме Гитты, она будет первой, кто об этом узнает. Ах, Гизелла, вы еще пожалеете о безобидных минетах — этих прекрасных и чистых, возвышенных, праздничных проявлениях человеческого естества!

Что я скажу ей? Ведь ее нужно подготовить. Придется напускать на себя важный вид. Ну вот что, Гизелла! Позвольте мне взять вас за руку. Я должен доверить вам нечто ужасное. Еще не поздно, вы можете отказаться. На это она по-доброму и чуть-чуть свысока — как Мамочка: ах, эти неисправимые мальчуганы, они полагают, что мир кружится вокруг них, — рассмеется. И тут мне, пожалуй, придется предупредить ее, что, возможно, она еще пожалеет об этом.

Она, наверное, омрачится и промолчит, однако не осерчает. Она многое мне прощает, точнее сказать, все. Но потом обо всем высказывает свое мнение. Вы ведь читали мой эпохальный роман "Harmonia cælestis"? Она со смехом кивает. И помните, есть там один герой, взгляните-ка мне в глаза, вы понимаете, о ком речь... так вот... и тут я скажу ей. Она промолчит, бедняжка. По-моему, сразу этого не понять. Нужно время.

Я держу ее за руку.>

[Во сне, ощущая на своей руке тяжелую отцовскую длань, я объясняю ему, что лучше всего, если я напишу об этой истории, объясняю, как доктор ребенку, мол, не надо бояться, это будет не больно, лучшего решения не найти. Я говорю о его "деле" как о болезни, в которой никто не повинен, просто так получилось. Чувствуя его руку на своей, я испытываю столь сильное и приятное чувство, что просыпаюсь.

Восемь часов, я быстро записываю, что увидел (уже записал). И пытаюсь ответить себе на вопрос, что за чувства, какое настроение остались во мне после сна, но добрые чувства уже превратились в *воспоминание,* и я мерзну теперь, мне холодно.

Из читательского письма о романе: И спасибо, что ты рассказал о том, как много может выдержать человек. — Нет, такого он выдержать все же не может.

Что означает, что представляет собою падение моего отца?

Может быть, стоит поступить, как П., который, узнав, что один из его товарищей-артиллеристов был стукачом, решил молчать? Схоронить все это в себе. Я тоже мог бы молчать, потихоньку страдая и размышляя о том, как устроено мироздание. Поступок П. говорит о том, что осмыслению это не поддается. Он не трус, он попросту защищает сообщество. Мне же следует это осмыслить, говорю я себе. И дело тут не в смелости. Я тоже защищаю сообщество.

Но чем это кончится? Обычной сумятицей: проклятьями и слезами.

Б.: Из книги неясно, верил ли твой отец в Бога. Это так. Ответить на этот вопрос мне трудно. Скорее не верил. Может быть, лишь в конце? В любом случае вопрос существенный. Верующего человека история не смогла бы так запросто вышвырнуть из его жизни.]

3 марта 1964 года

[После этого донесения я начал собирать синонимы слова "подлец".] **Задача моя заключалась в том, чтобы вступить в контакт с гражданином Т. Й. В соответствии с инструкциями в 3.00 28 февраля с. г. я появился в Управлении госавтоинспекции, куда было вызвано и названное лицо. Ожидая своей очереди, мы разговорились. Я спросил у него, где находится кабинет, указанный в моей повестке. Он показал. "За правами?" — поинтересовался он. На мой утвердительный ответ он, не дожидаясь вопроса, сказал, что его лишили прав в 1958 году... Я сказал, что у меня права отобрали еще во время ссылки, на что он ответил, что мы с ним товарищи по несчастью. Я согласился с ним, после чего мы почти одновременно представились друг другу... По ходу разговора я предложил ему перейти на "ты", на что он с готовностью согласился.**

Здесь я делаю паузу, нужно передохнуть. Не верь никому, кто старше тридцати! Ему теперь ровно столько. Не верь никому, кого зовут Эстерхази! Когда он упомянул о ссылке, то был уже на коне, а когда назвался, то собеседник наверняка воспринял это как награду, ведь мы в то время были врагами из врагов. Более ненавистными врагами народа, более разоблаченными и развенчанными и быть невозможно. Даже если речь шла не о нас, все равно это были мы. Какая же подлость так злоупотреблять, собственно говоря, историей наших страданий. [Как же трудно мне это писать. Я окончательно освобождаю себя от всех привилегий. Тяжело.]

Мне он "показался знакомым", я спросил, не бывает ли он в кафе "Имбис", что на проспекте Юллеи. Очень часто, ответил он, потому что живет в том же доме. По воскресеньям там собирается целая компания. "Отбросы общества?" — шутливо спросил я, на что он со смехом ответил, что это не совсем так. Они договариваются встретиться в "Имбисе", что и происходит (1/III, 10.30). Т. Й., оставив компанию, пересаживается к агенту. Итак, внедрение началось. В романе страдания семьи показаны "сами по себе" — как часть творения, а не как основание для сочувствия, не как аргумент и не как привилегия.

Здесь же: **Если в компании будут интересоваться его личностью, агент должен рассказать о своем прошлом, в том числе и о ссылке.** Вот так! Страдание как гэбэшная наживка. **Сам агент, чтобы не вызывать подозрений, не должен проявлять интерес к отдельным членам компании.**

Нет сил все это читать. Насколько было бы легче (наверное), если бы речь шла обо мне. А то получается как в поговорке: чужой хер о крапиву чесать. Впрочем, хер нашего отца — этот почти что наш собственный. Или наоборот, но он и тогда нам близок. Магический объект, описанный (по следам Доналда Бартелми) в "Небесной гармонии".

10, 17, 24 марта 1964 года

Закрутилась шарманка. "Имбис". В воскресенье в половине десятого он уже тут как тут (То есть как это в воскресенье?! Ведь в то воскресенье у меня был матч. И ему полагалось присутствовать. Да он и присутствовал <с.>, клянусь.), **с тем расчетом, что, если Т. Й. появится раньше других, я подсяду к нему за столик.** Но, увы, хитроумный план не срабатывает, Й. приходит последним, дружески приветствует агента, но подходит к нему лишь позднее, когда тот уже собирается уходить. Они обмениваются несколькими словами, **после чего Й. коротко попрощался, дескать, у него стынет кофе, так и не пригласив меня к своему столику. Я тоже, естественно, удалился.** Естественно. Naturgemäß, как выражается Бернхард.

Товарищ Тот! Для дальнейшего продвижения нужны новые комбинации. Продумайте этот вопрос, и через неделю обсудим.

Закончилось второе досье. Заключение от 9 августа 1965 года, а также справка от 26 июля 1977 года, подписанная начальником отделения подполковником милиции Дежё Гаалом. В ней указана вся работа, которой до этого занимался агент. **Сетевая проверка графа М. К. и Й. П., А. С. и лиц, группирующихся вокруг него... Работал результативно.** Перед поездкой в Австрию прошел инструктаж в контрразведке. **Разработка объекта под кодовым названием "Завсегдатаи"... работал успешно** ("Имбис"). **Разработка объекта "Собеседники"... успешно. В процессе работы деконспирации не допустил.**

Возможности для использования в разведке значительно возросли. О, о, о, сказали оловянные солдатики. I am Bond, James Bond.

Досье третье

Содержание — помимо обычных (знатных) фамилий, донесение о спортивном клубе "Ференцварош"; только этого не хватало. 527 листов, 140 донесений, с апреля 1964-го до конца 1967 года.

Оп! Вот она, на краю стола — жевательная резинка, которую я забыл здесь в пятницу. Все-таки связь времен не прервалась!

Ко мне подходит М.: хотел бы поговорить со мной. Мы выходим в коридор. Я просил у него навести справки об агентах, встречающихся в документах, по одним именам это трудно, но... [Дело кончилось ничем.] Он просит подписать два экземпляра "Гармонии". Говорить с М. можно только доверительным тоном, потому что он посвящен в самое сокровенное. Мне не хочется с ним говорить, но и молчать не хочется. Я, как зверь, вострю уши (как пугливая серна).

Учетная карточка моего отца в Архиве отсутствует, ее забрала разведка. А это твердый орешек. О, это не так важно. (Время от времени я бросаю взгляд на экземпляры "Гармонии", чтобы убедиться, кто я на самом деле. Что я — не эта дрожащая тварь.)

И все же я заговариваю с М., спрашиваю, почему в свое время на меня не давили этими фактами. Ведь было же очевидно, что я приду в полное замешательство. Он неприятно молчит, отчего создается впечатление, будто я оправдываюсь. Если хотите закрыть к материалам доступ, наконец говорит он, то как сын имеете право. Нет, нет, мне только не хо-

телось бы, чтобы кто-нибудь *раньше времени*... пока я над ними работаю... Я сам должен это осмыслить. Ну и попробовать сделать выводы, точнее, разобраться в причинах и следствиях. Я умолкаю, все это похоже на исповедь, ну и смех, и при этом я пытаюсь завоевать его симпатии, чтобы быть в нем уверенным. <Мне бы хоть на пару месяцев оттянуть...>

М. сообщает еще одну интересную вещь: с точки зрения авторских прав это можно рассматривать как дневники и использовать. Я со смехом отмахиваюсь, как будто я — это я, а не сын стукача III/III: О, по нынешним временам — что угодно, откуда угодно... эпоха постмодернизма...

7, 16, 23 апреля, 5, 19, 26 мая, 2, 16 июня, 14, 28 июля, 7 августа, 3 сентября 1964 года

В основном работает по линии "Имбиса". [Не стоило бы называть это работой. Вынюхивает, внедряется. Суетится по поводу "Имбиса". Это лучше.] **В случае, если агента пригласят в компанию, он должен принять приглашение без энтузиазма.**

Короткое донесение о нескольких венских знакомых. **Их адреса я уже не помню, но это легко установить по венскому телефонному справочнику.** Какой естественный и спокойный тон. Ни страха, ни заискивания; тон уважающего себя сотрудника. Человек выполняет свой долг.

Дело "Имбиса" продвигается. К ним (к агенту и Й.) подсаживается И. Б., еще один член компании, которого **мое присутствие не только не смутило, но, кажется, побудило к тому, чтобы побахвалиться своей информированностью. — Поскольку Б. германофил, обратить внимание на то, чтобы не выказывать перед ним антигерманских настроений.** Вот цирк! Б. когда-то работал на Дунайском авиационном заводе, **где занимался копированием так наз. операционных чертежей немецких боевых самолетов, отдельно по каждой детали, после чего самолеты собирали в Испании.**

Настоящий мужской разговор. Агент докладывает обо всех мелочах, стукач-автомат. Он, в частности, сообщает Б., что, пользуясь своим юридическим образованием, с удовольствием помогает **попавшим в беду добрым венграм** и что начал заниматься этим еще в ссылке, в 1951 году, **когда разные заготовительные конторы "доставали" моего хозяина-кулака, не разбиравшегося в указах о заготовках.** Совсем стыд потерял. **Б. отнесся к этому одобрительно, заявив, что нам надо держаться вместе.**

Дело сдвинулось, кое-кто из компании уже здоровается с агентом.

А вот в 5 вечера 27-го и в 7 вечера 29-го он потратил время впустую. Никого не было. Наверное, пил, что еще оставалось? Несчастный...

Зато в День падения Бастилии, в символический, можно сказать, день торжества свободы и европейского просвещения, агента ожидает удача. **Когда они вышли, я отправился за ними; на углу ул. Томпы они остановились поговорить и, заметив меня, поздоровались.** Вот шакал, как он крадется за ними... **Н. упомянул, что собирается подавать на реабилитацию и хотел бы, чтобы я просмотрел документы... Затем я остался с Б., которого пригласил в винный погребок "Хид", что на бульваре Ференца.** "Передай матери, что я тут не развлечения ради".

Информатор ведет себя искренне и заслуживает доверия. Может считаться проверенным... В данном деле добился успеха.

Ниже подписи Тота рукой начальника — майора, фамилия которого начинается не то с "П", не то с "Д": **Следует прекратить слишком узкое**

использование агента. Этот (!!!) способен на большее, чем те задания, которые он получает и выполняет в указанном деле. Что верно, то верно: это от него я унаследовал усердие и выносливость. Ну и от мамы, конечно... **На одной из контрольных бесед мною было предложено несколько вариантов, которые мы обсудили. Не думаю, что майор Тот сможет это реализовать. Вернемся к этому в середине сентября, жду твоего доклада.**

Пространное донесение "сверх задания": приедет ли моя тетушка из Вены или не приедет. Агент уговаривает ее, но она в нерешительности, **в ней сильны еще впечатления от событий прежнего времени (периода интернирования). — Тов. Ловас, в случае приезда данного лица следует основательно проинструктировать агента и подготовить его к сбору разведывательных данных.** Уже никаких границ? Неужто возможно все?

18, 24 сентября, 13, 23 октября, 1 декабря 1964 года

31/VIII указанное лицо на собственном автомобиле прибыло в Будапешт, где остановилось на квартире своего старшего брата Матяша, пишет агент. Чуть ли не литературный прием, остраненность, флоберовская impassibilité или как это там называется — тысяча чертей! Подробный отчет о том, как с М. долго беседовали в Центральном бюро виз и разрешений... **она им ответила, что вернется в Венгрию, когда на границе с нее будут требовать не визу, а автомобильную страховку, как во всех западных странах.** Агент пишет правильно, это ее тон, уверенный, свободный, отчасти дерзкий и даже нахальный, но при этом на удивление спокойный тон тети М. Не слабо, как сказали бы в подворотне.

Вот сволочь: у завсегдатаев "Имбиса", докладывает агент, возникло подозрение, что среди них завелся стукач; они рассказали ему, что их вызывали в милицию. **На мой вопрос, упоминалось ли мое имя, они ответили отрицательно. Минут через десять вошел Й. и, не садясь, шепотом сообщил мне, что будет ждать меня в кафе "Караван" на противоположной стороне улицы.** Подозрение компании падает на некоего Баллу. Из донесения Тоту стало известно, что завсегдатаи заранее договорились, что́ отвечать на допросе. Если бы я теперь дал волю моему новому, непосредственному реализму, то бедный Издатель ноги бы себе в кровь стер в поисках типографской краски, которая все это выдержала бы... Дерьмо.

Восьмую годовщину нашей революции агент отмечает по-своему. **Задание заключалось в том, чтобы установить возможности внедриться в клуб "Ференцварош".** Известно, что настоящие венгры болеют за этот клуб. Майор Тот, дебютируя как редактор, исправляет фразу: **Задание заключалось в том, чтобы описать существующие у меня возможности по внедрению в клуб "Ференцварош".** Пора бы мне уже перестать удивляться и выходить из себя. Уж если на это пошел, то не свернешь. Быть проституткой наполовину не значит быть наполовину порядочной — это значит быть плохой проституткой. [Вот не знал, что я в этом деле эксперт.]

Он вновь собирается за границу, составляет список знакомых и родственников. В заключение походя сообщает о политических высказываниях своего друга из внешнеторгового банка, а также закладывает коллегу из Бюро переводов, с именами, все как положено.

<15 декабря 1964 года

Начинаются новые политические судебные процессы. Верховный суд выносит приговоры по делу бывшего депутата от запрещенной в 1949 году Демократической народной партии Ференца Матеовича и его соратников, которым вменили в вину участие в антигосударственном заговоре. "Заговорщикам" дали от десяти месяцев до десяти лет тюремного заключения.

Весь 1965 год уходит на незаметный и кропотливый труд по внедрению в "Ференцварош" и подготовку загранпоездки. Конкретные даты указывать дальше не буду.>

Задание заключалось в том, чтобы войти в клуб друзей "Ференцвароша"... В правлении меня встретил седой мужчина лет шестидесяти по фамилии Фишер. — Обстоятельства вступления в клуб совпадают со сведениями, которые сообщил информатор Алфёльди.

Задание заключалось в том, чтобы 14 числа текущего месяца присутствовать на "Народном стадионе" во время матча "Ференцварош" — "Татабаня". Если уж предавать, то предавать всё и всех.

Кондитерская "Кёрёнд". <Наверное, уже пора сделать, что было задумано, — обойти все эти места и опрокинуть в каждом по пятьдесят грамм. Адреса у меня уже есть. Кто-то мне их раздобыл.>

Агента посетил Б. Т. (я знал его, у него была очень красивая дочь, теперь уже взрослая женщина) и сообщил ему: есть возможность устроиться переводчиком с английским в Багдаде, где предполагается строительство мясокомбината. Ах, эта дивная эпоха Кадара! Хлеб за три шестьдесят и все сказки Шехерезады. **Окончательный ответ агент даст в зависимости от нашей позиции.** Примечание начальника: **По-моему, можно дать согласие! Риск, что он не вернется, не очень велик, поскольку семья его останется в Венгрии! Необходимо установить, имеет ли подобная командировка оперативную ценность!**

Yes, sir. That's my baby. Необходимо установить, очень даже необходимо, имеет ли наша жизнь оперативную ценность!

Задание заключалось в том, чтобы 9 числа текущего месяца присутствовать на "Народном стадионе" во время матчей "МТК" — "Комло" и "Ференцварош" — "Шалготарьян". (...) **Ничего достойного упоминания мной не замечено.**

9 августа 1965 года куратором стал капитан милиции Кальман Поллачек. **Беседа носила ознакомительный характер.** Ну и как поживает семья? Я слышал, ваш сын успешно заканчивает гимназию пиаристов! **Тов. Поллачек! В связи с этим агентом следует обратить внимание на то, чтобы его заграничные возможности, имеющиеся с момента вербовки, оставались не только возможностями, но были бы наконец реализованы соответствующим образом... Учитывая данные обстоятельства, мы должны максимально воспользоваться услугами живого графа (аристократа), которые — как выяснилось из моей с ним беседы — он честно нам предложил.** Вот уж правда, честность — святое дело. Живой граф!.. Tote Grafen, gute Grafen[1]. [Нет тут уже ниче-

1. Мертвый граф — хороший граф (*нем.*).

го — ни чести, ни совести... За что ему такое... Столько зла причинить... Нет, таким негодяем он не был... с., с., с. — тысяча чертей! Живи я в еще более пошлые времена, я предъявил бы читателю вымоченную слезами рукопись. Впрочем, Литературный музей или как там его все равно отвалит за нее хороший куш.]

Задание заключалось в том, чтобы в соответствии с инструкциями изложить свои наблюдения относительно Марии Эстерхази, а также беседы с нею, проведенные в соответствии с полученными инструкциями. Тетя Мэри, насколько я знаю, тоже любила моего отца. Или, во всяком случае, уважала. "Знаешь, дружок, разговаривать с ним одно удовольствие".

Тем временем он получил заграничный паспорт, работать будет на группу III/С по делу под кодовым названием "Книгочеи", посетит благотворительное общество "Каритас"; **относительно личности патера П. агент получил специальные инструкции.**

Следующее донесение повествует уже о поездке в Вену.

С полученными заданиями агент справился только частично. В этом он откровенно признался во время беседы. Венские родственники передавали его с рук на руки, концерты, приемы, ужины. [Какого дьявола мы не уехали отсюда в 56-м?!] По ходу дела попадаются такие вот романтические фразы: **Ни искомый автомобиль NSU, ни машину с немецким номерным знаком на названной улице и прилегающей к ней площади я не видел. Утром 25/X посетил автосервис по адресу Ренвег, 85, но машин с венгерскими или немецкими номерами также не обнаружил. Как я установил, вторые ворота автосервиса выходят на Аншпангергассе...**

В сопровождении Марии Эстерхази посетил "Каритас интернационалис" (Хернальзерштрассе), где встретился с "патером" П., — почему в кавычках? — **у которого попросил лекарства, а также молитвенники...** Хорошо еще, что от второй встречи патер П. отказался, между тем как агент, сообщает агент, именно на этой встрече собирался перейти к делу.

Агент уклонился от выполнения поставленной перед ним задачи, проявив чрезмерную осторожность, и не решился на более активные действия в политическом плане. Во время беседы его поведение мы соответствующим образом оценили. [Я тоже — сидя здесь, за столом.]

И все же я до сих пор не понимаю того [да всего, всего!], почему мы не чувствовали, что от отца веет каким-то страхом. Хоть чуть-чуть, хоть немного. Хоть бы знак, что надо быть осторожными. [Пацаны! Стукачи кругом, даже у нас дома!.. Шутка.] Чтобы мы не высовывались. Почему мы видели в нем только спокойствие, только неуязвимость? И немного таинственности.

Задание: Агент инициирует переписку с Палом Эстерхази и, чтобы встретиться с ним, организует поездку в ФРГ и Швейцарию. Ишь ты!

2 июня 2000 года, пятница

9.25. Я в Архиве. Жду материалы. А в остальном — купание в славе, Неделя книги, вот и отсюда я еду на площадь Вёрёшмарти раздавать автографы и красоваться в свете отца. В ранний час, шагая по улице Бориш — ру-

башка с короткими рукавами, портфель и утренняя длинная тень, — я представил, что я и есть Папочка. (Возгордился...) Что я занял его место, ж. с., с., я — глава семьи, я теперь тот мужчина, который из дома 20 по улице Эмёд (минуя улицу Бориш) отправляется со своим портфелем в город. Глядя на свою тень, я видел в ней тень отца. Отец — тень. Внезапно меня обуяла злость, я не хочу, не хочу думать об этом... другом отце.

<Год сменяется годом, 1966-й мало чем отличается от предыдущего, добавляется наблюдение за Й. Ш. (нам-то запомнилось скорее имя его жены в контексте ревности нашей Мамочки), по осени — снова загранпоездка. В начале года ЦК ВСРП принимает постановление о борьбе с "внутренней контрреволюцией" (тогда же умирает Бастер Китон), в конце года на партийном съезде приняли решение о том, что с 1968 года в Венгрии начнутся реформы, а еще генсек Кадар сказал: "Все мы — одна семья. И мы, партработники, или, как некоторые говорят, партийные бюрократы, и писатели, и художники, *запятнанные и незапятнанные,* — одна семья..." Страна как семья — нечто подобное приходится слышать и в наши дни... О, корни, корни...>

Агент пространно докладывает о своей сестре. Обо всем, с мучительными подробностями. **На мои намеки относительно десятой годовщины контрреволюции она не реагировала, что касается будущего, то для меня, как она полагает, решением могла бы быть эмиграция. Со своей стороны, она, похоже, порвала с Венгрией**... Вот идиот! [Называть отца идиотом — приятное чувство! я это вижу и по своим детям и, по возможности, пресекаю такие поползновения беспощадно!] ...**порвала с Венгрией, в том числе и эмоционально, хотя радости по поводу наших недостатков она все же не испытывает.** Нет, все же он не идиот! [Иметь отца, который не идиот, тоже великое счастье; я это вижу и проч.]

Началась разработка Й. Ш. Блестящий переводчик, иногда — редактор агента, пишет агент. **С тех пор мы несколько раз, в том числе и с женами, навещали друг друга и, можно сказать, установили хорошие отношения. Характеризуя Й. Ш., отмечу, что он показался мне весьма остроумным и несколько саркастическим человеком.** Ты мне тоже. **Режиму он не симпатизирует, однако каких-либо признаков активной враждебности я в нем не отметил.** Я в тебе тоже.

Агент получил задание углубить контакт как по профессиональной, а также (sic!) **и по семейной линии.** Агент углубил, а Мамочка чуть не загнулась от ревности.

Агент обсуждает с Й. Ш. перевод, Ш. предлагает ему чаю, **лучший в мире чай,** говорит он при этом. От этих необязательных полуфраз меня передергивает больше всего. От стыда не закрываю лицо руками только потому, что надо писать. [Но эти полуфразы все же закономерны. Обращай он на них внимание, как бы все осложнилось нравственными дилеммами — это упомянуть, это нет, а в такой ситуации неизбежен самообман. А если вся жизнь — сплошной самообман, то не о чем и задумываться, и такие частности, как, например, написание донесений, не могут лишить человека спокойствия и, horribile dictu[1], свободы.]

1. Страшно сказать (*лат.*).

Ш. остроумно рассуждает о том, **что в настоящее время мы, в общем-то, переживаем вторую Реставрацию, вспомним времена Меттерниха, когда люди устали от того, что политика превратилась в тотальное доносительство, от бесконечных арестов, от салонной музыки (как сегодня от Beatles), от Шуберта и жизненного комфорта (как сегодня от холодильников).**

Жизнь у товарища Поллачека тоже не сахар: **необходимо составить список философских работ и книг, упоминаемых в деле "Вари".**

Задание: В случае, если Ш. задаст вопрос, агент должен сказать, что интересуется философскими принципами антропософии, но никаких материалов в своем распоряжении не имеет... Примечание: для ознакомления агента с указанной "философией" ему будут предоставлены материалы, которые он будет использовать при выполнении задания как информационные. Если бы я не плакал, то хохотал бы. И на это люди тратили свою жизнь?! Жизнь как пародия...

В донесении, написанном в годовщину казни Имре Надя, сообщается, что вдова Михая Каройи[1] в своей квартире, расположенной на улице Михая Каройи, устроила большой прием (ей вернули часть их дворца, позднее она принимала там и меня, потом появился член политбюро Ацел, который спросил, не хочу ли я с ним побеседовать; я сказал "нет"), на котором, **по примерной оценке, присутствовало 150 человек, среди них Золтан Кодай, Ирен Пшота и прочие именитые писатели и артисты. Вдова Каройи попросила меня развлечь одну английскую гостью, которая не говорит по-венгерски, и представила меня весьма некрасивой, но довольно забавной даме лет пятидесяти** и т. д. А дама-то оказалась супругой английского посла; разумеется, он получил приглашение.

В ходе разговора с Ш. я упомянул, что недавно в одной компании зашла речь об антропософии, но поскольку я не имел представления о том, что это такое, то не смог поддержать беседу. Ничего подобного! Сколько раз я сам слышал, как он свободно рассуждал и, более того, с жаром спорил о некой книге, которой я никогда не читал и в глаза не видел, — в "Производственном романе" я даже посвятил этому замечательной силы лирическое отступление. **Насколько я слышал, сейчас это направление модно в Австрии и ФРГ. Он отозвался о нем иронично и пренебрежительно, сказав, что это нечто вроде буддизма. Свои знания об этом предмете, сказал Ш., он почерпнул у одной знакомой, которая "была так очаровательна, что мне пришлось выслушивать даже это".** Комментировать как-то не хочется. Надо бы быть посдержанней и только переписывать, переписывать... Но что поделаешь, если гэбня впихивает в него всю эту дребедень! Он не стал бы к ним ближе, даже если б они впихнули ему в рот свой член! И при этом он представления не имеет, зачем и что говорит, какая ведется игра, он всего лишь "шестерка", ему все время дают только "отдельные" задания!

1. Михай Каройи, граф (1875—1955) — видный венгерский политик и дипломат, в 1918—1919 гг., до установления в Венгрии коммунистической диктатуры, премьер-министр, а затем президент страны. В 1949 г., после начала процесса по делу Л. Райка, окончательно эмигрировал из Венгрии.

Кто-то входит в читальный зал: еще один пожилой господин, приятное, тонкое лицо, он несколько неуверенно останавливается, добродушно оглядывается по сторонам — пришел искать свое прошлое, которое *они,* и мой отец один из них, утопили в дерьме.

Тем временем умер Й. П.; агент бывал у него многократно. Семья П., М. К., Т. Г., П. З., об этом, о том, обо всем. **Вращаясь в этих кругах, я не слышал, чтобы кто-либо собирался осенью выехать за границу; исключение составляет Матяш Эстерхази, который предполагает ехать в Вену 23 октября** и т. д. (Пожалуйста, вот вам и доказательство, что Чанади все же не мой отец. Шутка.)

У нас гостит тетя Мэри, "цель приезда — посещение родственников". **Воспользовавшись случаем, я коснулся планируемой поездки в Вену, упомянув при этом, что хотел бы принять участие в торжественных мероприятиях по поводу 56 года — разумеется, не привлекая к себе внимания**... не могу разобрать два слова... **чтобы родственники не ограничивали свободу моего передвижения.** О Господи.

Он вернулся из Вены. Во всех донесениях до конца года речь идет только об этом, и снова: "Тссс, ваш отец работает".

С первых минут было видно, что он относится ко мне с доверием, поскольку — отчасти лично, а отчасти заочно — знает моих родственников. Несколько лет назад, где-то недалеко от Дьёра разоблачили мошенника, который, как писали в газетах, извлекал немалую выгоду, выдавая себя за Эстерхази. Я, помнится, позволил себе пошутить: интересно, однако же, получилось — мой отец всю жизнь выдавал себя за Эстерхази, но никакой выгоды из этого не извлек. Нет, оказывается, извлек.

Агент побывал на торжествах по случаю 23 октября, добытые им пропагандистские материалы приложены. Родственники предупреждали его, что, очевидно, на мероприятии будут наблюдатели из венгерского посольства. **Настроение, по моей оценке, было довольно вялым.** О возложении венков к памятнику жертв 56-го: **...потом зажгли факелы, и, поскольку был сильный ветер, В. заляпал себе всю шляпу воском... Проповедь произносил Х. К. Типичное переливание из пустого в порожнее.**

С В. позднее он встретился еще раз в кафе, где отирался какой-то подозрительный тип, возможно осведомитель. **Нам все равно, сказали они** (В. с супругой)**, мы беспокоимся за тебя.** Напрасно вы беспокоитесь (маловеры). Агент уже напрямую спрашивает у них, можно ли ожидать поддержки, каких-то стимулов со стороны эмиграции, сотрудничают ли различные эмигрантские организации между собой и т. д. Спрашивает разумно, несколько горячо и нетерпеливо, с печатью великой патриотической озабоченности на физиономии. Новые друзья агента советуют ему не рисковать и предостерегают от всякого рода авантюр.

Венгерская ассоциация Вены насчитывает около 400 членов, но членские взносы платят в лучшем случае 100 человек. Переписываем, не материмся. **В заключение они еще раз попросили меня вести себя осторожно, я же выразил чувство растроганной радости** (sic! пиши!) **по поводу того, что в эмиграции "еще есть настоящие венгры". А также спросил, не надо ли что-нибудь передать, но В. с благодарностью отказался.**

Агент заслуживает доверия, прошел проверку, донесение также проверено через агентов Такач и Пешти... Определенную ценность представляют данные относительно личности В. и его деятельности в прошлом.

Задание заключалось в том, чтобы заказать антологию "Gloria victis"[1], изданную в связи с десятой годовщиной контрреволюции. В магазине самого Новака не было, он застал только продавца по фамилии Г. Книгу агент заказал, получил также разного рода политические листовки и купил книгу Шандора Мараи "Кровь святого Януария" (Мамочка наверняка обрадовалась такому подарку и неожиданному вниманию). Продавец предлагает ему воспользоваться почтовой пересылкой, судя по опыту, это самый надежный путь, но агент в этом не уверен.

На мой удивленный вопрос, как это они продают одновременно и "красную", и западную литературу, он с улыбкой ответил, что торговцу не следует заниматься политикой и т. д. Вот вам кадаровская идиллия, порнография: **Он сказал, что каталог фирмы печатался в Будапеште в типографии им. Кошута — правда, несколько названий слишком однозначной направленности были сняты.**

Фамилия продавца, фигурирующего в донесении, не Г., а К. Агент допустил ошибку. Задание: В связи с вышеизложенным агенту предписано после получения книжной посылки незамедлительно доложить и, не вскрывая, передать ее нам.

Я отнюдь не хочу сказать, что такова эта жизнь, я скорее сказал бы, что жизнь может быть и такой. И не то чтобы мы этого не знали, но мы с удовольствием забываем об этом. Между тем достаточно принять всерьез великие романы прошлого. Как это сказано у Носсака ["Я хотел бы просить читателя не думать, что я слишком высокомерен. Я вовсе не убежден, что имею право сказать: Такова действительность! Или хотя бы: Таков я сам!" Это из "Младшего брата". Цитата, которую лет двадцать пять назад я присмотрел себе для эпиграфа.]

...Свое донесение я хотел бы дополнить следующим: продавца книжного магазина зовут д-р К. (а не Г.). Вот это другое дело! **В соответствии с предыдущим заданием я достал адрес "князя" Пала Эстерхази.** Убей не пойму, почему слово князь в кавычках. Это что еще за демократические штучки?! — Мне он таким и казался: демократом и вообще простым человеком.

<1967-й — знаменательный год кадаровской эпохи, когда уже все забыто, когда еще все работает, несмотря на отдельные недостатки. В повествовании усиливается линия, связанная с И. А., по-видимому, нашей родственницей, поскольку почти все А. приходятся нам родней и т. д. и т. п., похоже, я уже сыт всем этим по горло.>

Шестьдесят седьмой начинается с И. А., которая отсидела четыре года (женская тюрьма в Калоче) по делу священника Табоди; муж, граф Меранский, тем временем с ней развелся. Кстати сказать, **графов Меранских довольно много,** объясняет агент навострившим уши сотрудникам

1. Слава побежденным (*лат.*).

МВД Венгерской Народной Республики. А также подбрасывает им идеи насчет того, как он мог бы установить контакт с И. А. **Судя по донесениям, бывшая аристократка И. А. настроена к нам враждебно.**

Задание заключалось в том, чтобы 24 числа текущего месяца побывать на панихиде по Миклошу Каллаи в соборе Св. Матяша. Присутствовало 150—180 человек, много родственников К., перечислены имена. **Панихида прошла по обычному чину, без проповеди, все молились за упокой души усопшего Миклоша.** Надеюсь, (самоцензура) ты тоже молился. И надеюсь, что Господь Бог зачел и твою молитву о спасении души Миклоша.

Как считает вдова Й. П., И. А. не станет заниматься ни переводами, ни машинописью, потому что, с одной стороны, она не нуждается в средствах (получает посылки от своих родственников князей Лихтенштейн), а с другой — **умственный труд не по ней, зато она добросовестно выполняет любую, даже самую утомительную физическую работу. Она также рассказала, что И. А. проживает на площади Яноша Лекаи... и проводит достаточно много времени с И. Л. На мой вопрос, идет ли речь о серьезном романе, она ответила: "Ну разве можно романы Илоны считать серьезными!", по ее мнению, Л. у нее не один.**

Когда уже нет границ, то понятно, что можно спуститься и ниже пояса... А в общем формулировки отточенные и энергичные. Как раз в то время ему как-то пришлось написать за меня домашнее сочинение — отчет о школьной экскурсии. Не получается ничего, пожаловался я. Он расспросил меня, что там было, я рассказал. Чего же тут трудного, удивился он, нужно только изложить это на бумаге. Но я не мог "просто так" описать экскурсию. А перо отца стало летать по бумаге. Откуда мне было знать, что он регулярно упражняется. Мы получили пятерку. Не то что я! До сих пор за всех своих вместе взятых детей я написал не более пяти сочинений (форсмажор); я вкладывал все свои силы, весь свой талант, весь свой опыт, при этом считаясь с тем, что пишу не я [Festtag der europäischen Literatur[1]], а кто-то совсем зеленый; больше четверки я ни разу не получил, правда, и меньше тройки тоже... — Такое ощущение, что я хочу быстренько рассказать все самые незначительные семейные истории, потому что потом, после этой книги, рассказывать их будет невозможно. Точнее, рассказывать будет нечего. Или некому.

Внезапно, только что: отца я люблю, агента я ненавижу; эта фраза "пронзила" меня — ведь надо уметь отделять понятия "преступление" и "преступник".

Ёшь твою мать! Наверно, в отместку за предыдущую, слишком банальную и в какой-то степени утешительную мысль меня покарали следующим донесением. <Полчаса я сижу над рукописью. Делать нечего, я должен себя цензурировать, хотя это очень опасно, ибо стоит только начать и пошло-поехало. Вся мера предательства и подлости была бы видна, если бы я сохранил в тексте имя, но я не решаюсь. Точнее сказать, не хочу, ведь человек еще жив.> **Докладываю сверх задания, что по моим сведениям у ... в городе Тата имеются следующие знакомые... а также кровельщик "дядя...", с которым она в свое время имела интимные**

1. Праздник европейской литературы (*нем.*). Так называлась одна из рецензий на немецкий перевод романа П. Эстерхази "Harmonia cælestis".

отношения. Да как вам не стыдно, папа! [Непроизвольно я перешел на "вы", как обращался к нему ребенком.] **Но в настоящее время непосредственной связи между ними не существует.**

Агент познакомился с неким Х. Л., который **пережил Освенцим, а потом побывал еще и в советском лагере под Архангельском. В настоящее время, вследствие автомобильной аварии, он слеп.** Ну это уж перебор, говоря языком "Гармонии". В настоящее время — слеп, а завтра?.. **Я сознательно не упоминал И. А., поскольку целью визита была скорее разминка, укрепление дружеских отношений.** Ах, значит, разминка, понятно. **В данном случае нужны оперативные меры, которые бы способствовали личной встрече.**

Докладываю сверх задания, что мне звонила жена Д. К. и просила при случае навестить их. По ее словам, кто-то донес на ее прислугу, которая за прошедший год продала по ее поручению шесть плащей "болонья". Один из плащей она получила от Матяша Эстерхази, хихи, **который заверил ее, что таможенные сборы за плащ им оплачены. При этом она предупредила Матяша Эстерхази, что, если в полиции возникнет вопрос о пошлине, она назовет его имя.** Эти несколько строк — квинтэссенция кадаровской эпохи [**Было ли это опасно, не знаю, наверно, не очень. В принципе, может, и было, но не было принципов, а в такой ситуации все что угодно могло иметь какие угодно последствия — в принципе; мир, в котором мы жили, начинал становиться весьма и весьма практичным, принципы больше не руководили практикой, но — на практике — все-таки ей угрожали** (стр. 698)], и все это, относящееся к упомянутой квинтэссенции, подано в ужасающем (как практически, так и теоретически) обрамлении стукаческого доноса.

По моим сведениям, в выходящей с этого года газете "Budapester Rundschau" работают, среди прочих, Й. Ш. и Матяш Эстерхази. Похоже, агент и вправду переживает флоберовский период... О, пардон, дорогой Гюстав! Й. Ш. на эту должность устроил агент — из низменных побуждений, чтобы тот постоянно был в "поле зрения".

В связи с поездкой агент стучит на самого себя, что, с одной стороны, поразительно, а с другой — безопасно, поскольку не кто иной, как агент, гарантирует моему отцу возможность дальнейших поездок: **Насколько я слышал, она договорилась со старшим братом** (то есть младшая сестра договорилась с братом, Матяшем Эстерхази, то есть с тем самым Матяшем, который, говоря между нами, и является субъектом высказывания, — все это могло бы сойти за шутку, если бы не являлось всем чем угодно, но только не шуткой) **о том, что, если возникнет необходимость выехать за границу, он должен предварительно поинтересоваться относительно "беспокоящего его" состояния здоровья кого-либо из его родственников, после чего сестра подтвердит "недобрые" вести и поторопит его с приездом, — и все это потому, что в Вене распространился слух о новых ограничениях на выдачу загранпаспортов.**

Донесение о К. Н. — скукота. Однако Поллачек смотрит на это иначе. **Агент сообщил о К. Н. важную оперативную информацию. Эти**

данные позволяют предположить, что объект наблюдения связан с французской разведкой. Вот те раз! Только этого еще не хватало — нагадить великим державам... Прошу позаботиться о моей вдове и бедных сиротах! **Как преподаватель венгерского языка он принимает экзамены во французской школе.** Ну понятно... **В 1966 году он принимал экзамены также и в Будапеште.** Весьма любопытные наблюдения.

Наконец нашлась комбинация, оперативный трюк: И. А. и агент одновременно получат вызов в Отдел загранпаспортов. Естественно, им придется заговорить друг с другом. **...Я пригласил ее посетить при случае находящийся рядом с нашим домом пляж, на что она никак не отреагировала.** Покончив с делами, агент предложил пообедать вместе, но она отказалась, тем не менее на этом он не успокоился: **поскольку у меня еще "было дело" на улице Каролина, я проводил И.А. до клиники на проспекте Дароци.** (Обратим еще раз внимание на кавычки — элегантный и стилистически эффективный прием!)

Поллачек был доволен, но совсем иначе на это отреагировал его шеф с неразборчивой подписью. **Тов. Поллачек! Поведение агента считаю неправильным, он вел себя слишком настырно, выдвигал одно предложение за другим, хотя понимал, что все это бесполезно. Прошу сделать выводы.**

<Завтра несу первые две тетради Гизелле. Что будет? По ней попытаюсь отследить, какая будет реакция. По этой причине работа сегодня идет через пень-колоду. И все время я думаю только об этом: что будет, что будет?>

4 июня 2000 года, воскресенье

Неделя книги, отец идет нарасхват. Подходит один из бывших соучеников отца — хотел бы поговорить со мной. Хорошо. Он растроганно смотрит на меня: Вылитый отец, говорит он. Меня одновременно охватывает гордость и желание вцепиться ему в глотку.

6 июня 2000 года, вторник

Указанное лицо я намеревался посетить на квартире, но мне не открыли дверь. Из таких фраз состоит его жизнь. М. К. с семьей отдыхает. Супруга В. П. рассказывает о семье Д. К.: необходимую сумму, которую следует заплатить государству за эмиграционный паспорт, они собрали.

Интересно, как это пронизывает *все* общество... Что пронизывает? Да вся эта мерзость, начиная от предательства и кончая стремлением выжить. Компромисс с властью после 1956 года заключили не отдельные личности, а общество в целом и только как следствие этого — отдельные личности. Кто-то в меньшей степени, кто-то в большей. Но все. Кто-то, может быть, заключил нулевой компромисс, но все-таки заключил.

Задание: Агент должен посетить Сельскохозяйственную выставку, написать письмо в Вену, намекнув, что семья нуждается в помощи родственников; письмо отвезет в Вену сетевой агент и там его отправит по почте.

[Внезапно м. п. у., как однажды отец презрительно бросил по поводу высказывания одного новоиспеченного, невесть откуда вынырнувшего политика: Ну и холоп! В этом не было никакого высокомерия, это сказано было не аристократом, а демократом. Республиканцем. То было не высо-

комерие, а достоинство. Сейчас мне хочется сказать то же самое: Ну и холоп! Как он лебезит перед *этими*! Самое гнусное, наверное, не предательство как таковое, а раболепие. Одно дело — служить, и совсем другое, позорное дело — выслуживаться! Раболепие как раз и стало главным, постыднейшим достижением кадаровской системы.

Именно его распространял мой отец, и это был его самый тяжкий грех. Но это лишь половина правды. Раболепия он не распространял. Он сам был его воплощением, а если что-то и распространял, то нечто прямо противоположное. Спросите любого, кто его знал. Я говорю это не для того, чтобы оправдывать его. И сам не пойму, как это было возможно. Может, отец был величайшим актером? Как знаменитая Мари Ясаи? Заслуженным и народным? Артистом? Ну хватит.]

Чтобы иметь возможность встретиться с И.А., агент заказал через Вену номер еженедельника "Бунте иллюстрирте", в котором рассказывалось о бракосочетании одного из Лихтенштейнов, состоящих в родственных отношениях с семьей А. Прокол: И.А. уже получила этот номер еженедельника. Он явился к ней на работу, они стояли возле вахтера. **Я спросил, почему она в эту жару не приезжала на пляж. А. ответила, что очень устала.** Да, неважно идут дела. Агент будто бегает за девчонкой, которой он глубоко безразличен.

Письмо В., адресованное в Вену, ему приходится переписывать еще раз, чтобы оно сохранилось в деле (мне тоже приходится переписывать, чтобы оно сохранилось *здесь*, вот так одно поколение, держа руку другого, передает по наследству знания, опыт, традиции): **К сожалению, в этом году встретиться не удастся (вы, наверно, догадываетесь почему!), между тем я с большим удовольствием продолжил бы начатый год назад разговор, более того, не исключено, что посредством своих зарубежных родственников я мог бы чем-то помочь вам... В день годовщины событий душой буду с вами!** — не пишет, а переписывает он.

Думая об отце, понимаю яснее ясного, насколько недопустимо использование истории в партийно-политических целях.

[Пока я копировал скопированное отцом письмо, в Нью-Йорке рухнул Всемирный торговый центр. <Произошло 11 сентября.> Все говорят, что мир от этого изменился. Не изменился, а просто отныне нельзя больше делать вид, что мы не видим действительного мира. Конечно, это значительная перемена. В открывшийся нам сейчас брутальный облик мироздания без труда вписывается мой отец (точнее, его история).

Сколько зла может сконцентрировать в себе жизнь одного человека! В каком-то смысле террористическое нападение на Нью-Йорк для меня *столь же* невероятно, как то, что отец был агентом гэбэ. Когда я впервые увидел врезающийся в башню авиалайнер (в одном из отелей Франкфурта, вполглаза глядя на телеэкран и *действительно* какое-то время убежденный в том, что эти идиотские фильмы катастроф начали показывать по телевидению уже и днем), а также когда я впервые увидел почерк отца в досье (тоже вполглаза, без особого интереса, ведь ни в том, ни в другом случае я *ни к чему* не был готов, да и не думал, что должен готовиться быть к чему-то готовым), в обоих случаях со мной произошло одно и то же — я вытаращил глаза, стал задыхаться, и сердце заколотилось. Я не верил сво-

им глазам, но знал: это правда. (Я уже больше года живу в состоянии шока, в котором мир оказался только сейчас. Говорю это не бахвалясь.)

В обоих случаях я выдавил из себя простейшее, идущее из самых глубин: Ну нет!

Нет, да. Да. Да. Я этот мир принимаю, принимаю его таким, какой он есть.]

М. К. сказал нечто вроде того, что если эта страна была для нас хороша на протяжении тысячи лет, то почему мы сегодня должны относиться к ней по-другому. Такой же позиции придерживался и мой отец: тот же трезвый пафос, рассудительный патриотизм. Эта фраза демонстрирует взгляды аристократии, для которой традиция, знание прошлого и естественное, спокойное к нему отношение оборачивается неожиданной выгодой даже в самых обыденных, бытовых ситуациях. Не знаю, может ли говорить следующая фраза о чем-либо, кроме личного краха, или же она означает лишь то, что человек не всесилен? **Я пытался затрагивать актуальные политические темы (Вьетнам, Ближний Восток), но он никак не реагировал.**

Интересно, требовали ли все эти целенаправленные беседы постоянной концентрации, то есть напряжения, или он, как обычно, просто трепался, время от времени "корректируя курс"? Иными словами, страдал ли он, как и сколько страдал?

Б., состоящий в родственных отношениях с И. А., вынужден съехать с квартиры, однако, пишет агент, **Матяш Эстерхази просил содействия у вдовы Михая Каройи, благодаря чему заявление Б. о предоставлении ему жилплощади было принято в исполкоме XI района, и он был поставлен на очередь.** Вот он, добрый самаритянин, истинный христианин, настоящий католик.

[Иерархи венгерской католической Церкви до сих пор отказывались от люстрации, опасаясь того, что обществу станет известно, кто из них был агентом. Это можно было бы еще понять, принимая во внимание, к примеру, автономию Церкви или то обстоятельство, что она подотчетна отнюдь не парламенту, а Риму, не говоря уж о Господе Боге. Но почему же они не воспользуются возможностью *добровольной* люстрации? Ну разве не легче взглянуть в глаза своим слабостям тому, кто, скажем, верит в вечную жизнь, чем тому, кто все поставил на кон здесь, на земле? Ведь легче же тому, кто стремится к небесной гармонии (шутка)? Не эта ли питаемая верой сила могла бы стать достойным приношением, которое истинный католик мог бы положить на алтарь своей родины? Конечно, вера не защищает от слабости и греховности, однако культура покаяния у католиков все же (должна быть) неизмеримо богаче, что облегчает искреннее признание. Почему верховные иерархи Церкви не поведают собственную историю времен кадаровской эпохи? Мы видим, что общество эту историю замалчивает, как замалчивает ее и Церковь (которая есть часть общества). Мне говорят, что епископ зачастую шел на сотрудничество с властью, дабы защитить приходских священников. Да, такое бывало. Но почему бы сейчас не признаться в этом? В том, к каким унижениям вынуждала унизительная эпоха? Было то и то, я думал так-то, такие мною руководили соображения. Вот моя правда, вот мои заблуждения.

Все это так, говорит мой друг. Но как же неимоверно трудно признаться в подобном какому-нибудь рядовому сельскому священнику. Да, неимоверно трудно. Тем более трудно, что все село знает об этом и так. Фиктивная тайна фиктивного пастыря только усугубляет истинный страх, трусость, недоговоренность, грязь, мерзость, ложь и самообман.

Все это грех против свободы личности.

В чем суть такого молчания? В самом молчании, собственно говоря. Конечно, можно сказать, что все это чисто журналистский подход к проблеме. Действительно, мы говорим не о путях спасения, не о грехе, не о Боге. А разве не для этого существует Церковь? Для этого. Но в данном случае речь о другом, о положении Церкви в обществе, о ее роли. О ее присутствии.

<Еще раз о том же: Должна ли Церковь *так* помогать обществу? Не уверен. Ведь поиски возможных путей, ведущих к спасению, вовсе не обязательно связаны с общественной ролью Церкви, а что может быть важнее спасения души? Но если Церковь (я, ты) пойдет по такому пути, то нечего ей лезть в общественные дела, усердствовать во время выборов и с помпой представительствовать на государственных праздниках; а раз так, то и автору этих строк не к лицу публично объявлять себя католиком, надо просто молиться, если он на это способен, про себя, своему Господу Богу, но если он все же считает важной общественную роль своей Церкви, то должен быть более последовательным и, главное, более радикальным, более серьезно относиться к своей религии и делать все, чтобы не было стыдно за иерархов его собственной Церкви, например, вместе с сотнями других верующих участвовать в сидячей забастовке перед Эстергомской базиликой и т. д. и т. п.>

Вышесказанное, как практически теперь все, приходит мне в голову в связи с отцом. Как много всяческих оправданий я мог бы найти для него! А что ему было делать? Где тирания — там тирания. Там каждый — звено в цепи.

Недавно прочел интервью со священником — бывшим агентом. Воспроизвожу его, подставляя на место священника своего отца. Таким образом, мой отец, этот моральный труп, все же поможет кое-что прояснить в тотальном самообмане — и да примет он благодарность и почитание всех венгров.

Возможно, душа у него к этому не лежала. Но что он мог сделать в униженной стране, в униженном обществе... Ведь он опасался не за себя и руководствовался не соображениями личной карьеры, хотя имел четырех детей... А это тоже ответственность... Бывают случаи, когда проще быть героем, чем отцом, который печется о небольшом сообществе... Такое сообщество (в оригинале приход) похоже на маленькую семью. Вспомним хотя бы, что, например, во Франции презирали и строго карали тех, кто сотрудничал с немцами, в том числе женщин, которые в период оккупации вступали в связь с немцами. Но семья, скажем, узнав о том, что их мать или дочь оказались в такой ситуации, чаще всего не отказывалась от них, а попросту принимала к сведению: это было, и скорее брала часть позора на себя, но не выставляла к позорному столбу своих женщин и не лишала их того места, которое они занимали в доме, думая прежде всего о том, что, быть может, делалось все это ради спасения близких... Апостол Павел в Послании к Коринфянам упрекает их в том, что свои тяжбы они выносят на суд неверных и обраща-

ются к нечестивым в поисках правды, и далее вопрошает: не лучше ли вам оставаться обиженными, чем совершать подобное? Ведь важно не защищать честь мундира, а жить, сознавая глубокую связь, когда нельзя разделить: это — твой грех, а это — мой.

Хороший финал. Только в нашем случае речь о другом. Я тоже не утверждаю, что мой отец греховней других. Ибо не мне говорить об этом.]

<Отдал первые две тетради на перепечатку. Первый шаг на пути к огласке. Я решил ничего не рассказывать Гизелле, а просто прочесть предисловие. Перед этим я объявил, что на этот раз мы будем работать с ней на особых условиях. Я вас слушаю, Петер, сказала она суховато и несколько настороженно. Все нужно сохранить в полной тайне.

Я начал читать и, дойдя до того момента, когда я, заглянув в досье, сразу узнал почерк отца, посмотрел на Гизеллу. Надо сказать (да простит мне она), что вид у нее был очень глупый. Что-что? А то! Отец был агентом гэбэ. Осведомителем III/III. Доносчиком. Стукачом. Ну хорошо-хорошо, оставим это.

Потом мы немного поговорили. От волнения лицо у меня горело, и иногда, чтобы проверить это, я касался его. Так и есть. При этом я украдкой поглядывал на часы: не кончилось ли время стоянки? Это уж было бы чересчур: мало того, что отец мой — стукач, так еще и машину эвакуируют.

Под конец я обнял ее. Мы стояли посередине комнаты, и я, ничуть не стесняясь, обнимал ее, как обнимал когда-то свою мать. — Ну вот и все.

Нет, еще кое-что. Я сказал ей: мне очень тревожно, что будет, когда книга увидит свет, ведь я в ней затрагиваю интересы стольких людей и причиняю им столько боли, что представить заранее их реакцию невозможно; она серьезно кивнула, да, заранее знать нельзя. И сказала: Ах, бедный вы, бедный. Она по-прежнему была одновременно и любящей, и суровой, строго корректной; если раньше мне всегда хотелось услышать от нее: как замечательно это написано, то теперь мне хотелось услышать: не бойся, бояться нечего. — И еще. Гизелла сказала не только "ах, бедный вы, бедный", но и добавила: "Бедный отец".>

Досье четвертое

Начинается с содержания, в конце запись: **Четвертый том рабочего досье № Н-117999 секретного сотрудника под кодовым именем Чанади (78 документов на 264 листах) мною закрыт. 29/III 1980 г. Капитан Прокаи.**

<Наконец-то собрался с духом и позвонил бывшему лечащему врачу отца. Во вторник встречаемся. Конец близок, отступать некуда.>

Ну что же, за дело. Новая жертва — баронесса Г. А., возглавлявшая некогда "хортистский Красный Крест". **83 года, на здоровье не жалуется. Недавно несколько месяцев провела за границей...**

Дверь открыла сама Г. А., узнала меня не сразу, но когда я назвался, то очень обрадовалась. Само по себе это донесение — сплошная мерзость. **Однако время от времени она получает от герцога Аль-**

брехта, члена баварской королевской семьи, посылки для здешних нуждающихся, которых она извещает, за посылками они могут приходить в любой день с двух до четырех, в эти часы она всегда дома. И. А., по ее словам, также присылала к ней нуждающихся в помощи.

Докладываю, что намеченную на апрель месяц 1968 г. поездку в Западную Германию я вынужден отложить, так как примерно в это же время один из моих венских родственников собирается приехать в Венгрию. Но все же он подает документы на выезд и сообщает, кого собирается навестить (знакомые имена, одни — по прежним донесениям, другие — по воспоминаниям детства).

А это еще что за бред?! Молчать, переписывать. Maul halten und weiterdienen[1]. (Это тоже его выражение.) **Докладываю, что Петер Эстерхази (р. 14 апреля 1950 г., проживает: по такому-то адресу) в настоящее время сдает выпускные экзамены в будапештской гимназии ордена пиаристов, учился всегда на "отлично". После гимназии собирается поступать на математическое отделение естественно-научного факультета Будапештского университета им. Лоранда Этвеша. Прошу органы внутренних дел, в случае если на вступительных экзаменах он наберет необходимое количество баллов, поддержать его поступление. Чанади.**

Заключение: Учитывая добросовестную работу агента, предлагаю поддержать его просьбу...

Заботливый отец. Правильный человек этот Чанади. И порядочный. Он просит поддержать меня при условии, *если* я наберу необходимое количество баллов. Хотя если баллов будет достаточно (насколько помню, я набрал девятнадцать из двадцати), то на хера мне поддержка? Неужто минусы моего социального происхождения и обучения у пиаристов уравновешивались стукачеством? Вот и опять мы видим, что диктатура эта — не фунт изюма.

[Из рецензии на немецкое издание "Гармонии": "Дочитывая роман, трудно освободиться от ощущения, что вся эта огромная книга — не что иное, как памятник реальному отцу П. Э., Матяшу Эстерхази, этому интеллигенту, человеку с железной волей (!!!), прожившему жизнь, которой очень и очень позавидовал бы Мартин Вальзер". Бедный Вальзер. Это именно то, что я называю вселенским юмором. Смешон сам мир, вздыхаю я.]

Невероятной длины донесения (14 и 11 листов) о зарубежной поездке; умно написанные, подробные отчеты, их автор явно обладает интеллектом и хорошей памятью. Ничего интересного. Выписываю только изюминки. **В. обнял меня и радостно приветствовал... Он снова предупредил меня насчет осторожности, особенно в переписке.** Еще раз: предать можно только все целиком... **Они с жиру бесятся, сами не знают, чего хотят, в качестве примера он упомянул сына министра иностранных дел ФРГ Бранда (?), этот молодой человек на одном из студенческих собраний заявил, что всех боннских министров надо повесить, в том числе и его папашу, хотя на собрание он приехал на "мерседесе", недавно полученном им в подарок от отца.**

1. Заткнуться и нести службу (*нем.*).

В Мюнхене агент встретился с сотрудником "Свободной Европы" Галликусом (псевдоним Имре Микеша), которому он передал привет от Миклоша Вешшелени. Они говорили о работе радиостанции и будущем эмиграции; по мнению Микеша, на "Свободной Европе" полно агентов венгерской гэбэ.

Неожиданное напоминание о давно миновавшей молодости автора: **Докладываю сверх задания. Мне стало известно,** это я ему рассказал, **что 16 числа текущего месяца после 11 часов вечера в Шиофоке группа молодых людей из 7-8 человек пересекла железнодорожные пути, несмотря на опущенный шлагбаум.** Вполне возможно. **Милицейский патруль, проезжавший мимо, оштрафовал каждого на двадцать форинтов.** То есть штраф был слишком велик. **Когда молодые люди уже двинулись дальше, то один из милиционеров крикнул им вслед: "Хулиганье, мать вашу так!" На что Петер Эстерхази,** как бойко слетает с его пера мое имя! **18 лет,** проживает по таком-то адресу, **ответил им: "Нельзя ли полегче!" Ему приказали вернуться и тут же отвесили две пощечины,** хороши пощечины — я завалил деревянный забор, как в каком-нибудь мультике, **затем втолкнули его в машину,** вот когда я испугался, **отвезли в отделение и продолжали там избивать. Когда он отрицал, что он хулиган, его били за это, а когда "признавался", били за то, что он хулиган.** Я такого не помню, может, это присочинил отец — хотя все его донесения не свидетельствуют о склонности к сочинительству, — а может быть, сочинил я сам, не исключено. **Потом они стали спрашивать, куда он шел, и за каждый ответ он получал по удару, пока, наконец, милиционеры не удовлетворились ответом "К ё...ной матери!". Отпустили его после полуночи. Надо отметить, что перед этим молодые люди спиртных напитков не употребляли. Чанади.**

Интересно, зачем он об этом докладывал? Он был в ярости... что заметно по дословному цитированию матерных выражений. Он словно швырял этот мат им обратно в лицо... Неужели его взбесило, как это менты не могли догадаться, что мы с ними на одной стороне? (Пожалуй, уже и по поводу моих комментариев можно сказать: не комментировать, переписывать.)

В сентябре меня взяли в армию, где мне предстояло познать, что мир принадлежит не мне. Я познал, но не до конца.

Вот донесение за август. За ним следует служебная записка от 10 октября 1968 года: Чанади рассказал о происходящем в кафе "Хунгария". 19 декабря: **Донесения агент не представил. На беседе мы обсудили возможности его дальнейшей работы в сфере культуры. Было дано задание посещать и дальше "Хунгарию", располагаясь в той части кафе, где обычно собираются "писатели".** Ух, как мне это неприятно! На кого же он мог стучать? Насколько я знаю, знакомых среди писателей у него было мало.

25 марта 1969 года. Агент донесения не представил, поскольку существенных с оперативной точки зрения сведений сообщить не мог.

17 апреля 1969 года. Агент донесения не представил, поскольку существенных с оперативной точки зрения сведений сообщить не мог.

22 апреля 1969 года. **Донесения агента под кодовым именем Чанади от 1, 14/XI 1968 г. и от 25/III 1969 г. были мной уничтожены как не представляющие оперативной ценности.** Но зачем же их было унич-

тожать? До сих пор ничего подобного не было. Неужто он написал что-то очень уж неприятное? — По-видимому, в это время и началась его болезнь. Осенью 68-го он последний раз навестил меня в казарме, привез жареных цыплят. Мамочка замечательно все упаковала, только их оказалось мало, поскольку она не учла, что гостинцы придется делить на всех.

2 мая 1969 года. Его не оставляют в покое. На внеочередной встрече он получил задание отправиться в ресторан "Уйлаки", проследить, что за люди там собираются и появится ли в ресторане человек, фотографию которого ему показали. Надо же, как интересно!!!

8 мая 1969 года. Я обращаю внимание, что агенту теперь столько же лет, сколько мне. Более того, 6 июня 2000 года я на восемь дней старше его. **В 6 вечера указанного дня я вместе с семьей был там.** Бог, родина, семья — как маска, алиби, камуфляж. Человека с фотографии в ресторане не было.

22 мая 1969 года. Теперь на шесть дней старше он. Насколько же различаются наши жизни, насколько разные мы произносим слова. Он в свои пятьдесят достиг самой низшей точки, "не мог глядеть ни вперед, ни назад", пережил нервный срыв, сломался, попал в больницу. Я теперь одновременно и в высшей, и в низшей точке, пребываю не в личном, а в некоем новом и неизвестном тотальном кризисе, мир вдруг представился мне настолько непостижимым, новым, невероятным, что все это можно принять только на самом интимном уровне. **На запланированную встречу агент не явился.**

16 июня 1969 года. Имре Надь и Джойс[1]. **...агент не явился. В ходе проверки установлено, что Чанади находится в настоящее время в больнице по поводу нервного истощения.** Будьте вы прокляты! (Пауза. Тысяча чертей!) [Недавно, когда я давал интервью одной немецкой газете, меня спросили, за что я обижен на коммунистов. Как это за что?! воскликнул я, да за все! За все! Мой эмоциональный всплеск вызвал изумление, от меня ожидали каких-то интеллигентных и объективных рассуждений об обнадеживающих перспективах левых движений в начале века и т. д. Мы говорили на разных языках и, как обычно, забыли согласовать понятия, которыми пользуемся.] **Состояние его таково, что встречаться в больнице с ним невозможно.**

8 июня 2000 года, четверг

О болезни отца больше всех знает Дёрдь, он был дома, а я — в казарме. Мы думали, что все это из-за пьянства, delirium tremens.

[Случайно сбил со стола стопку книг, в том числе и "Гармонию". Роман раскрылся на 348-й странице: **отец... какой-то отдельный, не причастный ни к детству, ни к мировой войне, а затем и подавно уж ни к чему: новая, чужая страна, у него ничего, кроме нас; действительно — ничего.** Я смотрю на эти слова, как будто нашел объяснение. Если и впрямь ничего, ничего-ничего, то возможно все что угодно. Но не слишком ли это патетично? Не учитывается ли здесь только одна точка зрения — аристократии?.. (В прекрасной, запальчивой и полной отчаяния статье Сарамаго, написанной после террористического нападения на Нью-Йорк, я читаю: Ницше писал — если Бога нет, то возможно все; но

1. 16 июня — день казни Имре Надя, в этот же день (Bloomsday) разворачиваются события в романе Джеймса Джойса "Улисс". Совпадение этих дат П. Эстерхази не раз обыгрывал в своих книгах.

на самом-то деле как раз наоборот: все возможно именно потому, что Бог есть — есть на кого ссылаться.)]

Я листаю свои заметки, сделанные в Берлине. Сколько книг написали немцы на эту тему с начала девяностых годов! Социологические исследования, статьи, личные свидетельства, интервью с информаторами, жертвами, беседы жертв с доносчиками — словом, видно, что общество функционирует. Для немцев это условие выживания. Говорить и молчать. Молчание как таковое не спасает, это скорее замалчивание. Против него и направлена книга. В Германии, пишет Петер Шнайдер, прошлое отбрасывает более длинную тень. А в Венгрии? Разве здесь нет тени? Здесь сплошная тень. Более того — тьма. Но тени не бывает без света (смотри школьный учебник), а света — без храбрости. Без воли.

По-моему, искренность — бесполезная категория. Это уже показал случай Грабала, когда потерпела фиаско великая искренность великого человека. Историю уже не распутать, и каждая попытка выжить лишь затягивает новый узел. Ясно одно: человек — существо слишком хрупкое. Мне кажется, что стать стукачом может каждый. И, читая доносы этих несчастных созданий, я понимаю, что на их месте мог бы оказаться любой из нас, ибо хрупкость и слабость присущи всем нам. Нужно немного, достаточно неудачного стечения нескольких обстоятельств; например, если взять с потолка: одиночество, сверхчувствительность плюс, допустим, алкоголичка мать, некоторые амбиции и подростковая фрустрация из-за неуверенности в своем таланте, который, может, и есть, но не того масштаба, да хорошая оплеуха, в которую следователь вложил весь свой опыт.

Я прикинул, сколько еще осталось переписать. Примерно часов на шесть. Что меня еще ждет? Чем все кончится? И что будет потом?

Недели две назад мне пришло письмо от жены Морица Эстерхази о том, что она получила траурное извещение: в Мюнхене скончался Д. К. Все линии, как в романе, получают свое завершение.

Вновь всплывают какие-то старые линии: агент должен посетить И. П. и сообщить, что он только что вышел из больницы, а недавно эмигрировал один из его сыновей. Поговорить с И. П. о политике и т. д.

Агент описывает зарубежные и венгерские связи И. А.; имена, адреса. **Целевой объект занимается оказанием помощи проживающим в Венгрии аристократам.** Да уж, чтобы заложить И. А., надо было испытывать совершенно незаурядную "эмпатию" и "солидарность" по отношению к своему классу. **Донесение имеет оперативную ценность и позволяет проверить венгерские связи объекта по линии Венгерского сберегательного банка...**

Три месяца — ничего, во всяком случае в этом досье. Хи-хи, опять ничего: **Агент донесения не составил, поскольку встреча происходила в публичном месте в связи с тем, что в конспиративной квартире идет ремонт.** Как говорила Мамочка, ремонт нужно делать раз в десять лет. С тех пор я педантично считаю годы, чтобы — боже упаси! — не начать ремонт раньше срока.

1 октября 1970 года. Значит, пауза — почти пять месяцев. Или он работал на другую "контору"? Выяснять это мне не хочется. Новый куратор — майор Бела Каллаи, и новый объект — переводчик Л. Т. Он, разумеется, позвонил Т. и сказал, **что мы встречались в Венгерском бюро переводов и что сейчас, в связи с перегруженностью работой в газете, я не могу заниматься другими делами, но, с другой стороны, у меня есть целый ряд "клиентов", которых я не хотел бы терять,** я в полном восторге от его умения элегантно и целенаправленно пользоваться кавычками, **и спросил, есть ли у него желание и время поработать со мной. Т. ответил мне решительным "да".**

Как легко он обманывает людей. Не оставляя им ни малейших шансов. Мне так и слышится его голос, эта песня мужчины естественного, обаятельного, в любую минуту готового прийти на помощь... Не поверить ему невозможно. Хотя он пока еще даже не представился. **Агент, используя свои очевидные преимущества, пока выполняет задание вполне успешно.** Он должен завоевать симпатии Т. и соответственно произвести на него благоприятное первое впечатление. Не волнуйтесь, впечатление будет что надо, уж в этом он дока.

Кафе "Люксор". **Что касается профессиональной части, то с ней мы покончили быстро, а потом стали беседовать. Он сообщил мне, что у него трое сыновей и одна дочь, а я рассказал ему, что один из моих сыновей остался "там"...** Т. не дают визу даже в Чехословакию. В связи с событиями 56-го он отсидел восемь (!) лет. **...При этом я ничего не делал — подумать только, сколько бы я получил, если бы за мной что-то действительно было...**

Судя по первому впечатлению, он доверяет мне. Т. несколько раз благодарил меня за предоставленную работу — за этим стоят, конечно, материальные соображения, но ощущается и некоторая доля снобизма. No comment, как говорил, бывало, Громыко. Хочется блевануть, но справляться с этим мы уже научились. Я лишь констатирую, что перед нами участник восстания 56-го, отсидевший в тюрьме, отец четырех детей, человек битый, тяжелой судьбы, которого предает агент, к тому же имеющий наглость отзываться о нем свысока и презрительно (не говоря уж о том, что он подчеркивает свое сообщничество с гэбэ)! Дерьмо, а не граф!!! — Короткая пауза. Ну почему, почему, почему? **Пока агент справляется с заданием хорошо, деконспирации не произошло.**

На этот раз Т. спешит, они не зашли в "Люксор", а сели на площади Маркса в 52-й трамвай. В тюрьме по распоряжению начальства Т. руководил переводческой группой — отсюда и возникла идея привлечь его к переводческой деятельности. Он благодарит агента за доверие. Переводы будут публиковаться под именем агента, и, когда он получит деньги, они снова встретятся. **Задание: Агент должен собирать марки, поскольку Т. — заядлый коллекционер.** Мне помнится, одно время нам не разрешали выбрасывать марки, чего мы никак не могли понять. А потом в доме "невесть откуда" появились даже кляссеры.

С июля 1971 по март 1972 года — почти ничего.

2 марта 1972 года. Донесение принял лейтенант Петер Балог. Опять новый человек. Отпечатано донесение 8 мая (видимо, не спешили). Визит венгерской партийно-правительственной делегации в Бухарест. **Мы**

вместе с Т. "беспокоились", поможет ли этот визит венгерскому меньшинству в Трансильвании.

До следующего донесения проходит чуть ли не год. В чем причина? Ведь мы уже говорили, что по мере консолидации число доносов на душу населения не сокращается. Быть может, донесения эти пропали? Или он работал "на сторону"?

11 апреля 1974 года. Доносит на одного из участников событий 1956 года; 9 мая — о каком-то переводчике, которому он обещает работу.

21 мая 1975 года. Прошел еще год. **Докладывает секретный сотрудник, конспиративное имя Чанади.** Впервые он фигурирует как секретный сотрудник. [Секретный сотрудник, как нам уже известно, — это человек, который по убеждениям занимается тем, к чему агента приходится принуждать либо компенсировать его работу материально. Выходит, что принуждать его уже не надо...] **Тема: расширение наших возможностей в сфере разведки.** Разведчик — это, конечно, звучит, не то что стукач. Хотя в условиях диктатуры все едино.

9 июня 2000 года, пятница

Я больше не содрогаюсь при каждом шорохе, хожу в Архив как домой. Правда, сейчас я уже не говорю, что хожу к отцу. Я уже понимаю, что никакой тайны, которую мне предстоит разгадать, просто не существует. Но что же им все-таки двигало? Не подлость, не убеждения, так, может, бессилие? Цинизм? Инертность? Хотя порой свойственная мне инертность, которую он, бывало, (совершенно ошибочно) принимал за цинизм, его раздражала невероятно.

Или, может быть, его шантажировали, ему угрожали, и он испугался, дал слабину и ему уже не хватило сил от них отвязаться? И он опускался все ниже и ниже, не сопротивлялся, ему стало все равно? Но в чем же тогда состояла та — чуть было не сказал сверхъестественная — сила, которая позволяла ему сохранять лицо? Воспитывать нас и даже служить нам примером. Как мог человек бесхребетный дать нам человеческую осанку?

По-видимому, сегодня я закончу работу. Наивный и смехотворный пафос...

14 августа 1978 года. Через два года в этот день умрет Мамочка. **Докладываю, что 4 числа текущего месяца на конспиративной квартире я провел беседу с указанным секретным сотрудником... возможно, что еще в этом году он на несколько дней сможет выехать в Базель и Рим.** (...) **Единственное серьезное препятствие к поездке секретного сотрудника — тяжелая и продолжительная болезнь его жены (тромбоз).**

Заключение: Подготовка поездки Чанади, нацеленной на конкретные целевые объекты, идет в соответствии с планом. Мы начали выполнять задание и попытаемся довести дело до конца, чтобы еще до того, как агент выйдет, следуя разработанной наступательной линии, на целевые объекты в Германии, естественным образом подключить к данной операции г-жу С. Аналогичную линию поведения мы определили и в этом направлении: с одной стороны, проявлять готовность к сотрудничеству, с другой — инициативу.

Чистое помешательство — мой отец как потенциальный двойной агент! Следуя наступательной линии — каков язык! Язык (холодной) войны... Это уже другой уровень и другой отдел...

В ходе беседы тема была преподнесена таким образом, чтобы "Чанади" <Меня вдруг смутили даже эти кавычки. Как будто в качестве Чанади он был не настоящим Чанади, а Чанади в кавычках, то есть фальсифицированным...> **понял лишь то, что данные о возможностях его вербовки могут дойти до нашего аналитического управления через круг зарубежных знакомых г-жи С.** Какие данные? Через кого? Куда? **Поскольку нас в этом плане ничто не сдерживает, то линию поведения на сотрудничество можно распространить и в направлении указанного лица.** [Мне кажется, я понял это только сейчас (если понял): речь вроде идет о том, что г-жа С., то есть тетя Ица, тоже шпионка — я устал уже удивляться, — но отцу об этом знать не положено.]

На наш вопрос секретный сотрудник вновь подчеркнул, что на Западе он ведет себя и высказывается так (и эта его позиция принята), что в Венгрии он вынужден был адаптироваться под воздействием непреодолимых обстоятельств, в первую очередь ради семьи, но это вовсе не означает, что он симпатизирует нашему строю, напротив, он готов сделать все, чтобы вернуть себе бывшее достояние и авторитет. Какое ничтожество. Не видел бы этих строк — ни за что не поверил бы.

Все это [что? да какая разница!] еще предстоит проработать в деталях, **в первую очередь для того, чтобы прояснить, не возникло ли в кругах вражеской разведки противоречивое впечатление об агенте и не было ли до этого таких случаев, когда последний "деликатно" отказывался от предложений, направленных на его вербовку. Все вышесказанное — с разбивкой по целевым объектам — нам следует учесть при определении дальнейшей линии поведения.**

Позавчерашний день. — Тяжело. Поначалу я думал, что просто займусь повседневными делами. Отвез Гизелле третью тетрадь. Печатает она с тяжелым чувством, но оторваться от текста не может.

Затем на трамвае я поехал к Т., который во время болезни отца был его лечащим врачом. Мне понравился этот дом. Мать очень доверяла Т. и его жене. Я разглядывал по обыкновению книжные полки, обнаруживая много знакомых книг. По сути, он рассказал мне классическую историю лечения алкоголизма. Отец принимал "антетил" (или "антетан"?), после которого пить нельзя, иначе человеку становится плохо, "твой отец соблюдал договор, джентльмен умел держать слово". Но поскольку он завязал слишком резко, ему стало худо. Твоя мать позвонила — беда. Я тут же схватил такси и приехал... Матяша трясло, укутанный в одеяла, он весь скорчился, подтянул колени к груди, лежал в эмбриональной позе. В эмбриональной позе. Бедный, бедный наш Папочка, с., с. И даже не с., потому что слез нет, я содрогаюсь от сухих рыданий.

Такого дикого delirium tremens я еще не видал. Но твой отец выносил мучения с невероятной стойкостью. Какое худое и крепкое тело. Парадоксально, сколько у него было физических и моральных сил. Конечно, им следовало бы заниматься более основательно, но все-таки я дважды подолгу беседовал с ним, слова лились из него потоком. Отца твоего очень мучило чувство вины. Тут же м. п. у, что, возможно, на небесах это ему зачтется. Эта неизжитая вина и толкала его к алкоголю. Я

был поражен, слушая твоего отца. Мне казалось, что доктор рассказывает страшную сказку, но сказка эта была о моем отце, о бедном, несчастном, страдающем человеке.

Помявшись, я глубоко вздохнул и спросил, не может ли он хоть что-нибудь рассказать, с чем была связана эта вина. Т. помолчал, какая ужасная пауза, боже мой, и на сердце мое легла тень, стопудовая тень моей жизни, выражаясь высоким стилем. Наверное, все это пьянство, семейные неурядицы, пытался я подсказать доктору, Т. кивал, но я видел, что думает он о другом. Да, ответственность за семью, но не только — есть еще кое-что, о чем он не может рассказать, это врачебная тайна. Понимаю, сказал я и вспыхнул. В любом доме есть свой скелет в шкафу, добавил он. Мы вышли покурить в лоджию и там продолжили разговор. Наверное, он боится прослушивания, пришло мне в голову, в эту, новую уже, голову.

Потом я поехал в издательство, пора было приподнять завесу и конкретно подумать, что и как делать. Еще осенью я сказал Г., что новая книга будет чем-то вроде детектива, поэтому попросил издателя до самого ее выхода "по-мужски хранить тайну". На следующем этапе я выдумал, будто мне показали досье, где содержались доносы на нашу семью, начиная с 56 года. И якобы я даже знал эту женщину (!), которая их писала. (В этом вся моя хитрость, в попытке сокрыть следы... тут комментировать нечего, страх — великая сила.) И что "материал ужасен". Намного ужаснее, чем можно себе представить. Ты понимаешь, старик, конкретность — вот что делает эти вещи непостижимо ужасными.

На этот раз я не стал читать предисловие, а попросту рассказал, пам-парам-пам-пам, чего тут тянуть, хотя мне страшно хотелось, чтобы Г. пережил тот момент, когда я, открыв досье, сразу узнал почерк моего отца.

Мы сидим, между нами молчание. Не ожидал, что меня это так измотает, лицо горит, словно от волнения, я устал, будто бы целый день рыл траншеи. Alea jacta est[1], тайна уже раскрыта — и с этих пор я испытываю нарастающую тревогу. Мне кажется, что я смел (или просто последователен) только за письменным столом — правда, в основном я там и находился. А теперь мне плохо. Плохо.

Я оставил Г. первую тетрадь (которую уже получил от Гизеллы). Вечером он позвонил мне, говорить ему было трудно. Это кошмар, сказал он. Я, сдерживая раздражение, огрызнулся: мне это и без тебя известно! Но написано-то хорошо? — спросил я цинично, так, словно я был обыкновенным писателем, он — обыкновенным издателем, а рукопись — рукописью, то есть так, будто все оставалось на своих местах, отец был моим отцом, конкретно моим обожаемым Папочкой, и я больше не собирался плакать, раз...бать вас всех в рот, в бога, душу, мать, как выражаются добрые католики. Г. долго не отвечал, я слышал, как он дышал в трубку, я даже не удивился бы, если бы он плакал. Хорошо, выдавил он наконец, и теперь уже в его голосе слышалось раздражение или скорее отчаяние.

Мы решили, что книгу нужно издать в середине мая, то есть меньше чем за два месяца. Сейчас еще нужно... а что, собственно, нужно?.. да все, что будет невозможно потом. Навестить в Хорте А. и вспомнить с нею старые добрые времена, повстречаться с былыми друзьями отца... по мнению Г., политических подлостей мне все равно избежать не удастся.

1. Жребий брошен (*лат.*).

Я не боюсь, потому что позиция моя ясна, но все же тревожусь. Поначалу я очень боялся, что отец мой будет внушать теперь лишь отвращение и презрение. Я не хотел потерять его, но теперь я вижу, что любовь моя сохранилась и, более того — мог бы сказать я, смеясь и плача, — обрела новые оттенки. И все-таки я боюсь. Что будет? Ведь современное венгерское общество не обладает достаточной толерантностью, а книга моя этого не учитывает, за что мне придется платить. Платить я готов, но только не знаю, сумею ли оплатить весь счет. Что делать с этой болью другим, тем, кого книга заденет? Ж. с., но Г., я надеюсь, этого не заметит.

5 сентября 1978 года. Секретный сотрудник на коктейле в посольстве ФРГ <Внезапно м. п. у.: я же договорился читать отрывки из "Гармонии" в Институте Гёте, это тоже нужно успеть до середины мая!> знакомится с боннским мидовцем, который хотел бы встретиться с венгерскими журналистами. **Я не без иронии предложил им заместителя главного редактора "Непсабадшаг" Петера Рени, который отлично говорит по-немецки и к тому же хорошо информирован.** Узнаю его иронический тон! Раньше эту иронию я назвал бы тонкой и смелой. **На что он мне возразил, что доступность и информированность Р., очевидно, определяется его положением в партии. Я заметил, что есть у нас и беспартийные журналисты, взять хотя бы меня.** Но многие из них боятся, сказал немец, **на что я ответил: о "страхах" такого рода я давно забыл, потому что бояться за свою карьеру не в моих правилах...**

В соответствии с постоянным заданием я стараюсь расширять свои связи, в том числе и в журналистских кругах, следуя оговоренной линии поведения. — Заключение: Со стороны определенных кругов наблюдается усиление интереса к Чанади, как и предполагалось заданием.

<Уже не впервые на этих страницах я заговариваю о том, что происходит, когда мы обращаемся к истории. Беда моего отца и разговор с другом помогли мне взглянуть на это иначе (сказать "раскрыли глаза" было бы чересчур).

В "Исправленном издании" я поведал историю моего отца (историю новую, исправленную, испорченную, другую), которая все же, сказал бы я, не типична ни для отца, ни для нашей семьи — будь то маленькая, конкретная или большая, так называемая историческая семья, то есть случай этот нас не характеризует. Но он весьма характеризует ситуацию в нашей стране, сложившуюся после 1956 года, — хотя бы отчасти. ("Если правда, что в 1956 году страна стряхнула с себя режим, как собака стряхивает воду, то после 56-го сравнение начинает хромать, потому что потом уже было не разобрать, где заканчивалась собака и где начиналась вода".)

История, рассказанная в "Harmonia cælestis", — история точная в том смысле, что не приукрашивает, не ретуширует семью, не делает из отца жертву; не приукрашивает она и то, что касается Второй мировой войны, ведь даже в самые страшные времена действующие лица "вели себя правильно", не боялись говорить Хорти правду — не зря сразу после оккупации Венгрии нацисты посадили деда в тюрьму; мы по праву гордимся и нашим дальним дядюшкой Яношем, единственным депутатом в словацком парламенте, который проголосовал против антиеврейских законов. Все это так, но "Гармония" рассказывает историю не только семьи, но и страны. Иначе и быть не может, поскольку речь идет о не

совсем обычной семье, но о семье "репрезентативной", так сказать, исторической. Так, по ходу романа нас опутывает история. История конкретной семьи, на первый взгляд, не включает в себя того, что мы называем большой историей, и, естественно, книга должна рассказывать "маленькую" историю. "Но история – это история не только твоей семьи, но и моей. А где же история моей семьи?" Значит, есть в романе пробел, который нельзя объяснить просто тем, что в данном случае рассказана именно эта история, а не другая. Потому что, с одной стороны, с какой бы стати? (ведь это вопрос выбора), но, в то же время, рассказать можно лишь одну, законченную историю, а если ее рассказать нельзя, то надо это оговорить (или промолчать, но все-таки бы дать понять, в чем причина молчания).

Но речь не только об этом, не только о способе отражения истории в литературе, но об истории, той самой "репрезентативной истории" как таковой. О том, что историческая ответственность – вещь не абстрактная, а личная. Хорошо, разумеется, что в свое время мы вели себя вполне достойно, однако 600 тысяч человек были все-таки уничтожены, и за это нужно нести ответственность. Иными словами, мой дед был человеком мягким, исполненным скепсиса, сознательно отошедшим от дел, каким он более или менее верно описан в "Гармонии", но он же был одним из тех, кто не воспрепятствовал ужасам холокоста. Да, эта фраза не очень-то согласуется с моими семейными чувствами и воспоминаниями, но отсутствие этой фразы в романе не согласуется с историей. А это свидетельствует о моей слепоте и даже бездушии, что не очень-то согласуется с человечностью. Короче, вполне возможно, мы делали *все*, что могли, спасали евреев и прослыли в поместьях своих "добрыми графами", однако каким-то образом в этот баланс все же вкралась ошибка, разве не так?! Грубо говоря, ошибка размером в 600 тысяч человеческих жизней.

Наверное, роман не стал бы намного хуже (но дважды в одну книгу, увы, не войдешь!), если бы, выражаясь самоуверенно, страна узнала из него то, о чем я сейчас говорю, иными словами, смогла сделать выводы, которые сделать необходимо, но Венгрию все это мало волнует, не интересует ее холокост, она, как мне кажется, полагает, что это проблема евреев. К сожалению, "Гармония" не смогла преодолеть эту чисто венгерскую историческую бесчувственность, а ведь такая возможность была.

Как свидетельствуют наши семейные предания, все всегда спасали евреев, по-человечески обращались с цыганами и т. д., но из этих преданий история страны не складывается, и даже будь они бесконечно правдивы, в результате получится ложь.

Еще раз: положим, мой дед был безупречно порядочный человек, решительно выступал против немцев, принимал близко к сердцу судьбу своей родины и в рамках своих возможностей делал, как я полагаю, все, что мог. Или он просто был не способен преодолеть "классовые барьеры"? Свою тень ведь не перепрыгнешь. Нет, конечно, не перепрыгнешь, самоуверенно скажем мы. Но посмотрим на это иначе. Разве не видим мы рядом с этим "нет" миллионы убитых, униженных, растоптанных сочеловеков, творений Божиих, – я должен ведь об этом что-то думать и говорить. Как человек, как христианин, как венгр.

Страна тоже должна думать об этом. Но она не думает, пытается увильнуть, из частных истин сооружает себе демагогическое алиби, стремясь все это прикрыть своими невымышленными страданиями.

Если же мы сделали все, а случилось то, что случилось, значит, это "все" нужно переосмыслить. Если человек не смог перепрыгнуть свою тень и случилось то, что случилось, значит, нужно переосмыслить Солнце. Фраза "случилось то, что случилось" означает, собственно говоря, что моя семья не только "делала то, что могла", но также способствовала (!) тому, чтобы члены других семей не считались людьми.

Не проще ли было бы рассуждать об этой ответственности на примере так называемых порядочных людей? Скажем, на примере кроткого, чистого, глубоко верующего дядюшки Яноша, который, совершив исключительно мужественный поступок, погиб затем смертью мученика? Но и достоинства моего отца, не личные, а узнанные из "Гармонии", вкупе с его новой историей могли бы помочь стране выйти из исторической амнезии.

И в этом историческом самопознании, возможно, **семье (здесь следует фамилия моего отца)** предстоит сыграть свою роль. Нелегкую роль.>

Программа поездки в Мюнхен еще не конкретизирована, в состав делегации предположительно войдут Петер Рени, Янош Хайду, Янош Немеш и Т. Х. Предложение: подумать над тем, не подобрать ли из состава делегации информатора (или агента), который мог бы проследить за поведением Чанади за рубежом.

Закончить сегодня так и не удалось из-за того, что на этот идиотизм в духе Джеймса Бонда уходит значительно больше времени, чем я полагал.

13 июня 2000 года, вторник

<...В последние двадцать лет жизни он обрел свое тихое счастье. Этим счастьем была его добрая подруга Э., за что я ей благодарен безмерно. По мере того как отец старел, в нем копилось какое-то напряжение — главным образом из-за того, что происходило в мире, из-за всяческих глупостей и нелепостей. Мне запомнилась замечательная сцена: я вез его на дачу к Э., дорога была забита, и краем глаза я видел, как он барабанит пальцами. Поверь, папа, сказал я, вся эта масса автомобилей съехалась сюда не по моей вине или легкомыслию. Почему-то слова мои его нимало не успокоили. Но что с ним случилось, когда мы вошли с ним в сад! Мы словно попали в рай! Небесная гармония, да и только! (Точнее, он вошел в рай, а я — просто в сад.) И лицо его, и осанка, и тембр голоса изменились словно по волшебству. За шаг до калитки губы его были плотно сжаты, он сутулился ("дряхлый орел"), а секунду спустя — стройность и поразительная, обезоруживающая улыбка, даже смех: смеялось все его лицо и прежде всего глаза, с. В том саду, в том маленьком домике, рядом с Э., он неизменно был счастлив и радовался, как мальчишка.

Не мучил его Господь и когда он умирал... **По новой своей привычке после обеда он лег вздремнуть и проснулся, в сущности, от того, что умер; он собрался спуститься к полднику, сделал шаг и упал... На линолеуме до сих пор виден след от его поскользнувшегося каблука** (стр. 313). Все именно так и произошло. Светило солнце, за окном пели птицы. Не всякому дано так умереть, сказала Э. **Достойно также упоминания, что Господь каждый (Божий) день ровно без четверти три, ибо умер он именно в это время, посылает на землю ангела потрудиться немного над следом, чтобы он не исчез. Он и не исчезал. Так**

и вижу, как ангел ставит пятку на то самое место, где находился каблук отца, и, бух, поскальзывается, словно имитируя смерть. Каждый день в нашем доме появлялся новый ангел, потому что работа эта им жутко не нравилась. Некоторые даже плакали. Бух! поскользнется и начинает плакать. Ну вот, в этот самый момент, когда по соображениям художественности это было бы весьма кстати, с. нет!

5 февраля 1979 года. Пространное донесение о поездке. Отчет о мероприятиях, с кем встречался (с сотрудником телеканала ARD, с одним главным редактором из Штутгарта и т. д.) **...он явно симпатизировал мне. Вопросов не задавал ни в косвенной, ни в прямой форме.** (...) **Секретный сотрудник посетил К. Ш.** (В то время он только что эмигрировал; я до сих пор помню, как он любил-уважал нашу Мамочку, ставил ее *высоко* — приятное чувство), а также Б. Д. (**ни о работе, ни о политике со мной он не говорил**).

Гляди-ка. С другом нашей семьи Э. А. он полетел в Западный Берлин. Я тоже знаком с ним, бывая у нас, он всегда приносил отцу кальвадос "Пер Маглуар". [А все-таки время — хороший редактор. На днях я получил от Э. А. замечательное письмо; он прочел "Гармонию" по-немецки и написал, что мой отец (mein Vater!) был достоин всяческого уважения и восхищения, а также помянул незабываемые разговоры семидесятых годов у нас, на улице Эмёд, и сердечное гостеприимство нашей Мамочки, прибавив, что после прочтения книги он очень часто думает о нас.] <Ему тоже надо будет позвонить.> **После некоторых колебаний я принял его предложение, потому что в Берлине нас должен был принимать "political officer" П. С.** (...)

Некоторые моменты позволяют предположить, что противник изучал личность секретного сотрудника, перспективы его использования и что этот процесс может иметь продолжение.

Я листаю страницы. Вот и последний документ досье. С особым чувством ощупываю его, и как положено в детективе — неожиданный поворот: **В ходе беседы Чанади сообщил о своем решении в ближайшее время уйти на пенсию, что связано в первую очередь с состоянием его жены, лежачей, неизлечимо больной. (Болезнь жены может затянуться на годы.) Секретный сотрудник дал нам понять: он хотел бы, чтобы уход на пенсию коснулся и наших с ним отношений.** Я так и слышу его интонации ироничного английского джентльмена, умеющего сохранять дистанцию. **Предварительно мы договорились о том, что после принятия им окончательного решения и оформления пенсии по месту работы он подробно изложит свои обстоятельства, а затем вместе с ним и моим руководством мы обсудим дальнейшие действия.**

Вот и все. В деле есть еще именной указатель и последняя запись, датированная 29 марта 1980 года: **В архив. Капитан Прокаи, МВД III/II-5/B** [Главное управление контрразведки, оперативные мероприятия за рубежом]. Сегодня 13 июня 2000 года, 11.59. Я дочитал своего отца.

Я гляжу на четыре папки, мне почему-то не хочется уходить, хотя делать здесь больше нечего. Куда мне идти? <Пока я занимался этой работой, она меня защищала. Теперь буду беззащитен, как оно и положено.> Я вы-

писываю для себя имена, быть может, я вычеркну их из текста, но пусть они сохранятся.

Мы, люди, которых он предавал и которых не предавал, не можем простить моего отца, потому что он не открыл нам свои деяния, не раскаялся, не выразил сожаления о том, что темная сторона души его одержала над ним победу. Поэтому можно его жалеть, можно ненавидеть, а можно и вовсе не думать о нем. Его будут оплевывать или попросту чихать на него — такова судьба моего отца.

Но помимо всех перечисленных (и мною приемлемых) возможностей, я еще и люблю его — мужчину, первородным сыном которого являюсь, с. [с.] <с.> <Как хотелось бы мне все спасти, оправдать отца, да чего же вы от него хотите, да оставьте, оставьте же вы его, искупил отец свой грех, прошлый и грядущий[1]... Короткая пауза, утирание слез, поиски равновесия, выдержка.>

Мой отец — поистине непереводимая игра слов. Сколько раз за последние десять лет я писал это прекрасное словосочетание! И всякий раз оно звучало как некое тайное признание в сыновней любви. В этом его качестве — в том, что связано со мною, — я зафиксировал его на бумаге (по всей вероятности) последний раз в своей жизни. Последующие десятилетия будут другими. "Куда, кому, зачем?"

Жара кошмарная. Я закрываю и открываю папки, пытаюсь запомнить их. Отпечатать в памяти. Первая — розоватая и довольно жесткая, вторая — коричневая, блестящая, третья — чуть посветлее, четвертая — матовая. С черными завязками, кроме третьей, у которой тесемочки белые. Я вижу, что папки захватанные; захватанные и толстые, в особенности вторая и третья. Жизнь моего отца есть прямое (и страшное) доказательство, что человек — существо свободное.

От переводчика

В мае 2002 года, готовя к изданию главы из романа "Harmonia cælestis" (опубликованные в № 10 "ИЛ" за 2002 год), я написал краткий постскриптум к вступительной статье, в котором упомянул о выходе новой книги Петера Эстерхази, написанной после знакомства автора с документами из архива бывшей венгерской госбезопасности, имеющими отношение к его отцу. "Писатель, привыкший считать фантазию сферой компетенции искусства, — говорилось в этом постскриптуме, — столкнулся с реальностью, которая, как нередко бывает, превзошла всякое воображение. Еще одно, на сей раз документальное, повествование об отце, каким является "Исправленное издание", у всех, кто его прочитал, вызвало потрясение, шок, настоящий катарсис".

Собственно говоря, если текст, опубликованный сейчас на русском языке, вообще нуждается в комментариях, то они должны касаться именно этой темы: как прочли, как приняли эту книгу в Венгрии, как оценили из ряда вон выходящий поступок автора? Изменила ли что-нибудь эта книга в отношении венгров к не такому уж давнему прошлому? Поэтому ограничимся некоторыми наиболее характерными высказываниями венгерских критиков, не пытаясь свести их к общему знаменателю.

1. Перефразированная цитата из венгерского национального гимна на стихи классика венгерской литературы XIX в. Ф. Кёльчаи: "Искупил народ свой грех, / Прошлый и грядущий" (перев. Л. Мартынова).

Золтан Андраш Бан, критик (журнал "Мадьяр наранч"): С Эстерхази случилось — точнее, стряслось! — такое, что писателю не приснится и в страшном сне: действительность восторжествовала над вымышленным им художественным миром; один из персонажей его романа, отец, внезапно покинул произведение и обнаружил страшный, непредставимый доселе оскал реальности... Самым невероятным образом над Эстерхази одержал верх один из главных его эстетических противников — реализм. Но писатель — в конечном счете — все же вырвал из его рук победное знамя и собственное поражение превратил в триумф.

Иван Бехер, прозаик, рецензент газеты "Непсабадшаг": Последнюю книгу Эстерхази я закончил читать буквально минуту назад. Только в Венгрии ее прочтут сотни тысяч... От этой истории невозможно освободиться... В данном случае важен не я, не автор, не его отец, а все мы. Это книга о нас. Говоря простым языком, в этом и есть смысл литературы. В том, что она обращена к тебе, берет тебя за живое, вонзает в тебя кинжал.
На сей раз происходит прежде всего последнее... Пытаясь разобраться в своем самом что ни на есть личном деле, писатель, словно бы между прочим, объединяет нацию... Показывает пример. "Исправленное издание", ей-богу, педагогическая поэма. (Перебор, усмехнулся бы здесь наш автор.)

Арпад Гёнц, прозаик, драматург, переводчик, в 1990—2000 годах президент Венгерской Республики: Я не был знаком с отцом Петера Эстерхази, но знаю по опыту, поскольку в течение десятилетий за мною следили, что добровольно взять на себя роль агента согласился всего один человек. Всем остальным угрожали — либо лишением средств к существованию, либо неприятностями, которые ожидают семью.

Петер Надаш, прозаик: Я читал роман еще в рукописи; полагаю, что со стороны Петера это героический жест. Добавить к этому нечего.

Петер Балашша, критик, литературовед: Писатель предстал перед обществом вместо умершего отца; замечательный и почти невыносимый поступок. Хотя к творчеству Эстерхази слово "героизм" не подходит, но на этот раз он раскрыл перед нами самые глубинные слои своей личности, проявив себя как художник и гражданин, серьезно относящийся к исторической ответственности как собственной семьи, так и всей нации. Цель Эстерхази не в том, чтобы опозорить отца, а в подтверждении многозначности и непостижимости вещей. Вся преисподняя XX века открывается в этой книге... Что после этого можно думать о наших отцах и дедах, о стране, где возможны были такие трагедии. Не боясь замарать честь семьи, Эстерхази открывает нам эту историю как повод для общего размышления и коллективного очищения. Трусость отца компенсируется героическим поведением сына.

Шандор Радноти, критик (еженедельник "Элет эш иродалом"): В отличие от романа, героем "Исправленного издания" является не отец, а писатель, чей мир оказался вывернутым наизнанку, потерявшим опоры, полностью изменившим отношение автора к собственным воспоминаниям и собственному творчеству... Есть в этой книге такая вера в спасительную силу слова, от которой хочется плакать... Загадочная фигура отца не становится более понятной по мере того, как писатель открывает все новые степени приспособленчества — постепенную активизацию агента, элементы творческого подхода

и, наконец, даже некие проявления "трудового энтузиазма". Сын при этом не перестает любить отца и не перестает презирать агента, не забывая ни на секунду о том, что тот и другой — один человек. Любовь не приводит его к прощению, ибо Эстерхази знает: отец был волен поступать, как он поступал, но имел и другие возможности (не участвовать в предательстве, отказаться от сотрудничества на каком-то этапе или хотя бы покаяться в конце жизни). Вот почему "Исправленное издание" заканчивается глубокой и воистину справедливой мыслью: "Жизнь моего отца есть прямое (и страшное) доказательство, что человек — существо свободное".

Стоит привести здесь и некоторые читательские отклики, в первую очередь — мнения участников интернет-форумов, включившихся в обсуждение книги сразу после ее публикации. Мнения эти, в силу специфики полуанонимного или полностью анонимного сетевого общения, отличаются большими крайностями и большим разбросом, чем отзывы бумажной печати.

С сайта "Непсабадшаг":

"Чертова колесница": Точные даты, исторические сведения (в т. ч. и почерпнутые из газет того времени) плюс свободные ассоциации, а также реальные и вымышленные фрагменты "Гармонии". Дух захватывает. Напряжение между формой и содержанием таково, что может сравниться с пинком в живот...

"Маттер": Полюбуйтесь, что пишут на Index.hu: "Какой же опустошительной была эта диктатура, что даже после того, как средствами ужасающего террора человека вынудили к предательству, его сын, якобы для спасения отца, тоже ощущает потребность в предательстве, но уже добровольном и никому не нужном".

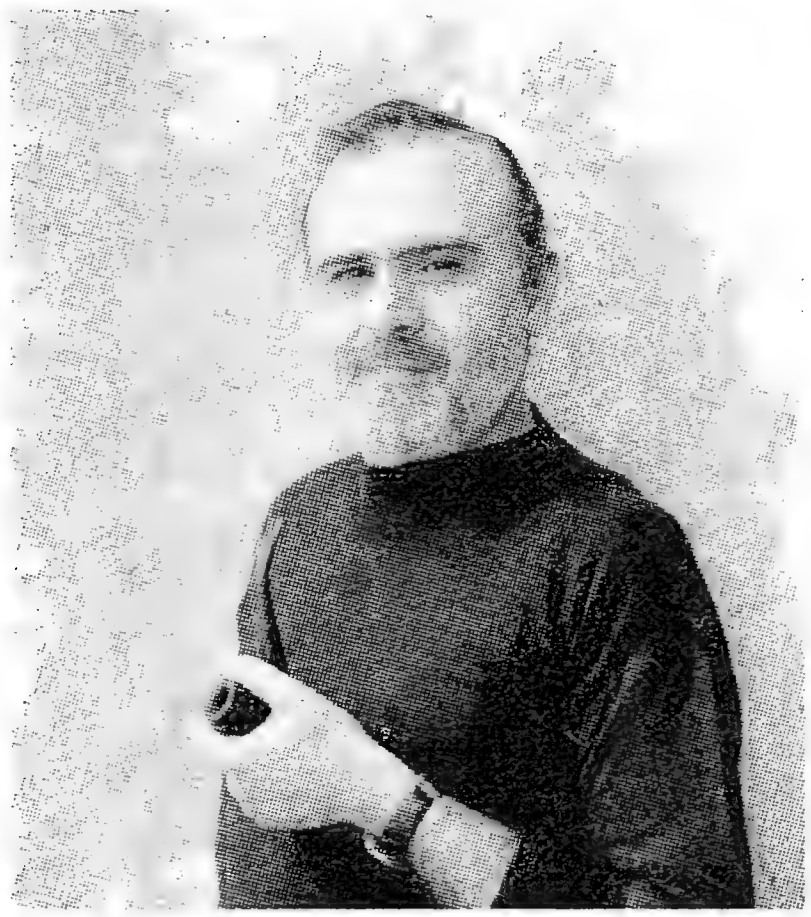
"I believe": Уж коль скоро на семье его лежит такой тяжкий грех (а стукачество, несомненно, является таковым), то лучше бы ему затаиться и помалкивать в тряпочку... Во имя успеха продавать отца — это отвратительно.

Аранка: Что значит — продавать отца? Это настолько бессмысленная постановка вопроса, что нечего и сказать. Ты, что, никогда не слыхал об угрызениях совести, о борьбе страстей и прочих подобных вещах?

С сайта Index.hu:

"Xyz 4567": Эстерхази, как, в сущности, всеми своими прежними поступками, так и этим последним лишь подтвердил свой высокий моральный авторитет. Взглянуть в глаза таким фактам, наверное, нелегко, но он это сделал. Надеюсь, что его отношение к отцу, которого он любил (и любит), не изменится и после этого. По понятным причинам нам трудно его судить. Ну а любителей позлорадствовать, конечно, найдется немало, но их можно только жалеть.

Бартоло Каттафи



Стихи

Перевод с итальянского и вступление Евгения Солоновича

В стихах Бартоло Каттафи (1922—1979) слышится запах моря. И голос моря — даже в самую тихую погоду. Поэт родился на Сицилии, куда до появления авиации можно было добраться только по воде: так добирались сюда древние греки, византийцы, арабы, норманны, испанцы, определяя на столетия вперед слагаемые богатейшей культуры — поэзии, музыки, зодчества, изобразительных искусств.

Каттафи — наследник этой культуры. Ею пронизаны его лучшие стихи, и безусловным подтверждением их высокой пробы могут служить эмоциональная сдержанность, чуждость патетике, равнодушие в зрелости к литературным поветриям, создавшие Каттафи устойчивый авторитет в поэтическом мире, где его чаще сравнивают с известными художниками, чем с собратьями по перу.

Один из своих ранних поэтических циклов Каттафи назвал "Отправление от Гринвича", и хотя название цикла было навеяно поездками во Францию, в Англию, в Африку, оно может читаться и как метафора: отправление от Гринвичского меридиана — это отправление от самого себя, подразумевающее и возвращение к самому себе, к природе своего "я". Метафоры Каттафи так же естественны, как явления и предметы, важные для него в повседневной жизни. А повседневная жизнь для него — путешествие среди этих явлений и этих предметов, говоря о которых, он говорил о себе. И когда до конца путешествия останутся считанные дни, поэт вправе будет признать, что "сказал уже все, что мог".

Определенная тайна, которая есть в стихах Каттафи, одета в простые слова, а, как известно, найти, нащупать такие слова для настоящего поэта — самое трудное. На то, как Каттафи преодолевал эту трудность, обратил внимание поэт

© Bartolo Cattafi Estate. All rights reserved.
© Е. Солонович. Перевод, вступление, 2003
Редакция благодарит международное литературное агентство Bartolo Cattafi Estate, безвозмездно предоставившее право на публикацию.

Данте Маффия: "...слово становится для Каттафи таким же важным элементом, как воздух, осязаемой мечтой, открывающей бесконечные возможности для песни..."

У новых поколений любителей поэзии свои кумиры. Так было и так будет, всегда и везде. Но поэты не только уходят, но и возвращаются. С одним из таких поэтов знакомит читателей журнала эта публикация.

Белый курс

(Ветер тихим
рождается)

Поплывем по чистым волнам
горький балласт сожалений
не для нас

будем держаться белого курса
альбатроса

Эоловы острова

Эоловы острова голубые слова
всплыли радостным утром
девственно кроткие с белым
маяком в целомудренном сердце
опрятное облако сверху

История

Где она, древняя Греция
с драхмами звонкими,
как море Гомера?
Не имею понятия. С телефонным,
зажатым в ладони, жетоном
иду, когда позволяет
цвет светофора,
гоню голодные мысли, цветы не по карману,
их любят только женщины и мертвецы,
но на потной, плотно сжатой ладони
знак остался — какой, уточнять не стану.
Может, удастся собраться с духом,
выше столбов телеграфных подняться,
как воробью, будничной птице.

Предостережение

Теперь вы знаете ее приметы
и обознаться не должны,
и если встретите ее —
мир тесен —
и скажет вам она: я умираю,
живу в огне, я жанна д'арк,
и про костер напомнит,
и подмигнет, и бедрами качнет
или взмахнет крылом или захочет
вам насолить,
учтите, что чуме
она не плоть, а душу уступила.
Пошлите, если это в вашей власти,
ее ко всем чертям
с ее завидной подорожной.

Жест

Неправда что осталось все как было
когда ты вынув руку из кармана
разрезал ею воздух
слева направо
сверху вниз
случилось то что вынув из кармана руку ты
разрезал ею воздух
и это не прошло бесследно
твоя рука разрезавшая воздух
все изменила.

Остальное отсутствует

Не хватало страниц
мрамор эпитафии
был расколот
всего два слова
cetera desunt[1]
остальное исчезло
голова исчезла и ноги
и туловище исчезло
с головой и ногами вместе
cetera desunt... cetera desunt...
слова на фронтоне пустого храма
вперемешку с ветром как бы говоря нам
есть только мы
все остальное отсутствует
вот чего вы не знали.

1. Остальное отсутствует (*лат.*).

Ухожу

В один прекрасный день я ухожу
сыт по горло устал
оставляю комнаты
лестницу за ступенькой ступеньку
крошки и пепел
все что осталось
в пакетах и свертках
их откроет кто-то другой.
На улице свет
жмется к небу
делает вогнутым небо гладким до жути
я замыкаюсь за створками век
и натыкаюсь тут же на сверток
на простертую руку
на жалобный голос молящий
не наступи на меня
дай мне руку.

В *глубоких норах*

Облако
темную зелень кустов
равнинные рощи
и прочее все в крапиву забрось
этого нет на бумаге
зато есть моря
с чуть заметными волнами
а вон там за плотиной
чудища спят в глубоких норах.

Зимнее гадание

Зима прогнала гадалок цыганок
от ворот института опухолей
а вошедший сюда попадал
в тепло
раздевался
ложился в кровать
крепко сжимал подмышкой
градусник
таблетку верную принимал
то не веря в нее то веря
путешествовал в мысленном далеке
(неограниченный выбор дорóг
осенних летних весенних)
сам себе
гадал по руке.

Географ

Мне вам нечего больше сказать
я сказал уже все что мог
что должен был о морях о горах о лесах
о дружественных-враждебных племенах
мне вам нечего больше сказать
чтоб наврать
я все исказил изменил подогнал
под другую задачу
я говорил о себе
я исповедовался переходя
от горного массива к водорослям к траве
перед правдой в долгу
делая вид что лгу.

Дон Делилло

Мао II

Роман

Перевод с английского С. Силаковой

Посвящается Гордону Лишу

На стадионе "Янки"

ВОТ они — выходят, слаженно шагая, под лучи американского солнца. По двое, извечными парами "он и она", направляются по огороженной дорожке в левый сектор бейсбольного поля. Повинуясь музыке, ступают на траву. Их десятки, сотни, уже не счесть. Пересекая газон, они смыкаются так тесно, что происходит настоящая метаморфоза. Колонны пар, идущих под руку, преображаются в одну сплошную волну, которая неуклонно разрастается, заливая синевой и белизной все открытое пространство.

Отец Карен, наблюдающий с трибуны, вынужден признать: эти господа своего добились. Те, кто внизу, — отныне единая плоть, однородная масса, и это вселяет в него самые дурные предчувствия. Он ловит в окуляры своего бинокля первую попавшуюся молодую женщину, переводит взгляд на другую, третью. Столько колонн, разделенных лишь минимальными промежутками. Ничего подобного он никогда в жизни не видел, даже вообразить бы не мог. Он не глазеть сюда пришел, но постепенно смиряется с тем, что действо впечатляет. Их уже тысячи, почти дивизия, и старомодная, вроде бы сентиментальная музыка начинает звучать как насмешка. Рядом сидит Морин, его жена. Сегодня она бодра и отважна, разодета в пестрые конфетные цвета назло серой мороси в сердце. Родж

© Don Delillo, 1991
© С. Силакова. Перевод, 2003

отлично понимает, каково ей. Известие свалилось на них как снег на голову. Они с Морин вылетели первым же рейсом, сняли номер в отеле, сели на метро, прошли через металлоискатель и теперь здесь, силятся понять. К резким виражам обыкновенных напастей Родж подготовлен, пожалуй, совсем неплохо. У него есть университетский диплом, свое дело, свой консультант по налогам, свой кардиолог, сбережения, наполненная жизнь, многосторонняя медицинская страховка. Но есть ситуации, когда гарантийные обязательства недействительны. Там, внизу, творится что-то очень странное — никогда не подумал бы, что такое возможно на бейсбольном поле. Они берут за основу обряд, издавна считающийся священным таинством, и тиражируют его, тиражируют, тиражируют, пока из критической массы не возникает нечто небывалое.

Вон там — в первом ряду, в двадцатой примерно паре слева — не она ли? Он выкручивает колесико до упора, надеясь различить сквозь фату ее лицо.

Все новые и новые пары выходят на поле и присоединяются к толпе; слово "толпа" тут, впрочем, не годится. Он не знает, как их назвать. Он воображает, что они улыбаются стандартной улыбкой, демонстрируя то лицо, которое каждое утро выжимают из тюбика вместе с зубной пастой. Женихи в одинаковых темно-синих костюмах, невесты в атласных платьях с кружевами. Морин обводит взглядом людей на трибунах. Родителей видно с первого взгляда; вперемежку с ними расположились просто любопытные, заурядные зеваки и бездельники, и тут же — посвященные высшего уровня с отчужденным мраком в глазах, тайные соглядатаи, напялившие на себя, кажется, весь свой гардероб, — их одежки-ошметки, надетые одна на другую, из-под пятницы суббота, накрепко слиплись в монолитный кокон; для Морин эти городские кочевники куда диковиннее, чем бедуины Сахеля[1] — тех-то по крайней мере показывают по "Документальному каналу". Вход сегодня свободный, и по дальним рядам трибун носятся ватагами мальчишки, взрывают на бетонных ступенях петарды, оглушая всю округу; от грохота "Авиабомб" и "Пороховых бочек" зрители невольно пригибаются, съеживаются в испуге. Морин предпочитает рассматривать родителей и других родственников; некоторые женщины, бедняжки, принарядились, надели свои лучшие платья, прикололи к груди трогательные белые букетики; с их напудренных лиц глядят мертвые глаза. Она делится с Роджем своим наблюдением: здесь все постоянно оглядываются друг на друга. Никто не знает, что́ в такой ситуации положено чувствовать, вот и подсматривают за окружающими в надежде на подсказку, ищут, с кого бы взять пример. Родж не опускает бинокля. Шесть тысяч пятьсот пар; где-то там, внизу, их дочь готовится заключить брак с человеком, с которым познакомилась два дня назад. С японцем, а может корейцем, Родж точно не запомнил. По-английски тот знает слов восемь. Карен общалась с ним через переводчика, который научил обоих говорить: "Здравствуйте, сегодня вторник, вот мой паспорт". Пятнадцать минут в обшарпанной комнатке — и скованы одной цепью до гроба.

Он прочесывает взглядом всю эту однородную массу, толпу, организацию, паству, сборище, секту. Только бы отыскать — тогда чуть-чуть полегчает.

— Знаешь, они как нарочно... — говорит Морин.

1. Сахель — переходная полоса от пустынь Сахары к саваннам Западной Африки. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

— Погоди, дай сосредочиться.

— Как нарочно все подстроили, чтобы растравить душу родственникам.

— Рыдать-стенать мы могли бы и в гостинице.

— Я просто констатирую факт.

— Я же предлагал — помнишь, нет? — чтобы ты осталась дома.

— Неужели я могла не поехать? Под каким, интересно, предлогом?

— Я смотрю, тут у многих вид совсем не американский. Они по всему миру рассылают миссионерские группы. Наверно, решили, что наша страна теперь отсталая из отсталых. Явились указать дорогу, раскрыть нам глаза.

— И половчее вложить свои денежки. Может, в театр потом сходим?

— Не отвлекай, а? Я хочу ее найти.

— Раз мы в городе, не упускать же случай.

— В голове не укладывается. Тринадцать тысяч человек.

— И что ты сделаешь, когда ее найдешь?

— Кто это только выдумал, черт подери? Какой во всем этом смысл?

— Что ты сделаешь, когда ее найдешь? Помашешь на прощанье?

— Мне просто нужно знать, что она здесь, — говорит Родж. — Констатировать факт, идет?

— Потому что это и есть прощание. Мы с ней окончательно прощаемся — если давно уже не распрощались.

— Морин! Да помолчи же!

От хоум-плэйта[1], где расположился оркестр, доносится марш Мендельсона, сопровождаемый стадионным эхом, — заблудившиеся ноты отражаются от стенок межъярусных ниш. Всюду флажки и фестоны. Благословенные пары[2] обращены лицами к инфилду[3], где, явленный в трехмерном теле, стоит их истинный отец, Учитель Мун. Он смотрит на них сверху с огороженной перилами кафедры, венчающей серебристо-красную платформу. Он в белом шелковом одеянии и высокой короне с узором из стилизованных ирисов. Они знают его до последней молекулы. Он живет в них подобно материальным цепочкам генов, предопределяющим их сущность. Это невысокий коренастый человек, которому в горах явился Христос. Девять лет Учитель провел в молитвах, рыдая так прилежно и долго, что его слезы образовали лужу, проточили пол, упали капля за каплей в комнату на первом этаже и ушли сквозь фундамент в землю. Молодожены знают: есть вещи, о которых он должен умалчивать, слова, всепланетарной ударной силы которых не выдержать никому. Он — неисповедимое мессианство в неприметной телесной оболочке: простецкое лицо, обветренная бронзовая кожа. Когда коммунисты отправили его в концлагерь, заключенные сразу поняли, кто оказался среди них, — ведь накануне они видели его во сне. Половину своей пайки он раздавал другим, но не слабел. Работал в шахте по семнадцать часов в сутки, но всегда находил время, чтобы молиться, содержать тело в чистоте и заправлять рубашку в брюки. Благословенные молодожены едят детское питание и называют себя детскими прозвищами, потому что в его присутствии чувствуют себя несмышлеными младенцами. Этот человек жил в хижине, построенной из жестяных коробок из-под американских

1. Хоум-плэйт, или "дом", — одна из важнейших точек бейсбольного поля.
2. Для членов движения Муна брак с единоверцем — одновременно священный долг и большая честь, которую нужно заслужить упорным трудом (сбор пожертвований, вербовка новых членов). Мужа или жену подбирает сам Учитель и его ближайшие помощники. Потому-то супружеские пары у мунитов и именуются "благословенными".
3. Инфилд — внутренняя часть бейсбольного поля.

армейских пайков, — а теперь стоит здесь, под американским солнцем, пришел вести людей к конечной точке истории человечества.

Женихи и невесты обмениваются кольцами и обетами; на трибунах почти все фотографируют, встают на цыпочки в проходах, толпятся у ограждений, целые семьи отчаянно щелкают затворами аппаратов, пытаясь то ли облечь свои переживания в зримую форму, то ли обзавестись прочной основой для будущих воспоминаний, а возможно и нейтрализовать то, что происходит, затушевать его зловещий накал. Учитель нараспев произносит ритуальный текст по-корейски. Пары проходят колонной мимо платформы, и он брызжет им на головы водой. Видя, что невесты приподнимают свои покрывала, Родж торопливо выкручивает колесико до упора, приближает их лица — а сам чувствует, как ширится дистанция между ним и происходящим, как уныние затопляет душу. Но продолжает наблюдать и думать. Когда Старый Бог покидает мир, что происходит со всей неизрасходованной верой? Родж вглядывается в каждое милое лицо, круглое лицо, длинное, неправильное, смугловатое, некрасивое. Они — новая нация, думает он, краеугольный камень которой — легковерие. Агрегат, работающий от доверчивости. Они изъясняются на недоязыке — наборе готовых терминов и пустопорожних тавтологий. Все сущее, свод истин, сумма познаваемого сведены к нескольким простым формулам; спиши их, зазубри и передай дальше. Взять хоть сегодняшнее действо — это же мертвая рутина, театр заводных кукол. Живых кукол. Охваченный благоговейным ужасом, Родж бессильно откидывается на спинку сиденья: какое искажение пропорций, какое издевательство над интимными чувствами, какое тиражирование любви и секса. Тут правят арифметика с геометрией. Вот что его по-настоящему страшит — людское полчище, превращенное в объект, неодушевленную скульптуру. Словно игрушка из тринадцати тысяч деталей, движется себе, попискивая, невинная и зловещая. Он не опускает бинокля, но в сердце закрадывается отчаяние, хоть бы найти ее, хоть бы напомнить себе, какая она. Здоровая, умненькая, двадцать один год, отнюдь не вертихвостка, со своей головой на плечах, с богатой душой, нюансы и светотени которой все равно проступят наружу, сколько бы они там ее ни обрабатывали. По крайней мере, на это он надеется, об этом молит Бога, но что окажется сильнее — его просьба или мощь их коллективной молитвы? Когда Старый Бог уходит, люди молятся мухам и крышечкам от бутылок. И что самое страшное: этот человек дает своим последователям именно то, в чем они нуждаются, — потому за ним и идут. Он отвечает их чаяниям, снимает с них бремя свободной воли и самостоятельного мышления. Посмотрите, какие у них счастливые лица.

Вокруг стадиона тянется выжженная земля — кошмар, измеряющийся милями, ветхие доходные дома, мужчины раскачиваются на стульях у стен выпотрошенных зданий, на пустырях горят диваны, и у многотысячной толпы, у всех этих поющих под ослепительным солнцем молодоженов возникает чувство, что будущее наступает, валится им на головы, что куда ни глянь — повсюду символы обреченной природы и людских страданий Последних Дней; а вот, в самой толще построенного в колонны единого тела, стоит — вот она, вся как на ладони, — Карен Дженней, держа в руке веточку жасмина, думая о грядущей кровавой буре. Ее длинные волосы слегка растрепаны. Дожидаясь своей очереди пройти мимо Учителя, она видит его коллективным парящим глазом толпы, который неотделим от ее собственного органа зрения, но зрит острее и глубже.

Она чувствует, что исцелена, пронизана насквозь благодатными лучами. Это чувство здесь испытывают все — молодые люди из пятидесяти стран, прошедшие вакцинацию от языка своего "я". Забывают, какие они все разные под своей одинаковой одеждой, расстаются со всеми пустяковыми переживаниями и физическими недугами, полный перечень коих отнял бы несколько часов: зудящие десны, мокрый от пота затылок, раздутый мочевой пузырь, замогильное бурчание в животе, мимолетные тики и мурашки, грибковая сырость между пальцами ног, где-то глубоко под лопаткой болезненный укол, заставляющий вспомнить о Судном дне. Все как рукой сняло. Они стоят и поют, черпая силы в своей многочисленности.

Карен искоса смотрит на Кима Джоу Пака, толстого, с кротким взглядом, в красивом новом костюме и неуклюжих ботинках, мужа-навечно.

Она знает: ее родители-по-плоти где-то здесь, на трибунах. Знает, что́ они говорят, видит выражения лиц, жесты. Папа пытается разгадать смысл происходящего с помощью логики, так, как учили в колледже. Мама, с видом вечной мученицы, смотрит огромными страдальческими глазами.

Они повсюду вокруг нас, тысячи родителей, напуганные нашей целеустремленностью. Мы уверовали всерьез — именно это их и смущает. Они воспитывают нас в религиозном духе, но, столкнувшись с подлинной верой, сразу вызывают полицию и психиатров. Мы знаем, кто Бог. И по этой самой причине для мира мы безумцы.

Поток сознания Карен иногда замедляется, стопорится на готовых наборах слов. Забавные обрубки, зачаточный английский, на котором изъясняются некоторые из ближайших помощников Учителя.

У них бывает Божья еженеделька. Не понимайте. Жертвуйте вместе. Богов дом на земле стройте руками.

Карен говорит Киму:

— Здесь играют "Янки".

Он кивает и улыбается, бессмысленно-бессмысленно. Больше всего ее в нем поражают волосы, блестящие, тонкие, черные как смоль, совсем как у персонажа комиксов из воскресной газеты. Эти волосы помогают ей поверить: Ким реален.

— Бейсбол, — говорит она, и в этом слове для нее обобщены сотни сладостных отвлеченных понятий, ритмы, возникающие из криков толпы и симметрии поля, изо всех подробностей удачной перебежки. Если ты американец, это слово находит в тебе отзвук, пробуждает чувство духовной общности, память о легендах, не поддающихся переводу. Но Карен на такое не замахивается — для Кима хватит и схематической картины: демократичный рев трибун, взмахи потных рук в знойном послеполуденном мареве, дух открытости — бейсбол, как радушный хозяин, помогает освоиться в стране.

Между прочим, слово "секта" — такое же неисчерпаемое, как "бейсбол". С каким удовольствием все они обращают его против нас. До чего удобно метить нас этим лживым ярлыком, будто мы глупые дети с пустыми глазами. И как им ненавистна наша готовность трудиться и бороться. Они хотят схватить нас за шкирку и уволочь обратно в мир стриженых газонов. Потому что мы готовы жить по-походному, спать на полу, ехать всю ночь в тесных фургонах, собирать пожертвования, служить Учителю. Потому что наш истинный отец — иностранец и желтокожий. Как они молча ненавидят. Они сохраняют в неприкосновенности наши бывшие комнаты. Наши имена всегда у них на устах. Но мы отдалились от

них на целую жизнь, мы молимся ночь напролет, беспрестанно рыдая и колотя по полу кулаками.

Мир — в дребезгах. Всем шокам шок. Но есть план. Пали-пали[1]. Донесите до каждого люда: сейчас пора поспешать.

Теперь ей не снится ничего, кроме Учителя. Он им всем снится. Является в видениях. Стоит рядом, когда его трехмерное тело находится где-то за тысячи миль. Заводя о нем речь, они плачут. Слезы скатываются по их щекам, образуют на полу лужи, просачиваются в комнату этажом ниже. Он врос в их белковую структуру. Он возносит их над обыденными отрезками пространства-времени, а затем открывает, какое это блаженство — посвятить жизнь обыденному: труду, повиновению и молитве.

Родж предлагает Морин бинокль. Та решительно мотает головой. Все равно что смотреть на труп близкого человека после тайфуна.

Тысячи связок воздушных шаров взлетают над полем, уплывают за верхний край открытых трибун. Приподняв с лица фату, Карен проходит под кафедрой, закрытой с трех сторон пуленепробиваемыми панелями. Ощущает жар, излучаемый сущностью Учителя, солнечную активность его харизматической личности. Так близко — в первый раз. Он прыскает ей в лицо водой из святого пульверизатора. Она замечает: Ким шевелит губами, слово в слово повторяя молитву Учителя. До трибун недалеко, видно, как люди толпятся у ограждения, тянут шеи — все до единого фотографируют. Разве могла она предположить, что будет стоять на нью-йоркском стадионе и тысячи людей будут наводить на нее объективы? Фотографирующих, наверно, не меньше, чем женихов и невест. По одному на каждого из нас. Щелк-щелк. Подумать только. У молодоженов головы идут кругом. Кажется, будто мир раздвоился. Молодожены находятся здесь — и одновременно уже где-то там, уже в диапроекторах и альбомах; они съежились, как им и желалось, их миниатюрные тела вставлены в рамки.

Пары возвращаются на газон, чтобы построиться вновь. У обоих даг-аутов[2] — фольклорные ансамбли, танцующие под гонги и барабаны. Карен растворяется в многотысячности, в многоколонной массе. Ощущает кожей ритм общего дыхания. Теперь они — мировая семья. Спастись можно только через брак. Учитель любому подбирает пару, зрит в видениях гармоничные сочетания характеров и национальностей. Такова воля небес, все предначертано, каждый пришел сюда для встречи со своей идеальной второй половинкой. Сорок дней разлуки, прежде чем их оставят наедине, позволят прикасаться друг к другу, любить. Сорок дней или даже дольше. Если Учитель сочтет необходимым — годы. Принимай холодный душ. Сильных испытания лишь притягивают. Их аскетизм — назло духу времени, назло негласным законам частной жизни, назло миру, где даже общие пристрастия не объединяют. Муж и жена добровольно разъезжаются по разным странам в качестве миссионеров, чтобы дыхание общего тела распространялось все шире и шире. Сатане воздержание — как нож к горлу.

Лучезарное око толпы висит над всеми ними, словно глазастый треугольник с долларовой купюры.

1. По-корейски что-то вроде "поторапливайся".
2. Даг-аут (dug-out) — аналог скамьи запасных, в бейсболе два навеса около площадки, где игроки ждут своей очереди принять участие в игре.

Опять фейерверки, очередной взрывпакет падает на бетонный пандус с глухим грохотом, от которого головы втягиваются в плечи по самую макушку. Морин смотрит остановившимся взглядом. По пустующим рядам верхнего яруса гуськом идут мальчишки; младшим — лет по десять-двенадцать, не больше, но все они шествуют величественной походкой королей уголовного мира. Морин запрещает себе их видеть.

— Знаешь что, — говорит Родж, — я твердо решил изучить эту организацию. Покопаться в библиотеках, обзвонить специалистов, связаться с другими родителями, раскопать все, что удастся. Ты же слышала о группах поддержки. Они есть на все случаи жизни.

— Поддержка нам нужна. Тут я с тобой согласна. Но ты опоздал на сотню световых лет.

— Давай не будем здесь задерживаться. Как только вернемся в отель, поменяем билеты, соберем чемоданы — и домой.

— За сегодняшнюю ночь с нас все равно возьмут. Почему бы не сходить в театр?

— Чем раньше мы приступим...

— Не терпится уехать. Ох-ох. Веселенькая перспектива.

— Я хочу прочесть все, что отыщется по этому вопросу. Пока я только по верхам прошелся — я же не знал, что она связалась с такой мощной организацией. Нужно раздобыть телефоны горячих линий и выяснить, с кем там можно поговорить.

— Ты похож на этих несчастных, ну, знаешь, которые заболевают какой-то редкой болезнью и выучивают наизусть все, что находят в медицинских книгах, обзванивают врачей на трех континентах, день и ночь разыскивают бедняг, у кого та же гадость.

— Морин, это вполне разумно.

— Тогда слетай в Хьюстон к светилам по этой части. Все светила живут в Хьюстоне.

— Я хочу выяснить все, что смогу, — чем плохо?

— Да выясняй, выясняй, тебе ведь это только в удовольствие.

— При чем тут удовольствие? Это наш долг перед Карен.

— А где она, кстати?

— Я решил твердо.

— Ты поначалу так усердно ее высматривал. Неужто надоело?

Поднимается ветер, вздувает кружевные фаты. Молодожены удивленно вскрикивают, отдаются внезапной беспричинной радости, чувству, будто вот-вот взлетишь. Они вспоминают, что жизнь только начинается, восторженность им еще не приелась. Их все-таки кое-что объединяет — общее прошлое. Карен думает о том, как ночевала в фургонах или переполненных комнатах: в пять встаешь, молитвенное собрание, а потом — на улицу с бригадой цветочниц. Одной девушке, Джун ее звали, чудилось, будто она ссыхается, уменьшается до размеров ребенка. Ее прозвали Джунетта. Ее пальчики не могли удержать даже лилипутский брусок бесплатного мыла, какие дают в экономных американских мотелях. Остальные цветочницы не находили в ощущениях Джунетты ничего странного. Ей просто открылась подлинная картина — силуэт вечности, скрытый штукатуркой и суррогатами материального земного мира.

Все эти городские районы, не существующие для внешнего мира. Ночи в трущобах, бетонные бункеры с вывесками "Живое стрип-шоу", помойки, с которых давно уже не вывозят мусор. Все эти техасские при-

города-призраки в районе Метроплекса[1]: деревья человеку по пояс, дымящийся, точно свежеуложенный, асфальт подъездных дорожек, здоровенные гремучие змеи, выползающие из уютных расщелин на задах крайнего коттеджа. Карен старалась выполнить четырехсотдолларовую дневную норму, распространяла в основном бутоны роз и турецкие гвоздики. С чувством, будто все вокруг лишь сон, влетала в первую же незапертую дверь, предлагала товар и вновь уносилась прочь. Плети ливня хлещут по шеренгам чистеньких домиков. В казино посреди пустыни в пять утра люди низко склоняются над столами. Игровые автоматы. Прогрессивный джек-пот. Всегда рады водителям-дальнобойщикам. Неделю она держала строгий пост — никакой твердой пищи, потом набросилась на "Биг-Маки". Через стеклянные двери-турникеты — в вестибюли отелей и универмагов, там торгуй не зевай, пока не прибегут охранники с рациями, пейджерами и револьверами.

Молились, стоя на коленях, прижав ко лбу скрещенные пальцы. Кланялись низко, скрючиваясь, точно эмбрионы.

В фургоне ничто не сходило с рук, каждое слово бралось на заметку, обшивка едва не прогибалась от давки — порой в нем путешествовало пятнадцать-шестнадцать сестер, распевая "Ты мое солнце, греби, греби веслом"[2] или скандируя финансовое задание. В падшем мире заправляет Сатана.

Букетики мимозы Карен укладывала по семь в ряд, семь — число-символ совершенства. На ломаном английском она порой не только думала, но и говорила вслух с сестрами из своего фургона, поучала, призывала голосами с семинаров и тренингов: продавайте больше, выполняйте норму, гребите деньги, — и сестры не знали, восхищаться ли ее необыкновенным даром подражания или сообщить, кому надо, о том, какая она непочтительная.

Джунетта была точно вулкан благоговейного страха. Все вокруг ее поражало, все было для нее слишком волнующим и громадным. Сестры молились вместе с ней и плакали. В ведрах с цветами плескалась вода. Двадцать один час в день — соревнование продавщиц, три часа — сон. Когда одна сестра сбежала, оставшуюся от нее одежду обеззаразили святой солью. Сестры скандировали: "Нам равных нет, вот в чем секрет, Отец Небесный дал приказ, и мы распродадим все враз".

За полночь в каком-то баре посреди вымершего зимнего пейзажа, в безлюдном "гетто". Одинокий зов слуг Господних. Купите гвоздику, сэр. Карен радовалась возможности побыть среди обездоленных, людей дна, воинства ночи. В полузабытьи, отрешенной мученицей шла мимо пустых витрин по улицам, где от ереси искрился воздух. Постоянные обитатели баров, подняв глаза от стакана, покупали один-два цветка; были это мужчины с длинными сплюснутыми пальцами и перламутровыми ногтями, радующиеся любому разнообразию, или другие, в шляпах, с отпечатком неспокойной совести на лице, исподлобья смотревшие на девушку со слипшимися от дождя волосами. И чего ходят, чего выдумывают новые способы докучать людям. Старый пьяница с блестящей полоской пота на верхней губе рассказал ей много забавного. Частенько

1. Метроплекс — название "объединенной городской зоны", включающей в себя города Даллас, Форт-Уорт и Арлингтон.
2. В этой строке волей автора объединены фрагменты общеизвестных песен: "Ты мое солнце" — официальный гимн штата Луизиана; "Греби веслом" — часть хороводного припева "Греби, греби веслом, по тихой реке плывем, весело, весело, весело, жизнь — это только сон".

ей говорили: “Проваливай”. Будьте толерантнее, сэр. И опять озираться в поисках очередного усталого салуна.

Старшая по бригаде сказала: “Давайте, девочки, едем-едем-едем. Пали-пали”.

В фургоне истина виделась отчетливо, как под увеличительным стеклом; каждое слово, каждый поступок должны уводить от пустой суеты, бурлящей снаружи. Выглядывая в окна, сестры видели лица жителей падшего мира, и это укрепляло в них привязанность к истинному отцу. Молитесь, иногда ночь напролет, все вместе, распевая, вскрикивая, скрючившись в молитвенной позе, иногда подскакивая, мелодично мычите имя Учителя, “о, умоляю!”, “о да!”, сбившись в кучу в номере мотеля на задворках Денвера.

Карен спрашивала их:

— Как вы желаете спать, пять час или четыре?

ЧЕТЫРЕ.

Потом спрашивала:

— Как вы желаете спать, четыре час или три?

ТРИ.

Потом спрашивала:

— Как вы желаете спать, три час или ни один?

НИ ОДИН.

В фургоне всякое правило было непреложно вдвойне, за каждой из сестер был постоянный надзор: так ли она одевается, молится, расчесывает волосы, чистит зубы. Они знали: из фургона есть лишь один выход, лишь один, за который не придется платить пожизненной неприкаянностью и угрызениями совести. Последуй моде на резаные вены. Или шагни в окно небоскреба. Чем разочаровать Учителя, лучше уйти в серый космос.

Старшая по бригаде говорила:

— Глобально продумывайте свою день. И прыг в нее, прыг в нее, прыг.

Толокно и вода. Хлеб и мармелад. Греби, греби веслом. Карен говорила им: теряйте сон, он для грехов. Теряйте вес, он для грехов. Потерял волосы, потерял ноготь с палец, потерял всю палец, весь рука, — оно ложится на весы, перевешивает грехи.

Тот парень в Индиане — купил у нее розу и съел.

На закате — рысью по торговым центрам, силясь выполнить дневную норму. Оккупировать автовокзалы и прачечные-автоматы. Ходить от особняка к особняку в районах, охраняемых овчарками, бубня: “Деньги на борьбу с наркотиками, мэм”. В Скоки, штат Иллинойс, Джунетту выкрали родители. Подклеивать скотчем увядшие цветы, чтобы выглядели пристойно. Капризы погоды на Великих Равнинах. Засыпать за обеденным столом, опускать свинцовые веки, клевать носом на унитазе, урывать несколько минут сна, ронять голову на грудь, валиться трупом, спать стоя, отключаться, как убитые, как сурки, спать беспробудно, безнадежная мечта об объятиях подушки, все бы отдала за отбой, за тихий час, за минутку с Песочным человеком[1]. Молитвенное собрание помогало изматывать себя вконец, разгоняло по жилам грешную кровь. Следить за кампаниями очернительства в прессе — хоть это и разжигает со-

1. Песочный человек — персонаж детского фольклора, который усыпляет, насыпая песок в глаза.

мнения у сестер-маловерок. Дурят дешевыми фокусами. Самая холодная зима за весь период наблюдений. Скандировать финансовое задание.

Старшая по бригаде говорила:

— Надо быстро-быстро-быстро. Пали-пали, девочки.

Родж сидит на трибуне в своем мятом пиджаке, карманы набиты дорожными чеками, кредитными карточками и схемами метро; он смотрит через откалиброванные окуляры, все смотрит и смотрит, не видит ничего, кроме безысходности и стереотипов. Внизу опять запели, на сей раз слово всего одно, повторяется вновь и вновь, он никак не может понять, по-английски это или на каком-то другом языке либо вообще не по-человечьи — какая-нибудь речевка футбольной сборной Царства Небесного. Карен не найти. Он опускает бинокль. Фотографы-любители никак не уймутся. Он, кажется, сейчас увидит, как бесчисленные поющие тела, из которых фотоаппараты высосали душу, медленно воспаряют над стадионом, — сияющие невесты, прижимающие к груди букеты, женихи, ослепляющие белоснежным оскалом. Откуда-то с открытых трибун вылетает дымовая шашка. За ней тянется флуоресцирующий шлейф.

Учитель поет, остальные вторят, "Мансей"[1], "Десять тысяч победных лет". Благословенные молодожены шевелят губами в унисон, подстраиваясь под эхо его усиленного динамиками голоса. Их лица выражают суровую просветленность, самоотверженное, почти болезненное обожание. Он — Господь Второго Пришествия, разящий зло во всех его проявлениях. Его голос уводит их в иные миры, возносит выше, чем любовь и радость, выше, чем красота их миссии, еще выше прошлых чудес и преодоленного "я". В пении, в факте пения, в единосущности есть что-то, ошеломляющее их своей мощью. Голоса крепнут. Молодожены отдаются звуку, на высоких нотах взлетают, на низких опускаются. Песнь распирает границы сущего. Они видят своего Учителя — его недвижную белизну на фоне пятен и теней, на фоне высоченного полукруга трибун. Он воздевает руки: пение становится громче, вскидываются молодые руки. Благодаря ему они стали выше религии и истории; рыдают уже тысячи, все руки воздеты. Их захватило чувство, именуемое тоской. В одну секунду, все разом, они постигают, вбирают в себя тоску, уходящую корнями в далекие столетия, растворенную в крови Земли. Всю тоску человечества с тех пор, как людской дух впал в разврат. Песнь приближает Время Развязки. Песнь сама есть Время Развязки. Они постигают, какая мощь заключена в человеческом голосе, какая мощь в повторении одного-единственного слова, неуклонно приближающего их к единосущности. Они поют, прославляя экстаз, который разнесет мир вдребезги, прославляя истину пророчеств и дивных чудес. Они поют, прославляя новую жизнь, вечный мир, отдохновение души, измученной одиночеством. В оркестре кто-то колотит в громадный барабан. Они поют, прославляя единый язык, единое слово, время, когда имена будут утрачены.

Карен, как ни странно, замечталась о своем. Трудно будет привыкнуть к мужу, которого зовут Ким. Девочек по имени Ким она знает с тех пор, как пешком под стол ходила. Их было довольно много. Кимберли и просто Ким. Глядите, как блестят на солнце его волосы. Мой муж, сколь бы дико это ни звучало. Они будут молиться вместе, здоровые и исцеленные, выучат труды Учителя наизусть, слово в слово.

1. Древний клич корейских воинов.

Тысячи людей стоят и поют. А окрест — весь мир: люди едут на эскалаторах, поднимающихся вверх, и исподтишка, скосив глаза, вглядываются в лица спускающихся вниз. Люди раскачивают пакетики с чаем над белыми чашками с кипятком. На автострадах беззвучные струйки подкрашенного света — машины. Люди сидят за письменными столами, уставившись в стену офиса. Понюхав воротник рубашки, бросают ее в корзину для грязного белья. Пристегнувшись ремнями к пронумерованным креслам, летят через часовые пояса, высокие перистые облака и глухую ночь с ощущением: что-то они забыли сделать, но что?

Будущее принадлежит толпам.

Часть первая

1

В книжном он долго ходил от стеллажа к стеллажу. Воздух с примесью мелодичной фоновой музыки. Шеренги красивых обложек, солидных, уверенных в себе. С волнением гурмана взять новехонький томик, обхватить гладкий корешок, надавливать на страницы большим пальцем, любуясь, как вспархивают из-под твоей руки печатные строки. В своих увлечениях этот молодой человек был расчетлив — отличал книги, которые просто хочется прочесть, от тех, которыми обязательно нужно завладеть. К последним относились книги, подающие ему особые знаки, книги неожиданные или смелые, книги такого накала, что воздух вокруг них обращается в пар. Знакомясь с ассортиментом правой части зала, молодой человек обращал особое внимание на фотографии авторов. Его интересовали и те книги, что громоздились стопками на столах, и те, что послужили строительным материалом для причудливых сооружений перед кассами. Полукруглая стена из книг — высокая, почти в человеческий рост. Книги, книги, книги — водруженные на пьедесталы, теснящиеся в уютных готических нишах. От книжных магазинов молодому человеку порой становилось тошно. Глянец бестселлеров. Покупатели бродят по залу, словно огорошенные каким-то неприятным известием. На подиумах книги, на прозрачных пластиковых стеллажах до самого потолка — книги. Из книг тут складывают пирамиды и создают тематические экспозиции. Он спустился в отдел массовых изданий — поглазеть на бумажные обложки, сладострастно коснуться тисненых заголовков. Все позолочено и отлакировано. Прилавки — ни дать ни взять многоместные детские колыбели. И книги — не книги, а фантастические гомункулусы. Прямо слышишь, как они верещат: "Купи меня, купи". Афиши книжных недель и книжных ярмарок. Люди пробираются между коробками, перешагивая через раскиданные на полу книги. Пройдя в отдел современной классики, он отыскал взглядом последние переиздания двух коротких романов Билла Грея — пару одинаково оформленных, выдержанных в аскетических ржаво-бурых тонах томиков. Заходя в книжный, молодой человек всегда проверял, есть ли на полках Билл. Какая радость убедиться: да, есть!

Направляясь к выходу, он увидел, что в дверь, спотыкаясь, ввалился неопрятный человек: разорванная куртка, огромная копна волос, в бороде иней засохшей слюны, ломкая короста на разбитом, слегка под-

жившем лбу. Покупатели так и замерли, где стояли, боясь оказаться в зоне заражения. Человек начал осматриваться, искать, к кому бы обратиться. Большой светлый зал, недвижные, старательно отводящие взгляд фигуры. Шум машин с улицы. Одна штанина у вошедшего была кое-как заправлена в потертый резиновый сапог, зато другая, изношенная до состояния бахромы, волочилась шлейфом по полу. Со второго этажа спустился охранник, и оборванец простер к нему свои большие руки, разъясняя:

— Тут у вас мои книги. Я пришел давать автографы.

Все обомлели в ожидании, пока эти слова плыли по залу, медленно приоткрывая свой смысл.

— Ручку мне, поживее, пора начинать. Подписывать пора.

Охранник двинулся к оборванцу, умудряясь не смотреть на него. Тот вмиг попятился:

— Эй-эй, руки. Не трожьте меня, нет у вас такого гражданского права. А ну полегче, без рук, без рук...

Посетители облегченно вздохнули: опасный момент миновал. Ерунда, обычные нью-йоркские штучки. Оборванец вылетел на улицу через дверь-турникет, охранник последовал за ним. Вышел из магазина и Скотт. Он уже немного опаздывал, но хотел еще заскочить на выставку Уорхола — как-никак тут же, под боком. Вестибюль музея был переполнен. Скотт спустился на нижний уровень — в залы, где посетители нервными перебежками, словно что-то разыскивая, перемещались от картины к картине. Пройдя мимо цикла об электрическом стуле, мимо лент с повторяющимися снимками автокатастроф и портретами кинозвезд, Скотт свыкся с этим заполошным кружением на месте: все правильно, люди жаждут, чтобы с них силком стряхнули безразличие, рвутся под радиоактивный луч славы и смерти. Никогда еще Скотт не видел картин, которые были бы до такой степени равнодушны к своему воздействию на тех, кто пришел их посмотреть. Своими восхитительно пустыми глазами стены уставились куда-то мимо и вверх, в небо. Скотт остановился перед шелкографией под названием "Толпа". Изображение намеренно искажено, как бы изрезано глубокими бороздками. Скотту показалось, будто толпа, эта бескрайняя, сплетенная из людей сеть, разорвана в клочья эфирными помехами, как бывает с телевизионной "картинкой". Он пошел дальше и наконец набрел на зал с множеством изображений Председателя Мао. Мао, размноженный методом шелкографии и просто на ксероксе. Обои с узором из Мао. Мао на синтетической полимерной краске-основе. Инсталляция: стены, оклеенные сериграфиями[1] на манер обоев, завешены полупрозрачными шелкографиями на ткани. И потому кажется, что лицо Председателя, окрашенное на сей раз в нежно-лиловый цвет, воспаряет в воздух, почти отделяется от своего материального носителя — копии фотоснимка. Скотту нравилось, когда искусство игнорировало историю. Это раскрепощает, считал он. Разве мог его ум постигнуть сокровенный смысл образа Мао, пока он не увидел эти картины? Где-то совсем рядом, во мраке каменных коридоров, промчался с грохотом поезд метро. Скотт еще немного постоял перед картинами, ощущая странную умиротворенность, хотя по залу все время

1. Термины "шелкография" и "сериграфия" относятся в принципе к одной и той же технике трафаретной печати. Но "шелкография" — термин очень широкий, а "сериграфия" применяется исключительно по отношению к произведениям искусства.

струился неубывающий людской поток. Живые волны издавали глухой рокот, не хуже настоящего прибоя.

Когда он вышел на улицу, за ним увязалась женщина в стеганой куртке. Вроде бы маленькая, коротко стриженная, за пазухой держит какое-то животное — Скотт не приглядывался. Он ускорил шаг, но она не отставала, твердя:

— Вы ведь нездешний, с вами можно поговорить.

Он едва не задержался, едва не обернулся к ней, но сам себя одернул.

— Вы меня не бойтесь, молодой человек, я вам просто кое-что скажу.

Он зашагал быстрее, глядя прямо перед собой, а она бежала следом, бубнила в спину:

— Я ваше лицо наудачу выхватила: вижу, этому парню можно доверять.

Он указал на загоревшийся зеленый огонек светофора, надеясь, что она поймет намек: спешу, знаете ли, не обессудьте и до свидания, — но женщина тоже перебежала улицу, поравнялась с ним, и на противоположный тротуар они ступили одновременно. Тут-то она и попыталась всучить ему зверька. Какого, он так и не узнал, потому что не стал оборачиваться. Кажется, небольшого, черного. Он уже почти бежал, но женщина не отставала, взывая: "Возьмите его, молодой человек, возьмите". Он слушал ее, но ни за что бы не ответил, ни за что бы не позволил ей прикоснуться к себе, ни за что бы не принял ничего, побывавшего в ее руках. Ему вспомнилось, как отпрянул давешний человек-руина в магазине, когда охранник потянулся к его плечу. Обе стороны одинаково страшатся контакта.

— Возьмите его, вывезите за город, здесь ему не выжить.

Когда странностей в мире накапливается достаточно, ничто уже не кажется странным. Он поднялся на восьмой этаж — в холл отеля, одного из этих безликих бродвейских дворцов с атриумом, где английский плющ увивает многоярусные галереи, где есть шпалеры и купы деревьев, а в центре — открытая шахта, по которой плавно скользят лифты; этакий город будущего, транспортный рай из грез наших предков. Ее он увидел за столиком неподалеку от стойки бара. Рядом под стулом лежали кофр с аппаратурой и чемодан. Ей сильно за сорок, предположил Скотт. Светлые, почти белые, волосы, густые и жесткие, не закрывают лба, лицо бесцветное, точно его вымачивали в морской воде. Глаза голубые, такие ясные и необычайные, что Скотт сам на себя мысленно прикрикнул: "А ну, не пялься".

— Полагаю, вы Брита Нильссон.

— Почему?

— Сразу заметно. Дайте сформулировать... вид профессионала, бывалой путешественницы, состоявшегося человека... Чуть-чуть выделяетесь. Держитесь слегка наособицу. Потом, знаете ли, кофр... Я — Скотт Мартино.

— Мой индеец-проводник.

— Если бы. Пока ехал в город, несколько раз заблудился, потом издергался в пробках, хотя сегодня они субботние, не настоящие, в конце концов выбился-таки на простор и даже нашел, где припарковаться, но впереди меня поджидали кое-какие зловещие происшествия. Атака назойливых телепатов. Живые тени, к тому же говорящие. Я сто лет не был в Нью-Йорке и не откажусь немножко посидеть и поболтать, перед тем как поедем. Вы здесь остановились?

— Как вы могли подумать! У меня есть квартира — далеко, в Нижнем Манхэттене, но я решила: в Мидтауне[1] встретиться проще. Я очень вам благодарна за предоставленную возможность, но свои условия вы изложили не слишком четко. Я имею в виду: сколько времени мне будет позволено провести с ним? И как скоро я смогу вернуться — я живу по довольно жесткому графику, да и белья взяла, знаете, не на месяц.

— Погодите. Мы что, движемся?

— Бар вращается, — сказала она.

— О господи. Куда меня занесло?

— Правда странно? До чего докатился Нью-Йорк.

Он глядел, как в округлую оконную раму вплывает Бродвей, и ему мерещилось, будто пространство-время расшатывается, целыми блоками сползает в тартарары. Этот отель, которому место где-нибудь в Огайо. Неоновые надписи "МИТА", "МИДОРИ", "КИРИН", "МАГНО", "СУНТОРИ"[2] — слова из какого-то искусственного массового языка, эсперанто межконтинентальных авиапассажиров, одуревших от смены часовых поясов. А на той стороне улицы — стройка, небоскреб, укрытый от ненастья чехлами и сетками, в прогалах между оранжевыми полотнищами мелькают фигурки людей. Он видел их ясно: трое или четверо мальчишек; оттого, что они играют на лесах, здание кажется заброшенным.

— Должна вам также сказать: не понимаю этих церемоний. Я бы предпочла добраться туда своим ходом.

— Добраться куда? Вы же не знаете, куда ехать.

— Вы, наверно, могли бы мне объяснить.

— Билл настаивает, чтобы мы действовали именно так.

— Похоже на плохое кино.

— Билл настаивает. Кроме того, нас очень трудно найти.

— Ну хорошо. Но почему бы, ради его спокойствия, не повидаться где-то на нейтральной территории? Тогда не было бы проблем с разглашением тайны. Его местожительство останется в секрете.

— Не думаю, что вы потом сможете разгласить какую-то страшную тайну. Да и Билл знает, что вы в любом случае ничего не разболтаете.

— Откуда ему знать?

— Мы читали о вас статью в "Апертуре"[3]. Сделали вывод: вы нам подходите. А где-нибудь еще он с вами встретиться не может, потому что никуда не выезжает — разве что иногда ударяется в бега от книги, которую пишет.

— Я люблю его книги. Они на меня сильно повлияли. А когда его в последний раз фотографировали? Не один десяток лет назад, да? Так что я, наверно, зря беспокоюсь?

— Да, наверно, зря, — сказал Скотт.

Над стойкой бара высилась ажурная башенка с вращающимися часами в прозрачном корпусе. Сквозь механизм и шпалеры Скотту были отлично видны лифты. Ему подумалось, что он мог бы просидеть вот так до самого вечера, глядя, как поднимаются и опускаются эти прозрачные коконы, окаймленные по контуру огоньками. Лифты беззвучно снуют по гигантскому стержню. Все движется, медленно вращается, откуда-то сочится музыка. Он смотрел на людей в лифтах — наблюдал их скорост-

1. Мидтаун — район Манхэттена.
2. Реклама транснациональных корпораций, как правило, возникших в Японии.
3. "Апертур" — издаваемый в США фотографический журнал.

ное падение. Сверху, с галерей, иногда высунется случайный прохожий — голова да плечи. Скотт вдруг подумал, что существо, которое пыталась отдать ему женщина на улице, вполне могло быть новорожденным ребенком. Вновь и вновь одна и та же музыкальная фраза, доносящаяся невесть откуда.

— Теперь вы снимаете только писателей.

— Только писателей. Скажу откровенно, у меня такая болезнь: называется "писатели". Мне понадобились годы, пока я уяснила для себя, кого и что хочу снимать. Приехала в эту страну... уже пятнадцать лет как. Пятнадцать лет я в этом городе. В первый же день — бродила по улицам, снимала лица города, глаза людей города, мужчин с ножевыми ранениями, проституток, приемные покои в больницах, не стоит перечислять. И так — год за годом. Снимала все это. В основном широкоугольником и вслепую, не поднося камеру к глазам, чтобы, тьфу-тьфу-тьфу, не привлекать лишнего внимания. Я следовала за пьяницами до самой могилы — их могилы. И ходила, как на работу, в ночной суд[1] — просто смотреть на лица. Я хочу сказать, Нью-Йорк — моя официальная государственная религия. Много лет я на это потратила, пока не поняла — все попусту. Почему попусту — режьте меня, не объясню. Что бы я ни снимала — ужасы из ужасов, неприукрашенную правду, страдания, изувеченные тела, разбитые в кровь лица, — все выходило до омерзения красиво. Понимаете, да? И тогда мне пришлось напрячь мозги, докопаться до сложных вещей, которые на самом деле, наверно, лежат на поверхности. Доживаешь до определенного возраста — вот оно что, вероятно. И наконец-то понимаешь, чем тебе действительно хочется заниматься.

Держа в горсти жареный арахис, она кидала в рот орешек за орешком и запивала перцовкой.

— Как здесь, однако, спокойно себя чувствуешь, — сказал Скотт. — Лифты на меня действуют как гипноз. Возможно, это мой новый пунктик.

— Так я вам и поверила, — сказала она; ее легкий акцент, эта шаблонная фраза и то, как церемонно она ее произнесла, выговаривая каждое слово по отдельности, — все вместе взятое несказанно его порадовало.

— Только писателей.

— Только писателей, — повторила она.

— Совсем как перепись населения, но в картинках.

— Я просто буду и дальше фотографировать писателей, всех, до кого смогу добраться, прозаиков, драматургов, поэтов. Я, так сказать, вечная охотница. Беспрерывно путешествую и фотографирую. Теперь писатели — вся моя жизнь.

— Лица всех писателей.

— Всякого писателя или писательницу, которые еще живы и достижимы физически. Если кто-то малоизвестен — тем лучше. Когда есть выбор, я предпочитаю разыскивать тех, кто прозябает в безвестности. Мне все время подбрасывают кандидатов, имена и книги. Редакторы и другие писатели стараются — те, кто понимает, к чему я стремлюсь, или хотя бы из вежливости делает вид, будто понимает. Всемирный архив писателей. Для меня это одна из форм знания и памяти. Я, как адвокат, отбираю свидетелей своей эпохи. Пытаюсь действовать методично,

1. Ночным судом в США называется уголовный суд в больших городах, рассматривающий срочные дела, особенно об освобождении под залог.

прочесывать какую-то страну и только потом переходить к следующей, но всегда возникают проблемы. Даже отыскать некоторых писателей – уже проблема. А многие сидят в тюрьме. С такими всегда сложно. Иногда мне позволяли фотографировать писателей, находящихся под домашним арестом. Понемногу люди узнаю́т, кто я и что я, это иногда помогает.

— В отношениях с властями.

— И с писателями тоже. Они соглашаются со мной встретиться, потому что знают: я просто собираю архив. Как выразился один из них, произвожу подсчет поголовья. Насколько только возможно, я ухожу от художественных приемов, от своего индивидуального стиля, хотя в глубине души знаю, что принимаю кое-какие меры для достижения кое-каких эффектов. Но это мы с вами оставим за скобками. Писательским проектом я занимаюсь четыре года, а завершиться он не может по определению, сами понимаете.

— Главный вопрос — что будет с фотографиями Билла.

— Это полностью на ваше усмотрение. Некоторые фотографии я предоставляю издателям или журналистам, но только если сам писатель разрешает. Гонорары вкладываю в проект. Мне дают гранты. Без гранта на транспортные расходы все дело бы встало. За фотоочерк о Билле Грее журналы готовы отдать любые деньги. Но я не хочу делать снимков, которые обнажили бы его душу, снимков, кричащих: "Вот каким он стал спустя все эти годы". Лучше уж обыкновенный этюд. Я хочу снять Грея так, чтобы не нарушить его уединения. Снять, робея. Пусть портреты будут похожи на вещь, которая только еще пишется. Никакой законченности, оформленности. Потом вы посмотрите контрольки и сами решите, как мне ими распорядиться.

— Именно это мы и надеялись от вас услышать.

— Отлично. Значит, жизнь продолжается.

— А что вы в итоге сделаете с вашей фотоколлекцией писателей?

— Пока не знаю. Мне предлагают устроить что-то вроде инсталляции в галерее. Концептуалистская акция. Тысячи фотографий паспортного формата. Но я лично не вижу в этом смысла. Для меня это обыкновенный архив. Предназначенный исключительно для хранения. Сложите фото в подвал какой-нибудь библиотеки. Если найдутся желающие их посмотреть — пожалуйста, пусть приходят и заполняют требования. Я хочу сказать: что толку от фотографии, если ты уже знаком с творчеством писателя? По мне, никакого. Но людям все равно нужны картинки, так ведь? Лицо писателя — этикетка его творчества. Ключ к скрытой внутри тайне. Или тайна написана на лице? Иногда я задумываюсь: что такое лица? Все мы пытаемся читать по лицам. Иные лица получше книг. Можно еще нагрузить фотографиями космический корабль — вот было бы здорово. Послать их в космос. Писатели Земли приветствуют вас.

Лифты то карабкаются по стержню, то вновь скользят по нему вниз, часы крутятся, бар медленно вращается, вновь появляются неоновые надписи, переключаются светофоры, снуют туда-сюда желтые такси. "МАГНО", "МИНОЛТА", "СОНИ", "СУНТОРИ". Как там говорит Билл? Этот город — устройство для измерения времени.

— Наверху дети. Вон там, видите? Примерно на двадцатом этаже. Можете себе представить?

— Там безопаснее, чем на улицах. Пускай, — говорит она.

— Улицы. Кажется, я созрел.

— Тогда поедемте.

Они отыскали машину, и Скотт повел ее на север вдоль Гудзона, переехал по мосту в Бикон. Дальше были сумерки и боковые ответвления дорог. Ненадолго выехали на автостраду, а затем — паутина двухполосных щебеночно-асфальтовых шоссе, несколько часов в ночи, пейзаж сводится к тому, что высвечивают фары, к поворотам и спускам, а также знакам, извещающим о таковых, под колесами — то гравий, то просто грунт, старые просеки, проложенные лесорубами, крутобокие холмы, щебень, брызнув из-под колес, барабанит по капоту, молодые сосенки в лунном свете. Двое почти незнакомых людей, заточенные по воле ночи в небольшом автомобиле — этой пыхтящей жужелице, прерывают длительное молчание, чтобы внезапно заговорить, отвлекаются от тягучих мыслей, от цепочек воспоминаний, от снов наяву и прочей внутренней жизни, от сюжетов, стремительно развивающихся в их черепных коробках; в безлюдной ночи слова звучат отчетливо и чисто.

— Я чувствую себя так, словно меня везут на встречу с главарем террористов, в тайное убежище в горах.

— Скажите это Биллу. Ему понравится, — говорит Скотт.

2

В темной комнате у окна стоял человек и ждал, пока на вершине холма покажутся огоньки фар и, рыская из стороны в сторону, пересекут поле, — то поле, где ломаный бурьян, невыкорчеванные пни, россыпи булыжников. Он ждал не так, как ждут чего-то вожделенного или хотя бы нужного, а просто предчувствовал: вот-вот это случится, еще минута, и он увидит, как машина — пара огней и призрачный силуэт корпуса — сворачивает на наезженную грунтовую дорогу и, постепенно обретая материальную форму, спускается под горку к дому. Он решил сосчитать до десяти и, если фары не вынырнут из мрака, сесть за стол, включить лампу и немного поработать, просмотреть написанное за день, все эти жалкие, с трудом выдавленные капли, размазанные кляксы, кровавые сопли, унылые регулярные выделения, присохшие к страницам ошметки человеческой плоти. Он досчитал до десяти и, когда фары не появились, начал считать снова, стараясь не торопиться, стоя в потемках, уговорившись сам с собой, что на сей раз и вправду пойдет к столу и включит лампу, если на счет "десять" машина — облепленная грязью малолитражка — не появится на взгорке; да, он сядет работать, потому что только дети верят, будто счет — это волшебный способ заставить что-то произойти, и он посчитал до десяти еще раз, а потом еще раз, а потом просто стоял, пока наконец не появились фары — два размазанных белых пятнышка, машина скатилась под горку, лучи фар на миг озарили кустарник... да и верят-то не все дети, а только странноватые, косоглазые и мокроштанные, те, кто, разревевшись, непременно сжимает кулачки.

Машина въехала в круг света под фонарем, укрепленным над крыльцом. Дверцы оторочены брызгами грязи, по краям лобового стекла, за пределами расчищенных дворниками полукругов, наросло несколько слоев пыли. Когда они вылезли из машины и направились к крыльцу, он почти приник к двери своего кабинета, прислушался: внизу они потоптались на коврике, прошли в прихожую; голоса смешиваются в неясный

гул, полный набор соответствующих случаю шумов; люди входят с улицы, снимают пальто, издают все звуки, сопутствующие переходу из нежилого пространства в жилое, с колоссальным облегчением вздыхают каждой клеткой своего тела, приветствуя домашний уют; и во всем этом сквозит что-то зловещее и фальшивое.

Прикрыв дверь, он затаился в своей темной комнате, шаря руками по столу в поисках сигарет.

Радостно оказаться под кровом после долгого путешествия в неведомом направлении сквозь холодную ночь. Гуляш с черным хлебом. Радостно припомнить, что кухня — это где долгий разговор, поздний час, дровяная печь и кислое вино. На счету у Бриты не меньше тысячи невероятных диалогов с незнакомыми попутчиками в самолетах: диалогов на экзистенциальной подкладке, жарких, но пустопорожних. В самолете всегда почему-то выходит ужасно фальшиво. В автомобиле она вообще не может вести серьезных разговоров. Автомобиль — это движение рывками, будто колесико какое-то проворачивается, нарезая ее внимание на тоненькие ломтики. Даже если ей не предлагается ничего, кроме скучного, плоского ландшафта, Брите трудно отвлечься от вещественного мира, осыпающего ее пулеметными очередями впечатлений, — вот белый пунктир разделительной полосы, вот пейзаж в рамке окна, вот пачка "клинекса"; на полноценную беседу переключиться невмоготу. Разговаривает она на кухнях. Вечно увязывается за людьми, которые идут на кухню что-нибудь приготовить или достать из холодильника лед для коктейля, обращается к лицам или к их спинам — ей без разницы — и заставляет их забросить все дела.

Скотт сидел напротив, поджарый и лохматый, скорее монохромный, чем цветной. Курортная белесость бровей. По-видимому, рад обществу, рад слышать скорострельный голос из суетливого мегаполиса, рад, что с ним делятся коллекцией впечатлений; ишь, весь подался вперед, точно она повествует, шепчет о чем-то неслыханном и сокровенном. А ведь она всего лишь включает заурядную болтательную машинку, поддерживает светскую застольную беседу, роняет пустые слова. А он глаз не сводит, смотрит зачарованно, вглядывается с бескорыстным интересом. Женщины ее возраста внимания не удостаиваются, особенно такие, как она, — слегка увядшая скандинавка в джинсах и водолазке, путающая тарелку с пепельницей; значит, он наверняка гадает, что, черт возьми, может найтись общего между ним и ею. Ему тридцать с маленьким до нелепости хвостиком, он о себе не слишком высокого мнения.

— Буду с вами полностью откровенна. Не имею ни малейшего понятия, где мы находимся. Хоть убей, не знаю. Вероятно, назад вы меня повезете тоже ночью, чтобы я не примечала дорогу.

— Дорогу приметить невозможно, — сказал он. — Но поедем мы действительно в темноте.

— Давайте хоть немного поговорим о нем, хорошо? Понимаете, теперь, в этом доме, я ощущаю, что обо всем другом мне трудно беседовать подолгу. Словно что-то давит на плечи, тормошит, толкает. Его наверняка многие пытались найти.

— Но все сошли с дистанции. До нас доходили слухи о журналистских экспедициях, командах храбрецов с телеобъективами. Издательство пересылает нам письма от людей, которые решили его разыскать: одни рапортуют о своих успехах, другие уверены, что догадались о его

местонахождении, третьи только слышали звон, четвертые просто хотят с ним встретиться, поведать, как много для них значат его книги, задать стандартные вопросы, — люди как люди, совершенно нормальные, им всего лишь хочется заглянуть ему в лицо.

— Где он? — спросила она.

— Прячется наверху. Не волнуйтесь. Завтра сделаете свои снимки.

— Для меня эта съемка очень важна.

— Возможно, после нее на Билла перестанут так давить. Если получат хотя бы фотографии. Последнее время он чувствует, что кольцо сужается, что они подступают все ближе.

— А говорите, люди как люди.

— Один прислал ему по почте отрубленный палец. Но это было еще в шестидесятых.

Скотт показал ей комнату рядом с кухней, где хранилась часть архива Билла. Вдоль стен выстроились семь металлических шкафов. Он выдвинул несколько ящиков и рассказал о содержимом: переписка с издателями, договора и отчетность об авторских отчислениях, записные книжки, давнишние письма читателей — сотни конвертов с пожелтевшими краями, перевязанных шпагатом. Скотт перечислял деловитым тоном. Старые рукописи, машинопись с правкой, гранки. Рецензии на романы Билла, интервью с бывшими коллегами и знакомыми. Стопки газет и журналов со статьями о творчестве Билла, о его исчезновении, о том, что он стал отшельником, что он бросил писать, что он якобы живет под чужим именем, что ходят слухи о его самоубийстве, что он вернулся в литературу, что в данный момент он работает над такой-то книгой, что он умер, что он, если верить молве, собирается выйти из подполья. Несколько отрывков Скотт зачитал Брите. Потом они с бокалами в руках двинулись по коридору со стеллажами, где стояли литературоведческие монографии — как исследования творчества Билла Грея, так и труды по истории этих исследований. Скотт показал коллекцию тематических номеров ежеквартальных научных журналов, целиком посвященных Биллу. Они вошли в еще одно небольшое помещение: здесь хранились два романа Билла во всех отечественных и зарубежных изданиях, в переплете и в мягкой обложке; Брита прогулялась вдоль полок, рассматривая обложки, разглядывая текст на неведомых языках, ступая неслышно. Разговаривать не хотелось совершенно. Потом спустились в полуподвал, где в добротных черных папках хранилось то, над чем Билл работает сейчас; для облегчения поиска каждая папка снабжена кодовым номером и датой, все расставлено в строгом порядке на стеллажах, стоящих вплотную к бетонным стенам; примерно две сотни толстых папок, набитых черновиками, черновиками с правкой, заметками, отрывками, правкой поверх правки, забракованными кусками, обновленными редакциями, предварительными исправлениями, окончательными версиями. Окна-амбразуры, расположенные под самым потолком, зашторены темной материей; в противоположных углах помещения — два огромных осушителя. Она все ждала, что Скотт назовет комнату бункером. Но он так и не произнес этого слова. В его комментариях не было даже намека на иронию. Но она отчетливо ощущала, как он гордится своей работой, какое удовлетворение ему приносит забота об этом грандиозном хранилище, как радуют его эти тщательно упорядоченные вещдоки преданности литературе. Это храм, святая святых но-

вой книги, бесконечные ряды машинописных векселей на бессмертие, погребенные в подвале дома где-то в неприветливых холмах.

Лестниц в доме было две. Черная соединяла кухню с холлом верхнего этажа. Взяв куртку, сумку и кофр Бриты, они поднялись по ней. Брита скользнула взглядом по встроенным стеллажам — опять собрания писем читателей в пухлых папках, на корешках значатся год и месяц. Вслед за Скоттом пересекла холл. Вот и ее комната.

На нижнем этаже, в спальне, Карен, полулежа на кровати, смотрела телевизор. Вошел Скотт. Начал раздеваться.

— Длинный день, — сказала Карен.

— Еще бы.

— Столько времени за рулем, ты, наверное, уже совсем...

Он надел пижаму и забрался под одеяло, а она, перегнувшись через него к тумбочке, выключила лампу. Взяв пульт, начала приглушать звук телевизора: щелк-щелк-щелк кнопкой, пока динамик не умолк вообще. Голова Скотта бессильно утонула в мягкой подушке. Еще чуть-чуть, и он забудется сном. Карен смотрела международные новости — итоговый выпуск. Звук ей не требовался — что бы ни происходило, ее интересовала картинка, и только картинка. Забавно, как легко додумывать новости, просто глядя на изображение.

Вначале она видит мужчин и мальчиков, бескрайнее море мужественности, плотное скопление притиснутых друг к другу тел. Затем экран заполняет толпа, многотысячное полчище людей. Кажется, будто это замедленная съемка, но Карен знает: отнюдь. Это режим реального времени, тела сплющиваются под напором других, подпрыгивают, как утопленники на морских волнах, кое-где торчат одинокие воздетые руки. Камеры показывают тела в странных ракурсах. И людей, стоящих поодаль, где именно, неясно, наблюдающих за происходящим с каким-то полулюбопытством. Карен видит: люди, прижатые к сетчатому заграждению, все время подталкиваемые толпой вперед, сплелись в колоссальный тугой узел. Показывают железную сетку и расплющенные об нее тела с воздетыми руками. Показывают страшные медленные потуги, отчаянные усилия. Как это называется, корчи? Камера у самого заграждения, снимает через мелкую стальную сетку. Карен видит: вдалеке люди буквально идут по головам, двое мужчин выбрались из сплошной людской массы и ползут вперед по плечам, по макушкам. Она видит: толпу несет прямо на сетку, людей у заграждения прессуют, гнут в ужасные дуги. Кошмарное нагромождение протянутых, выворачиваемых рук, искаженных агонией лиц. Показывают людей, которые бесстрастно наблюдают. Людей в футболках и длинных трусах, стоящих на траве игроков в этих их форменных гольфах. Утрамбованные тела — во весь экран, расплющенные у сетки почти не шевелятся, сохраняют навязанные им неестественные позы. Карен видит мальчика в белой кепке с красным козырьком, на его лице читается: "Какой чудесный день", или: "Иду вот домой из школы", а вокруг него все умирают, корчатся, извиваются с разинутыми ртами, высунув раздутые языки. В Европе в футбол играют круглым мячом. Карен видит сетку крупным планом, затем следует стопкадр, и этот кадр точно храмовая роспись, запросто сойдет за фреску в церкви, включенной во все туристические маршруты: тут тебе и цветовой баланс, и уравновешенная композиция, и множество мучеников. Она выделяет из толпы лица: женщина, девочка, а на заднем плане —

большая мужская рука, мокрые косы женщины, ее вывернутая кисть, притиснутая к серебряной паутине сетки, девочка раздавлена, чья-то рука цепко обвила ее шею, мальчик в белой кепке с красным козырьком стоит в самой гуще, в самой давке, теперь и до него дошло, он зажмурился — сообразил, что попал в ловушку, на его лице отчаяние. Она видит людей, которых невольно душат другие, видит простертые руки, прямо у нее на глазах лица гаснут, как перегоревшие лампочки, пальцы пытаются дотянуться до сетки, но лишь цепляются за воздух, большая мужская рука, длинноволосый парнишка в джинсовой рубашке спиной к сетке, лица женщины с косами не видно за ее собственной вывернутой рукой, за ногтями с блестящим розовым лаком, то ли молодая девушка, то ли женщина с закрытыми глазами и вывалившимся языком, при смерти или уже мертва. На лицах людей Карен читает безысходность — они знают. Показывают, как кто-то спокойно наблюдает со стороны. Показывают заграждение издали, за ним — груды тел, груды заваленных, у некоторых только пальцы шевелятся, — сущая фреска в темной старой церкви, сюрреалистическая многофигурная композиция, подвластная лишь кисти лучшего из мастеров своей эпохи: толпа, спешащая в объятия смерти.

3

Брита достала из футляра кварцевую лампу и ввернула ее в патрон рефлектора. От волнения на нее напала болтливость. Билл стоял и ждал, прислонившись к стене. Плотный мужчина с измятым лицом, одет в спортивные штаны и поношенный свитер. Волосы дымчатые, с желтоватыми концами, слипшиеся в широкие пряди, зачесаны назад. Брита была сама не своя: легко ли, когда человек, много лет существовавший для тебя только как последовательность слов, предстает перед тобой наяву? Его тело создавало в комнате ощутимое напряжение. Она едва могла на него смотреть — наблюдала украдкой, стараясь, чтобы ее взгляды остались незамеченными в кутерьме подготовки к съемке. Ей показалось, что он закостенел и порос мхом, привык держаться как дряхлый старец. Одним глазом он наблюдал, как она возится с техникой, другим глядел куда-то мимо, рассматривал то, что не здесь и не сейчас. Она почувствовала: он уже уплывает из комнаты.

— Эта стена послужит отражателем, тогда вы сможете встать вон там, а я возьму камеру, встану здесь, вот и вся премудрость.

— Звучит зловеще.

На письменном столе — пишущая машинка. К стенам и даже к одному из окон — только сверху оставлен просвет — прикреплены скотчем огромные листы ватмана. Диаграммы, чертежи, генеральные, без преувеличения, планы строящегося романа: листы испещрены наспех накорябанными словами и квадратиками, слова соединены линиями, в квадратики что-то вписано мелко-мелко. Обведенные кружочками цифры, перечеркнутые названия, скопление схематических человечков и прочие тайные письмена. На кожухе батареи она заметила стопку блокнотов. На столе — бумажные залежи, в пепельнице горка раздавленных окурков.

— Есть что-то такое в писателях... Не знаю уж почему, но мне знакомства с творчеством недостаточно; обычно стараюсь договориться, чтобы перед съемкой мы с моделью прогулялись вместе — просто поговори-

ли, поболтали о книгах, семье, не важно... Но я понимаю, у вас каждая минута на счету, поэтому будем работать быстро.

— Поговорить можно.

— Фотоаппаратами интересуетесь? Это объектив с фокусным расстоянием в восемьдесят пять миллиметров.

— Я когда-то снимал. Не знаю, почему бросил. Вдруг бац — и это для меня кончилось. Бесповоротно.

— Похоже, сегодня еще кое-что окончится бесповоротно.

— Хотите сказать: писатель выйдет из подполья.

— Я правильно поняла, что ваши фотографии уже тридцать лет не появлялись в прессе?

— Это Скотту лучше знать.

— И вы совместно решили, что час пробил.

— Честно говоря, просто устал — надоело, что с этим так носятся. Когда писатель прячется от людей, те думают: вот и он, как Господь, отвратил от нас свой лик.

— Но многие находят это интригующим.

— А заодно дьявольски высокомерным.

— Нас всех чарует то, что вдали. По-моему, труднодоступное место прекрасно по определению. Прекрасно и, возможно, отчасти священно. Облик человека, к которому так просто не подберешься, становится изящным и четким на зависть нам, остальным.

— Всякое изображение — порнография, а этот вот прячет свое лицо.

— Да, — сказала она.

— Может, людей и интригует эта фигура, но и раздражает тоже, и они насмехаются, и хотят закидать его грязью, и увидеть, как его перекосит от ужаса и шока, когда фотограф выскочит из засады в кустах. В мечети картинки исключены. А в нашем мире мы спим с картинками и на них молимся, едим их и напяливаем на себя. Писатель, не открывающий своего лица, узурпирует святое место. Заимствует фирменную уловку у самого Бога.

— Или, Билл, он просто застенчивый человек.

"Улыбнулся", — отметила она, глядя в видоискатель. Через объектив он был виден яснее. Взгляд целеустремленный, не бегающий попусту туда-сюда; лицо в красивых морщинах — точно вышивальщицы постарались, украшая лоб и уголки глаз. Позируя Брите, люди часто как-то подтягивались под напором ее взгляда: ведь как только она снимала крышку с объектива, ее охватывала безудержная жажда — жажда заглянуть в глубины.

— Сказать вам одну вещь?

— Скажите.

— Я боюсь разговаривать с писателями об их работе. Так легко что-нибудь ляпнуть. Не опускайте подбородок. Вот-вот, теперь лучше, мне нравится. Я им так и не овладела, их тайным языком. Я провожу с писателями очень много времени. Я их люблю. Но этот ваш дар, принося неизмеримую радость, заставляет меня думать, что я чужая, что мне не дано освоить тот сокровенный язык, единственный, который вы признаете.

— Я только один сокровенный язык знаю — манию величия. Мне все чудится, что в этой комнате я вырастил себе двойника. Не будь этого самовлюбленного дурня, писатель давно бы сошел на нет. Я преувеличиваю муки творчества, муки затворничества, неудачи, злость, смятение,

бессилие, страх, униженность. И чем теснее пространство моей жизни, тем больше я себя раздуваю. Если муки реальны, зачем их преувеличивать? Наверно, это для меня как развлечение — других-то радостей не осталось.

— Держите голову повыше.

— Держать голову повыше.

— Честно говоря, таких речей я не ожидала.

— Накопилось.

— Я думала, вы постоите передо мной несколько минут, соскучитесь и уйдете.

— Это один из моих недостатков — высказывать чужим людям, всяким там женщинам, заглянувшим на минутку, то, в чем никогда бы не признался ни жене, ни ребенку, ни близкому другу.

— Со Скоттом вы говорите откровенно.

— Со Скоттом я говорю. Но с каждым днем в этом все меньше нужды. Он и так все знает. Он стоит над моим мозгом, точно хирург с блестящим скальпелем.

Она отсняла первую пленку и отошла к кофру за следующей. Билл, стоя у стола, вытряхивал из пачки сигарету. Его ботинки были облеплены глиной и сухой травой. Он не производил впечатления человека, проецирующего вовне свой мысленный автопортрет, представление о том, как он хочет выглядеть, кем обернуться на ближайшие несколько часов. Видимо, ему просто лень. Комната Брите нравилась — нравилась, потому что здесь находился он. Комната была его — в том же смысле, в каком дом был "не его". Она попросила Билла встать возле одной из схем на стене и, когда он не отказался, подвинула рефлектор, навела объектив на резкость и возобновила съемку. Он курил и говорил. По его субъективным оценкам, он страдает не меньше всех остальных. Все думают, что пишут не в полную силу, что не знают счастья, что маются безмерно, — но никого из них никогда не влекло ни к чему, кроме писательства, и каждый убежден, что он несчастнее всех на свете, — ну, может, где-то у черта на куличках найдется еще один такой же горемыка; и если кто-нибудь из них растворяет в бренди пачку малюсеньких фиолетовых таблеток или сует дуло револьвера себе в ухо, остальные, преклонив головы, удовлетворенно вздыхают: ведь его трагический конец удостоверил неподдельность их собственных переживаний.

— Я вам скажу, чего я не преувеличиваю — сомнений. День за днем, минута за минутой. Чудится, моя постель, и то ими пропахла. Неверие в себя. Вот в чем штука.

Пространство сузилось, как всегда бывало во время удачной фотосессии. Выдержка, освещение — уже без вариантов, подбираются машинально. Глядя на Билла, стоящего у его партитуры, Брита осознала, что получила все, о чем могла мечтать, все, что ей в принципе могло понадобиться. Вот немолодое, истрепанное жизнью, меченное меланхолией лицо — пропавший без вести литератор, а вот, на стене, примитивный алфавит, план пропавшей вместе с ним книги — какие-то кривые квадратики, разноцветные каракули, кучки значков, словно маленький ребенок малевал, зажимая в кулачке фломастер. К тому же Билл оживился: когда говорит, подается вперед и молотит по воздуху руками — своими притупившимися, выщербленными орудиями труда. В нем чувствовалось упрямство человека, физически ощущающего все пределы, за которые обязательно нужно вырваться, бремя работы, которая всегда дается

трудно, но непременно должна быть укрощена, завершена. Брита пыталась поместить его в контекст, понять, как переходят голос и тело Билла в его книги. Первое, что она сказала себе, войдя в комнату: "Стоп, не сюда, это никак не может быть он". Она ожидала увидеть человека поджарого и напряженного, с глазами, похожими на аманитские[1] амулеты от порчи. Но медленно, постепенно ей открылось, что облик Билла не случаен — более того, очень похож на его произведения.

— Мне придется украсть у вас сигарету, — сказала она. — Всего одну. Я бросаю курить уже двадцать пять лет и за это время сильно продвинулась. Понимаете? Но стоит заметить робкий блеск пачки...

— Расскажите мне о Нью-Йорке, — сказал он. — Я там больше не бываю. Когда думаю о городах, в которых жил, вижу гигантские полотна кубистов.

— Я расскажу вам о том, что сама вижу.

— Резкость контуров, скученность и этот стариковский бурый колорит... города́, которые помнишь, дряхлеют и зарастают грязью прямо у тебя в голове, точно античные стены.

— Ну хорошо: там, где я живу, целый хаос крыш, дома в четыре, пять, семь этажей, а значит, резервуары для воды, бельевые веревки, антенны, башенки, голубятни, печные трубы; все, что на Острове М. есть человечного, — припавшие к земле кусты, статуи, рукописные вывески. Все это я вижу, едва продрав глаза, все это я обожаю, а в разлуке чахну. И все это ломают и вывозят на свалку, чтобы солидные люди могли строить свои солидные башни.

— В конце концов и башни станут выглядеть человечными, незадачливыми и ручными. Дайте только срок.

— Пойду биться головой об стенку. Скажете, когда перестать.

— Потом сами будете гадать, что вас в них бесило.

— У меня уже есть Всемирный Торговый Центр.

— И он уже безобидный и без возраста. Кажется заброшенным. И подумайте, могло быть намного хуже.

— В смысле? — переспросила она.

— Будь вместо двух башен только одна.

— Вы хотите сказать, что они между собой перекликаются. Отблески света играют.

— Одинокая башня была бы намного хуже, согласны?

— Нет, не согласна. Меня не только габариты смущают. Габариты чудовищные. Но башня в двух экземплярах — это как комментарий, как диалог, только я не знаю, что они там говорят.

— Они говорят: "Прекрасный сегодня денек".

— Прогуляйтесь как-нибудь по этим улицам, — сказала она. — Больные и умирающие люди, которым негде приткнуться, а башни день ото дня плодятся, фантастические громадины с десятками миль полезной площади. Внутри заперты настоящие просторы. Я не преувеличиваю?

— Тут один я преувеличиваю.

— Странное дело, мне кажется, будто я вас знаю.

— Да, странное дело. Мы умудряемся разговаривать о важном, пока вы скачете со своим аппаратиком, вьетесь вьюном, а я стою себе, как дурак и истукан.

1. Аманиты — секта в Америке. Живут замкнутыми общинами, по старинке, обходясь без современной техники, сохраняя традиционную культуру.

— Видите ли, обычно я помалкиваю. Задаю вопрос и позволяю писателю говорить, чтобы немного снять напряжение.

— Пусть идиот мелет, что хочет.

— Можно сказать и так. И слушаю я обычно краем уха, потому что работаю. Я отрешена, я на работе. Как охотничья собака, сторожу дичь.

— А еще все время путешествуете. Гоняетесь за нами.

— Эй, не клюйте подбородком, — сказала она.

— Пересекаете континенты и океаны, чтобы фотографировать заурядные лица, запечатлеть для потомков тысячу лиц, десять тысяч.

— Да, такое вот безумие. Я посвятила всю жизнь красивому жесту. Да, я путешествую. Это значит, что в определенные дни нет ни минуты, когда я не думала бы о террористах. Мы в их власти. В аэропортах я никогда не сажусь у окна — вдруг полетят осколки стекол. Паспорт у меня шведский, это хорошо, пока никто не вспоминает, что нашего премьера якобы убили террористы. Тогда это не очень хорошо. Имена и адреса писателей в моей записной книжке зашифрованы — заранее не предугадаешь, что имя такого-то опасно иметь при себе, что он диссидент, еврей или богохульник. С литературой вообще надо поосторожнее. Ничего связанного с религией с собой не беру, никаких книг с религиозными символами на обложке, никаких изображений оружия или соблазнительных женщин. Это с одной стороны. С другой стороны, в глубине души я знаю, что умру медленной смертью от какой-нибудь страшной болезни, так что можете смело лететь одним рейсом со мной.

Она вставила в аппарат новую пленку. Она не сомневалась, что уже получила то, за чем приехала, но с ней уже раз сто случалось так: думаешь — вот они, желанные кадры, а потом на машинально доснятом хвостике пленки обнаруживаешь кое-что поинтереснее. Ей нравилось продолжать работу даже после мысленного звоночка, после восклицания: "Есть!" Главное — не останавливаться на достигнутом, главное — отправлять в отвал бесспорные удачи, и тогда в самый неожиданный миг вдруг блеснет небесный свет.

— А вы у своих писателей спрашиваете, каково себя чувствовать раскрашенным манекеном?

— Что вы имеете в виду?

— Вы меня разговорили, Брита.

— Люблю все, что живет и движется.

— Вам плевать, что бы я ни говорил.

— Говорите на суахили.

— Занятно — романисты и террористы между собой повязаны. На Западе мы превращаемся в знаменитые портреты, а наши книги тем временем теряют способность влиять и предопределять. Вы у своих писателей не интересуетесь, как они к этому относятся? Много лет назад я думал, что писатель способен что-то изменить хотя бы в культуре. Теперь эту сферу оккупировали ребята с бомбами и автоматами. Они берут штурмом человеческие души — а раньше это делали мы, писатели, пока все поголовно не превратили свое дело в бизнес.

— Продолжайте, продолжайте. Мне нравится ваша злость.

— Да что я вам нового скажу — вы сами все знаете. Потому и ездите за тысячи миль снимать писателей. Ведь нас теснит террор, новости террора, диктофоны, фотоаппараты, приемники, бомбы, замаскированные под приемники. Сообщения о бедствиях — вот и все тексты, других повестей людям уже не надо. Мрачнее новость — ярче повесть. Новости — сегодняш-

нее помешательство, завтра их сменит... уж не знаю что. Но вы хорошо придумали переловить нас своим аппаратиком, пока мы еще не исчезли.

— Это меня они пытаются убить. А вы сидите в четырех стенах и теории сочиняете.

— Выставьте нас в музее и берите деньги за вход.

— Писатели будут писать всегда. Вы сами-то понимаете, что несете? Влияние писателей распространяется на много лет в будущее. Не смейте даже сопоставлять их с боевиками. Так, придется стащить еще одну сигарету. Мы с вами не сойдемся, это ясно. У вас такое лицо... не знаю... точно у плохого актера, изображающего душевную опустошенность.

— Я и есть плохой актер.

— Не для меня или моей камеры. Я вижу человека, а не какую-то идею, в которую он хочет воплотиться.

— Сегодня я — одна сплошная идея.

— Чего-чего, а этого точно не заметно.

— Я играю идею смерти. Смотрите внимательнее, — сказал он.

Она не знала — рассмеяться или воспринять фразу всерьез.

Он сказал:

— Мне отчего-то кажется, что я сейчас нахожусь на собственных поминках. Жутковатое это дело — позировать фотографу. Портрет начинает хоть что-то значить только после смерти модели. Для того он, собственно, и предназначен. Мы с вами делаем то, что делаем, чтобы соорудить некое сентиментальное прошлое для тех, кто будет жить через десять, двадцать, тридцать лет. Это для них мы тут выдумываем прошлое и историю. Как я выгляжу сейчас, совершенно не важно. Важно, как я буду выглядеть через двадцать пять лет, когда все станет другим — и лица, и одежда, и сами фотографии. Чем дальше я буду уходить в смерть, тем сильнее будет действовать на людей мой портрет. Наверно, поэтому позировать — целая церемония. Вроде поминок. А я — актер, загримированный для репетиции прощания с телом.

— Закройте рот.

— Помните старое изречение: "Сегодня первый из дней, которые тебе осталось прожить". Только вчера ночью меня осенило, что эти фотографии — мой некролог.

— Закройте рот. Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо.

Она досняла пленку, перезарядила фотоаппарат, взяла сигарету, затянулась, положила сигарету в пепельницу, а потом подошла к нему и коснулась его щеки, слегка наклонила ему голову влево.

— Вот так. Теперь не шевелитесь. Мне нравится.

— Видите, исполняю все ваши капризы. Повинуюсь незамедлительно.

— Потрогать живого Билла Грея.

— Вы сознаете, каким интимным делом мы занимаемся?

— В свои мемуары я это включу, обещаю. Кстати, вы не дурак и не истукан.

— Мы в комнате одни, и между нами происходит этот загадочный обмен. Что я даю вам? И чем вы меня оделяете — или, наоборот, отнимаете что-то? Что вы во мне изменяете? Я ведь физически чувствую, что меняюсь, — словно электрический ток прямо под кожей. Вы меня выдумываете, пока работаете? Или я сам под себя подделываюсь? И с каких это, собственно, пор женщины стали фотографировать мужчин?

— Вернусь домой — посмотрю в энциклопедии.

— Мы с вами на редкость хорошо ладим.

— Теперь — да, когда перешли на другую тему.

— Я без зазрения совести теряю целое рабочее утро.

— И не только утро. Не забывайте, едва ваш портрет будет опубликован, от вас будут ждать абсолютного сходства с ним. И всякий, кому вы попадетесь на глаза, обязательно усомнится в вашем праве отличаться от собственной фотокарточки.

— Я стал чужим сырьем. Вашим, Брита. Есть жизнь, и есть акт потребления. Вокруг нас все работает на то, чтобы придать нашей жизни законченную форму, зафиксировать ее на пленке или на бумаге. Влюбленная парочка ссорится на заднем сиденье такси — и в этом таится вопрос. Кто напишет книгу, кто сыграет эту парочку в кино? Все стремится к своему утрированному варианту. Скажем иначе. Событие не происходит в реальности, пока у него нет потребителей. Скажем иначе. Реальность вытесняется аурой. Один человек порезался, когда брился, — и другого тут же нанимают писать историю пореза. Каждую мелочь выставляют под свет софитов. Вот я в вашем объективе. И уже совсем другим себя вижу. Я уже себе не родной, а двоюродный или троюродный.

— Между прочим, никто вам не мешает взглянуть на себя иными глазами. Просто диву даешься, как глубоко можно проникнуть благодаря изображению. Обнажается то, что ты, казалось бы, от всех скрываешь. Иногда какая-то новая грань родной матери, отца, сына. Бац — вот, оказывается, как оно на самом деле. Подносишь к глазам любительское фото, видишь собственное лицо, полускрытое тенью, — а в действительности это твой отец заснят.

— Да, вы и вправду готовите тело к погребению.

— Никаких таинств — только бумага да химикаты.

— Румяните мне щеки. Натираете воском руки и губы. Но когда я по-настоящему умру, люди будут думать, что я живу на вашем снимке.

— В прошлом году я ездила в Чили и познакомилась там с одним редактором. Он отсидел в тюрьме за то, что его журнал напечатал карикатуры на генерала Пиночета. Обвинение формулировалось так: "За убийство образа генерала".

— Вполне логично.

— Вам не надоело еще? Понимаете, я иногда не осознаю, до какой степени присваиваю себе сессию. В определенный момент превращаюсь в жуткую собственницу. По мелочам-то я уступчивая и сговорчивая. Но ядро работы, все, что в кадре, — никому не уступлю.

— По-моему, эти фотографии мне еще нужнее, чем вам. Монолит, который я создал, должен быть разрушен. Я боюсь выезжать из дома, боюсь сунуться в распоследнюю кафешку в ближайшем придорожном городке. Потому что твердо уверен: серьезные охотники с мобильниками и телеобъективами подбираются все ближе. Выбрав такую жизнь, мигом понимаешь, каково существовать по законам безостановочного религиозного ритуала. Полумерами обходиться невозможно. Все наши телодвижения — ритуальные телодвижения. За исключением собственно работы, все, что мы делаем, связано с конспирацией, маскировкой, заметанием следов. Скотт разрабатывает маршруты недальних поездок, которые я иногда совершаю, — скажем, к врачу. Есть свой регламент для людей, которых приходится допускать в дом. Сантехников там, посыльных. Такой вот образ жизни — с виду безумный, но с железной внутренней логикой. Так религия управляет жизнью. Так болезнь управляет жизнью. Существует некая сила, абсолютно не зависящая от моего сознательного выбора.

Причем сердитая и злопамятная. Видимо, произошло вот что: мне очень не хотелось испытывать те же чувства, что испытывают остальные. У меня своя космология страдания. Оставьте меня с ней наедине. Не глазейте на меня, не просите автографов на моих книгах, не показывайте на меня пальцем на улице, не подползайте ко мне с диктофоном на поясе. И главное, не фотографируйте меня. За эту треклятую жизнь в подполье я заплатил ужасную цену. И в конце концов такая ситуация мне осточертела.

Он говорил тихо, глядя не на нее, а куда-то вбок. Казалось, он сам узнаёт все это впервые, наконец-то слышит. И дивится, до чего же странно звучит. Не может уразуметь, как же так получилось, как неискушенный юноша, испугавшийся, что машина славы автоматически отутюжит его и отлакирует, старавшийся оградить то, что сотворил, страшно застенчивый, склонный видеть себя в слегка романтическом свете, спустя много лет очнулся — и обнаружил, что вожделенное полное уединение стало для него тюрьмой.

— Вы там случайно не начали увядать?

— Нет.

— Я забываю, как моя самозабвенная работа изматывает окружающих. Когда дело касается съемки, у меня ни стыда ни совести. Я жду от модели не меньшей одержимости, чем от себя.

— Для меня это не работа.

— Мы все-таки делаем фотографии вместе.

— Работа — это другое. За работу я берусь, чтобы испортить себе настроение.

— А разве хорошее настроение — наша обязанность?

— Вот именно. Когда я был маленький, я сам для себя комментировал бейсбольные матчи. Сидел у себя в комнате, выдумывал матчи и, не жалея связок, описывал игру с начала до конца. Я был игроками, комментатором, толпой, радиослушателями и даже передатчиком. Вот тогда мне было хорошо. А с тех пор, по большому счету, никогда. Ни на секунду.

У него был хохот курильщика, трескучий и хриплый.

— Я помню имена всех этих игроков, и кто был питчер, а кто — бегун, и счет каждого матча. И с тех самых пор пытаюсь писать так, чтобы приблизиться к той чистоте. К невинной игре в турусы на колесах. Сидишь себе, как на облаке, в кристальной простоте вымысла. Комната незаметно превращается в стадион, ты — в игроков. Все прозрачно и органично, без единого шва. И абсолютно спонтанно. Утраченная игра в самого себя, не испоганенная сомнениями и страхом.

— Ой, не знаю, Билл.

— Вот и я не знаю.

— По мне, это вы уже потихоньку с ума сходить начинаете.

Он опять захохотал. Она снимала его хохот, пока не кончилась пленка. Тогда она перезарядила аппарат, отогнала Билла от кварцевой лампы к окну и снова начала снимать, но уже при естественном освещении.

— Кстати, Чарльз Эверсон просил вам кое-что передать.

Билл подтянул брюки. Уставился куда-то вбок, сам себя обыскивая в поисках сигарет.

— Я с ним встретилась на презентации в одном издательстве. Он спросил, как идет моя работа. Я сказала, что, вероятно, увижусь с вами.

— Ну и ладно, не резон это скрывать.

— Я правильно поступила?

— Фотографии все равно когда-нибудь появятся.

— Собственно, Чарльз просил передать только одно: он хочет с вами поговорить. По какому поводу, так и не сказал. Я предложила, чтобы он написал вам письмо. Он сказал, что вы не читаете почту.

— Ее Скотт читает.

— Он подчеркнул: то, что он должен вам сказать, не для чужих ушей или глаз. Дело слишком деликатное. Еще он сказал, что был вашим редактором и очень, очень близким другом, а теперь страшно огорчен, что нельзя связаться с вами напрямую.

Билл принялся разгребать бумаги на столе — теперь он искал спички.

— И какой он теперь, старина Чарли?

— Все такой же. Мягкий, розовый и довольный.

— Писатели постоянно сменяются, понимаете ли. А эти сидят в своих кабинетах с видом на весь город, и их не волнует, как они станут жить после неудачной книги, у них всегда какая-нибудь новая на подходе, свеженькое невиданное диво. Они живут, мы умираем. Полная гармония.

— Он сказал, вы что-нибудь эдакое скажете.

— А вы не спешили о нем заговорить. Не хотели меня огорошить прежде времени.

— Я решила сначала сделать то, ради чего приехала. Не знала, как вы отреагируете на вести из внешнего мира.

Он чиркнул спичкой — и тут же позабыл о том, что она загорелась.

— Знаете, когда они по-настоящему счастливы? Когда есть повод разместить в газетах рекламу в черной рамочке. Некрологи умерших авторов то есть. Для них это единственный способ ощутить свою причастность к великой традиции.

— Он просто хотел бы, чтобы вы ему позвонили. По его словам, дело весьма важное.

Он медленно поворачивал голову, пока зажатая в зубах сигарета не соприкоснулась с горящей спичкой.

— Чем больше книг они выпускают, тем мы слабее. Тайный двигатель издательского мира — надежда превратить писателей в безобидных овечек.

— Вам нравится балансировать на грани фанатизма. Поверьте, я тоже этим грешу. Но, послушайте, что может быть безобиднее чистого фантазерства? Вы хотите играть в бейсбол, не выходя за порог дома. Пусть это только метафора, наивная мечта, но на ней-то и держится популярность ваших книг, согласны? Вы говорите об утраченной игре, которую пытаетесь возродить, когда пишете. А если она все-таки не утрачена? Когда вы работаете над книгой, вы к чему-то стремитесь — и разве это "что-то" не совпадает с тем, что люди видят в вашем творчестве?

— Я знаю только то, что сам вижу. Или чего не вижу.

— Поподробнее, пожалуйста.

Он бросил спичку в пепельницу на столе.

— Истина ждет писателя в конце каждой фразы. Важно вовремя поставить точку — подловить момент, но этому постепенно обучаешься. В формальном плане истина — это ритм фразы. Амплитуда колебаний, так сказать. Свинг, так сказать. Если же брать глубже, истина — внутренняя честность писателя на его войне с языком. Я всегда воспринимал себя через синтаксис. Работая над фразой, я начинаю узнавать в ней себя, слово за словом. Язык моих книг сформировал меня как человека. Когда фраза получается, в ней есть нравственная сила. В ней звенит авторская жажда жизни. Чем больше я втягиваюсь в процесс настройки фра-

зы, в работу с ритмом, с силлабикой, тем лучше узнаю́ себя. Я выковывал фразы этой книги старательно и долго — но они так и остались грубыми заготовками, потому что я перестал видеть себя в языке. Я больше не вижу матча, который комментирую, — трансляция прервана. Больше нет той плетки, которой жизнь меня подгоняла, заставляла доверять миру. Эта книга и эти годы меня укатали. Я забыл, что значит писать. Забыл свое собственное первое правило: "Не усложняй, Билл". Смелости и упорства у меня маловато. Я выдохся. Устал бороться с течением. Обходился приблизительными аналогами. Это книга какого-то другого автора. Вымученная, нескладная — я-то чувствую. Я обманом заставлял себя продолжать работу, надеяться на авось. Думаете, я преувеличиваю? Я никак не перестану возиться с книгой, которая мертва.

— А Скотт знает, что у вас на душе?

— Скотт? Скотт смекнул раньше меня. Скотт против публикации.

— Против? Какая глупость!

— Нет, не глупость. Вот именно, что не глупость.

— Когда вы закончите работу?

— Закончу? Это она меня прикончила. Книга уже два года как готова. Но я переделываю страницу за страницей, а потом опять начинаю чистить. Теперь я пишу, чтобы выжить, чтобы заставить сердце биться.

— Покажите ее кому-нибудь еще.

— Скотт не дурак. И врать он мне не станет.

— Но это частное мнение одного-единственного человека.

— С ним согласится всякий, кто будет судить беспристрастно. Как же больно знать, что приговор справедлив. И как лезешь из кожи вон, пытаясь увильнуть от него, скомкать, сжечь. А если кто узнает? Сразу же раззвонят, и тогда — все.

— Допишете, опубликуете и вытерпите все, что за этим последует.

— Опубликую.

— Все просто, Билл.

— Пустяк, конечно, — собраться с духом, сдвинуться с мертвой точки, прыгнуть в омут.

— И перестаньте переписывать страницу за страницей. Книга закончена. Мне не хотелось бы выдавать простые решения за панацею. Но раз она готова — оставьте ее в покое.

Заглянув ему в глаза, Брита увидела: каменная сдержанность дрогнула под натиском эмоций, зрачки засияли паническим, каким-то ребяческим блеском. Безыскусным, как молитва на смертном одре. Брита попыталась запечатлеть это на пленке. По лицу Билла медленно разливалась смертельная усталость, делая его монохромным и двумерным; нависшие брови, губы в трещинах, шея в жестких, точно деревянных, складках, застарелое недоумение и раскаяние. Она подошла ближе, навела на резкость и все снимала, снимала, а он стоял как вкопанный, глядя в объектив печальными, сияющими глазами.

4

За ланчем Скотт рассказал ей о своих скитаниях десятилетней давности: как в Афинах, больной и без гроша в кармане, пытался стрелять у туристов американские доллары — хотел купить билет на автобус, который с наркоманской удалью примерно за сто часов беспрерывной жути, напролом через войны и снежные лавины, доставляет тебя в Гималаи, —

но все как-то не везло. Выйдя на главную площадь, он увидел скопление людей у входа в красивый старинный отель, названия которого сейчас уже не припомнит, — что-то связанное с Европой.

— "Гранд-Бретань".

Точно. Там были операторы с камерами, какие-то господа, похожие на высокопоставленных чиновников, а также пять-шесть десятков обычных прохожих; Скотт подошел поближе и увидел на верхних ступенях лестницы, ведущей к входу в отель, человека в клетчатом головном платке и кителе цвета хаки, невысокого, с колючей бородой: это был Ясир Арафат, приветливо махавший рукой людям на тротуаре. Когда из дверей вышел какой-то постоялец отеля, Арафат улыбнулся и кивнул ему, а люди в толпе заулыбались в ответ. Тогда Арафат что-то сказал одному из чиновников, тот рассмеялся, и на тротуаре опять все заулыбались. Скотт поймал себя на том, что широко ухмыляется. Почувствовал, как растянулась кожа на лице, огляделся по сторонам, и окружающие отвечали на его взгляд улыбкой, — очевидно, всем казалось, что стоять здесь очень славно. И Арафат снова улыбнулся, беседуя с чиновниками, картинно жестикулируя перед объективами, показал на дверь и направился к ней. Все зааплодировали. Кто-то пожал Арафату руку, и аплодисменты стали еще громче. Надо же, позволяет незнакомым людям пожимать себе руку. Скотт улыбался, и хлопал, и видел, как хлопают люди на ступенях. Когда Арафат скрылся в отеле, люди на тротуаре, не переставая улыбаться, разразились прощальной овацией. Им хотелось сделать ему приятное.

— А в Гималаи вы попали?

— Я попал в Миннеаполис. Вернулся в университет, проучился еще один год, а потом снова послал все куда подальше, снова бросился в омут наркоты и небытия. Хотя даже сам понимал, что поступаю далеко не оригинально. Какое-то время проработал продавцом в обувном магазине, где полы были устланы толстенными коврами. Кто-то дал мне почитать первый роман Билла, и я завопил: "Ух ты, это что ж такое?" Книга-то про меня — как ему это удалось? Я заставлял себя читать медленно, чтобы не сбрендить от счастья. Я узнавал себя. Книга была моя. О том, что творится в моей голове и душе. Он уловил, как все возвращается на круги своя. Как, за что ни схватись, любая мелочь оказывается частью единой мозаики и ничто не забывается окончательно.

— Да. В каждой фразе — бездна воспоминаний.

— Читая Билла, я вспоминаю кое-какие фотографии — вы их, наверно, знаете. Щитовые дома на краю пустыни и чувство, будто откуда-то из-за границ кадра надвигается беда. Тот гениальный снимок Уинограда[1]: маленький ребенок у гаража, опрокинутый трехколесный велосипед и тень грозовой тучи на голых холмах.

— Да, знаю, замечательная работа.

— Доедайте. Я покажу вам чердак.

— Почему вы против публикации?

— Это ему решать. Он делает, что хочет. Но он сам вам скажет, что книга недотягивает до планки. Катастрофически недотягивает. Билл работал над этой книгой двадцать три года. Работал с перерывами. Бросал и возвращался. Переделает и убирает с глаз долой. Берется писать но-

1. Гэри Уиногранд (1928—1984) — известный американский фотограф. Снимок, упомянутый Скоттом, называется "Нью-Мексико, 1957".

вую и возвращается к этой. Уезжает куда-нибудь, возвращается, возобновляет работу, бьет кулаком по столу и убегает, и опять за стол, три года ишачит каждый день, без выходных, откладывает книгу, снова берет, обнюхивает, взвешивает, переделывает, откладывает, принимается писать что-то новое, уезжает, возвращается.

— Похоже, к этому сводится вся его жизнь.

— Верно. Эта работа выжгла его изнутри. Вымотала все жилы. Биллу всегда каждое слово давалось в муках. Только-только отойдет от письменного стола — и тут же на него наваливаются сомнения, бьют молотком по затылку. Приходится возвращаться, отыскивать в книге кусок, который, как он заранее знает, его успокоит. Он читает и успокаивается. Час спустя, уже в машине, то же самое чувство: страница запорота, глава запорота, он не может подавить сомнения, пока не вернется к столу и не найдет кусок, который, как он заранее знает, его успокоит. Читает и успокаивается. Всю жизнь он так делал, но теперь запас успокоительных кусков иссяк.

— Сколько лет вы с ним?

— Восемь. В последние годы ему очень тяжело. Он опять начал пить, хотя не так много, как раньше. Принимает лекарства от неизвестных науке болезней. Обычно просыпается, когда еще нет пяти утра. Продирает глаза и пялится в потолок. Когда рассветает, плетется к столу.

— В таком случае я считаю, ему непременно нужно опубликовать книгу. Надо же показывать людям то, что сделал. Разве иначе разрешишь сомнения?

— Билл сейчас на пике славы. Спросите почему? Потому что он не печатался невесть сколько лет. Напомню вам одну подробность, о которой теперь забыли или вообще никто не подозревает: когда его книги были изданы впервые, они особого впечатления не произвели. Показались курьезом. Я читал рецензии. Безделка, чем-то похоже на эту вещицу, как бишь ее там, этого, который... И лишь прошедшие с той поры годы сделали его великим. Билл прославился благодаря своему молчанию. Со временем публика уяснила, что́ это за книги, и переиздания пошли косяком. У нас неплохой стабильный доход, бóльшая часть которого идет двум его бывшим женам и трем бывшим детям. На новой книге мы могли бы, как говорится, озолотиться, огрести миллионы в квадрате. Но тогда Биллу как мифу, Биллу как властелину дум придет конец. Величие Билла растет вместе с дистанцией между ним и современным литературным процессом.

— Тогда зачем вам нужны эти фотографии?

— Мне не нужны. Нужны ему.

— Понятно.

— Я уже устал твердить: “Это блажь”. Я его, беднягу, совсем донял. “Не смей. Это безумие. Самоубийство”.

— По тому, как вы держитесь, я даже не могла предположить...

— Потому что я делаю свою работу. Он принимает решения, а я их выполняю. Если он решит напечатать книгу, я буду день и ночь корпеть вместе с ним над правкой, гранками и так далее. Он это знает. Но для Билла печататься — самое ужасное на свете, даже хуже, чем писать. Когда книга выходит. Когда люди покупают ее и читают. Ему кажется, будто его выставили голым на всеобщее обозрение. Какая мерзость: они несут книгу домой и раскрывают. Они читают все те слова, которые написаны его рукой.

На чердаке, в шкафах, хранились справочные материалы, которыми Билл пользовался при работе. Скотт шпарил наизусть тематический каталог и показывал Брите десятки папок: каждой категории соответствовал свой цвет обложки. Здесь у него был свой стол и своя пишущая машинка. Ящики, полные непереплетенных рукописей. Внушительного вида ксерокс, стеллажи с энциклопедиями, учебниками стилистики, стопками газет и журналов. Скотт вручил Брите светло-серую, никак не помеченную картонную коробку, указал на шесть таких же коробок на столе и пояснил, что это окончательная редакция, перепечатанный, исправленный и вычитанный экземпляр нового романа Билла.

Но Билл все работает и работает, вносит правку. Спускаясь по лестнице, они услышали стук его машинки.

Не вставая из-за письменного стола, он выпил кофе с сандвичем. Затем опять начал печатать — и услышал первобытный заунывный стон в недрах своего тела. Вот так это и происходит: первые за день слова включают физическую сигнализацию, заставляют хныкать и отбиваться — живые организмы сопротивляются изнурительной работе. Тут без сигареты не обойдешься, верно я говорю? Он услышал: они спускаются по лестнице. Явственно представил себе, как они стараются не скрипеть, как, втянув головы в плечи, тихо ставят ноги на ступеньки. Лишь бы не потревожить блажного дядюшку в его запертой комнате. Он не знал, когда она уезжает — прямо сейчас, наверное? Подумал, что увидеться с ней вновь было бы крайне неловко. Говорить-то больше не о чем, так? Между ними возникло чувство близости, показавшееся жалким и пошлым, едва она вышла за дверь. Он не мог в точности припомнить, что именно ей сказал, но знал: все не то, сплошное словоблудие, позерство, по большей части искреннее и именно потому совершенно непростительное. Да кто она вообще такая? В ее лице есть сила, окостенелость образа жизни, выбранного раз и навсегда, — то, без чего не пробьешься, мощь, которая давно перебесилась, дала себя укротить; мощь нескрываемая, но с примесью настороженности. Легче легкого — встать из-за своего стола с машинкой, уехать в Нью-Йорк и жить с ней до скончания века в квартире с террасой с видом на парк или на реку, можно на парк и на реку сразу. А тут пялишься в клавиатуру, как в зарешеченное окошко. Раньше бывало: когда начинаешь книгу, на тебя наваливается время, накрывает тебя и придавливает, а потом, когда заканчиваешь, отпускает. А теперь больше не отпускает. Так ведь и он пока не закончил. Жить в большой светлой квартире с кроватью, застеленной простынями из серого льна, читать надушенные журналы. Существует гибкое пространство-время физика-теоретика, время, не замутненное человеческими переживаниями, чистая кривая природы — и есть время с привидениями, время писателя, время-наперсник, дышащее гнилью в лицо, мрачное, понукающее. Что-то сегодня десны чешутся. Нужно проскользнуть украдкой в спальню, приготовить коктейль из розово-желтых поливитаминов с фтором, а пока давай сосредоточимся на странице, стукнем-ка по буковке, потом по другой. Как хочется отодрать ее до визга, на жесткой постели, и чтобы в окна барабанил дождь. Господи, пожалуйста, дай мне поработать. Взглянем на вещи прямо: каждая книга — это марафон, глаза лопаются от натуги. Дойти до финиша надо непременно. Умирать нельзя. Он ударил по клавишам столько раз, сколько требовалось для завершения фразы, и подумал, что надо бы спуститься с ней попрощаться,

но выйдет только конфуз для обоих. Она же получила то, за чем приезжала, так? Теперь я — картинка, плоская, как отутюженная коровья лепешка. Он заметил, что сделал ошибку — поменял две соседние буквы местами. Последнее время такое случалось с ним часто, еще один признак прогрессирующей опухоли мозга; он вытащил лист из машинки и замазал опечатку. Пришлось ждать, пока подсохнет. Как он себя наказывает за постоянные опечатки — вечно пальцы тычутся не в те клавиши; как ошибки повергают в отчаяние, нелепицы доводят до форменного бешенства; и он уставился на подсыхающее белое пятно и сидел сложа руки, пока оно не сделалось неразличимым, — тем самым он одновременно наказал себя и увильнул от кары. Ее рука на его щеке... как он удивился, что на него так подействовал этот жест, в одном прикосновении — все сразу. Хочу жить, как другие, уплетать в тратториях близ парка трехцветные макароны. Вечно замазываю и впечатываю поверх. Он взглянул на фразу, шесть понурых слов, и увидел весь роман, каким он порой ему представлялся, — ковыляющего по дому кастрированного недочеловека, горбуна-гидроцефала со сморщенными губами и нежной кожей, со струйкой слюны, постоянно текущей из уголка рта. Столько лет потребовалось, чтобы понять: роман — его ненавистный личный враг. Запертый вместе с ним в потайной комнате, схвативший его за горло. Он задумался о невероятной сложности операции по замене ленты. Столько точек над “i”, столько “alter” и “ego”. Почувствовал: грядет, и действительно чихнул на страницу, чихнул от души, отметил, что выделения с кровяными прожилками, но зато жидкие и скудные. Он не удостоит их гордого имени “сопли”. Ей нравится моя злость. Жить в центре кубистского города, воскресные газеты разбросаны по всему дому, румяные булочки на тарелке. Была у него присказка: сейчас, пока у меня междукнижие, и умереть не жалко. В том-то и была беда со второй супругой... Ну да не важно. Жить в двух шагах от галерей и музеев, стоять в очереди за билетами в кино, делать ремонт, спать на простынях из серого льна, откупоривать вино, любить ее, заказывать на дом пиццу, давай сегодня закажем пиццу, выгуливать собак, говорить слова, слышать, как швейцары высвистывают такси и дождь барабанит по окнам.

Брита собрала вещи. Готова стартовать тотчас. Спустилась на первый этаж, налила себе кофе. Села за стол, окинула взглядом кухню. Тут вошла молодая женщина, тихо обронила: “Привет”. Наклонилась, упираясь рукой в стол, медленно оторвав от пола левую ступню. Волосы у нее были длинные, прямые, светло-каштановые; нижняя челюсть, слегка выступающая вперед, придавала лицу суровое выражение.

— Сколько снимков вы сделали?

— Мы немного поговорили и поработали, потом, когда темы для разговора иссякли, я отсняла еще несколько пленок, а потом еще несколько.

— По вашим меркам, это типичный съемочный день или срыв в жуткую расточительность?

— Как вас зовут?

— Карен.

— И вы здесь живете.

— Я и Скотт.

— Карен, скажу вам правду. Фотография меня не интересует. Меня интересуют писатели.

— Тогда сидели бы дома и читали.

Она взяла с полки непочатую упаковку мини-кексов и поставила ее рядом с чашкой Бриты. Потом свернулась калачиком в кресле, вертя так и сяк попавшуюся под руку ложку. Джинсы, застиранная блузка, фигура девочки-подростка — сплошные шероховатости, заусеницы, острые углы. И тем не менее — дар сливаться с мебелью, податливая мягкость пушистого пледа.

Брита сказала:

— Я читаю дома, читаю в отелях, я беру с собой книжку, отправляясь к зубному. Двадцать минут в метро, а потом усаживаюсь в приемной и опять читаю.

— Вы всегда знали, что станете фотографом?

— Я читаю в самолетах, читаю в прачечной-автомате. Сколько вам лет?

— Двадцать четыре.

— И вы здесь ведете хозяйство.

— Почти все лежит на Скотте. Он следит за денежными поступлениями и записывает расходы, разбирается с налогами и коммунальными услугами, отвечает всем, кто пишет Биллу, за исключением психов — их мы холодно игнорируем, чтобы зря не обнадеживать. Готовкой и покупками мы ведаем вместе, хотя большую часть, наверно, делает он. Он сам занимается всеми архивами, классификацией бумаг. Мое дело — мыть и подметать. Я скромная уборщица, что меня совершенно не смущает. Изображаю из себя толстуху, хожу вперевалочку со шваброй. Машинописные работы мы распределили поровну, но окончательный, чистовой из чистовых экземпляр печатает Скотт, а потом мы вместе вычитываем текст, и это, наверно, наш самый любимый этап.

— И вы считаете, что затея с фотографиями — ошибка.

— Мы любим Билла, вот и все.

— А меня вы ненавидите за то, что я уеду отсюда со всеми этими пленками.

— Просто есть ощущение сбоя. У нас здесь такая жизнь... тщательно сбалансированная. За распорядком Билла стоит много всего, что планируется и продумывается, — и тут вдруг трещина. Как это называется, разлом?

К дому подъехала машина, открылась и захлопнулась дверь. Карен вновь и вновь нажимала на ложку указательным пальцем, заставляя ее черенок качаться.

— Как вы думаете, женщинам свободной профессии стоит выходить замуж? — спросила она.

— Я давно в разводе. Он живет в Бельгии. Мы больше не общаемся.

— У вас есть дети, которые после развода до сих пор чувствуют себя деревьями, вырванными с корнем, и, встречаясь, все нервно переминаются с ноги на ногу, и вы замечаете, что в их глазах, несмотря на прошедшие годы, глубоко-глубоко затаилась обида?

— Увы, нет.

— У меня было не так много знакомых, которые бы серьезно занимались своей карьерой. Профессиональный рост. Звучит очень солидно. У вас в холодильнике всегда стоит бутылка водки?

— Да.

— Люди вам говорят, что им нравятся ваши работы? Они подходят к вам в Нью-Йорке на вечеринках и говорят: “Я просто хотел бы вам ска-

зать". Или: "Вы меня не знаете, но я просто хотел..." Или: "Мне обязательно нужно вам кое-что сказать, прошу прощения за беспокойство". Тогда вы смотрите на них и улыбаетесь как бы застенчиво.

Вошел Скотт с продуктами. Налил себе кофе и завершил рассказ о том, как выбрался из страны небытия. Как начал писать Биллу письма на адрес издательства. Настрочил штук девять или десять, полных амбиций и самоедства, всего того, что незадачливый молокосос может сообщить автору книг, которые его потрясли. Прежде Скотт и не подозревал, что способен так растормошить свою душу, разбередить в ней глубокие переживания, упоенно выразить их с дерзким блеском, печатая некие слова вселенского масштаба в верхнем регистре, а другие уснащая несусветными орфографическими ошибками, чтобы обнажалось их второе и даже третье значение. Письма дали выход его чувствам. Возможно, то было ощущение, что мир не пустыня, а он сам больше не одинок, ведь с другими путешественниками по словесным дебрям его объединяют общие знания. Как он наконец получил от Билла письмо, две строчки, наспех нацарапанные от руки: дескать, вечно нет времени отвечать людям по-человечески, но спасибо, что написали. Как окрыленный Скотт накатал еще пять писем, страстных, обо всем сразу, а в последнем известил, что отправляется искать Билла, что должен его увидеть, познакомиться, поговорить, что жажда найти человека, написавшего такие книги, неудержима. Как Билл не ответил. И как Скотта это подбодрило, ведь Билл запросто мог бы написать: не смей, отвяжись от меня, даже на милю не приближайся. Скотт располагал конвертом, в котором пришла записка Билла, штемпель был нью-йоркский, но Скотт случайно узнал из журнальной статьи "Писатели, пропавшие без вести", что свое место жительства Билл скрывает, пересылает почту через издательство.

— И тогда ты поехал автостопом.

Да. Он голосовал на обочинах федеральных шоссе, яростно рвущих пространство, и дело это было такое рискованное, что, шатаясь под выхлопами громыхающих дизельных фур, он чувствовал себя невесомой фитюлькой. На носу у него были зеркальные очки, в кармане — нестареющий восточный трактат, он рассказывал водителям, что разыскивает знаменитого писателя. Некоторые в ответ признавались, с кем из знаменитостей хотели бы познакомиться. Забавно, как редко звучали имена еще живущих людей. Все знаменитые перемерли или, по крайней мере, вышли в тираж. На западной окраине Форт-Уэйна пикап, подвозивший Скотта, загорелся, и это показалось совершенно нормальным, так и надо, без крайностей жизнь — не жизнь. Скотт чувствовал за спиной крылья, накрутил себя до ликующего экстаза, влетел над низменной вонью будней. На подъезде к Толидо у водителя начались боли в груди, Скотт пересел за руль и повез его в больницу. По дороге Скотта пробрал словесный понос — он говорил и говорил, пересказал больному сюжет фильма, виденного на прошлой неделе. Машина покорно слушалась руля, и Скотт, пока ехал, плавно вписываясь в повороты, поднялся на следующую ступень бытия. Я рад, что нам посчастливилось пообщаться, — с этими словами он бежал рядом с каталкой, на которой санитары увозили водителя к прямоугольнику белого света в конце коридора. Три дня спустя Скотт устроился работать в экспедицию издательства, которое выпускало книги Билла Грея.

Как он обзавелся друзьями. Как узнал, что письма, которые Билл присылает для отправления адресатам, приходят в конверте девять на двенадцать дюймов на имя заведующего экспедицией Джо Дохэни, добродушного рохли, бывшего бойца ИРА, — тот распечатывает конверт и поступает с письмами согласно инструкции. Скотт ждал, жил в пансионе "Ассоциации молодых христиан"[1], ел стоя за столиками-полками в угловых забегаловках, чтобы наблюдать за парадом лиц и патологий, за людьми, которые проходят через весь город в состоянии транса или в маниакальном танце, за демонстрацией рас, статей, увечий; на этих злых улицах даже у тех, кто хорошо одет и физически крепок, был нездоровый вид. Потому что они все глубже увязали в пучине своей жизни. Потому что знали: будущее их отторгнет. Потому что отказывались смирять себя необходимыми ограничениями, повиноваться своему тайному призванию. Спустя несколько недель Скотту попался на глаза большой конверт, на котором убористым почерком Билла было выведено имя Джо Дохэни. Обратный адрес, разумеется, отсутствовал, но Скотт посмотрел на штемпель, а потом пошел в библиотеку, обложился атласами и обнаружил, что искомый город — Брите он его названия не открыл — лежит примерно в двухстах милях от приютившей Скотта средневековой крепости. Его не очень-то обрадовало, что от Нью-Йорка до Билла всего несколько часов езды. Он с легкостью отправился бы в Чад, в Гималаи, на Борнео — чем дольше путь, тем выше поднимаешься от небытия к бытию.

Часть расстояния он преодолел на автобусе, а дальше, по местным дорогам, добирался автостопом. При себе имел спальный мешок и прочие нужные вещи. Шатался по городу, наблюдал за торговым центром и почтой — и так пять уикендов подряд, и все безрезультатно. Впрочем, его это не обескураживало. Главное, что он больше не тратил жизнь попусту. Он включился в одну сеть с Биллом, дышал тем же воздухом, видел то же, что и Билл. Он не выспрашивал, знает ли кто-нибудь Билла. Стал праздным туристом, старающимся не привлекать к себе внимания. После пятого уикенда Скотт не вернулся на работу — поселился в кемпинге неподалеку; и однажды увидел, как некий человек — Билл, кто же еще, — вылезает из машины у хозяйственного магазина; было это всего через восемь дней после того, как Скотт окончательно порвал с Нью-Йорком.

— Почему "Билл, кто же еще"?

— Кто же еще? Стопроцентно он. Как фотограф может задавать такие вопросы? Разве его творчество, его жизнь не написаны у него на лице? Разве в этом крохотном фермерском городке есть другие люди, по которым было бы видно, что они создали такое? Нет, это был он, кто же еще. Плотно сложен. Приглаживает волосы рукой. Направляется в мою сторону. Идет по улице. С каждым шагом выглядит все более знакомым. Билл, кто же еще. Идет прямо на меня, а мне словно кислород перекрыли. Основные органы тела объявили забастовку.

Как он подошел к Биллу и объяснил ему, кто он такой — настырный бомбардир, засыпающий любимого автора горами писем; Скотт принуждал себя говорить медленно и отчетливо, полными предложениями, чувствуя, как пересыхает во рту, как, тихо позванивая, слетают с языка

1. Дешевые гостиницы, содержащиеся вышеупомянутой религиозно-благотворительной организацией.

ничего не значащие слова. Различал шум сердца, глухое стаккато в груди, которое до того слышал лишь единожды — когда долго-долго лазал по горам в небывалый зной. Звук крови, текущей по аорте, сотрясающей стенки сердца. Как он сумел пролепетать, пока глаза Билла щурились, превращались в амбразуры, что, может быть, писателю нужен секретарь, должен же кто-то разбирать почту, — опыт, кстати, есть, — печатать на машинке, заботиться об архиве, он человек тихий, не назойливый, при необходимости может даже обед сготовить, постарается уберечь писателя от докучливой орды поклонников (тут губы Билла невольно искривились в горькой усмешке). А затем инстинктивно умолк, дал Биллу переварить свое предложение, а сам стоял перед ним с видом серьезного и надежного помощника. Смотрел, как у Билла постепенно меняется выражение лица. Как перестали биться жилки на шее, как ушла из глаз тревога. Лицо великого человека отражает красоту его творений.

5

В спальне Карен рассматривала подарок, привезенный Скоттом из города, — репродукцию карандашного рисунка под названием "Мао II". Карен положила ее на кровать, придавила чем попало углы, чтобы не заворачивались. Начала рассматривать, размышляя, чем рисунок интересен, почему Скотт решил, что он ей понравится. Лицо Мао Цзэдуна. Имя ей нравилось определенно. Странно: несколько карандашных штрихов — и вот он, Мао, небрежно проработанные тени, шея и брови едва намечены. Автор — знаменитый художник, имя у нее вылетело из головы, но что знаменитый — точно, он уже умер, белая маска лица, слепящая белизна волос. Или он не умер, а просто так про него говорят? Скотт сказал: невозможно поверить в смерть того, кто никогда не казался живым. Энди. Ага, Энди.

Скотт мыл чашки.

Вошел Билл, спросил:

— Чем занимаешься?

Скотт, неотрывно глядя в раковину, тер чашку с внутренней стороны губкой.

— Можно подняться к фабрике. День сегодня неплохой.

— Тебе нужно работать, — сказал Скотт.

— Я поработал.

— Еще рано. Вернись в кабинет и поработай еще.

— Сегодня я времени даром не терял.

— Брехня. Ты фотографировался.

— Я потом наверстал. Ну, будет-будет. Позовем женщин и смотаемся к фабрике.

— Иди обратно наверх.

— Неохота.

— Не заводись. Я сегодня не в том настроении.

— Пойдем позовем женщин, — сказал Билл.

— Рано еще. Ты же все утро фотографировался. Вернись наверх и доделай работу.

Скотт подставил губку под струю горячей воды, смывая мыло.

— До темноты еще три часа. С запасом хватит, чтобы дойти туда и вернуться.

— Я же о тебе забочусь. Тебя самого угораздило решить, что ты будешь писать эту книгу бесконечно. А я говорю только то, что от меня требуется.

— Знаешь, кто ты такой?

— Ну да, ну да, ну да, ну да.

— Ну да, ну да, — сказал Билл.

— По-моему, ты по-настоящему и десяти минут не отработал.

— Ну да, ну да.

— Раз так, вернись наверх, сядь за стол и поработай.

— Светлое время суток тратим зазря.

— На самом-то деле все совсем просто.

— Нет, не просто. Сложнее не бывает. Морской узел из всего самого непростого на свете.

С посудой Скотт разделался, но от раковины не отходил, стоял, опустив глаза.

— Да нет, все просто, клянусь. Как дважды два. Давай-ка наверх, за стол, за работу.

— Женщинам бы понравилось.

— Мы с тобой оба знаем: я говорю лишь то, что от меня требуется.

— А может, я вернусь наверх и буду сидеть сложа руки. Как ты узнаешь, работаю я или нет?

— Никак, Билл.

— Может, я там буду сидеть и отрывать марки от двадцатипятидолларового рулона. На каждой — гребаные звезды и полосы.

— Как хочешь, только оставайся у себя. Я хочу, чтобы ты сидел в своей комнате, за столом.

— Я тебе скажу, кто ты такой, — сказал Билл.

Скотт, упорно не оборачиваясь, взял полотенце и вытер руки. Повесил полотенце назад на пластмассовый крючок и стал ждать.

Брита подошла к кабинету Билла. Дверь была распахнута. Брита заглянула внутрь. Помедлив, тихо постучалась, хотя комната явно была пуста. Брита притаилась в ожидании. Потом перешагнула порог, внимательно рассматривая совершенно обыкновенные вещи; словно старалась запомнить все детали, упущенные фотоаппаратом: расположение предметов, принцип расстановки справочников на полках, количество карандашей в банке из-под джема. Словно примечала для потомков, старалась с маниакальной точностью зафиксировать в памяти, что именно лежит у него на столе, чьи лица на фото под стеклом, все те мелочи, которые кажутся нам драгоценным ключом к разгадке человека.

На самом деле Брита заглянула сюда всего лишь за куревом. Отыскав взглядом пачку, скакнула к столу, вытащила одну сигарету. Лестница заскрипела под чьими-то шагами. Брита нашла спички, закурила и, когда в дверях возник Билл, сказала: “Спасибо!”, отсалютовав сигаретой.

— Я думал, вы наверняка уже уехали, — сказал он.

— Разве вы не знаете регламента? Мы ждем дотемна. Потом двинемся по проселкам и бездорожью, шарахаясь от указателей, — а то вдруг я догадаюсь, где проезжаем.

— Скотт над этим по нескольку недель думает.

— Его маршрутом ехать вдвое дольше.

— Я бы вам посоветовал проявить такт — похвалить этот хитрый лабиринт.

— Попытаюсь. Ну хорошо, не хочу отрывать вас от работы, увидимся за ранним ужином, если это предусмотрено программой.

Билл убрал со скамьи у окна ворох бумаг, но потом словно бы забыл, что собирался присесть; так и остался стоять, прижав к груди листы.

— Я чего-то наговорил, да?

— В основном о своей работе.

— Изголодался по сочувствию. Я и теперь хочу много чего сказать, а не выходит. Забыл обычный язык — только за обедом невнятно мычу, когда хочу попросить соли.

— Соль вам употреблять вредно.

— Мне шестьдесят три, и это очень больно.

— Я до шестидесяти не доживу. Чувствую, что-то зреет, почти вижу. Медленное, изнуряющее, страшное, затаилось в глубоких недрах тела. Я уже много лет знаю.

— У страха свой эгоизм, правда?

— Я ужас что мелю? — спросила она.

— Возможно, слегка хвастаетесь.

— А вы что хотите сказать, если все-таки вспомните слова?

— Попросить вас: приезжайте еще разок, когда захотите. Или дайте свой адрес. Или останьтесь и поговорите со мной.

— Мне-то говорить легко. Но в вашем доме разговоры не такое уж простое дело. Мне кажется, здесь все настолько всерьез, что некоторые темы затрагивать опасно. Кроме того, теперь между нами нет фотоаппарата, нет буфера. А это все меняет, согласны? Скотт сказал: "В шесть тридцать".

— Стало быть, в шесть тридцать.

— Он рассказал, как вас нашел.

— В первые тридцать минут я был готов ему голову проломить. Но он быстро втерся в доверие. Самоучкой освоил массу профессий и хитростей. Мы разговариваем и спорим без передышки. Благодаря ему я вижу вещи с разных сторон.

— И Карен.

— Скотт говорит, я ее выдумал. А на самом деле это он ее достал, точно кролика из шляпы. Иногда меня от нее оторопь берет. Ей хватает пяти слов, чтобы напугать меня и тут же очаровать. В том, что касается людей, она жутко умная. Насквозь нас видит. Смотрит телевизор — и заранее знает, кто что скажет. Не только слово в слово произносит — их голосами.

— Она здесь появилась намного позже Скотта?

— Лет этак через пять. Голоса копирует один в один, только диву даешься. Вот какая у нас Карен.

Брита вытянулась в длинной ванне почти во весь рост. Было слышно, как прямо под окном колют дрова. Вокруг клубился пар. Сначала треск вонзаемого в дерево топора, затем тихий стук поленьев об землю. Брита чувствовала, как воровато вползает в ее сердце смутная слабая тоска. Странно, с чего бы? После одной из важнейших съемок последнего времени — и вдруг тоска? Правда, она уже перестала разделять съемки на важные и не очень, почти утеряла интерес к карьере. Какая там карьера, только писатели — отсюда и до самого Китая — горбатятся над свои-

ми рукописями. Доход невелик, упоминания в прессе редки. Портреты большинства писателей останутся лежать в столе, другие же появятся лишь в захудалых журналах и справочниках. С маниакальным упорством мотаешься по свету, фотографируя безвестных, непереведенных, неприступных, подозреваемых в политической неблагонадежности, уходящих от погони, поневоле замолкших. И потому, когда писатель ранга Билла соглашается ей позировать, это все равно что верительная грамота, аккредитация высшей категории. Тогда откуда странное ощущение, будто поскользнулась и куда-то сползаешь? Брита подлила в ванну горячей воды. Она знала: он там, под окном, пыхтит, помогает себе пением. Треск — и тихий стук. Соблюдай дистанцию. Он словно на шатком мосту, на грани. Теперь вода идеальная, почти нестерпимо горячая. Почувствовав, как выступает на лице пот, Брита погрузилась глубже. Для того, наверное, фотосессия и обставляется такими церемониями. Пар до потолка. Жар пробирает до костей, отупляет, давит на сердце. Она знала, как он силен, — видно по рукам и пояснице, по плотному, будто у докера, сложению. Она взяла полотенце, промокнула с лица пот; спустя еще некоторое время вылезла из ванны, протерла полотенцем на запотевшем стекле, на уровне глаз, окошечко. Как ей соблюдать дистанцию после того, как съемка закончена? Они работали вместе, и потому теперь ей немножко больно. Билл кидает наколотые дрова в сторону поленницы, прижавшейся под обвисшим тентом к стене дома. "Уведомление о моей смерти". Пока она стояла у окна и смотрела вниз, ей пришлось несколько раз протирать стекло.

Билл поднял бокал.

— Сегодня я чувствую себя здесь как дома. Всё на месте, правда? Ощущение завершенности и новых горизонтов. В чем причина, мы все знаем. Выпьем же за гостей и за то, что они значат для цивилизации.

Выпил; закашлялся.

Сказал:

— "Гостить" — "угостить". Интересное созвучие. Этимология — занятная штука. Слова соединяются, перемешиваются, обмениваются чем-то. Точно группы людей, которые этими словами обозначаются. Гости угощают нас новыми идеями, принесенными из внешнего мира.

Скотт сидел напротив Бриты и обращался к ней, даже когда его реплики адресовались Биллу.

— Не думаю, что она считает себя гостьей в подлинном смысле слова. Она приехала работать.

— Странная работка, черт подери. Верх донкихотства. Но, кажется, я ею восхищаюсь.

— Ты ею восхищаешься потому, что она упорно занимается своим неблагодарным делом. Ее работа — служение. Именно то, к чему я тебя все время призываю. Спрячь книгу подальше. Сделай из нее фундамент. Используй ее, чтобы очертить мысль, принцип.

— Какой принцип? — спросила Брита.

— Молчание — красноречие нашей эпохи. Утаить свое произведение от публики — единственный способ воздействовать на нее.

— Барашек очень вкусный, — сказал Билл.

С кухни вернулась Карен, неся доску с нарезанным хлебом.

Скотт смотрел на Бриту.

— Романы выходят каждый день, поток банальностей не иссякает. Но если автор придержит книгу при себе... Если оставит в машинописи, если позволит ей впитывать тепло и свет. Именно так возобновляется патент на внимание широкой публики. Пусть книга и писатель будут неразделимы.

— Вы меня извините, но это была бы гнусность, — сказала Брита.

— Он знает, что я прав. Он раздражается не когда я с ним спорю, а когда я с ним соглашаюсь. Когда я тяну за леску, и его скромные желания, приплясывая, всплывают из глубин.

Под свой стул, у задней правой ножки, Билл загодя поставил полную бутылку ирландского виски. Теперь он достал ее, вновь наполнил свой бокал.

И произнес:

— Для ужина нам нужна тема. Сегодня нас четверо. Четыре — первый квадрат. Дважды два. Просто, как дважды два. Но одновременно нас округлили, наш круг замкнулся. Три плюс один. И так совпало, что на дворе середина апреля, месяца номер четыре.

— Нас едва не стало пять, — сказал Скотт. — Вчера какая-то женщина пыталась отдать мне ребенка. Вытащила из-за пазухи. Маленького, нескольких часов от роду.

Он пристально смотрел на Бриту.

— Почему ты его не взял? — спросила Карен.

— Потому что шел встречаться с Бритой в отель, куда с младенцами не пускают. У каждой двери младенцедетектор. Младенцев гонят в три шеи.

— Мы могли бы его куда-нибудь пристроить, даже если бы не оставили у себя. Зря ты не взял. Как ты мог его не взять?

— Люди всегда подкидывали своих детей чужим людям. Старо как мир. Я почти уверен, что и меня в мое семейство подкинули. Это многое объясняет, — сказал Скотт.

— Моя мать часто говорила, что Бог все компенсирует, — сказала Брита. — Когда у нее начинало шалить сердце, ревматизм вроде бы слегка отпускал. Так, по ее представлениям, Всевышний восстанавливает баланс. Интересно, какую компенсацию Бог предоставляет за младенцев, которых отдают чужим людям на улице, или оставляют в мусорных баках, или выбрасывают из окон.

Тем временем Карен рассказывала Скотту о дорожном знаке, на который сегодня набрела, прогуливаясь.

— Всякий раз, когда такое случается, я чувствую, будто кто-то мне что-то должен, — сказала Брита, — но кто это может быть, если Бога нет?

Скотт сказал:

— Карен верующая. А Билл называет себя верующим, но нам в это как-то не верится.

— Сегодняшняя тема — четыре, — сказал Билл. — Во многих древних языках имя Бога состоит из четырех букв.

Брита налила Скотту и себе еще вина.

— Не люблю безбожия. Не могу с ним мириться. Когда другие веруют, мне спокойнее на душе.

— Карен верует в Бога, который ходит по земле. Который говорит и дышит.

— Понимаете, мне хочется, чтобы другие верили. Пусть будет много верующих повсюду. Я чувствую, это необыкновенно важно. В Катанье я

видела, как сотни людей бегут, тащат по улицам повозку со святым, буквально бегом. В Мексике я видела, как люди падают на колени и ползут за сотни миль в Мехико, на праздник в честь Пресвятой Девы, оставляют кровавые следы на ступенях базилики и вливаются в толпу внутри собора, давка страшная, воздуха на всех не хватает. Кровь, всегда кровь. День Крови в Тегеране[1]. Мне нужно, чтобы эти люди верили за меня. К верующим меня тянет, как муху на мед. Их много, они повсюду. Без них планета остынет.

— Я говорил уже, как мне нравится этот барашек? — сказал Билл своей тарелке.

— Так съешь его, — сказал Скотт.

— Ты же его не ешь, — сказала Карен.

— Я думал, им положено только любоваться. Говорите, прямо так взять да съесть? Согласно словарному значению слова?

Столовая была маленькая. Вокруг прямоугольного стола — разномастные стулья, в углу, в старомодном кирпичном камине, горел огонь.

— Хочешь, я тебе его разрежу? — сказала Карен.

Скотт все еще смотрел на Бриту.

— Если вам нужны верующие, Карен — самый подходящий человек. Вера безоглядная. Мессия здесь, на земле.

— Он здесь, на земле, а я там, высоко в небе, — сказала Брита. — Зарабатываю призовые мили.

Билл сказал:

— Доводилось пролетать над Гренландией вровень с восходящим солнцем? Четыре времени года, четыре основных румба.

И полез под стул за своей бутылкой.

Брита сказала:

— Знаете, что я недавно слышала? Два человека, мужчина и женщина, идут навстречу друг другу по Великой Китайской стене, с противоположных концов. Когда я о них думаю, непременно вижу их сверху: Стена вьется посреди степи, и две крохотные фигурки приближаются друг к другу из отдаленных провинций. Мне кажется, этим они выражают свою благоговейную любовь к нашей планете, пытаются по-новому взглянуть на наше родство с Землей. Даже странно, почему мне так легко воображать их с птичьего полета.

— Туристы в мохнатых сапогах, — сказала Карен.

— Нет, художники-концептуалисты. А Великая стена считается единственным творением человеческих рук, которое можно различить из космоса, поэтому мы воспринимаем ее как неотъемлемую часть планеты. И эти мужчина и женщина все идут и идут. Они художники. Не знаю, какой национальности. Но это произведение искусства. Это не рукопожатие Никсона и Мао. Вне политики, вне наций.

— Меховые сапоги из шкуры яка, — сказал Скотт.

— Такие мохнатые сапоги, их носят в стране голубых снегов или как там ее.

— Что приходит мне в голову, когда я думаю о Китае?

— Люди, — сказала Карен.

— Толпы, — сказал Скотт. — Люди устало тащатся по широким улицам, толкают тележки или крутят педали велосипедов, в глазу телеобъ-

1. Вероятно, имеется в виду десятый день месяца мухаррам — большой праздник мусульман-шиитов, когда в знак скорби по святому имаму Хусейну верующие наносят себе удары до крови.

ектива одна толпа сменяется другой — и потому ощущение скученности усиливается, люди как сельди в бочке, и я мысленно вижу, как они заполоняют будущее, как будущее расчищает место для античестолюбцев, антиагрессоров, антииндивидов, покорно следующих за стадом. Приближенные телеобъективом: спокойные-спокойные, одна толпа налезает на другую, бредут, крутят педали, безликие, живут себе и не умирают.

Тем временем Карен, перегнувшись через стол, нарезала на аккуратные кусочки порцию Билла.

— Я рассказывала Скотту... — произнесла она. — Что я говорила?

— У них есть специальные охранники, натасканные на младенцев, — сказал Скотт. — Общенациональная сеть отелей со стопроцентной защитой от младенцев.

— Я говорила об официальном оранжевом знаке, одобренном властями штата.

Брита запоздало рассмеялась, высматривая на столе сигареты.

— Я верую в Бога нескладёх, — сказал Билл. — Официанток с флюсом.

Скотт рассмеялся, потому что Брита смеялась.

Нарезал хлеба.

Сказал:

— Книга закончена, но останется в машинописи. Потом в каком-нибудь авторитетном издании появятся фотографии, которые сделала Брита. В самый нужный момент. К чему книга, когда у нас есть автор?

— Душа болит, — сказала Брита. — Налейте еще вина.

Рассмеялась, поворачиваясь вместе со стулом, чтобы поискать сигареты в комнате.

Рассмеялся и Скотт.

Билл смотрел на мясо в своей тарелке, явно сознавая: оно уже не то, что прежде.

— Или лучше не в авторитетном? — сказал Скотт. — В какой-нибудь чахлой газетенке где-нибудь в Кукурузном поясе[1].

— Нет, нет, нет, нет, — сказала Карен. — Вообразим себе Билла на телевидении. Он сидит на диване и говорит.

— У нас есть фотографии, давайте воспользуемся ими в наших интересах. Книга растворяется в образе своего автора.

— Нет, погодите, он сидит в кресле, лицом к ведущему, тот тоже в кресле, придвинулся к Биллу близко-близко, такой, в очках, подпирает рукой подбородок.

— Вы явственно видели, что это ребенок? — спросила Брита.

Скотт засмеялся, и Брита заразилась его весельем.

Билл сказал:

— Сегодняшняя тема — четыре. Воздух, огонь, земля и вода.

— Что такое День Крови? — спросила Карен. — Правда, я и так могу догадаться.

Скотт не сводил глаз с Бриты.

— У Билла есть теория, что писателей душит суперсовременная апокалиптическая сила — выпуски новостей.

— Да, он мне рассказал.

1. Кукурузный пояс — неформальное название штатов Айова, Иллинойс и Индиана, славящихся своими сельскохозяйственными угодьями.

— Прежде нашу тягу к поискам смысла жизни удовлетворял роман. Это не я говорю — это Билл говорит. Роман был гениальной трансцендентальностью без религии. Латинской мессой метафор, персонажей, разрозненных новых истин. Но вот нас одолел пессимизм, захотелось чего-то помасштабнее, помрачнее. И мы переключились на выпуски новостей, откуда черпаем неослабевающее ощущение беды. Вот где источник эмоционального опыта, которого нигде больше не получишь. Роман нам не нужен. Это Билл так говорит. В сущности, нам даже катастрофы не нужны. Достаточно репортажей, прогнозов и предостережений.

Карен смотрела, как Билл тычет вилкой в кусочек мяса.

Билл сказал:

— Я знаю, о каком знаке ты говорила. "Глухой ребенок".

— Он ведь не самодельный. Официальный знак, оранжевый с черным; его поставили ради одной-единственной девочки, которая не сможет услышать, как ее сзади догоняет машина, даже грузовика не услышит. Я его увидела и подумала прописными: "ГЛУХОЙ РЕБЕНОК". И подумала, что государство, которое ставит знак ради одного ребенка, не может быть совсем уж подлым и черствым.

— Да, хорошее дело — этот знак. Приятно думать: есть девочка со своим собственным знаком. Но что за идиотские предложения я тут слышу? Растворить книгу. Очертить принцип. Я слова правильно запомнил? Ты так и выразился?

Произнося фразу, он одновременно взял с пола бутылку, зажал бокал между колен, налил до краев.

— Придержать книгу. Спрятать книгу. Превратить автора в книгу. Ничегошеньки не понимаю.

— Почему ты продолжаешь ее писать, если знаешь — она закончена, и все мы знаем — она закончена, а ты все пишешь и пишешь?

— Книги — дело бесконечное.

— Это пьесы — дело бесконечное. А книгам давно пришел конец.

— Я тебе скажу, когда книга заканчивается. Когда на весь дом раздается "бух" — значит, писатель завалился на бок и рухнул мертвым на пол.

Карен сказала:

— Этот дорожный знак каждый раз меня воодушевляет.

— Сколько книг писатель выпустил, столько он и продолжает писать плюс та, что торчит сейчас из машинки. Старые книги остаются жить в каждой клеточке тела.

Брита налила себе и Скотту еще вина.

— Спасибо, я за рулем, — сказал Скотт.

И выпил.

Билл выпил и закашлялся.

Брита стала ждать, пока он достанет свои сигареты.

— Людям эту книгу показывать нельзя. Ни при каком раскладе, — сказал Скотт. — Как покажешь, так все. Книга безобразная. Придется выдумывать новые слова, чтобы выразить всю ее обрюзглость, ультратяжеловесность, отсутствие энергии, темпа и вкуса.

— Мальчишка возомнил, что может безнаказанно хозяйничать в моей душе.

— Он знает сам. Это кризис, каких мало. Такой непростительный провал, что начинаешь сомневаться в его юношеских шедеврах. Люди

примутся читать его юношеские шедевры новыми глазами, выискивая признаки усталости и отупения.

— Книга выйдет. Я ее выпущу. И раньше, чем все думают.

Скотт смотрел на Бриту.

— Он знает, что я прав. Жутко бесится, когда наши мнения совпадают. Его слова в моих устах. У него тогда шарики за ролики заходят. Но я только пытаюсь сохранить за ним его́ заслуженное место.

Билл высматривал, что бы опрокинуть, какую бы штукенцию, чтоб эффектно полетела на пол и разбилась на мелкие кусочки.

— По-моему, нам надо завести какое-нибудь домашнее животное, — сказала Карен.

Скотт ссыпал хлебные крошки с края стола в ладонь.

— Я говорю только то, что он сам втайне хочет от меня услышать.

Карен посмотрела на Бриту.

Они поменялись местами. Карен вплотную пододвинулась к Биллу вместе со стулом.

— И кого же заведем — собаку или кошку? — спросила она чьим-то чужим голосом.

Билл выбрал масленку — пихнул, и она скользнула на другой конец стола.

Крышка отскочила Скотту в лицо.

Билла это разъярило еще больше; он попытался встать и начать беспощадную расправу с посудой.

— По-моему, лучше нам этого не делать, — сказала Карен.

И не дала ему подняться.

Скотт поднес левую руку к лицу. В другой он все еще держал хлебные крошки.

— Известно, что животные оказывают целительное воздействие, — сказал он.

— Никто не пострадал, заткни-ка свою поганую глотку.

— На стариков, одиноких, раздражительных и помешанных.

— Четыре попадания из четырех. Четыре — сегодняшняя тема.

Карен прикрыла Биллу глаза рукой, чтобы его не взбесило еще что-нибудь зримое.

Брита сказала:

— Пусть мне кто-нибудь скажет, что, как правило, вы ведете себя прилично.

Жест, взгляд, да все что угодно — и Билла уже не удержать.

Скотт вытер лицо и руки салфеткой, встал за стулом Бриты, взял ее под локоть и, когда она поднялась, вывел из столовой.

Карен отняла руки от глаз Билла.

— Когда люди друг друга любят... Все та же старая глупая история, Билл, каждый из нас тысячу раз с ней сталкивался.

Они просидели за столом еще несколько минут.

Потом Билл поднялся в свой кабинет, закрыл дверь и, не зажигая света, встал у окна.

Напоследок Скотт решил еще кое-что показать Брите. Выйдя из задней двери, они подошли к низкому сараю, пристроенному к дому под тупым углом. Брита, пригнувшись, последовала за Скоттом, тот щелкнул выключателем, и, стоя на пороге, они стали рассматривать полки и антресоли, которые Скотт сделал сам, доверху забитые ксерокопиями окон-

чательной редакции романа, вторыми и третьими экземплярами предыдущих, копиями заметок и фрагментов, письмами от друзей и знакомых Билла, гранками, письмами от читателей в скрупулезно помеченных, разложенных по порядку папках, еще какими-то картонными коробками с рукописями и бог весть еще чем.

Сарай был утеплен и законопачен, сырость содержимому не грозила. Брита стояла, ссутулившись, не говоря ни слова, глядела на пухлые папки, набитые словами, думала обо всех словах на всех страницах, сложенных аккуратными штабелями в других помещениях дома, и ей хотелось сбежать отсюда, нестись сломя голову по темной дороге, прочь от этой убийственной книги и скрытой за нею страшной жизни.

Обойдя дом кругом, они оказались у крыльца, и Скотт пошел за вещами, а Брита осталась снаружи. Она ожидала, что почувствует себя отрешенным зрителем, надежно защищенным, снисходительно взирающим со стороны на чужие муки, — но не тут-то было. Ей казалось: она что-то нарушила, встряла куда не надо; попрощаться с Биллом было выше ее сил.

Появился Скотт, и они пошли к машине.

— Если оглянетесь через левое плечо, увидите его, — он у себя, из окна смотрит.

Она машинально глянула, но окно было темное, и она поспешно отвернулась. Ночной воздух, влажный и колючий, наваливался на грудь. Когда они сели в машину и, петляя, выехали с твердой изъезженной колеи на утрамбованный гравий, она снова оглянулась и, как ей показалось, различила в окне, ровно посередине, смутный силуэт неподвижного, точно остолбеневшего, человека; она не отводила глаз, пока дом не отступил вдаль, не затерялся в деревьях, в сменяющих друг друга ракурсах, в просторных владениях ночи.

Окончание в следующем номере

Джерард Риди

Стихи

Перевод с английского и вступление Анатолия Кудрявицкого

Дорожные вехи поэта

Джерард Риди (р. 1958), поэт из графства Мейо, что на западе Ирландии, — персонаж вполне российский. Статный красивый человек средних лет, снедаемый печоринской тоской или онегинским сплином, вполне мог бы играть одного из этих героев в каком-нибудь фильме и выглядел бы не хуже, чем Омар Шариф в качестве доктора Живаго. "Избирательное сродство" с Россией и российской культурой этим не исчерпывается. Поэт обожает русскую симфоническую музыку, Чайковского и Рахманинова. Свою первую книгу хотел назвать "Картинки с выставки", но назвал пострашнее: "Картинки из резервации".

Жить в маленьком городке — без спору — дело тоскливое. Пойти, кроме ближайшего паба, обычно некуда. Если городок далеко от Дублина, Корка или Голуэя, некуда даже съездить на машине — после работы ведь далеко не поедешь. В случае Джерарда Риди это скрашивается тем, что городок-то — один из самых красивых в Ирландии. Называется Уэстпорт, располагается на берегу Атлантического океана. Год назад был признан "самым чистым городком в Ирландии", над чем Джер (как Риди сам называет себя) немало иронизировал. Он имел на это моральное право, потому что здесь родился и прожил всю свою жизнь, кроме нескольких лет учебы в университете. В 1979 году он получил диплом дорожного инженера и в этом качестве по сей день работает в своем родном городке. Дороги в районе Уэстпорта отличные, автор этих строк свидетельствует!

Писать стихи Джер Риди начал в 1989 году. Их почти сразу стали публиковать в лучших ирландских журналах и в антологиях. Поэт славится как мастер поэтического чтения, и его приглашали выступать на многих фестивалях, в том числе и международных. Его стихи были переведены на испанский язык. Вышеупомяну-

© Gerard Reidy, 2003
© А. Кудрявицкий. Перевод, вступление, 2003
Редакция благодарит Джерарда Риди за право безвозмездной публикации.

тая книга, опубликованная в 1998 году издательством "Дедалус пресс", одним из трех лучших и самых престижных поэтических издательств в Ирландии, принесла поэту известность. Поэт и прозаик Дермот Хили писал в журнале "Сайферс": "В сердце этой книги разлит покой; читая ее, вы попадаете в мир поэтического уединения. Автор умеет находить неожиданные образы, и его эмоциональная реакция на происходящее всегда непосредственна и честна". За стихи из этой книги поэту были присуждены премии имени Томаса Мура и Маргарет Аллингэм.

"Его поэзию всегда вдохновляли дикие пейзажи графства Мейо", — замечает "Айриш таймс". Журнал "Букс Айрленд" продолжает тему: "Сельская жизнь на западе Ирландии — вот где автор берет материал для наблюдений и обобщений. Эти края и их жители предстают перед нами как они есть, без миражей, обычно мелькающих перед глазами туристов".

За прошедшие с тех пор несколько лет Джерард Риди подготовил к изданию свою вторую книгу, которая вскоре должна выйти из печати в том же издательстве. Книга называется: "В ожидании дорожных вех" (очевидно, по аналогии с главной пьесой Беккета "В ожидании Годо") или, если точнее, как следует из текста стихотворения, давшего название сборнику, — в ожидании тара. Тар — вещество, используемое для дорожной разметки. Созвучно к тому же с названием деревни Тара, что в графстве Мит, — столицы кельтской Ирландии и резиденции королей Ирландии вплоть до VI века.

Стихи из этой книги и вошли в настоящую подборку.

Предчувствие

Звон дверного колокольчика перед рассветом —
и я просыпаюсь после сна, в котором
"Титаник" пришвартован посреди кухни,
а в камине вырос айсберг.
Никого.
Два лебедя спят в пурпурном море,
покой покачивается на лунных волнах.
Снежинки занимают очередь, чтобы приземлиться
в заливе. Рисуют контуры
то ли огромной наковальни, то ли хвоста
одного из давно покинувших эти места китов.
На перекрестке дорог — два указателя на Клифден,
стрелки нацелены в противоположные стороны.
Еще рано вставать,
и уже поздно возвращаться в постель.
Первый утренний ветерок ерошит крону березы.
Я читаю спортивную полосу вчерашней газеты:
"Манчестер юнайтед" победил 3:2 по сумме двух матчей.
Раздается скрип моей моторной лодки, но ее еще не видно.
Пока я пью кофе, разыгрывается шторм.
Через камин залетают градины.
Моя безмолвная лодка толкается в дверь
в нетерпеливом ожидании.

Заросли крапивы на дороге в Баллинроб

На заседании подкомитета
по избранию Самого Чистого Городка в Ирландии —
висячие урны покачиваются на солнце,
контейнеры для мусора сияют новой краской —
мы радуемся, что наш городок набирает очки,
а я чувствую себя старым. Старым и сердитым.
Где-нибудь в другом городке тоже прибираются.
Бросают детей в костер,
но те не горят,
даже если добавить бензин и пару автомобильных покрышек,
поэтому они бросают в огонь матерей...
Меня окликают: “Мистер Риди,
передаем вам материалы под грифом 6Д:
заросли крапивы на дороге в Баллинроб”.

Дом

На площадке, где бродяги гоняют мяч,
в чреве портового города,
в объятиях незнакомой женщины,
в маленьком городке среди пропащих людей,
в сарае для сена, где держали собаку,
в звуках забытого джаза,
в георгианской гостиной воскресным утром,
в кегельбане во время благотворительной лотереи,
на краю поля в летние сумерки,
в вокзальном кафе, когда поезд уже ушел,
среди игроков на скачках субботним утром,
в баре, где кто-то напевает песню военных времен,
в прибрежной деревушке холодной осенью,
под изгородью зимой, в компании черной коровы,
закутанной в войлок в ожидании снегопада.

С *собакой воскресным утром*

Чуть рассвело, мой пес занял позицию
у холодильника,
вписавшись в сложную систему образов.
Вот он лает
на фарфоровых собачек на подоконнике.
Внезапно все предметы на кухне начинают
вибрировать, словно узнав о его присутствии.
Сдвинь эстамп,
отданный тебе даром на аукционе, —
и все нарушится.

За окном волнуются зрители — деревья.
В доме же все персонажи ожидают, когда
к ним присоединится муха,
чтобы определить ей место.
Ей отведут, по-видимому,
северо-восточный угол кафельной плитки.
Старикам и маленьким мальчикам,
запертым в четырех стенах,
ведома эта гармония предметов.

Фундамент

Мы рыли землю, углублялись
в мягкую почву, выбрасывали ее
из ямы, пока не наткнулись на камень.
Он был подо всем, кроме спальни.
Ты была недовольна,
всю зиму копала глубже и глубже,
пока не дорылась до горючего торфа.
Лишенные надежды, мы заперли ворота.
Наши друзья выбирали занавески в магазине,
а ты в это время кормила коня кусочками сахара.
Каждую годовщину свадьбы мы встречаемся
и сидим на холме, дрожа от холода,
глядим на озера и горы
и думаем о том, чего нам не дано.
Вот что случается с теми, кто роет глубоко.

Восхвалим

треснутую кухонную плиту, скрипящую после дождя,
замерзшие горошины внутри сломанных игрушек,
галку на покосившемся телеграфном столбе,
сырой домик с окнами на север,
полуденную тишину коридоров,
пустые детские спальни,
старика на велосипеде, едущего в закатное солнце,
камин, забитый засушенными цветами,
чудаков каждого ирландского городка.

Все утрачено, все безвозвратно утрачено.

Мне же остается возложить все заново обретенное на алтарь,
чтобы не слушать больше пустые разговоры о погоде,
когда мы лежим в густой траве у озера.

Без названия

Памяти Анны Франк

Я выхожу из музея твоего имени
в солнечный вечер.
Я чувствую себя потерянным в чужом городе
у витрины "Жареных цыплят из Кентукки",
и мне уже ничто неинтересно.
Отто не мог вытерпеть более одного повествования.
Что же до остальных персонажей,
кому-нибудь придется вырыть их из земли
и приютить на время.
Когда они оглядятся по сторонам,
им захочется вернуться в сон.
Если мы не дадим им приют, они будут видеться нам
на каждом углу, когда мы вечером идем домой.
Зароем их снова, на южном склоне холма —
так, чтобы их можно было найти.
Нам же некуда деваться,
кроме нашей реальности,
где нагие девицы высвечиваются в жарких окнах —
тоже ведь чьи-нибудь дочери,
вертящиеся на вертеле прогресса.

Мануэль Ривас
Карандаш плотника

Роман

Перевод с испанского и вступление Н. Богомоловой

“Мы — то, что мы помним”

Испанский писатель Мануэль Ривас, как никто иной, заслуживает места в нашей рубрике “№”. У себя на родине он пользуется сегодня феноменальным успехом (Премия испанской критики, Премия галисийской критики, Национальная премия по литературе, премия Торренте Бальестера — вот неполный перечень наград, полученных им за последние годы). Добавим, что громкая слава Риваса отличается той старомодной основательностью и доброкачественностью, по которым многие успели истосковаться: публика читает и бурно обсуждает его романы и рассказы, а вовсе не скандальные подробности личной жизни или шокирующие выходки. К тому же произведения Риваса легли в основу двух хороших фильмов: “Первая брачная ночь” (“Карандаш плотника”) и “Бабочкин язычок”. Книги Мануэля Риваса переведены на двадцать с лишним языков, в России же до сих пор мало кто знаком с

© Manuel Rivas, 1998
© Н. Богомолова. Перевод, вступление, 2003

его творчеством. Что ж, тем приятнее открыть нашим читателям новое имя и представить — пусть с некоторым опозданием — замечательного автора.

Мануэль Ривас родился в 1957 году в галисийском городе Ла-Корунья (Галисия — древнейшая область Испании, растянувшаяся по Атлантическому побережью) в простой семье: отец — рабочий, мать — молочница, дед — крестьянин. В шестнадцать лет приехал в Мадрид учиться журналистике. Почти с того же возраста начал сотрудничать с прессой. Лучшие его статьи, эссе и репортажи составили четыре сборника, последний из которых "Женщина в ванной" увидел свет в нынешнем году. Но известность Ривасу принесли сборники рассказов и романы, вышедшие в минувшие десять-двенадцать лет.

Мануэль Ривас часто повторяет, что "пуповиной связан с деревенским миром" и книги свои пишет на том языке, на каком говорят в этом мире, — на галисийском, потом, как правило, сам же переводит их на испанский (предлагаемые ниже русские переводы по согласованию с писателем выполнены с испанских текстов). Здесь необходимо пояснить, что слова "пишет по-галисийски" — не только констатация принадлежности автора к определенной языковой культуре, они несут в себе очень важный дополнительный смысл, который отчасти задает тональность восприятию книг Риваса. Дело в том, что на судьбе галисийского языка в полной мере отразились трагические события испанской истории, в том числе национальная политика властей и разного рода "культурные программы".

Я начал писать по-галисийски... Надо сказать, что в детстве и юности у меня сложилось отношение к этому языку как к чему-то запретному, даже греховному, и думаю, это сделало его особенно притягательным. С одной стороны, галисийский всегда был рядом — на нем говорили у нас дома, в семьях друзей и знакомых, на работе и во время праздников... Но вот в школе говорить по-галисийски было нельзя, из нашей речи пытались вытравить даже акцент — чтобы никто не догадался, что родом мы из Галисии. Напрасные старания: это ведь все равно что живьем содрать с человека кожу. Правда, у людей развился предрассудок: родной язык они стали считать признаком необразованности и бескультурья, к нему стали относиться презрительно, потому что на нем говорит простой народ. А вот у молодежи моего поколения вспыхнула обратная реакция, и нам захотелось возродить и упрочить любовь к нашему языку, к нашему слову...

Мануэля Риваса по праву считают лидером этого движения, своего рода символом борьбы галисийцев за национальную самобытность. Против чего писатель решительно возражает, проводя жирную черту между своей активной общественной, а также журналистской деятельностью и художественным творчеством. Да, Галисия действительно является местом действия его рассказов и романов. Да, Галисия — сквозная тема его стихов и прозы. Но главное в них — особая внутренняя "галисийская мелодия", сотворение особого "галисийского мира" — поэтического, магического, не поддающегося рациональному познанию и толкованию. Не случайно ведь Галисия издревле слывет землей колдунов и ведьм, загадочных чудес и фантастических преданий, землей, наделенной могучей творческой энергией. Видно поэтому критики все чаще дают книгам Риваса броское определение — "галисийский магический реализм". Но писатель никак не желает слыть "магическим реалистом". Он высоко ценит опыт знаменитых латиноамериканских предшественников, некоторых числит в своих учителях (в первую очередь мексиканца Хуана Рульфо) — и упорно пытается отыскать свой путь, не стремясь при этом к революционным переворотам и подрывающим основы открытиям. Напротив, именно основы, традиции питают его творчество. С одной стороны, это фольклор. С другой — устный жанр совсем иного рода.

В детстве, помню, я часто ходил к деду... хотя жил он в пятнадцати километрах от Коруньи — и это было все равно что побывать в другом измерении. Там по вечерам собирались — непременно вокруг очага — родственники и соседи, а нас, детей, отправляли спать. Но в доме имелась лестница с деревянной решеткой... и я тихонько крался вниз, садился на ступеньку, скрытую от взрослых, и слушал... Так вот, рассказывали они вовсе не легенды и сказки про фей, лесных гномов и ведьм, как принято считать. Они рассказывали подлинные истории о преступлениях, опасных приключениях, любовных похождениях, чужих странах — очень многие в ту пору ездили на заработки за границу или плавали на кораблях. Эти беседы у очага вмещали в себя все современные литературные жанры. В такие моменты мне открывалось — по крайней мере, теперь я так думаю — литературное мастерство во всем его блеске, и это было похоже на огонь: дерево сгорает, порождая нечто новое — какую-то иную реальность.

Наверное, из детства пришло к Мануэлю Ривасу убеждение, что не писатель выбирает сюжеты и истории для своих книг, а они находят его сами: "Мне нравится, когда я словно бы слышу голос, который что-то мне рассказывает". Наверное, детский опыт подсказал рецепт: в каких пропорциях смешивать реальность и вымысел, чтобы получить нечто новое — иную реальность, художественную. Наверное, услышанное в детстве научило его, что в любой истории главное — человек: человеческий голос, ее рассказывающий, и конкретные живые люди, о которых идет речь. Вымысел, воображение для Риваса — понятия отчасти и бытовые, жизненная необходимость, способ победить боль, заговорить зло: "Каждый человек и каждый предмет испытывают острую потребность рассказать свою историю, иногда за этим кроется отчаяние".

Мануэль Ривас часто пишет о прошлом, точнее — о гражданской войне, расколовшей Испанию надвое. Кстати, о гражданской войне сегодня пишут не только многие ровесники Риваса, но и более молодые авторы, хотя и те и другие родились через десятилетия после ее окончания. Причины внезапного обострения писательского внимания к этому историческому периоду заслуживают отдельного разговора. Вспомним в этой связи, что в России критиков волнует совсем иной вопрос: почему нынешние авторы почти полностью игнорируют столь важную для старшего поколения тему? По словам Риваса, он пытается помешать тем, кто хочет ампутировать у испанцев память — заставить их забыть собственную историю. Писатель нередко использует для передачи своих чувств выражение "фантомная боль" — то есть боль в отсутствующем органе: его мучает "память" о тех трагических событиях, и эту боль он старается воплотить в слове.

Мы предлагаем читателям познакомиться с романом "Карандаш плотника" (1998) и рассказами из сборников "Чего тебе надо, любовь?" (1995) и "Она, проклятая душа" (1999). Нам кажется, эти произведения не требуют подробных вступительных пояснений и комментариев, напротив — даже противятся им в силу своей художественной цельности и самодостаточности. Ривас сказал в них все, что хотел, и сделал это лаконично и убедительно. Скажем только, что в основу сюжета "Карандаша плотника" легла вполне реальная история — история любви доктора Комесаньи (в романе — доктор Да Барка) и его жены Чочиньи (Мариса Мальо). Они сами рассказали Мануэлю Ривасу о невероятных событиях, случившихся с ними в годы гражданской войны. Много позже, уже после смерти доктора, Ривас решил написать о них книгу.

Чочинье и в память о ее большом друге Пако Комесанье, докторе Комесанье, который боролся со злой напастью.
Анхелю Васкесу де ла Крус, детскому доктору. Без них не родилась бы эта история.

Также в память о Камило Диасе Балиньо, художнике, убитом 14 августа 1936 года, и о Херардо Диасе Фернандесе, авторе книг "Те, что не умерли" и "Напрасная жестокость", который умер в изгнании в Монтевидео.

С благодарностью докторам Эктору Верее, который направлял меня в том, что касается туберкулеза, и Доминго Гарсиа-Сабеллю, который помог мне подступить к пленительной личности Роберто Новоа Сантоса, специалиста по общей патологии, который умер в 1933 году.

Я также благодарен за те сведения, которые мне удалось почерпнуть из исторических исследований Дионисио Перейры, В. Луиса Ламелы и Карлоса Фернандеса.

Хуану Крусу, который просто сказал: "А почему бы тебе не написать эту историю?" И передал мне через Росу Лопес красивый плотницкий карандаш.

Кико Кадавалю и Хурхо Соуто, которые живут в мире легенд и сквозистого туманного света.
Хосе Луису де Дьос, который своей живописью навеял мне мысли о прачках.
А также Исе с утесов Пасарелы и с пасеки в Кова-де-Ладронес.

1

ОН наверху, на галерее, дроздов слушает.

Она с улыбкой пригласила Карлоса Соусу войти, и репортер сказал "спасибо". Да, спасибо, повторил он мысленно, поднимаясь по лестнице, хорошо бы у дверей каждого дома нас встречали такие же глаза, как эти.

Доктор Да Барка сидел в плетеном кресле перед складным столиком, положив руку на открытую книгу. У него был вид человека, который размышляет над только что прочитанной замечательной страницей, постигая ее. Он смотрел в сторону сада, окутанного дымчатым зимним светом. И картина была бы вполне мирной, если бы не кислородная маска. Трубка, соединяющая маску с баллоном, тянулась над белыми азалиями. Вся сцена показалась Соусе исполненной тревожной и слегка комической печали.

Когда скрип деревянных половиц известил доктора Да Барку о приходе гостя, он поднялся на ноги и с неожиданным проворством, совсем как капризный ребенок, сдернул с лица кислородную маску. Это был высокий и широкоплечий человек. Увидев Соусу, он протянул ему навстречу разведенные полукругом руки. Сразу возникало впечатление, что естественное предназначение этих рук — объятие.

Соуса растерялся. Он полагал, что идет к умирающему. Чуть раньше он с досадой выслушал задание: вырвать последние признания у прожившего бурную жизнь старика. Соуса ожидал услышать угасающий, прерывистый голос, увидеть драматическую борьбу с болезнью Альцгеймера. Он и вообразить не мог, что агония бывает такой светлой и спокойной, как будто больной подключен к генератору. И хотя доктор Да Барка страдал вовсе не туберкулезом, он был красив той красотой, что свойственна чахоточным. Огромные глаза, словно льющие свет лампы. Фаянсовая бледность лица. Яркий румянец на щеках.

А к нам репортер, произнесла она с прежней улыбкой. Посмотри, какой молоденький.

Не так уж я и молод, возразил Соуса, глянув на нее в смущении. Я уже успел кое-что повидать на своем веку.

Садитесь, садитесь, сказал доктор Да Барка. А я тут кислородом баловался. Не желаете ли глотнуть?

Репортер Соуса почувствовал себя чуть лучше. Красивую старую даму, которая явилась на стук дверного молотка и открыла ему дверь, явно пощадил своенравный резец времени. Тяжело больной старик, который всего несколько дней назад вышел из клиники, кипел энергией, как чемпион по гонкам на треке. В газете Соусе велели: возьми у него интервью. Он много лет провел в эмиграции. И говорят, в Мексике был даже знаком с Че Геварой.

А кого это сегодня волнует? Только шефа отдела городских новостей, который по вечерам читает "Монд дипломатик". Репортера Соусу от политики тошнило. По правде говоря, от журналистики его тошнило не меньше. В последнее время он поставлял материалы о разного рода происшествиях. И пребывал в жутком раздражении. Мир казался ему навозной кучей.

Необычайно длинные пальцы доктора Да Барки непрестанно двигались, словно клавиши, которые живут своей собственной жизнью и сохраняют связь с рукой только из привычного чувства преданности. Сусе померещилось, что эти пальцы на расстоянии выстукивают ему грудь. И что доктор с помощью глаз-лампочек старается определить, почему это у Соусы так рано появились мешки под глазами. Как будто репортер явился к нему на прием.

А ведь могло быть и так, подумал репортер.

Мариса, солнышко, принеси-ка нам чего-нибудь выпить, глядишь, тогда и некролог поскладнее выйдет.

Что это тебе в голову взбрело! — воскликнула она. Не смей так шутить!

Репортер Соуса хотел было отказаться, но понял, что, отказавшись от выпивки, совершит серьезную ошибку. Вот уже несколько часов, с самого пробуждения, организм его требовал именно этого. Рюмку, черт возьми, хоть одну только рюмку... И репортер готов был поверить, что встретил волшебника, который умеет читать чужие мысли.

Вас, надеюсь, не называют сеньором Аш-Два-О?

Нет, сказал репортер и с ухмылкой добавил: как раз из-за воды у меня проблем никогда не возникает.

Отлично. У нас есть мексиканская текила — она способна воскресить из мертвых. Мариса, милая, будь добра, принеси рюмки. Потом доктор глянул на репортера и подмигнул. Внуки не забывают деда-революционера!

Как вы себя чувствуете? — спросил Соуса. Пора было с чего-то начинать разговор.

Как видите, сказал доктор и весело развел руками, помираю помаленьку. А вы и вправду хотите взять у меня интервью?

Репортер Соуса припомнил все, что накануне вечером ему рассказал один знакомый в кафе "Запад". Доктор Да Барка, он из самых что ни на есть красных. В 1936 году его приговорили к смертной казни, и он выжил — буквально чудом... Чудом, повторил говоривший. А выйдя из тюрьмы, эмигрировал в Мексику и не соглашался вернуться на родину, пока не умрет Франко. И от идей своих тоже не отказался. Вернее, от Идеи, как он сам выражается. Это человек другой эпохи, подытожил собеседник Соусы.

Ведь я уже всего лишь эктоплазма, сказал доктор репортеру. Или, если желаете, инопланетянин. Отсюда и проблемы с дыханием.

Шеф отдела городских новостей вручил Соусе вырезку из какой-то газеты: короткую заметку с фотографией, где рассказывалось о том, как жители района устроили доктору чествование. В благодарность за медицинскую помощь — всегда бесплатную, — в которой он не отказывал никогда и никому, даже самым нищим и обездоленным. "С тех пор как он возвратился из эмиграции, — заявила одна из его пациенток, — он ни разу не запер свою дверь на ключ".

Соуса поспешил выразить сожаление, что не навестил доктора раньше. Интервью было задумано как раз перед тем, как тот попал в клинику.

А вы, Соуса, не из местных, правда? — спросил доктор, снова уводя разговор от собственной персоны.

Нет, не из местных, ответил Соуса. Он был с севера. А здесь жил всего несколько лет, и ему очень нравился этот климат — галисийские тропики. Иногда он наведывался в Португалию — исключительно ради трески а-ля Гомес де Саа.

Простите за любопытство, вы живете один?

Соуса поискал глазами хозяйку дома, но та незаметно удалилась, молча поставив на стол бутылку текилы и рюмки. Ситуация складывалась странная: интервьюировали интервьюера. Он собирался сказать, что, мол, да, он и вправду живет совсем один, даже слишком один, но вместо этого засмеялся. Нет, рядом всегда хозяйка пансиона, и ее очень тревожит, что я такой тощий. Она португалка, а муж у нее галисиец. Когда они ссорятся, она обзывает его чертовым португальцем, а он кричит, что она хуже любой галисийки. Я, разумеется, избавляю вас от прочих эпитетов. Они весьма крупного калибра.

Доктор Да Барка задумчиво улыбнулся. В границах нет ничего хорошего, разве что возможность незаконного их пересечения. Трудно даже представить, что́ может натворить жалкая воображаемая линия, которую однажды прочертил, не покидая ложа, какой-нибудь тупоумный король. Или нарисовали на карте, расстеленной на столе, сильные мира сего, словно играя в покер. Помню, один знакомый сказал мне жуткую вещь: Хуже моего деда нет никого на свете. А что он такое сделал, убил кого? — спросил я. Нет, нет. Мой дед по отцовской линии был слугой у португальца. Этот мой знакомый просто исходил исторической желчью. И тогда я сказал ему, просто чтобы позлить: Доведись мне выбирать паспорт, я бы выбрал португальский. Но, к счастью, и эта граница постепен-

но исчезнет, растворится в собственном абсурде. Куда прочнее те границы, с помощью которых бедных удерживают подальше от пирога.

Доктор Да Барка смочил губы в текиле, а затем поднял рюмку, будто решив провозгласить тост. Знаете, а я ведь революционер, сказал он неожиданно, да, интернационалист. Из старой гвардии. Из Первого Интернационала, вот так-то... Для вас это звучит странно?

Меня мало интересует политика, ответил Соуса почти машинально. Меня интересует человек.

Человек, разумеется, человек, пробормотал Да Барка. А вы слышали когда-нибудь о докторе Новоа Сантосе?[1]

Нет.

Вот кто был очень интересным человеком. Это он придумал теорию умной реальности.

К сожалению, я его не знаю.

Ничего удивительного. Его мало кто помнит, даже из медиков. Да, именно так: умная реальность. Каждый из нас вырабатывает некую нить, совсем как гусеницы-шелкопряды. Мы пожираем листья тутового дерева, деремся за них, но наши нити, пересекаясь или переплетаясь, создают прекрасный ковер, изумительный ковер.

Смеркалось. В саду летал дрозд — будто вычерчивал черную пентаграмму или будто вдруг вспомнил о забытом свидании по другую сторону границы. Красивая сеньора возвратилась на галерею, двигалась она плавно и легко, как водяные часы.

Мариса, спросил он внезапно, ты помнишь то стихотворение о дрозде, ну то, что сочинил бедный Фаустино?[2]

> Столько страсти и столько музыки
> пленницами живут в твоих венах,
> что две эти страсти вместе
> в твое невеликое тело
> уже не смогли вместиться.

Он продекламировал эти строки, не дожидаясь просьб и без малейшей театральности, будто откликаясь на какую-то внутреннюю потребность. Его взгляд — отсвет витражей в сумерках — вот что по-настоящему поразило репортера Соусу. Он сделал большой глоток текилы, и ему обожгло горло.

Ну как, понравилось?

Прекрасное стихотворение. Чье оно?

Одного поэта-священника, который очень любил женщин. Да Барка улыбнулся: Вот вам пример умной реальности.

А как вы познакомились? — спросил репортер, решив наконец, что пора начинать запись беседы.

Я заметила его, прогуливаясь по Аламеде. Но как он выступает, впервые услышала в театре, принялась объяснять Мариса, поглядывая на доктора Да Барку. Меня привели туда подруги. Республиканцы устроили митинг, и разгорелся спор о том, надо или нет давать женщинам право голоса. Сегодня это звучит забавно, но в ту пору вопрос казался очень не-

1. Роберто Новоа Сантос — выдающийся галисийский патолог, яркий представитель национальной интеллигенции; вместе с Ортегой-и-Гассетом входил в состав Союза содействия Республике. Был депутатом учредительных кортесов 1931 г. (*Прим. испанского издателя.*)

2. Имеется в виду Фаустино Рей Ромеро, священник и поэт. Он занимал критическую позицию по отношению к режиму Франко и официальной церкви, умер в эмиграции в Америке. (*Прим. испанского издателя.*)

простым... И тогда Даниэль вышел на сцену и рассказал историю про пчелиную матку или, как ее у нас называют, царицу пчел. Помнишь, Даниэль?

Какую историю? – сразу оживился Соуса.

В древности никто не знал, откуда берутся пчелы. Мудрецы, вроде Аристотеля, придумывали всякие нелепые теории. Например, будто пчелы зарождаются в брюхе мертвых быков. И так продолжалось много веков. А все почему? Потому что люди и мысли не могли допустить, что пчелиный царь был на самом деле царицей – маткой. Но ведь и мы по сути совершаем ту же ошибку. Как же вы собираетесь бороться за свободу, не освободившись прежде от такого опасного заблуждения?

Ему здорово аплодировали, добавила она.

Ба! Нельзя сказать, чтобы овации были бурными и продолжительными, весело заметил доктор. Но аплодисменты действительно были.

И тогда Мариса сказала:

Он уже тогда мне нравился. Но в тот день, когда я его услышала, он и вправду меня заинтересовал. А еще больше, когда домашние предупредили: чтобы и близко не смела подходить к этому мужчине. Они ведь тотчас разведали, кто он такой.

А я считал ее модисткой, швеей.

Мариса засмеялась.

Да, я его обманула. Я ходила заказывать платье в мастерскую, которая стояла прямо напротив дома его матери. Вышла после примерки, а он в это время спешил к очередному пациенту. Оглянулся – я иду себе. Он посмотрел на меня и вдруг спрашивает: Ты здесь работаешь? Я кивнула. А он говорит: До чего красивая швея! Видно, ты шьешь только по шелку.

Доктор Да Барка не сводил с нее старых глаз, в которых татуировкой запечатлелась любовь.

В Сантьяго, среди археологических развалин, думаю, все еще валяется ржавый револьвер. Тот, что она принесла нам в тюрьму, чтобы мы попытались бежать.

2

Эрбаль почти всегда молчал.

Он так же старательно стелил скатерти на столы, как чистил замшей ножи и вилки. Вытряхивал пепельницы. Неспешно мел пол, чтобы метла успела заглянуть в каждый угол. Распылял по залу освежитель воздуха с запахом канадской сосны, если верить надписи на баллончике. И еще он зажигал неоновую вывеску над дверью, выходившей на шоссе: красные буквы и фигура валькирии, которая словно подпирала могучими ручищами свои груди-гири, силясь поднять их. Он включал музыкальный центр и ставил нескончаемый диск “Ciao, amore” – слова этой чувственной литании звучали здесь каждую ночь. Манила хлопала в ладоши, потом быстро поправляла прическу, как будто собиралась дебютировать в кабаре... Эрбаль отодвигал дверной засов.

Манила говорила:

Пора, девочки, сегодня к нам нагрянут парни в белых ботинках.

Белый тунец. Рыбная мука. Кокаин. Парни в белых ботинках завладели Фронтейрой, вытеснив оттуда старых контрабандистов.

Обычно Эрбаль стоял, облокотившись на стойку в самом ее конце, неподвижно, как караульный на посту. Девушки знали, что от его глаз ничего не укроется и что он словно на пленку снимает каждый шаг, каждый жест этих типов, у которых, по его же словам, лица гладкие, да язы-

ки острые. Изредка он покидал свой наблюдательный пункт, чтобы помочь Маниле, когда та сама не справлялась, обслужить посетителей, и проделывал это, как маркитант на поле боя — казалось, выпивку он лил прямо в душу клиенту.

Мария да Виситасау прибыла сюда с какого-то африканского острова в Атлантике. Без документов. Маниле ее, что называется, продали. На новой родине она успела увидеть разве только шоссе, тянувшееся в сторону Фронтейры. Она смотрела на него из окна своей комнаты, расположенной в том же доме, что и клуб. А клуб стоял на отшибе — других домов вокруг не было. На подоконнике у нее росла герань. И тот, кто видел Марию с улицы, когда она неподвижно сидела у окна, мог подумать, что на красивую, похожую на тотем головку сели красные бабочки.

На другой стороне дороги по обочине росли кусты мимозы. В ту первую зиму они очень ей помогали. Их цветы были похожи на поминальные свечки, так что, глядя на них, она забывала о мучительном холоде. И еще ей помогало пение дроздов — печальный посвист черных душ. За кустами мимозы раскинулось кладбище автомобилей. Порой она видела каких-то людей, рывшихся в железном хламе. Но единственным постоянным обитателем свалки был пес, прикованный цепью к машине без колес, которая служила ему конурой. Он забирался на крышу и гавкал без умолку день напролет. Вот от этого ей становилось холодно. Она считала, что попала далеко на север. Что выше Фронтейры начинается царство туманов, ветров и снега. У приезжавших оттуда мужчин в глазах пылали факелы. Заходя в клуб, они растирали руки и пили что покрепче.

И почти все они, за редким исключением, мало говорили.

Как Эрбаль.

Эрбаль ей нравился. Он никогда не ругался, ни разу не поднял на нее руки, как было принято, по ее сведениям, в других придорожных заведениях. Да и Манила тоже ее не била, хотя случались дни, когда рот хозяйки не закрывался, словно боевое орудие. Мария да Виситасау быстро уразумела, что настроение Манилы зависит от еды. Когда она ела в свое удовольствие, то и к девушкам относилась точно к родным дочерям. Но стоило ей обнаружить у себя прибавку в весе, как она начинала выстреливать ругательствами, будто вместе с ними хотела выпихнуть наружу и весь накопленный в теле жир. Ни одна из девушек толком не знала, какие отношения связывают Эрбаля с Манилой. Спали они вместе. Во всяком случае, в одной комнате. В клубе держали себя как хозяйка и работник, но Манила никогда не отдавала ему никаких распоряжений, а он, стало быть, никогда их не получал. И еще: она ни разу не сказала ему ни одного грубого слова.

Клуб открывался вечером, так что все они спали днем. Мария да Виситасау спустилась в зал, когда уже начало смеркаться. Ее мучило похмелье, рот — как пепельница, низ живота болел после крепких залпов контрабандистов, и ей очень хотелось холодного пива с лимонным соком. Ставни были закрыты, за столом, под лампой, которая бросала в полутьму конус света, сидел Эрбаль.

Он что-то рисовал на бумажной салфетке особым плотницким карандашом.

3

Мне очень жаль, приятель. И мой дядя нажимал на курок. Да, я предпочел бы не делать этого, дружок. И мой дядя со всей силы обрушивал толстую палку на голову попавшего в капкан лиса. Был один такой миг, ког-

да охотник и зверь — его добыча — глядели в глаза друг другу. Дядя говорил лису одними глазами, и я словно слышал его бормотанье, что у него, мол, нет другого выхода. Именно это почувствовал я, стоя тогда перед художником. В жизни я совершил много чего плохого, но, оказавшись перед художником, беззвучно прошептал, что мне очень жаль и я предпочел бы не делать этого. Не знаю, что он подумал, когда его взгляд наткнулся на мой взгляд — высекая влажную искру в ночи, — но хочется думать, он понял, угадал: я делаю это ради его же блага, чтобы избавить от мучений. Вот и все. Я приставил дуло пистолета к его виску — и голова художника дернулась. Тут-то я и вспомнил о карандаше. О карандаше, который он вечно носил за ухом. Вот об этом самом карандаше.

4

Парни из команды, которым хотелось, чтобы их называли "рассветной бригадой", сильно на Эрбаля разгневались. Сперва уставились на него, словно не веря своим глазам, вот осел, рука сорвалась, что ли? Кто же так убивает! Но потом весь обратный путь ругались: он со своим усердием испортил им праздник. Еще бы не испортил! Они ведь наверняка задумывали какую-нибудь мерзость. Может, хотели заживо отрезать ему яйца и засунуть в рот. А может, отрубить руки, как художнику Франсиско Мигелю или портному Луису Уиси. Ну-ка, модник, поди теперь пошей да покрои!

А ты не пугайся, девушка, и такое бывало, сказал Эрбаль Марии да Виситасау. Один из тех ребят сам мне поведал, как пошел выразить соболезнование вдове и положил ей на ладонь палец мужа. Она его по обручальному кольцу узнала.

Начальник тюрьмы очень переживал из-за таких историй; говорили, что в тюрьме сидят несколько его старинных друзей. Так вот, в ту ночь он сам попросил Эрбаля отправиться с командой расстрельщиков. Отозвал его в сторону. В руке часы, а рука-то дрожит. И едва слышно проговорил: Пусть он не мучается, Эрбаль. Но даже тут начальник не мог не порисоваться. Зашел вместе с командой в камеру. Художник, сказал он, вы свободны, можете выходить. А на башне Беренгела колокол только что полночь пробил. На волю в двенадцать ночи? — спросил художник недоверчиво. Выходите, выходите, некогда мне с вами разговоры разговаривать. А фалангисты смеются, дожидаясь в коридоре своего череда.

Эрбалю задание трудным не показалось. Потому, что он, когда приходилось убивать, вспоминал своего дядю-охотника, того, что придумывал зверям имена. Зайчих называл Хосефинами, лисов — донами Педро. И еще потому, что он проникся к художнику уважением. Художник был настоящим мужчиной. Он не раз попадал в эту самую тюрьму и всегда держал себя с тюремщиками так, словно то были капельдинеры в кинотеатре.

Художник ничего не знал об Эрбале, а вот Эрбаль о нем кое-что слышал. Говорили, будто его сынок в компании с другими молокососами обстрелял камнями дом одного немца, из тех, что были за Гитлера, а в Сантьяго этот немец давал уроки своего языка. Юнцы разбили ему все окна. Рассвирепевший немец явился в комиссариат и повернул дело так, будто это был настоящий международный заговор. В скором времени туда же пришел художник, притащив за руку сына, мелковатого и нервного мальчугана с выпученными от страха глазами. Отец сообщил, что парень — участник нападения. Даже комиссар лишился от такого дара речи. Заявление он принял, но потом велел обоим, отцу и отпрыску, идти куда подальше, да побыстрее.

Вот таким честным человеком был художник, сказал Эрбаль Марии да Виситасау. А схватили мы его среди первых. Он очень опасен, предупредил сержант Ландеса. Опасен? Да он мухи никогда не обидел. Эх, знали бы вы, загадочно ответил Ландеса. Это ведь он плакаты рисует, то есть делает наглядными и доходчивыми все их идеи.

Сразу после начала мятежа, поднятого Франко, в тюрьму доставили самых важных республиканцев. Были люди и помельче, но только те, чьи имена значились в таинственной черной книжке сержанта Ландесы. Тюрьма в Сантьяго, известная под названием "Фалькона", располагалась на задах дворца Раксоа, на склоне холма, который спускался к площади Обрадойро, прямо к собору, так что, вздумай кто прорыть там туннель, уперся бы прямо в крипту Апостола. Оттуда же начинался так называемый Инферниньо, или Маленький Ад. Каждый средневековый собор, каждый большой храм Божий непременно имел поблизости свой Маленький Ад — греховное место. Как раз за тюрьмой располагался Помбаль, иначе Голубятня, район красных фонарей.

Стены тюрьмы были сложены из каменных плит, теперь поросших мохом. Для тех, первых, арестантов преддверием смерти, к счастью, если можно, конечно, так выразиться, стало лето. Зимой тюрьма превращалась в воняющий плесенью ледник, и воздух там был тяжелым, как мокрые прелые листья. Но пока о зиме в "Фальконе" еще никто не думал.

В те первые дни все вели себя вполне сносно — и заключенные, и тюремщики, совсем как путешественники, которых авария застигла на обочине жизни и которые ждут: а вдруг удачным поворотом какого-нибудь рычага мотор опять заведется и поездку можно будет продолжить. Начальник тюрьмы даже разрешил родственникам навещать арестантов и приносить им домашнюю еду. Да и сами арестанты во время прогулок сбивались в кучки и выглядели вполне беспечно, особенно когда во дворе рассаживались кружком прямо на плиты или стояли, подпирая стены. Так же беспечно, как всего несколькими днями раньше, когда некоторые из них сидели в кафе "Эспаньол" в своих креслах за круглыми столиками, на которых дымились чашки кофе. Кстати, стены в кафе разрисовал тот самый художник. А еще арестантов можно было сравнить с рабочими во время перерыва, когда те, отвесив насмешливый поклон солнышку и сплюнув, словно ставя клеймо на только что вырытый котлован, отправляются в тень, где можно перекусить и поболтать. Кого-то арестовали в костюме, а кого-то и в майке... Долгое ожидание и пыльно-серые разговоры о том, что же с ними будет, всех их сделали похожими друг на друга — так сепия делает похожими меж собой людей на групповой фотографии. Мы все тут похожи на жнецов. Мы все тут похожи на бродяг. Мы все тут похожи на цыган. Нет, сказал художник, мы похожи на арестантов. Мы все тут постепенно окрашиваемся в цвет арестантов.

В часы дежурства Эрбаль слушал их разговоры, стоя неподалеку. Разговоры эти развлекали его почти как радио. Стрелка бегает туда-сюда по шкале пустой болтовни. Он приближался незаметно и с таким видом, будто до происходящего ему нет никакого дела, а потом замирал в дверном проеме, у выхода во двор, и стоял себе покуривая. Но о политике они начинали толковать только тогда, когда он снова исчезал. Если мы выкрутимся из этой истории, сказал Херардо, учитель из Порто-до-Сон, республиканцам придется устроить в стране генеральную уборку — знаете, как моряки чистят палубу после бури? Да, нам нужна федеративная республика.

Затем они беседовали об утраченном звене между обезьяной и человеком.

В некотором смысле, говорил доктор Да Барка, человеческое существо — не продукт совершенствования, а наоборот, результат особого рода болезни. Иначе говоря, мутант, от которого мы с вами произошли, вынужден был встать на ноги вследствие каких-то патологических изменений в организме, каких-то отклонений от нормы. Он был явно неполноценным по сравнению со своими четвероногими предками. А то, что он остался без хвоста и шерсти! С биологической точки зрения это было настоящей катастрофой. Мне кажется, что первый смех на земле — это смех шимпанзе, который увидел рядом с собой homo erectus. Вы только представьте себе картину: непонятное существо стоит на задних лапах — без хвоста и наполовину облысевшее... Тут и впрямь умрешь со смеху!

А я предпочитаю библейские предания любым эволюционным теориям, сказал художник. Если задумать некий идеальный фильм об истории нашего мира, то лучшего сценария, чем Библия, до сих пор написать не удалось.

Нет, сеньоры! Лучший сценарий — тот, которого мы пока не знаем. Неведомая нам поэма о клетке!

Да Барка, а правду ли написали в епископском листке, с усмешкой спросил Касаль[1], будто на одной лекции ты заявил, что человек тоскует по хвосту?

Все засмеялись, и первым засмеялся тот, к кому был обращен вопрос. Ответил он быстро:

Да, правду, и кроме того, я утверждал, что душа находится в щитовидной железе! Но раз уж о том зашла речь, скажу вам еще одну вещь. В клиниках нам попадались такие пациенты, которые, резко встав на ноги, чувствуют тошноту и головокружение; это рудиментарные признаки функционального нарушения, возникшего еще в ту пору, когда человеку пришлось привыкать к вертикальному положению. Ведь на самом-то деле человеку куда удобнее положение горизонтальное. А что касается хвоста, то это некая, скажем так, странность, биологический дефект — то, что человек его лишился или у него остался лишь жалкий обрубок хвоста. Но отсутствие хвоста — фактор, который нельзя не учитывать при попытке объяснить причины появления у людей потребности говорить.

Я вот чего никак не могу понять, сказал художник, как это ты, закоренелый материалист, веришь в неприкаянные души?

Минуточку! Я вовсе не материалист. Это было бы, если угодно, слишком примитивно, это было бы даже оскорбительно с моей стороны по отношению к материи, которая чего только не вытворяет, дабы снова и снова себя же и опровергнуть, одним словом, не дает себе скучать. Я верю в умную реальность, в сверхъестественную, так сказать, среду. Ведь тот мутант, который встал на задние лапы, ответил смехом на смех шимпанзе. Признал справедливость насмешки. Он и сам чувствовал себя ущербным, каким-то ненормальным. И поэтому у него появился инстинкт смерти. Он был разом и животным и растением. У него были корни и не было корней. Именно эта неразбериха, эта необычность породила узел великих событий. Вторую природу. Другую реальность. Как раз то, что доктор Новоа Сантос называл умной реальностью.

Я знал Новоа Сантоса, отозвался Касаль. Я издал одну его работу и могу даже сказать, что мы были друзьями. Это был чудесный человек. Слишком необычный для нашей весьма неблагодарной страны.

1. Активный республиканец-гальегист, участвовал в издании наиболее влиятельных газет и журналов 20-х гг., как, например, "Нос", где были напечатаны "Шесть галисийских стихотворений" Федерико Гарсиа Лорки. Во время франкистского мятежа являлся алькальдом Сантьяго, был арестован и казнен (в ту же ночь, что и Лорка). (*Прим. испанского издателя.*)

Касаль, алькальд города Сантьяго, который прежде редкие свободные часы посвящал изданию книг, немного помолчал и грустно добавил: Бедняки звали его Ново Санто[1]. А вот церковная и университетская публика ненавидела. Был случай, когда он явился в казино и разнес там все к чертовой матери. Потому что в этом самом казино проигрался один мальчишка и покончил с собой из-за долгов. У Новоа была своя идеология, что-то вроде собственного кодекса жизненного поведения: надо быть в меру покладистым и в меру бунтовщиком. Когда он получил кафедру в Мадриде и читал вступительную лекцию, весь амфитеатр, две тысячи человек, слушал его стоя. Ему аплодировали, как артисту, как Карузо. А ведь говорил он о рефлексах организма!

Будучи студентом, я имел счастье побывать на одном его занятии, сказал Да Барка. Мы сопровождали учителя, когда он отправился осматривать одного умирающего старика. Случай был какой-то непонятный. Никто не мог поставить точный диагноз. В больнице для бедных стоял такой холод, что изо рта вместе со словами вылетали облачка пара. И дон Роберто, понятное дело, даже не стал осматривать больного, а только коротко на него глянул и сказал: Этот человек страдает от холода и голода. Дайте ему побольше горячего бульона и накройте двумя одеялами.

А что, доктор, вы и вправду верите в неприкаянные души? — простодушно спросил Домбодан.

Да Барка обвел собравшихся по-театральному пронзительным взглядом.

Да, я верю в неприкаянные души, потому что видел их собственными глазами. И при обстоятельствах не совсем обычных. Еще в студенческие годы однажды ночью я отправился в оссуарий, который находился рядом с кладбищем Бойсака. Мне вскоре предстоял экзамен, и нужна была определенная кость — эсфеноид, очень трудная для изучения. Забавная такая косточка: напоминает летучую мышь с раскрытыми крыльями! И там, уже на месте, я вдруг услышал то, что никак не походило на обычный шум, словно сама тишина пела григорианский гимн. Так вот: прямо перед собой я увидел цепочку огоньков. Это были они — уж простите меня за педантизм и занудство, — крохи эктоплазмы покойных.

Извинялся он напрасно, потому что все отлично поняли, что́ он имел в виду. Слушали его очень внимательно, хотя у одних глаза выражали полное доверие, у других — явное сомнение.

И что?

А ничего. Я ведь не забыл захватить с собой горсть табака — на случай, если попросят. Но они прошествовали мимо — молчаливые, как мотогонщики.

А куда они пошли? — оробело спросил Домбодан.

На сей раз доктор посмотрел на него серьезно, словно хотел предупредить, что в словах его не будет ни капли насмешки.

Туда, где царит Вечное Безразличие, друг мой.

Но потом, заметив растерянность Домбодана, с улыбкой поправился: думаю, на самом деле они отправились в Сан-Андрес-де-Тейшидо, куда спешат после смерти те, кто не побывал там при жизни[2]. Да, скорее всего, они двигались именно туда.

А я вам сейчас расскажу одну историю. Молчание нарушил типограф Мароньо, социалист, которого друзья прозвали О'Бо[3]. И это не сказка. Это случилось на самом деле.

1. Новый святой (*галисийск.*). (*Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. перев.*)
2. Сан-Андрес-де-Тейшидо — деревня на атлантическом побережье Галисии, где расположен знаменитый монастырь; по преданию, тот, кто не совершил туда паломничество при жизни, непременно посетит его после смерти.
3. Добрый (*галисийск.*).

А где случилось?

В Галисии, пояснил О'Бо с нажимом. Где еще такое может случиться?

А!

Так вот. В некоей деревне под названием Мандоуро жили две сестры. Жили вдвоем, в простом доме, доставшемся им от родителей. Из дома было видно море и много кораблей, которые как раз там меняли курс, поворачивая из Европы в южные моря. Одну сестру звали Жизнь, а другую — Смерть. Они были пригожими девушками, здоровыми и веселыми.

И та, которую звали Смертью, тоже была красивой? — тревожно спросил Домбодан.

Да. И она тоже, но было у нее в лице что-то грубоватое, лошадиное. Однако сестры жили очень дружно, ладили меж собой. Вокруг них вилось много ухажеров, но девушки поклялись друг дружке, что кокетничать с парнями будут сколь душе угодно и даже принимать ухаживания, но навеки останутся вместе, никогда не разлучатся. И клятву свою держали. В праздничные дни сестры вместе ходили на танцы в деревню под названием Донайре, куда стекалась вся окрестная молодежь. Добираться до той деревни им приходилось по низкому заболоченному берегу — то место прозывалось Фронтейрой. Поэтому сестры всю дорогу шли в грубых деревянных башмаках, а нарядные туфельки несли в руках. У Смерти туфельки были белые, а у Жизни — черные.

А не наоборот?

Нет-нет. Я не ошибся. На самом-то деле и все остальные девушки поступали так же, как сестры. Шли в башмаках, а туфли несли с собой, чтобы не запачкались и к танцам оставались чистыми. И бывало, что у дверей стояла чуть не целая сотня пар деревянных башмаков — словно маленькие лодочки на песке. Парни ничего подобного себе, ясное дело, не позволяли. Они добирались туда верхом. И как только подъезжали поближе, заставляли коней выделывать всякие фокусы и фортели, чтобы покрасоваться и произвести впечатление на девушек.

Так время и шло, сестры ходили на танцы да любовь крутили, но рано или поздно непременно домой возвращались.

И вот однажды зимней ночью в море потерпел крушение корабль. Вы ведь сами знаете: в этих краях такие несчастья не редкость. Но то был случай не совсем обычный. Корабль назывался "Палермо", и вез он аккордеоны. Целую тысячу аккордеонов в деревянных футлярах. Вдруг налетел шторм, судно пошло ко дну, а весь груз волны выбросили на берег: море, все равно как взбесившийся докер, разбило ящики и вышвырнуло аккордеоны на песок. Аккордеоны всю ночь сами по себе играли, и мелодии их были по большей части очень печальными. Музыку подхватывал штормовой ветер и залетал с ней в окна домов. Две сестры, как и все девушки в округе, проснулись среди ночи и, не веря своим ушам, слушали небывалые напевы. А утром аккордеоны валялись на песке, словно тела утопленников. Все они оказались безнадежно испорченными. Все, кроме одного. Его отыскал в гроте юный рыбак. Он решил, что это дар судьбы, и выучился играть. Парень был весельчаком, душой любой компании, так что этот аккордеон небеса послали ему как нельзя кстати. Одна из сестер, Жизнь, увидала парня на танцах и влюбилась в него. Да так крепко, что решила: их любовь стоит дороже любых клятв и обещаний. И они вместе убежали, потому что Жизнь знала, какой у сестры бешеный нрав и какая она мстительная. А та и вправду замыслила отомстить. До сих пор не простила сестру. Бродит по дорогам, особенно в грозовые ночи, останавливается у тех домов, где на пороге башмаки стоят, и всякого встречного спрашивает: "Не видал ли ты случаем молодого аккордеониста и потаскуху Жизнь?" А того, кто отвечает, что знать ничего не знает и ведать не ведает, она с собой утаскивает.

Когда типограф Мароньо закончил свой рассказ, художник прошептал: Какая замечательная история.

Я услышал ее в одном кабаке. Такие заведения бывают полезней университетов.

Всех нас убьют! Вы что, не понимаете? Всех нас здесь перебьют!

Кричал арестант, который во время разговора сидел в углу, отдельно от остальных, погруженный в свои думы.

Вы там болтаете, рассказываете старушечьи байки. И делаете вид, будто не понимаете: всех нас здесь перебьют. Всех, всех! Всех до единого!

Они испуганно переглянулись, не зная, что теперь делать, словно синее жаркое небо над их головами вдруг разбилось на ледяные куски.

Доктор Да Барка подошел к нему и взял за руку.

Тихо, Бальдомир, тихо. Успокойся. Так можно и беду накликать.

5

Художнику удалось добыть плотницкий карандаш. И он носил его так же, как носят настоящие плотники, — за ухом, чтобы в любой миг можно было приняться за рисование. Прежде карандаш принадлежал Антонио Видалю, тому самому плотнику, что организовал восьмичасовую забастовку и писал этим карандашом заметки для "Корсара". Видаль подарил карандаш Пепе Вильяверде, плотнику, жившему на побережье, у которого были две дочери — Марикинья и Фратернидад. Вильяверде, по его собственным словам, был анархистом и гуманистом и любое свое выступление на рабочих митингах начинал с рассуждений о любви: "Ты живешь как коммунист, только если ты любишь, и в той мере, в какой ты способен на любовь". Когда его взяли служить на железную дорогу, Вильяверде подарил карандаш своему другу-синдикалисту столяру Марсиалю Вильямору. И тот, незадолго до того как его прикончили парни из расстрельной команды, подарил карандаш художнику, увидев, как тот пытается рисовать обломком черепицы портик "Глория"[1].

По мере того как тянулись дни, отмеченные огненным шлейфом дурных предзнаменований, художник все больше сил отдавал своей тетради. Пока другие беседовали, он без устали делал их портреты.

Теперь художник объяснял, кто есть кто в портике.

Собор стоял всего в нескольких метрах от тюрьмы, однако Эрбалю довелось побывать там только пару раз. Впервые — в детстве, когда родители в день святого Иакова пришли из своей деревни в город, чтобы продать семена капусты и лука. Он запомнил, как его подвели к святому с багром, велев сунуть пальцы в согнутую ковшиком деревянную руку, и как он стукнулся лбом о каменную голову. Тогда Эрбаля заворожили слепые глаза святого, и отец, смеясь беззубым ртом, дал ему подзатыльник — да такой, что искры из глаз посыпались. Добром его ничему не научишь, сказала мать. Ни добром, ни колотушками — будь уверена, отозвался отец. Во второй раз он попал в собор, когда уже носил форму. Их всех привели на благодарственный молебен. Людей набилось как сельдей в бочке, и они потели, слушая нескончаемую латынь. Зато кадило привело его в полный восторг. Это он отлично запомнил. Большое кадило — алтарь словно туманом заволокло, да и вообще все вокруг будто в сказке было.

А художник рассказывал им о своем портике "Глория", нарисованном толстым красным карандашом, который он, как заправский плот-

1. Портик "Глория" — портик в знаменитом соборе Сантьяго-де-Компостела, украшенный многочисленными скульптурами.

ник, постоянно носил за ухом. Каждый персонаж в его тетради был портретом кого-нибудь из товарищей по "Фальконе". И работой своей художник, казалось, был доволен. Ты, Касаль, сказал он тому, кто еще недавно занимал пост алькальда в Компостеле, ты — Моисей со скрижалями законов. А ты, Пасин, сказал он тому, кто был активистом профсоюза железнодорожников, ты — святой Иоанн Евангелист, видишь, у ног твоих орел. Ты, мой капитан, ты — святой Павел, сказал он лейтенанту Мартинесу, который сперва был карабинером, а потом, уже у республиканцев, стал членом муниципального совета. Среди узников находилось двое стариков — Феррейро де Сас и Гонсалес де Сесурес, их он, по его словам, изобразил на самом верху, в центре, в оркестре Апокалипсиса. А Домбодану, самому молодому и чуть придурковатому, он сказал, что тот — ангел, дующий в трубу. И так каждому, и все получились очень похожими — позднее в этом можно было убедиться воочию. Художник объяснил, что нижняя часть портика "Глория" населена чудищами с хищными когтями и клювами, и, услышав это, все примолкли, и молчание их выдало. Эрбаль заметил, как тотчас все глаза метнулись в его сторону, хотя он играл роль всего лишь немого свидетеля. Под конец художник заговорил о пророке Данииле. Некоторые утверждают, что в портике "Глория" только один он дерзко улыбается — чудо искусства, загадка для искусствоведов. Это ты, Да Барка.

6

Когда-то давным-давно художник отправился рисовать пациентов сумасшедшего дома в Конхо. Ему хотелось запечатлеть те пейзажи, которые психический недуг вырезает на их лицах, хотя дело тут не в болезни, а в некоей фатальной зачарованности бездной, сокровенной тайной. Душевный недуг, думал художник, будит в нас, людях здоровых, реакцию отторжения. Страх перед сумасшедшим рождается прежде, чем сострадание, которое к нам порой так и не приходит. Возможно, размышлял он, причина в том, что мы подозреваем: эта болезнь — часть некоего целого, которое можно назвать всеобщей душой, болезнь бродит себе свободно среди нас и выбирает по собственной прихоти то или иное тело. Отсюда стремление спрятать больного подальше от посторонних глаз. Художник с детских лет запомнил всегда запертую комнату в соседском доме. Однажды он услышал вой и спросил: Кто это там? Хозяйка ответила: Никто.

Художник хотел нарисовать незримые язвы бытия.

Сумасшедший дом потряс его. Нет, особой агрессивности по отношению к себе он у больных не заметил, только у немногих, и это скорее напоминало ритуал — будто они таким образом пытались сбить пафосность исподволь заданной аллегории. Больше всего поразил художника взгляд тех, кто никуда не смотрел. Отказ от пространства вокруг, совершенное вне-место их бытия, абсолютная не-материальность почвы, на которую они ступали.

Он постарался совладать с нервами и прогнал страх. Но рука продолжала вычерчивать линию тоски, оцепенения, бреда. Выводила какие-то лихорадочные спирали. Внезапно художник опомнился и глянул на часы. Он пропустил условленный час, когда должен был покинуть заведение. Близилась ночь. Он взял тетрадь и двинулся к привратницкой. На двери висел огромный замок. И рядом никого не было. Художник стал звать сторожа, сначала тихо, потом во всю глотку. До него донесся бой церковных часов. Девять. Он опоздал всего на полчаса, не так уж

это и много. А если о нем забыли? В саду, обняв ствол самшитового дерева, стоял больной. Художник подумал: дереву не меньше двухсот лет, и этот человек нуждается как раз в такой вот надежной опоре.

Прошло еще несколько минут, и художник вдруг осознал, что вопит от тоски, а мужчина, обнявший дерево, глядит на него с состраданием.

Но тут появился улыбающийся человек, молодой, правда одетый в строгий костюм, и спросил, что, собственно, происходит. Художник ответил: он — художник, ему позволили рисовать больных, и он пропустил условленный час, когда следовало покинуть заведение. Тогда молодой человек в костюме очень серьезно сказал:

То же самое случилось и со мной.

Потом добавил:

И вот уже два года я сижу взаперти.

Художник каким-то чудом смог увидеть собственные глаза. Снежная белизна и одинокий волк на горизонте.

Но я же не сумасшедший!

То же самое сказал и я.

Тут молодой человек понял, что художник находится на грани нервного срыва, улыбнулся и признался:

Это шутка. Я врач. Успокойтесь, сейчас я вас выведу.

Так художник познакомился с доктором Да Баркой. И это стало началом большой дружбы.

Гвардеец Эрбаль из полутьмы глянул на доктора, как смотрел много раз прежде.

Я ведь тоже очень хорошо знал доктора Да Барку, сообщил Эрбаль Марии да Виситасау. Очень хорошо. Он и представить себе не мог, сколько всего я о нем знал. Долгое время я был его тенью. Шел по следу, как охотничья собака. Он был *моим* человеком.

А началось все после февральских выборов 1936 года, на которых победил Народный фронт. Сержант Ландеса тайком собрал группу верных людей и сразу предупредил: этой нашей встречи никогда не было. Хорошенько вбейте себе в голову. Того, о чем вы здесь услышите, никто и никогда вам не говорил. Нет никаких приказов, нет инструкций, нет командиров или начальников. Ничего нет. Только я один, я — Дух Святой. И чтобы без вони. С сегодняшнего дня вы — тени, а тени не воняют, и дерьмо у них если и бывает, то белое, как у чаек. Я хочу, чтобы каждый из вас написал мне по настоящему роману об одном из тех типов, которых я сейчас перечислю. Я хочу знать о них все.

Когда он показал им список объектов, которые предстояло пасти, не выпуская из виду, — а там значились имена людей, более и менее известных, — гвардеец Эрбаль почувствовал, как у него защипало кончик языка. В списке стоял и доктор Да Барка.

Сержант, вот этим человеком мог бы заняться я. У меня есть зацепка.

А он вас знает?

Нет, даже не подозревает о моем существовании.

Только запомните, никаких личных счетов, нам нужна информация, прежде всего информация.

Никаких личных счетов нет, соврал Эрбаль. Я сделаюсь невидимкой. Я не силен в грамоте, но про этого типа запросто напишу вам целый роман.

Насколько мне известно, он хороший оратор.

Да, язык у него бойкий.

Что ж, за дело.

Об этой сходке, которой никогда не было, Эрбаль вспомнит какое-то время спустя, и снова в его памяти всплывет звон льющейся воды у

источника, где обычно мыли требуху, и тот миг, когда кто-то заговорил о художнике. Это не простой мазила, сказал сержант Ландеса агенту, которому было поручено наблюдать за художником. Он рисует идеи. Живет в доме Тумбоны. И все засмеялись. Все, кроме Эрбаля, который не понял, чего тут смешного, но доискиваться не стал. Только через несколько лет он узнает, почему все тогда гоготали. Ему объяснит сам художник. Тумбоной называли старую шлюху, которая обучала ремеслу молоденьких девушек. Обучала, например, как побыстрее избавиться от тяжелого мужского тела сверху, внушала золотое правило — сперва бери деньги, а потом обслуживай. Время от времени кое-кто к ней еще наведывался. Отцы и матери приводили девушек и спрашивали Тумбону. Моя жена, расскажет ему художник, отвечала, кусая губы, что нет здесь никакой Тумбоны. А потом плакала. Оплакивала каждую из этих девушек. И у нее были на то все основания. Потому что совсем неподалеку, на улице Помбаль, они легко находили другую сводню.

Через четыре месяца после сходки, в конце июня, Эрбаль передал сержанту донесение, касающееся Да Барки. Сержант взвесил его на руке. Да это и впрямь роман. Папка с ворохом листков, заполненных неуклюжим почерком. Обильные кляксы, зарубцованные с помощью промокательной бумаги, напоминали следы изнурительной битвы. Не будь кляксы синими, их вполне можно было бы принять за капли крови, которые падали со лба писавшего. В одном и том же абзаце палочки букв имели разный наклон — то вправо, то влево, словно идеограммы флота, потрепанного штормом.

Сержант Ландеса наугад вытащил какой-то листок и принялся читать. Это еще что? "Урок автономии с трупом!" — повторил он вслух, причем сделал это самым издевательским тоном. Анатомии, Эрбаль, анатомии!

Я вас предупреждал, сержант, что не сильно грамотен, обиженно перебил его гвардеец.

А это что: "Урок агонии. Аплодисменты"?

Это о профессоре. Начальнике Да Барки. Он улегся на стол и изобразил, как дышат больные перед смертью, то есть в два приема. Он говорил о том, что у некоторых умирающих случается что-то вроде озарения, и оно помогает им уйти из этой жизни умиротворенными. Сказал, что тело — оно очень мудрое. А потом помер, словно в театре. Вот ему и аплодировали, да еще как!

Надо непременно пойти посмотреть, язвительно отозвался сержант. Затем в изумлении поднял брови: а вот здесь что написано? И с трудом разобрал: "Доктор Да Барка. Красота, красота... Физическая красота?"

Дайте-ка посмотрю, сказал Эрбаль, заглядывая через плечо сержанта. Голос у него дрогнул, когда он узнал написанную им самим фразу. Чахоточная красота. Чахоточная красота, сеньор.

Он, то есть доктор Да Барка, осматривал вместе со студентами девушку из больницы для бедных. Сперва задавал ей всякие вопросы. Как зовут да откуда родом. Лусинда из Вальдемара. А он: Ах, какое красивое имя, да ах, какое красивое место! Потом взял ее за запястье и заглянул в глаза. И сказал студентам, что глаза — это, мол, зеркало мозга. После чего он вот что сделал — выстукал ей грудь и спину пальцами.

Эрбаль на миг замолк, взгляд его затуманился. Он воссоздавал в памяти сцену, которая одновременно и смутила, и зачаровала его. Девушка в очень тонкой рубашке... Гвардейца охватило такое чувство, будто он видел ее прежде, видел, как она расчесывает волосы, сидя у окна. А доктор осторожненько прикладывал к ее груди два пальца левой руки и средним пальцем правой постукивал. Локоть должен оставаться неподвижным. Проверяйте чистоту звука. Вот так. Глухо. Глухо. Уммм. Не глу-

хо и не звонко. А потом взял аппарат, которым слушают, и проделал тот же путь. Обследовал ей легкие. Уммм. Спасибо, Лусинда, можешь одеваться. Здесь ведь холодновато. Все будет хорошо, не унывай. А как только она ушла, он и говорит студентам: Звук как из старого горшка. Но на самом-то деле все это лишнее. Довольно взглянуть на худое и бледное лицо, на легкий румянец на щеках... Потный лоб – даже в этой холодной аудитории. Печаль во взгляде. Такая вот чахоточная красота.

Туберкулез, доктор! – выкрикнул студент из первого ряда.

Совершенно верно. И добавил с оттенком горечи:

Палочка Коха сеет туберкулез в розовом саду.

Эрбаль почувствовал, как к груди его прикоснулось холодное щупальце фонендоскопа. Чей-то голос повторял: Звук как из старого горшка!

Чахоточная красота. Эта фраза запомнилась мне, сержант. Вот я и записал.

А вы не выдали себя, явившись на факультет?

Я смешался с группой португальских студентов, которые пришли на занятие. Я хотел узнать, не ведет ли он часом пропаганду и на уроках.

После этого сержант больше ни разу не поднял глаз от полученных бумаг, пока не закончил читать. Казалось, его загипнотизировало то, что там описывалось, и время от времени по ходу чтения он что-то бормотал себе под нос. Так он кубинец? Да, сеньор, сын вернувшихся с Кубы эмигрантов. И одевается он элегантно, а? Еще как! Хотя на самом деле у него, по моей прикидке, всего один костюм и две бабочки. И он никогда не надевает ни пальто, ни шляпу. Что, ему всего двадцать четыре года? Выглядит он старше, сеньор. Иногда он отпускает бороду. Здесь написано, что даже безрукие тянут вверх свои культи вместо сжатых кулаков... Этот тип, видать, умеет говорить. Лучше священника, сеньор. А эта сеньорита Мариса Мальо, надо полагать, вполне ничего. Эрбаль промолчал.

Она красотка?

Да, она очень красивая, но к его делам никакого отношения не имеет.

К каким делам?

К его делам, сеньор.

Сержант просмотрел вырезки из газет, приложенные к отчету. "Субстрат души и умная реальность", "Детские гробы во времена Чарльза Диккенса", "Живопись Милле, руки прачек и невидимость женщины", "Дантов ад, картина 'Безумная Кэт' и сумасшедший дом в Конхо", "Проблема государства, основополагающее доверие и поэма 'Справедливость' Росалии де Кастро"[1], "Энграма пейзажа и чувство тоски", "Грядущий ужас: генетическая биология, желание быть здоровым и концепция жизни-балласта". Сержант с изумлением увидел, что под всеми статьями стояла одна и та же подпись – Д. Барковски.

Значит, Барковски? А? Как видно, твой объект покоя не знает. Врач в муниципальной больнице для бедных. Ассистент на медицинском факультете. И к тому же – памфлетист, лектор, оратор на митингах. Из больницы бежит в Республиканский центр, и у него еще хватает времени на то, чтобы сводить девушку в кино. Он закадычный друг художника, этого гальегиста, который рисует плакаты. Водится с республиканцами, анархистами, социалистами, коммунистами... Так кто же он такой, в конце-то концов?

Наверное, всего понемногу, мой сержант.

Анархисты с коммунистами ненавидят друг друга. Вчера, например, на табачной фабрике дело чуть не дошло до рукопашной. Да, странный тип этот Да Барка!

1. Росалия де Кастро (1837–1885) – галисийская поэтесса.

Думаю, он держится сам по себе. А для всех прочих — связующее звено.

Ладно, не спускай с него глаз. Та еще птичка!

Отчеты, лежавшие в папке, были написаны с простодушной неуклюжестью, отчего выглядели еще достоверней и убедительней, и там содержалось все, что надо знать о человеке. Его дружеские связи и каждодневные маршруты. Какие газеты он читает и какой марки сигареты курит.

Гвардеец Эрбаль очень хорошо знал доктора Да Барку, о чем тот даже не догадывался. Он уже давно не спускал с него глаз — и не потому, что ему так велели, а потому, что чувствовал к этому внутреннюю потребность. Он шел за ним, если угодно, как собака, взявшая след. Он ненавидел доктора Да Барку. Тот совсем недавно получил диплом лиценциата, а уже заслужил репутацию очень толкового врача. И слыл революционером. На митингах в деревнях он говорил по-галисийски с кубинским акцентом, потому что родился на Кубе в семье эмигрантов. Он обладал особым даром красноречия — мог заставить безногих встать на ноги, а безруких — поднять вверх кулак. Крестьян он призывал бороться против скверны и злой напасти.

Многие люди не понимали, чего хотят политики, а вот это — про злую напасть — было им очень даже близко. Вон к Эрбалю тоже в детстве какая-то напасть прицепилась, а может, и сглазил кто. С лица он сделался зеленым, противно-зеленым, все равно как щавель, и стал расти только вширь. В конце концов уже и ходить начал вперевалку, по-утиному. Его таскали по знахарям, пока один не велел отцу окунуть сына в настой табачной воды. Отец так и сделал. Эрбаль уверен — и доказательством тому некоторые случаи, которые нет нужды здесь поминать, — что отец был способен утопить его и взаправду. Эрбаль вывернулся и укусил отца за руку. Тот рассвирепел, осыпал его проклятьями и окунул с головой в бак с лекарственным настоем. И держал под водой, пока мальчишка не перестал дрыгаться.

Так вот, едва я оттуда выбрался, враз стал табачного цвета, потом начал расти вверх и стал тощим, вот как сейчас.

Да, он отлично понимал, о чем идет речь на митингах Народного фронта. Кстати, сам он впервые надолго покинул деревню, только когда его призвали на военную службу. И это было все равно что глоток свежего воздуха. Если не считать кратких отпусков, то в родные места он приезжал еще два раза — чтобы похоронить родителей. В армии он попал в одну из частей, которыми командовал генерал Франко. Как раз тогда, в 1934 году, Франко задушил — именно это слово все в то время употребляли — восстание шахтеров в Астурии. Женщина, упавшая на колени перед мертвым мужем, крикнула Эрбалю: Солдат, ты ведь тоже народ! Да, подумал он, тут она права. И будь он проклят, этот народ, будь проклята нищета! Впоследствии он старался за любые свои услуги непременно получать вознаграждение. Затем перевелся в гражданскую гвардию.

Доктор Да Барка знал, что говорит. Вскорости и к нему самому пришла напасть. А Эрбаль оказался среди тех, кто явился, чтобы доктора арестовать, вернее, именно он, Эрбаль, ударил доктора прикладом по голове и свалил с ног. Даниэль Да Барка был высоким и смелым, в лице его все как-то по-особому выпячивалось вперед. Выпуклый лоб, еврейский нос, рот с толстыми губами. Когда он хотел что-то объяснить, то крыльями раскидывал руки в стороны, и пальцы его приходили в движение, будто он пользовался азбукой глухонемых.

В первые дни франкистского мятежа доктор скрывался. А они выжидали, пока он потеряет бдительность, поверив, что облавы пошли на убыль. Когда он приблизился наконец к материнскому дому, на него накинулись сразу пятеро, весь патрульный отряд, но он отбивался как дикий зверь. Мать истошно вопила из окна. Правда, больше всего их взбесило то, что из расположенной напротив мастерской выскочили на улицу швеи. Они плевались и на чем свет стоит костерили солдат, а одна так даже хватала их за мундиры и царапалась. У доктора Да Барки кровь шла изо рта, носа, ушей, но он не сдавался. Тут гвардеец Эрбаль и ударил его прикладом по голове — доктор сразу как подкошенный рухнул на землю.

И тогда я повернулся к швеям и прицелился. Не удержи меня сержант Ландеса, уж не знаю, чего бы я натворил, потому что меня до белого каления довели эти девчонки, голосившие почище вдовьего хора. Ладно, понятно мать, но они-то, они-то?.. И тут я выкрикнул то, что грызло меня изнутри. Чего только вы все нашли в этом мерзавце? Чем он вас приворожил? Шлюхи, шлюхи! Все как одна! Сержант Ландеса дернул меня за рукав и сказал: Хватит, Эрбаль, у нас еще полно работы.

7

У доктора Да Барки была невеста. И эта невеста была самой красивой девушкой на свете. На том, понятно, свете, который Эрбаль успел повидать, да наверняка и на том, которого повидать ему не довелось. Звали ее Мариса Мальо. Эрбаль был сыном бедных крестьян. В их деревенском доме почти не было красивых вещей. Надо думать, поэтому он никогда и не тосковал по своему дому, всегда полному дыма и мух. Память Эрбаля, как трубопровод, протянутый через годы, воняла навозом и карбидным газом. В том доме всё, начиная со стен, было покрыто патиной прогорклого сала, грязно-желтым слоем, который настырно лип к глазам. И по утрам, выгоняя коров, Эрбаль все вокруг видел словно сквозь грязно-желтые очки. Даже зеленые луга. Но в доме были две вещи, которые представлялись ему настоящими сокровищами. Первая — его маленькая сестренка Беатрис, белокурая, с голубыми глазами, вечно простуженная, отчего из носа у нее вечно торчали зеленые сопли. Вторая — старая жестяная банка из-под айвового мармелада, где мать хранила свои драгоценности. Агатовые серьги, четки, медальку из венецианского золота — мягкую, как шоколад, серебряный дуро времен короля Альфонсо XII, унаследованный от отца, и несколько посеребренных зажимов для волос. А еще там лежал флакон с двумя таблетками аспирина и первый зуб Эрбаля.

Он клал зуб на ладонь, и тот казался ему пшеничным зернышком, обгрызенным мышью. Но по-настоящему красивой была сама жестяная банка с проржавевшими швами и картинкой на крышке: девушка с неведомым фруктом в руке — гребень в волосах, красное платье в белые цветы с оборками на рукавах. Когда он впервые увидел Марису Мальо, ему показалось, что это та самая девушка с жестяной банки из-под мармелада вышла прогуляться по ярмарке во Фронтейре. Семейство Эрбаля отправилось туда, чтобы продать кабана и молодой картофель. От их деревни до Фронтейры ходу было три километра по грязной тропинке. Первым шагал отец в фетровой шляпе с маленькой дочкой на руках, последней — мать с тяжелой корзиной на голове, а он, Эрбаль, — посередке, волоча за собой кабана на веревке, обвязанной у того вокруг ноги. И

как ни бился с ним Эрбаль, кабан все норовил поваляться в грязи, так что, когда они добрались до Фронтейры, стал похож на огромного крота. Отец дал Эрбалю затрещину: Ну кто теперь купит этакого урода? Эрбалю пришлось сидеть и пучком соломы чистить кабанью щетину. И тут он поднял голову и увидел ее. Она проходила мимо — королева в букете подруг. Можно было подумать, что они и сопровождают ее лишь ради того, чтобы все показывали пальцем со словами: вот королева. Девушки, как стайка бабочек, носились туда-сюда, а Эрбаль провожал их взглядом, пока отец костерил его на чем свет стоит: Ну кто теперь купит такого замызганного кабана? А Эрбаль мечтал: был бы кабан барашком, она подошла бы к ним и окунула пальцы в мягкую шерстку. Самого тебя надо бы продать вместо кабана, ворчал отец. Да кто на дурака позарится!

Отец был таким. Если начинал утро с ругани, назад ходу не было, он словно копал и копал весь день без продыху дерьмовую яму у себя под ногами. А я думал: а здорово было бы, если бы кто-нибудь и на самом деле купил меня и увел с собой, привязав веревкой за ногу.

Наконец они все ж таки продали и кабана, и молодой картофель. Мать купила банку масла, на которой была нарисована женщина, тоже похожая на Марису Мальо. И они еще много раз всей семьей бывали на большой ярмарке во Фронтейре. Но Эрбаль уже не обращал внимания на отцовскую ругань. Для него это были праздничные дни — самые главные в году. Он пас коров и мечтал о том, чтобы поскорее наступило первое число месяца. Он видел, как растет и становится женщиной Мариса Мальо. Она была из семьи местных богачей: крестница алькальда, дочь нотариуса, младшая сестра приходского священника Фронтейры. А главное — внучка дона Бенито Мальо. К тому же у Эрбаля никогда не было барашка, чтобы она могла подойти и погладить его мягкие кудри.

8

Когда, покончив с художником, они ехали на машине обратно и пока остальные члены расстрельной команды прямо из горлышка пили коньяк, он впервые заметил, что с головой у него что-то не то. Как будто туда забрались какие-то люди. Фалангисты уже перестали злиться и даже с хохотом хлопали его по плечу. Пей, черт тебя подери, пей! Но он ответил им, что не пьет. Они опять покатились со смеху. С каких это пор, Эрбаль? И он очень серьезно сказал, что и раньше никогда не пил, никогда. Я не переношу спиртного. Брось, ты ведь вечно ходишь опухший с перепою! Оставь его, бросил через плечо тот, что сидел за рулем, у него сегодня какая-то особенная ночь. Вон даже голос вроде как переменился.

Эрбаль больше не проронил ни слова. Еще тогда, услышав выстрел, он ощутил острую тоску. Теперь они ехали по очень прямой дороге, и он карандашом плотника рисовал портик "Глория". И делал это с совершенно необъяснимым умением. К тому же он вдруг почувствовал, что отныне может все что угодно растолковать с помощью слов, которых никогда прежде в речи не употреблял. Красота ангелов, держащих в руках орудия казни Христовой, объясняла ему теперь его же собственная голова, это красота скорбная, в ней явлена печаль по несправедливо умерщвленному Сыну Божьему. А когда Эрбаль нарисовал пророка Даниила, у него получилась веселая каменная улыбка, и, проследив направление собственного взгляда, он нашел объяснение сей загадки. По пло-

щади Обрадойро шла Мариса Мальо, вся залитая солнечным светом, и в руках она несла корзинку, накрытую белой салфеткой.

Как прошло вчерашнее дело, Эрбаль? — мрачно спросил его начальник тюрьмы.

Он был назарянином, сеньор.

Эрбаль заметил, что начальник уставился на него в изумлении, и тотчас вспомнил, как ночью кто-то из расстрельной команды сказал, будто у него изменился голос. Впредь лучше помалкивать. Или произносить что-нибудь покороче. Да, сеньор, нет, сеньор.

Так что когда вошла Мариса Мальо с корзинкой, он ответил на ее "добрый день" мычанием и резким взмахом руки, который означал: ставь корзину сюда, я буду ее проверять. Но, едва подняв салфетку, он обратил внимание на кусок деревенского сыра, завернутый в капустный лист. Так-так, а вон и рукоятка, подсказал ему видоискатель, отныне засевший у него в голове. На следующий день она опять пришла с корзинкой, и он ясно различил в пироге револьверный барабан, но жестом показал, что все, мол, в порядке и корзинку можно передать. На третий день он уже наверное знал, что в хлебе окажется ствол револьвера. И с любопытством ждал следующей передачи. Тем утром у Марисы были темные круги под глазами, каких никогда прежде он не замечал, потому что только теперь Эрбаль осмелился наконец-то глянуть ей в лицо, и еще он осмелился раздеть ее взглядом — всю, с ног до головы, и увидел то, что было под одеждой, как раньше видел насквозь сыр, пирог и хлеб. Я принесла форель, сказала она. И он различил в брюхе каждой форели по патрону и сказал: хорошо, я все передам, а ты ступай.

До сих пор он избегал взгляда Марисы Мальо. И, не отваживаясь поднять голову, впивался глазами в ее запястья. Ему стало по-настоящему больно, когда он сам удостоверился, что слухи не обманывают — все правда. Она и на самом деле вскрыла себе вены на руках, когда ее родственники, очень важные сеньоры, стали требовать, чтобы она забыла доктора Да Барку. Мариса Мальо сильно исхудала — прямо кожа да кости. Мариса Мальо вместо браслетов носила на запястьях белые бинты. Мариса Мальо готова была умереть за доктора Да Барку. И тогда Эрбаль зашел в караульное помещение и там незаметно подменил спрятанные у форели в брюхе патроны: подсунул вместо них патроны другого калибра. Темной ночью доктор Да Барка собрал револьвер и попытался зарядить, но тотчас понял, что задуманная операция провалилась — побег не состоится. И тогда он расшатал каменную плитку в полу и, к удивлению товарищей, схоронил под ней револьвер с непригодными патронами.

Несколько ночей спустя расстрельная команда пришла и за ним. В ней были люди из Фронтейры, которые хорошо знали доктора и мечтали свести с ним счеты. В команду попал даже один нерадивый студент-медик. Но Эрбаль не пустил их в камеру. Чей-то чужой голос диктовал ему из головы на манер суфлера: Скажи им, что его здесь нет, что днем его по ошибке увезли в Корунью. Надо же! А ведь тот, кого вы ищете, как раз сегодня был отправлен в Корунью — там будет проводиться предварительное следствие. Вот уж кому я не завидую! У тех, кто явился за доктором, было вполне конкретное задание, а также приказ какого-то начальника. Для пущей убедительности Эрбаль провел рукой по горлу и добавил: Ему устроят публичную казнь, как он того и заслуживает. Дня через два-три его прикончат на Крысином поле, так что можете о нем позабыть и — да здравствует Испания!

В его выдумке была доля истины: за последние дни многих заключенных и на самом деле увезли в тюрьму Коруньи. Той же ночью гвардеец Эрбаль тайком проник в кабинет начальника и, порывшись в бумагах, отыскал приказы о пересылке. На завтрашний день были намечены трое учителей. Покойник, засевший у Эрбаля в голове, сказал ему: Возьми приказ, теперь бери ручку начальника и впиши вот в этот пробел полное имя Да Барки. Не беспокойся, с почерком я тебе помогу.

На следующий день Эрбаль столкнулся в дверях с доктором Да Баркой, которого отправляли на новое место. Он был в наручниках и имел при себе единственную вещь — чемоданчик, который служил ему еще на воле — с ним он совершал обход пациентов. Эрбаль заметил, как Да Барка вперил в него суровый взгляд, и глаза его говорили: вот тебя-то я никогда не забуду, это ты убил художника, пусть жизнь твоя будет долгой, чтобы в душе твоей вызрел вирус раскаяния и чтобы ты сгнил заживо. Когда в час, назначенный для посещений, пришла Мариса Мальо, Эрбаль сообщил ей, что того, другого, здесь уже нет, что тот, о ком она справляется, больше здесь не числится, нет его и точка! — и Эрбаль цедил слова равнодушно, будто тот, о ком идет речь, совершенно ему незнаком, просто какой-то человек, растворившийся во времени. А делал все это он только ради того, чтобы увидеть, какова бывает печаль у самой красивой женщины на свете. Увидеть, как нарождаются слезы из неведомого родника. И когда прошло несколько бесконечных секунд, Эрбаль, словно ловя на лету тонкую фарфоровую чашку, которая вот-вот разобьется вдребезги, добавил: Он в Корунье. Живой.

В тот же день он явился к сержанту Ландесе. Мой сержант, я хотел бы просить вас о личном одолжении. В чем дело, Эрбаль? Сержант Ландеса ценил его. Эрбаль всегда без лишних рассуждений выполнял любой приказ. Они хорошо понимали друг друга. В детстве оба хлебнули лиха. Я вот о чем хотел вас просить, мой сержант, пособите мне перевестись в Корунью. У меня там сестра живет, и муж ее колотит, я поселюсь у них, чтобы чуть укротить его норов. О чем разговор, Эрбаль! И двинь ему по яйцам — от меня тоже. Сержант Ландеса написал нужную бумагу и поставил на нее печать, потому что сержант Ландеса по непонятной причине имел куда больше власти, чем полагалось ему по званию. Затем Эрбаль отправился к офицеру, в обязанности которого входило утверждение переводов внутри корпуса. Был он человеком дотошным и подозрительным, из тех, что полагают, будто их работа состоит в том, чтобы вставлять всем палки в колеса, и что это и есть важнейшая из всех задач. Когда Эрбаль сообщил ему о своем желании оформить перевод в тюрьму Коруньи, офицер, не дав ему договорить, вскочил с места и произнес пылкую речь. Мы ведем беспощадную войну со злом, от нашей победы зависит судьба всего христианского мира, тысячи людей в этот миг рискуют жизнью в окопах. А здесь, чем занимаются здесь? Строчат какие-то прошения. Бабьи забавы. Добровольцев, добровольцев, рвущихся в бой за Господа нашего, вот кого желал бы я видеть выстроившимися в длинную очередь у дверей этого кабинета. И тогда Эрбаль протянул ему бумагу, подписанную сержантом Ландесой, и офицер побледнел. Какого черта вы сразу не сказали, что работаете на разведку? И художник шепнул ему, словно от души забавляясь происходящим: Скажи ему, что в твою задачу не входит пустая болтовня. Но Эрбаль промолчал. Завтра вы должны явиться к новому месту службы. И забудьте все, что здесь услышали. Главное наше сражение происходит в тылу.

9

В тюрьме города Коруньи сидели сотни заключенных. Казалось, дело здесь было организовано куда лучше, поставлено почти что на промышленные рельсы. Даже ночные выдергивания. Смертников обычно далеко не возили, все происходило на Крысином поле у самого моря. Во время казни лучи Геркулесова маяка, похожие на крылья ветряной мельницы, выхватывали из мрака белые рубашки приговоренных. Море рычало в скалистых берегах — от мыса Эрминии до Сан-Амаро, — как взбесившаяся корова, которая мечется в окнах коровника, где давно опустели кормушки. После каждого залпа наступала тишина — ни крика, ни стона. Пока снова не начинался монотонный, как литания, рев бешеной коровы.

Среди забав ночных палачей была и такая, как отсроченная смерть. Иногда кто-нибудь из узников, обреченных на гибель, выживал, кого-нибудь пуля щадила. Но эта удача, эта ненароком дарованная жизнь делала положение жертвы еще более трагическим — и в самый миг спасения, и позже. В миг спасения — потому что крошечная и своенравная надежда мешала ему, словно булыжник на дороге, сострадать тем, кто шел в одной с ним связке. Позже — потому что тот, кто возвращался, в глазах своих нес память о пережитом ужасе.

Однажды в самом начале сентября, ближе к вечеру, когда Эрбаль одиноко сидел в сторожевой башенке и следил за полетом баклана, голос художника сказал ему: Нынче ночью постарайся вызваться добровольцем. И Эрбаль, без опасения быть услышанным, гневно крикнул: Отстань! Да ты что, Эрбаль, неужто хочешь отречься от него? Это теперь-то? Отстань, художник, знал бы ты, как он на меня смотрит. Будто по шприцу в каждый глаз вкалывает. Он считает, что, когда Мариса приходит на свидание, я нарочно вклиниваюсь между ними, чтобы подслушать, о чем они говорят, и не позволяю им коснуться друг друга даже кончиками пальцев. Этот тип понятия не имеет, что такое приказ! Ну ведь ты мог бы, возразил ему художник, хоть изредка притворяться слепым. Я так и сделал, сам знаешь, что я так и сделал — и даже разрешил им соединить кончики пальцев.

А о чем они говорили? — спросила Мария да Виситасау, о чем они говорили, когда соединили кончики пальцев?

Там было очень шумно. Столько заключенных и посетителей, что, кричи не кричи, все одно плохо слышно. Но говорили они те вещи, которые обычно и говорят друг другу влюбленные, только еще чуднее.

Он сказал, что, когда выйдет на свободу, поедет в Порто на рынок Бельяо и купит ей мешочек с разноцветными бобами — теми, что у нас называют диковинками.

Она сказала, что подарит ему мешочек с часами и минутами. Что она знает одного торговца из Валенсы, который продает потерянное время.

Он сказал, что у них будет дочка и она будет писать стихи.

Она сказала, что ей приснилось, будто у них уже много лет как есть сынок, что он уплыл на корабле в Америку и стал скрипачом.

А я подумал, что от таких профессий в наши времена толку не слишком много.

В ту ночь Эрбаль был начеку — чтобы, когда наступит час выемки, вызваться добровольцем в команду расстрельщиков. И вот ведь что любопытно. Без всякого особого уведомления, будто причиной тому козни луны, вся тюрьма знала, когда наступает ночь расправы. Эрбаль, стоя вместе с другими расстрельщиками перед доктором Да Баркой, изобра-

зил полное безразличие, словно видел доктора в первый раз. Но потом, уже прицелившись, вспомнил своего дядю-охотника и сказал доктору взглядом: Я предпочел бы не делать этого, приятель. Прошедшие школу страданий арестанты, когда их на Крысином поле ставили на кучи мусора, старались держаться прямо, но сильный ветер с моря раскачивал их, как белье, развешанное на корабельной палубе. Тот, кто стрелял первым и, так сказать, открывал охотничий сезон, подождал, пока уйдет луч маяка и наступит долгая пауза кромешной тьмы. А стреляли они против ветра. Казалось, еще чуть-чуть — и норд-ост опрокинет покойников прямо на палачей.

Доктор Да Барка продолжал стоять.

Увези его, торопливо прошептал художник. Не стреляй.

Этого я отвезу назад! — сказал Эрбаль. И быстро сорвался с места, как охотник, который держит за крылья еще живого голубенка.

Кто возвращался из путешествия в смерть, тот переходил в совсем иной порядок бытия. Некоторые лишались рассудка и всю дорогу назад без умолку что-то говорили. Для самих расстрельщиков такой человек превращался в существо все равно что невидимое и по-своему неуязвимое — какое-то время его следовало не замечать, пока вновь не обретет природное свойство смертности.

Но за доктором Да Баркой во второй раз явились всего через несколько дней.

Эй, просыпайся, засовы гремят! — поднял тревогу художник, дергая Эрбаля за ухо. Нет, нет, на этот раз я в это дело ни за что не полезу, сказал ему гвардеец. Хватит. Оставь меня в покое. Если ему суждено умереть, пусть наконец умрет. Послушай! Ты что, пойдешь на попятный? Ты ведь ничем не рискуешь, сказал художник. Разве? — едва не завопил Эрбаль. Я ума решусь, этого тебе кажется мало? По нынешним временам сойти с ума — не так уж и плохо, отрезал художник.

Охранники, дежурившие у главных ворот, пропустили в тюрьму группу расстрельщиков, но Эрбаль никого из них не знал, за исключением одного, и тут даже он, ко всему привычный, содрогнулся. Это был священник, которого когда-то Эрбаль видел на официальной церемонии с кадилом в руке. Теперь священник красовался в голубой рубашке, на боку — пистолет. Они двигались по коридорам, заглядывали в камеры, отбирали по списку людей. Все? Одного не хватает. Даниэля Да Барки. В ответ настороженная тишина, как во время ночного бдения у гроба. Фонарик высветил чью-то фигуру. Домбодан. И Эрбаль сказал: Кажется, этот.

И тут же раздался решительный голос призрака:

Кого вы ищете?

Даниэля Да Барку!

Это я, я готов.

А теперь что мне делать? — растерялся Эрбаль.

Иди с ними, дурень, приказал художник.

По камерам мгновенно разнеслась весть. Доктора Да Барку уводят на казнь во второй раз. Словно шагнув к последнему пределу испытаний, тюрьма извергала из себя все те крики отчаяния и ярости, которые накопила за нескончаемое лето 1936 года. Кричали даже трубы, решетки и стены. Лавиной хлынула ненависть, которой заражали друг друга люди и вещи.

По дороге на берег Сан-Амаро Эрбаль изрек: Этот будет моим. У меня к нему свой счет.

Он потащил доктора на песчаную полоску. Ударом кулака в живот поставил на колени. Схватил за волосы: открывай рот, сука! Ствол пистолета — в зубы. Пожалуй, он мне еще и зубы выбьет, мелькнуло у доктора. Эрбаль сунул ствол поглубже в рот. Ноготь смерти царапнул нёбо. Но в последний миг рука Эрбаля все ж таки дрогнула.

Одним педиком меньше, сказал он.

Утром доктора подобрали прачки. Обмыли ему раны морской водой. Внезапно нагрянули солдаты. А этот здесь откуда? Откуда же еще? Из тюрьмы, как и те. И кивнули на мертвые тела. Что вы с ним сделаете? — спросили женщины. Как что, отправим обратно, ничего другого не остается. Иначе нам яйца поотрезают!

Бедняга! Да есть ли Бог на небесах?

Рана у доктора Да Барки оказалась чистой. Пуля прошла через горло, не задев ничего жизненно важного. Он потерял много крови, сказал доктор Соланс, но если ему хоть чуть повезет, сумеет выкарабкаться.

Пресвятая Дева! Можно подумать, что это чудо, знак свыше! Выходит, даже в преисподней действуют свои законы, заметил тюремный капеллан. Теперь им придется ждать военного трибунала. Тогда и расстреляют его, как Бог велит.

Беседа протекала в кабинете начальника тюрьмы. Тот тоже заметно нервничал: Не знаю, что происходит там, наверху, но они очень недовольны. Говорят, что мы давно должны были прикончить этого доктора Да Барку — в числе первых, как только развернулось наше Движение. Они не желают, чтобы дело дошло до трибунала. У него, видите ли, двойное гражданство, может завариться каша.

Он подошел к окну. Вдалеке, у Геркулесова маяка, каменотес трудился над каменными крестами. Они хотят, чтобы он исчез навсегда, надо любым способом вывести его из игры. Кстати, у него есть невеста — настоящая королева. Красавица, уж вы мне поверьте. Короче. Мертвые, которые никак не желают умирать, — это гнусность.

Этот человек жив, с непривычной для него твердостью сказал доктор Соланс. Я принес врачебную клятву и намерен ее исполнить. Теперь его здоровье в моих руках.

Пока шло лечение, доктор Соланс бессменно дежурил в лазарете. По ночам запирался изнутри. Когда доктор Да Барка смог говорить, они нашли неисчерпаемую тему для бесед: “Общая патология” доктора Новоа Сантоса.

Кстати, святой отец, сказал начальник тюрьмы, ободренный откровенным тоном разговора, а что у вас там думают о Домбодане, о том самом, которого называют Малышом?

Что о нем думают у нас? А чего о нем, собственно, думать? — спросил священник.

Он приговорен к смерти. Хотя все знают, что он просто деревенский дурачок. То есть умственно неполноценный.

10

В тюрьме лучшим доказательством дружбы была помощь особого рода — искать друг у друга вшей и прочих паразитов. Как матери ищут их у детей.

Мыла не было, и одежду стирали просто в воде, да и той не хватало. Вшей и клещей терпеливо выбирали руками. Второе место по численно-

сти среди тюремной фауны занимали крысы. Они вели себя здесь по-свойски. Ночью бегали прямо по телам спящих арестантов.

Только вот какого черта они здесь едят?

Сны, говорил доктор Да Барка. Они грызут наши сны. Крысам все равно, что есть, — сожрут хоть потустороннее, хоть посюстороннее.

А еще в тюрьме жил сверчок. Его поймал в патио Домбодан. Смастерил для него картонный домик, и дверь его всегда оставалась распахнутой. Сверчок день и ночь стрекотал на столике в лазарете.

Когда Да Барка выздоровел, его дело рассмотрел военный трибунал и приговорил доктора к смертной казни. Его считали одним из руководителей Народного фронта, политической коалиции "Анти-Испания", которая вела пропаганду за автономию Галисии, то есть он был признан сепаратистом и мозговым центром "революционного комитета", организовавшего сопротивление "победному Движению" 1936 года.

В течение нескольких месяцев в кабинетах новой власти шли нешуточные споры. О деле доктора Да Барки пронюхали за границей, была развернута международная кампания за его помилование. Нельзя сказать, чтобы победившая сторона была очень уж чувствительна к такого рода давлению, но в данном случае имелось-таки одно обстоятельство, которое мешало привести приговор в исполнение. Осужденный родился на Кубе и потому имел двойное гражданство. Правительство Кубы числилось в союзниках Франко. Все газеты на самых видных местах большими буквами печатали воззвания в защиту Да Барки, призывали к милосердию. Даже люди самых консервативных взглядов не остались равнодушны к истории человека, который с чудесным упорством раз за разом вырывался из когтей смерти. Хроникеры описывали подробности судебного заседания так, будто получали новости через Атлантику по тайному радиотелефону; они особо подчеркивали мужественное поведение молодого врача, когда он предстал перед трибуналом, состоявшим из одних только военных. Чаще всего повторяли версию, согласно которой он закончил свою речь стихами, заставившими зал содрогнуться:

> Вот она, Испания! Ошеломленная, истерзанная,
> несет непосильный груз своего несчастья.

А некий журналист добавил в описание еще одну деталь, возможно апокрифическую, хотя и сделал он это с самыми благородными целями. Автор хроники был известен любовью к ярким мазкам. По его словам, доктор весьма уместно процитировал Хосе Марти:

> И злого друга я прощу.
> Пусть он мне сердце рвет и мучит,
> Я не сорняк ему колючий,
> А розу белую ращу[1].

Потом передавали, будто он и на самом деле начал читать стихи, но его прервали на полуслове. Я находился там и могу с уверенностью заявить: ничего подобного не было, рассказывал Эрбаль Марии да Виситасау. Доктор Да Барка никаких стишков не декламировал. Он говорил стоя, очень размеренным тоном, будто запускал на веревке бумажного змея, и

1. Перев. А. Аленникова.

это уже само по себе выводило из себя членов трибунала, ведь обычно подсудимым если и предоставлялось слово, то формально, и все торопились поскорей закончить спектакль. Сперва доктор повел речь о правосудии, и мне все, что он произносил, показалось полной галиматьей, но, по крайней мере, было ясно, куда он клонит. Потом заговорил о лимонах и Домбодане. Этот Домбодан был уже вполне взрослым парнем, добряком и милягой, но слегка чокнутым, из тех, кого в наших местах называют простой душой или божьим человеком. Его арестовали вместе с шахтерами из Лоусаме, которые, прихватив с собой взрывчатку, отправились защищать Корунью. Он залез к ним в грузовик, а они его, понятное дело, гнать не стали, потому что Домбодан всюду таскался с шахтерами и был для них все равно что талисман. И вот теперь его собирались расстрелять. А он даже не сознавал, что его вот-вот убьют. О самом себе доктор Да Барка не сказал ни слова, и я думаю, членов трибунала это взбесило больше всего. К тому же наступило время обеда.

Сеньоры члены трибунала, услышали бы мы, доведись нам оказаться в зале, справедливость относится к сфере душевных импульсов. И поэтому она может проклюнуться в самых неподходящих для того ситуациях и местах; и когда мы ее призываем, она тотчас является — порой с повязкой на глазах, но всегда готовая нас услышать; откуда она приходит, нам знать не дано, хотя она существовала до того, как появились судьи и обвиняемые, до того, как были написаны первые законы. Переходите к сути дела, строго прикрикнул на него председатель трибунала, это вам не литературное кафе. Хорошо, сеньор. Во времена великих морских путешествий главной причиной гибели людей была цинга. Не кораблекрушения, заметьте, и не морские сражения. Почему ее и назвали болезнью моряков. После долгих плаваний живыми из каждой сотни возвращались только двадцать. В середине XVIII века капитан Джеймс Кук ввел в обычай брать на корабль — наряду с другими припасами — бочку лимонного сока и обнаружил, что... Я лишу вас слова. Это мое последнее слово, сеньор. Давайте покороче, не то доберетесь до времен Христофора Колумба. Сеньоры, достаточно поставлять в тюрьмы немного лимонов, чтобы избавить заключенных от тех страданий, к которым их не приговаривал ни один трибунал. Я уже не раз подавал прошения на сей счет, отправлял их по разным каналам... И еще бинты, а также йод, потому что лазарет... Вы уже закончили? Что касается моего дела, сеньоры, то я без лишней скромности хотел бы упомянуть одно смягчающее обстоятельство. Пользуясь выпавшими на мою долю незапланированными каникулами, то есть тюремным заключением, я занялся исследованием собственного состояния и не без изумления обнаружил у себя некое психическое отклонение. В вопросах здоровья мы, медики, не способны себя обманывать. Мой случай следовало бы определить как легкое умственное отставание, притом хроническое — возможно, вследствие родовой травмы или скудного питания в детстве. В подобном случае некоторых людей, если они хуже управляют своими эмоциями, объявляют безумными и отправляют в больницу в Конхо. А меня местное общество приняло, дало крышу над головой, находило мне подходящую работу — словно судьба обрекла меня на вечное детство, — скажем, ходить за водой к источнику или за хлебом в пекарню, или ту работу, что требует физической силы, которая таилась под моей внешней кротостью: натаскать дров для очага, притащить камней для изгороди или даже, если придется, то и теленка. И в уплату народ со свойственной ему хитроумной мудростью называл меня не дураком, а божьим человеком. И шахтеры относились ко мне как к

другу. Приглашали в трактир, брали с собой на вербену[1], а я пил и танцевал, словно был самым лихим парнем во всей компании. Куда отправлялись они, туда и я. И они ни разу не обозвали меня идиотом. Вот такой я, сеньоры члены трибунала, — божий человек, Домбодан. Малыш.

[194] ИЛ 11/2003

Имя Домбодана прозвучало так, словно в брюхе зала взорвали гранату. Председатель трибунала в ярости вскочил с места и велел доктору Да Барке замолчать и даже схватился за саблю. Хватит спектакли тут разыгрывать. Трибунал удаляется на совещание. Для вынесения приговора. Они охотно прямо здесь устроили бы ему и отпевание.

11

На сей раз международная кампания принесла результат. В самый последний момент. По просьбе правительства Кубы доктору Да Барке смертную казнь заменили на пожизненное заключение.

И он, оставаясь верным своей натуре, превратился, как говорится, в "скорую помощь" для всей тюрьмы, рассказывал Эрбаль Марии да Виситасау. Он был вроде тех знахарей, что на расстоянии заговаривают бородавки, прочитав какое-то заклинание. И еще: даже когда доктор ожидал исполнения смертного приговора и сам толком не понимал, на каком свете находится, он всегда и всюду старался подбадривать других.

Политические заключенные составляли в тюрьме своего рода коммуну. Люди, которые в прежней жизни по-настоящему ненавидели друг друга и словом никогда бы не перемолвились, как, скажем, анархисты и коммунисты, в неволе вели себя иначе. Даже издавали вместе подпольный листок под названием "Бунгало".

Старые республиканцы, несколько ветеранов-гальегистов из Кельтской Ковы[2] и Братства Фалы[3] — они весьма напоминали рыцарей Круглого стола и даже причащались во время мессы — исполняли функции совета старейшин: разрешали споры и конфликты между узниками. Время казней без суда и следствия уже миновало. Расстрельщики продолжали делать свое грязное дело вне стен тюрьмы, но военные решили, что даже в адском пекле должен действовать порядок. Расстреливали только после формального следствия и только по приговору военного трибунала.

У заключенных функционировала своя, параллельная администрация, которая по мере сил старалась улучшить тюремную жизнь. Следила за соблюдением элементарных правил гигиены, распределением продовольствия. Куда важнее официального режима был режим неписаный — ему-то и подчинялось повседневное существование. Каждый исполнял свои обязанности так строго и эффективно, что за помощью к политическим нередко обращались уголовники. В тюрьме у власти стояло теневое правительство — точнее не скажешь, почти что парламент, — имелись и мировые судьи. А также школа гуманитарных наук, табачный припас, общий фонд взаимной помощи и больница.

Больницей для узников был доктор Да Барка.

1. Вербена — ночное гулянье накануне некоторых праздников.
2. Кружок, на заседаниях которого регионалисты из Коруньи в конце XIX в. обсуждали идею о кельтском происхождении галисийской нации. *(Прим. испанского издателя.)*
3. Ассоциации, основанные в 1916 г. для поддержки и развития галисийского языка; их деятельность сыграла основополагающую роль в позднейшем формировании гальегизма. *(Прим. испанского издателя.)*

В лазарете служило несколько человек, рассказывал Эрбаль Марии да Виситасау, но делал-то все на самом деле, тянул на себе весь груз, разумеется, Да Барка. Даже тюремный врач Соланс, когда делал обход, выслушивал инструкции Да Барки, как неопытный ассистент. Этот Соланс и рта почти никогда не раскрывал. Все мы знали, что он балуется наркотиками. Было видно, до чего он ненавидит тюрьму, хотя сам заключенным и не был. Казалось, он вечно не в себе, будто никак не может очухаться после удара судьбы, которая кинула его в такое вот место, нарядив, словно издеваясь, в белый халат. А доктор Да Барка знал всех арестантов по имени, знал историю каждого — и политических, и уголовников; ему не нужно было заглядывать ни в карточку, ни в историю болезни. Трудно сказать, как он со всем этим справлялся. В его голове вмещалось больше, чем в любой энциклопедии.

Однажды в лазарете появился представитель военной медицинской инспекции. Он приказал проводить прием больных в его присутствии. Доктор Соланс нервничал, чувствуя себя вроде как под надзором. И Да Барка сразу же отошел на второй план, стушевался и спрашивал у него совета, короче, целиком передал ему бразды правления. Вдруг инспектор, садясь, наклонился, да так неловко, что из-под мышки у него вывалился пистолет. А мы находились там же, охраняли одного заключенного, считавшегося особо опасным преступником, — звали его Чингисхан, был он боксером и борцом, и на него порой находила дурь. В тюрьму он попал за то, что случайно убил человека. Потому что испугался. Это случилось во время турнира по вольной борьбе. Едва начался бой между Чингисханом и типом по прозвищу Бык из Лалина, как какой-то неказистый человечек из первого ряда принялся орать, что все у них заранее подстроено. Куплено, куплено! И даже когда у Чингисхана кровь пошла носом — а нос был самым уязвимым его местом, — тот подонок не угомонился, как будто очевидная и всамделишная травма не должна была рассеять любые подозрения. И тут на Чингисхана накатило. Он поднял над головой Быка из Лалина, гору мяса весом в сто тридцать кило, и обрушил на человечка из первого ряда, который все орал о подкупе и которому впредь уже никогда больше не доведется пожаловаться на то, что его облапошили.

Так вот, все мы, кто находился тогда в лазарете, стояли и пялились на упавший пистолет, как на дохлую крысу. А доктор Да Барка говорит так спокойно-преспокойно: Коллега, вы уронили на пол ваши честь и достоинство. Даже громила Чингисхан, которого мы доставили на осмотр в наручниках, и тот рот раскрыл от изумления. Потом зашелся смехом и говорит: Ух! Это да! Это я понимаю! Наш доктор — настоящий мужчина! И с тех пор так зауважал доктора Да Барку, что во время прогулок в тюремном дворе ни на шаг от него не отходил, точно телохранитель, а еще он сопровождал его на уроки латыни, которые давал старик Карре из Братства Фалы. После этих уроков Чингисхан начал употреблять очень забавные выражения. О любом деле говорил, что это не "pataca minuta", а когда что-то перекручивалось, говорил, что у нас "caspa caida"[1]. С тех пор Чингисхана прозвали Патакиньей. Росту в нем было два метра, хотя он слегка сутулился и сапоги носил с отрезанными носами и оттуда высовывались пальцы, похожие на корни дуба.

А еще арестанты организовали в тюрьме оркестр. Там нашлось несколько музыкантов, хороших музыкантов, лучших в Мариньясе, где во

1. Pataca minuta — *искаж. лат.* от peccata minuta — мелкий грех; pataca — картошка (*галисийск.*), caspa caida — *искаж. лат.*; обсыпавшаяся перхоть (*галисийск.*).

времена Республики то и дело устраивались праздники с танцами. Почти все музыканты были из анархистов, и им нравились романтические болеро с искрами пронзительной грусти. Никаких инструментов у них, разумеется, не было, инструментами им служили собственные руки и губы. Тромбон, саксофон, корнет. Каждый оркестрант создавал себе инструмент из воздуха. Зато ударные получились как настоящие. Один арестант по прозвищу Барбарито умел играть джаз на ночном горшке. Долго спорили, как назвать оркестр — "Риц" или "Палас", но в конце концов прижилось название "Пять звезд". Пел у них Пепе Санчес. Его арестовали вместе с десятками других беглецов в трюме рыбачьего судна, уже готового отплыть во Францию. У Санчеса был прекрасный голос, и когда он пел в патио, заключенные невольно поворачивали головы в сторону города, который вырисовывался где-то наверху — тюрьма стояла в ложбине между маяком и городом, — они словно хотели сказать: вы там, на свободе, и знать не знаете, чего лишены. Хотя на самом деле в этот миг каждый из них все на свете отдал бы за то, чтобы очутиться в городе. А Эрбаль в своей караульной будке ставил ружье в сторонку, опирался головой на каменную подушку и закрывал глаза, делаясь похожим на капельдинера в оперном театре.

О Пепе Санчесе ходила одна легенда. Накануне выборов 1936 года, когда уже не трудно было предугадать, что победу одержат левые, в Галисии, как грибы после дождя, стали расти так называемые миссии. Они устраивали проповеди под открытым небом, рассчитанные в первую очередь на деревенских женщин, чьи голоса реакционерам завоевать было легче всего. Проповеди носили апокалипсический характер. Предсказывались самые ужасные бедствия. Мужчины и женщины будут спариваться, как животные. Революционеры будут отнимать у матерей даже младенцев, едва те вылезут из их лона на свет божий, и будут воспитывать как атеистов. И коров отнимут, не заплатив ни гроша. А во время процессий понесут впереди портреты Ленина и Бакунина, а уж никак не образы Пресвятой Девы или Иисуса Христа. В приходе Селас тоже возникла подобная миссия, и группа анархистов решила насолить проповедникам. Стали выбирать, кому поручить это дело, жребий выпал Пепе Санчесу. План придумали такой: он явится на площадь в обличье монаха-доминиканца верхом на осле и сорвет проповедь, изобразив из себя одержимого бесами. Санчес отлично знал, на что способна разъяренная толпа, поэтому в намеченный день перед самой акцией выпил четвертинку водки. Когда он подъехал верхом на осле к назначенному месту с криками "Слава Иисусу Христу! Долой Мануэля Асанью![1]" и так далее, монахи-проповедники туда еще не пришли — припоздали по неведомой причине. Ну и собравшиеся приняли его за настоящего монаха и едва ли не насильно проводили к импровизированному амвону. Так что Пепе Санчесу не осталось ничего другого, как произнести речь. Он ее и произнес. О том, что в мире не бывает настолько хороших людей, чтобы они брали на себя право повелевать другими без согласия этих других. Что отношения между мужчиной и женщиной должны быть свободными, ведь важны не всякие там обручальные кольца, а любовь и чувство ответственности. Что... Что... Что, кто ворует у вора, тому честь и хвала. Что только глупая овца идет на исповедь к волку. Добавим, что Пепе Санчес был красивым малым. Ветер развевал его сутану и длинные романтические кудри — все это

1. Мануэль Асанья (1880–1940) — президент Испанской республики в 1936–1939 гг.

придавало ему вид настоящего пророка. И очень, надо сказать, привлекательного пророка. Сначала слова оратора вызвали ропот, но потом установилась тишина, и большинство собравшихся, особенно девушки, стали согласно кивать головой и уже смотрели на него с обожанием. Тогда Пепе и вовсе осмелел, словно почувствовал себя на деревянных подмостках в праздничный день, и спел любимое свое болеро:

Девушка, сгорая от любви,
на стволе дерева имя свое нацарапала,
и дерево, в самое сердце раненное,
девушке в руки цветок уронило.

Успех был оглушительный.

Пепе Санчеса расстреляли на дождливом рассвете осенью тридцать восьмого. Накануне тюрьма словно онемела. Все слова вдруг куда-то исчезли, остались лишь лохмотья пронзительных чаечьих криков. Всхлип задвижки в горле замка. Одышливый хрип сточных труб. И тогда Пепе запел. Пел он всю ночь, и ему аккомпанировали из своих камер музыканты оркестра "Пять звезд", играя на сотканных из воздуха инструментах. Когда его уводили, следом шел священник, бормоча молитвы, и у Пепе еще хватило духу крикнуть из коридора: "Идем на штурм небес! Я-то уж точно пролезу туда — даже сквозь угольное ушко!" Он ведь был стройным, как тополь.

В тот раз добровольцев в команду расстрельщиков не нашлось, сказал Эрбаль Марии да Виситасау.

12

Дважды доктор Да Барка победил смерть. И дважды потом казалось, что смерть сумела-таки одолеть и его — загнала в угол, швырнула на тюремный тюфяк.

После двух казней: Домбодана и Пепе Санчеса.

Доктор всегда сохранял присутствие духа, но в тех двух случаях словно терял стержень, надламывался, рассказывал Эрбаль Марии да Виситасау. Когда расстреляли Малыша, а затем и певца. Оба раза он по нескольку дней пролежал на тюфяке, провалившись в долгий сон, точно влил в себя бочку валерьянки.

В последний раз рядом с ним неотлучно сидел Чингисхан.

Проснувшись, доктор спросил:

А ты что тут делаешь, парень?

Вшей у вас ищу, доктор, да крыс отгоняю.

Сколько же я проспал?

Три дня и три ночи.

Спасибо, Чингис. За это я приглашаю тебя на обед.

А у него, рассказывал Эрбаль Марии да Виситасау, взгляд был особый, вроде как колдовской.

И вот в обеденный час доктор Да Барка и Чингисхан сели в тюремной столовой друг против друга, а остальные заключенные стали свидетелями того знаменитого пира.

На закуску тебе подадут дары моря. Лангуста под розовым соусом на сердцевине салата-латука из долины Барсии.

А выпивка? — недоверчиво спросил Чингис.

Пить ты будешь белое вино "Росаль", с самым серьезным видом объявил доктор Да Барка.

Он смотрел очень пристально — затягивал взгляд Чингисхана в бойницы своих глаз, — и что-то начало меняться: Чингисхан вдруг перестал ухмыляться, на мгновение застыл, словно в нерешительности, словно забрался на большую высоту и у него закружилась голова, потом на лице его мелькнуло изумление. Доктор Да Барка поднялся, обошел стол и мягко закрыл ему веки, будто задернул тюлевые занавески.

Хорош салат?

Рот у Чингисхана был набит, поэтому он сумел лишь молча кивнуть в ответ.

А вино?

В сам... в самый раз, лучась блаженством прошептал тот.

Да ты, брат, не торопись, не торопись.

Позднее, когда доктор Да Барка подал ему второе блюдо — отбивную из телятины с яблочным пюре, а также красное вино "Аманди", у Чингисхана даже цвет лица изменился. Бледный и тощий великан вдруг порозовел и стал похож на аббата-чревоугодника. Он весь прямо светился улыбчивым крестьянским довольством, взяв вожделенный реванш над временем, так что наслаждением своим заразил присутствующих. В столовой воцарилась тишина, словно у всех разом язык прилип к гортани, и тишина эта заглушила звяканье ложек о миски с тем неописуемым супом, про который здесь говорили, что это вода, в которой помыли мясо.

Ну а теперь, Чингисхан, торжественно объявил доктор Да Барка, как я тебе и обещал, десерт.

Взбитые белки! — не удержавшись, азартно выкрикнул кто-то из самых нетерпеливых зрителей.

Пирожное "Тысячелистник"!

Торт "Сантьяго"!

Облако сахарной пудры пронеслось по мрачной столовой. Вместе с холодным ветром в двери влетели пенные облака взбитых сливок. По облупленным стенам потекли медовые реки.

Доктор поднял руки, требуя тишины.

Каштаны, Чингисхан, сказал доктор, выдержав паузу.

И вспыхнул ропот разочарования, потому что каштаны были десертом бедняков.

Посмотри-ка, Чингис, а ведь это каштаны из Кауреля, из лесного Кауреля, каштаны, сваренные с горной мятой и анисом. Ты еще совсем маленький, Чин, за окном завывают псы ветра, ночь мерцает в тусклой лампе, и взрослые ходят, сгорбившись под грузом долгой зимы. Но тут появляется твоя мать, Чин, и ставит на середину стола блюдо с вареными каштанами — каждый завернут в горячую тряпочку. Они благоухают, и от их аромата аж кости млеют. Это гимн земле, Чин. Чуешь?

Да, конечно же он чуял. Волшебный аромат проник в каждую клеточку его тела, обвил плющом, у него защипало в глазах, он заплакал.

А теперь, Чин, сказал доктор Да Барка, резко сменив тон, как часто делают актеры на сцене, давай-ка зальем каштаны шоколадным кремом. Это уже будет блюдо на французский манер, да-да, на французский!

И все одобрили изысканность такого десерта.

На стол к начальнику тюрьмы легло донесение, из которого он узнал о том, что случилось в столовой: "Заключенные отказались есть обыч-

ную еду, хотя при этом не выражали никаких протестов и не объясняли причин отказа. Столовую все покинули спокойно, без нежелательных осложнений, о которых надлежало бы докладывать особо".

Посмотрите-ка, да он ведь и выглядеть стал получше, сказал доктор Да Барка. Что ж, получается, не права присказка, что обещаниями, мол, сыт не будешь. Вон у него только за счет воображения уровень глюкозы явно поднялся.

Какое-то время спустя Чингис вышел из гипноза — и разбудила его собственная сытая отрыжка.

13

Иногда бывало, что покойник покидал привычное место у Эрбаля за ухом, отлучался из головы гвардейца и подолгу туда не возвращался. Видно, бродит где-то, ищет своего сына, думал гвардеец Эрбаль с легкой грустью, потому что с художником можно было, кроме всего прочего, еще и побеседовать ночью, в долгие часы дежурства. К тому же художник обучал его кой-чему. Например, растолковывал, почему труднее всего рисовать снег. Или море и поля. То есть большие пространства, которые выглядят одноцветными. Эскимосы, сказал ему художник, различают до сорока оттенков снега, до сорока типов белизны. Поэтому именно дети лучше всех рисуют море, поля и снег. Ведь снег может быть зеленым, а поле отсвечивать белым, как седины старого крестьянина.

А сами вы когда-нибудь рисовали снег?

Да, для театра. Для пьесы про людей-волков. Знаешь, довольно нарисовать посредине полотна волка, и считай, дело сделано. Черный волк — как живой уголек вдалеке; а если не волка, то хотя бы голое дерево — скажем, бук. Вроде как объявляешь: это снег — и готово. Больше ничего и не нужно! Театр — настоящее чудо!

То, что вы говорите, очень меня удивляет, сказал Эрбаль, почесывая редкую бороденку концом прицела своей винтовки.

Отчего же?

Я думал, что раз вы художник, то для вас изображение важней любых слов.

Важно видеть — вот что важно. Сам прикинь, не случайно ведь говорят, что Гомер, первый писатель, был слеп.

А это означает, не без ехидства заметил Эрбаль, что видел он очень даже хорошо.

Да, именно. Именно это и означает.

Оба замолчали, следя за тем, как сумерки меняют декорации. Солнце скользило за гору Сан-Педро — к Пристани изгнания. А по другую сторону бухты маяк делал первые акварельные мазки, и они придавали еще больше выразительности той тягучей балладе, которую выпевало море.

Незадолго до смерти, сказал художник, и сказал это так, словно сам факт его смерти был чем-то посторонним и мало касался их обоих, я нарисовал вот этот самый пейзаж, на который теперь мы с тобой смотрим. Для театральной постановки "Песни моряков" в театре Росалии де Кастро.

Хотелось бы мне его увидеть, сказал Эрбаль с вполне искренней учтивостью.

В нем, собственно, не было ничего особенного. Всего лишь намек на море — маяк, Геркулесова башня. А само море — мрак, темень. Я не хотел

его рисовать. Я хотел, чтобы его было слышно, чтобы оно звучало, как литания. Нарисовать море нельзя. Любой нормальный художник, каким бы реалистом-разреалистом он себя ни почитал, знает, что море нельзя перенести на полотно. Был один живописец, англичанин по фамилии Тёрнер, который отлично умел это делать, вот у него море получалось. Из всех существующих изображений моря самое впечатляющее — на его картине: гибель работоргового судна. Там море можно услышать. Это крик рабов, которые, скорей всего, о море только и знали что по качке в трюмах. Мне хотелось бы нарисовать море изнутри, но не так, словно оно увидено глазами утопленника, а запечатлеть как бы взгляд из скафандра. Погрузиться в пучину с полотном, кистями и всем прочим. Говорят, такое удалось одному японскому художнику.

Кстати, у меня есть друг, который на это вполне способен, добавил художник с печальной улыбкой. Может, у него и получится, если прежде не утонет в вине. Его зовут Лугрис.

Именно время ранних сумерек почему-то предпочитал художник для своих визитов в голову гвардейца Эрбаля. Он неспешно и накрепко усаживался верхом на его ухо — почти как карандаш плотника.

Когда Эрбаль чувствовал за ухом карандаш или когда они беседовали обо всех этих вещах — о том, какого цвета снег, о крестьянских косах, которые в зеленом молчании лугов напоминают кисти художника, о подводном живописце, о фонарике железнодорожного служащего, пробирающегося сквозь ночную темень, или о мерцании светляков, — гвардеец Эрбаль замечал, как, точно по взмаху волшебной палочки, гасла его одышка, утихали всхлипы в легких, похожие на стоны мехов промокшей гармоники, высыхал холодный пот — иначе говоря, все то, что неизбежно следовало за кошмарным сном: как ему, Эрбалю, стреляют в висок. И гвардеец Эрбаль чувствовал радость и облегчение, будучи тем, кто он есть в этот миг: человеком, забытым в сторожевой башне. Ему даже удавалось подладить биение своего сердца под удары каменотеса. Сердце билось словно по привычке — нерадиво выполняя положенную работу. И раздумья Эрбаля были похожи на светящийся проектор в кинотеатре. Как когда-то давно, когда он был пастушком и взгляд его цеплял то птицу-королька, долбящего клювом временны́е кольца на срубе дерева, то тонкую былинку на краю водоворота, похожего на часы несчастной судьбы.

А теперь посмотри вон туда: там прачки раскрашивают гору, сказал мертвый художник.

Над кустами, растущими среди каменных глыб вокруг маяка, две прачки растягивали бе́лье на просушку. И теперь этот клок земли сделался похож на набитый тряпьем мешок волшебника. Они вытаскивали одну за другой пестрые вещи и украшали ими гору. Пухлые розовые руки слушались указаний, которые посылали им глаза гвардейца Эрбаля, а глаза гвардейца Эрбаля в свою очередь слушались художника: У прачек руки розовые, потому что они всю жизнь трут да трут белье о валун — и с кожи их стираются даже следы прожитых лет. Их руки остались такими же, какими были, когда прачки были девочками и еще только становились прачками.

Их руки до локтей — как кисти живописца, добавил художник. Их руки цвета ольхи, потому что прачки тоже выросли рядом с рекой. Когда прачки выжимают белье, руки их напрягаются и напоминают подмытые водой корни. А гора — это холст. Смотри. Они рисуют поверх дрока и ежевики.

Колючки для прачек — лучше любых прищепок. Вон! Длинный мазок — белая простыня. Два штриха — красные чулки. Легкое колыхание полотна. Каждая вещь, растянутая на солнце, рассказывает свою историю.

У прачек на руках почти нет ногтей. Это тоже о многом говорит, как о многом рассказал бы и рентгеновский снимок, доведись нам взглянуть на него: верхние позвонки у прачек деформированы, потому что из года в год они носят на голове тяжелые корзины с бельем. Сами прачки говорят, что ногти их унес саламандров ветер. Такое вот придумали волшебное объяснение. Хотя на самом-то деле ногти их съел щелок.

Когда мертвый художник отлучался, место его в голове гвардейца Эрбаля спешил занять Железный Человек. Но Железный Человек никогда не являлся в печальную пору сумерек, никогда не устраивался у Эрбаля за ухом на манер плотницкого карандаша; он возникал ранним утром — обычно в зеркале, перед которым Эрбаль брился. В такие дни гвардеец просыпался совершенно разбитым. Через ночь он продирался, хватая ртом воздух, как будто поочередно то поднимался в гору, то спускался вниз, волоча за собой груженного трупами мула. Так что Железный Человек находил его вполне готовым к тому, чтобы выслушивать советы, которые звучали скорее приказами. Научись смотреть твердо, повелевай взглядом, для этого сожми зубы. Говори поменьше. Слова, даже самые хлесткие и грубые, — это всегда оружие дилетантов, за них хватаются только слабаки, как матрос на гибнущем корабле — за мачту. Зато молчание вкупе с грозной, свирепой миной наводит страх. Не забывай: человеческие отношения — это либо власть, либо подчинение. Как у волков. Сперва нужно принюхаться друг к другу, чтобы установить новый порядок — то бишь определить, кто сильней. И застегните верхнюю пуговицу на мундире, солдат! Вы победитель. Пусть все это знают.

В комнате, где поселила его сестра, на стене висел старый велосипед. Велосипедом никто не пользовался, и шины на колесах были такими чистыми, что казалось, они никогда не касались земли, а жестяные щитки блестели как серебряные. Прежде чем лечь спать, Эрбаль сидел на кровати и смотрел на велосипед. В детстве он мечтал о чем-то подобном. Или нет. Верно, это был сон: ему снилось, что когда-то ему это снилось. И вдруг он почувствовал себя обманутым. Все, что вспоминалось как сон, тот сон, что заслонял собой любые другие сны, — это была девочка, девушка, женщина по имени Мариса Мальо. И теперь она была здесь, на стене, словно парящий в воздухе образ Непорочной Девы на алтаре.

Когда его посылали пасти скотину, он нередко отлынивал, увязываясь за своим дядей-охотником. Но был у него еще один дядя. Еще один одинокий человек. Плотник Нан.

Пригнав коров, Эрбаль заглядывал в мастерскую Нана. Сарай был сколочен из просмоленных досок и стоял у дороги, словно барка, вытащенная на берег и брошенная на краю деревни. По суждению Эрбаля, Нан был человеком странным. В саду росла яблоня со стволом, покрытым белесым мохом, и ее почему-то особенно любили дрозды. Такой же вот яблоней в семье Эрбаля был дядя-плотник. В их деревне старость злобно караулила свои жертвы. Она скалилась из темных углов, женщин окутывала черным туманным покровом, меняла голоса после рюмки водки и изрезала морщинами кожу на подступах к зиме. Но старость не покорила Нана. Она свалилась на него, окрасила голову сединой, покрыла грудь белой вьющейся шерстью, а руки — мохом, словно яблоневые ветви, но кожа на лице осталась гладко-золотистой, как срез местной сосны, зубы сверкали

хорошим настроением, да к тому же из-за уха у него вечно торчал красный хохолок — плотницкий карандаш. В мастерской Нана никогда не бывало холодно. Пол мягким ковром устилали стружки. Запах опилок убивал сырость. Ты откуда явился? — спрашивал дядя, прекрасно зная ответ. Тебе бы теперь в школе сидеть. И потом бормотал, неодобрительно покачивая головой: До поры дерево рубят. Иди-ка сюда, Эрбаль. Закрой глаза. А теперь скажи мне, угадай по запаху, как я тебя учил, где тут каштан, а где береза? Мальчик принюхивался, тыча носом в куски дерева. Нет, нет... Так не пойдет. Чур не дотрагиваться! Только по запаху.

Вот это береза, указывал наконец Эрбаль.

Точно?

Точно.

А почему?

Потому что женщиной пахнет.

Очень хорошо, Эрбаль.

И он сам наклонялся к березовому обрубку и, закрыв глаза, сильно тянул носом. Да, пахло женщиной, искупавшейся в реке.

Эрбаль снимает велосипед со стены. Руль и щитки сверкают серебром. Под кроватью у него лежит сундучок с инструментами, сундучок Нана, и Эрбаль прилаживает его к заднему сиденью. Потом он варит кофе в горшочке, вернее, настаивает, как это делал Нан. Светает. Эрбаль крутит педали, едет себе по дороге, которая бежит рядом с рекой. По дороге, обсаженной березами. Спереди на него надвигается странная фигура. В балахоне. Лицо так накрашено, что похоже на маску. Жестом велит ему остановиться. Эрбаль хочет посильнее нажать на педали, да как нарочно соскакивает цепь.

Привет, Эрбаль, дорогой. Я Смерть. Не видал ли ты случайно молодого аккордеониста и потаскуху Жизнь?

И тут Эрбаль, не найдя другого оружия для защиты, выхватывает из-за уха плотницкий карандаш. И на манер копья выставляет вперед. Алый конец сверкает металлическим блеском. Смерть испуганно пялит глаза. Исчезает. Остается лишь бензиновое пятно в луже посреди дороги. А Эрбаль поправляет цепь и, снова сунув карандаш за ухо, крутит педали и беззаботно, как щегол, насвистывает пасадобль. Он приезжает в усадьбу к Марисе Мальо и звонким голосом здоровается, потом кивает на небо: Хороший денек! Да, просто замечательный, соглашается она. Ладно, говорит он, потирая руки, чем мне заняться нынче? Сегодня, Эрбаль, надо бы сделать деревянное корыто. И ларь для хлеба.

Я сделаю его из ореха, сеньора. С точеными ножками. С накладкой для замка.

И еще сервант-горку, Эрбаль. Сделаешь мне горку?

С завитушками.

Он проснулся по приказу Железного Человека. А заснул не раздеваясь, лежа прямо поверх одеяла. С кухни доносились тихие стенания сестры. Он вспомнил, что ему сказал сержант Ландеса: Двинь ему ногой в яйца — и от меня тоже. Хорошо, пробормотал Эрбаль. Сукин сын.

Ты слышишь? Я хочу, чтобы, когда бы я ни воротился, на столе меня ждал горячий ужин.

Сестра стояла в ночной рубашке, простоволосая, и держала в руках тарелку супа. Появление Эрбаля вроде бы напугало ее еще больше, она даже пролила немного супа на пол. Муж был в форме. В голубой рубашке. В портупее. Под мышкой пистолет в кобуре. Он глянул Эрбалю в гла-

за. Мутным взором. Он был пьян. Выдавил кривую улыбку. Потом провел кончиком языка по зубам.

Что, Эрбаль, не спится?

Вытащил пистолет и брякнул на стол. Рядом с ложкой и куском хлеба пистолет казался нелепой и безобидной железякой. Сало Пуга налил два стакана вина.

Давай, садись. Выпей с деверем. А ты, повернулся он к жене, поди погляди, что я принес.

Он подмигнул Эрбалю и начал лакать суп прямо из тарелки. Он всегда был таким. В один миг от бешеной злобы его кидало к пьяной дружбе. Беатрис старалась прятать следы побоев, но порой, когда они с Эрбалем оставались вдвоем, рыдала у брата на груди.

Теперь она развязывала мешок, который принес муж. Эрбаль заметил, как она вдруг окаменела, словно у нее закружилась голова.

Ну как? Отличная добыча! Доставай-доставай!

Пусть полежит до утра.

Нет уж! Он не укусит. Пускай и твой братец полюбуется.

И она, поборов отвращение, сунула руку в мешок и вытащила оттуда кабанью голову. Показала, отнеся от себя подальше и повернув рылом к мужчинам. Крупинки соли в пустых глазницах.

Эх, бедняга!

Деверь Эрбаля хохотнул над собственной шуткой.

Там, в мешке, целый кабан, даже с хвостом. Проклятая старуха никак не хотела отдавать. Сказала, что Франко уже забрал у нее сына. Ха-ха-ха!

Сало Пуга здорово раздобрел за время войны. Он работал по интендантской части, заготавливал продовольствие. Ездил по деревням и конфисковывал съестное. Часть добычи забирал себе.

Старуха никак не хотела отдавать, повторил он мерзким голосом. Хваталась за своего кабана, словно это были святые мощи. Пришлось ее малость встряхнуть.

Когда Беатрис оттащила мешок в кладовку, он отцепил два значка с кармана рубашки и один протянул Эрбалю. Первые столбики табачного дыма, переплетаясь, ломко потянулись вверх, к лампе. Сало Пуга в упор смотрел на Эрбаля своими глазами-щелками.

А ведь ты хотел меня убить, да? Кишка тонка...

И снова захохотал.

14

От первых городских домов тюрьму отделяло несколько утесов. Иногда в часы прогулок узники различали на вершинах утесов женщин, и тогда казалось, что женщины тоже вытесаны из камня — вот только морской ветер развевал их юбки и волосы. В самом солнечном углу тюремного двора стояли мужчины и, козырьком приставив руку ко лбу, смотрели на женщин. Ни те, ни другие не посылали друг другу никаких знаков. Правда, женщины иногда медленно взмахивали руками, словно что-то передавали на языке сигнальных флажков; и, если видели, что шифр разгадан, руки начинали мелькать быстрее.

Эрбаль сидел в караульной башне на углу тюремной стены, за ухом у него торчал плотницкий карандаш, и гвардеец внимательно слушал, что ему говорит художник.

А тот рассказывал, что и вещи, и живые существа имеют некую световую оболочку. И даже в Евангелии о людях говорится как о "сынах света". Между арестантами во дворе и женщинами на утесах, наверное, протянуты световые нити, которые пересекаются над тюремной стеной; это невидимые нити, но они, тем не менее, способны передавать цвета одежды и содержимое сундуков нашей памяти. Мало того, эти светящиеся нити, словно корабельные снасти, образуют что-то наподобие мостков. Еще гвардейцу чудилось, что арестанты и женщины, хоть и замерли в неподвижности, на самом деле занимаются любовью, что на самом деле это нетерпеливые мужские руки, а не порывы ветра приводят в беспорядок их юбки и треплют волосы.

Однажды там же, среди бедно одетых женщин, он увидел ее. Длинные рыжеватые волосы летели по ветру, и от них протягивались нити в тюремный двор — к доктору. Невидимые шелковые нити. И ни один снайпер даже самым метким выстрелом не сумел бы их перерезать.

Сегодня женщин не было. Мальчишки, бритые наголо и оттого похожие на маленьких мужчин, играли в войну, орудуя палками как мечами. Они брали штурмом вершины утесов, словно крепостные башни. Потом им наскучило фехтовать, и палки превратились в ружья. Изображая убитых, мальчишки падали на землю, совсем как статисты в кино, затем со смехом вскакивали на ноги, снова падали, и игра уже переместилась под самые стены тюрьмы. Один из мальчишек, упав, поднял глаза и встретился взглядом с гвардейцем Эрбалем. И тотчас схватил свою палку, приставил к плечу, выдвинул одну ногу вперед, как заправский стрелок, и прицелился. Сопляк, сказал гвардеец. И решил припугнуть наглеца. Взял винтовку и тоже прицелился — в голову мальчишке. Товарищи издали кричали: Пико! Беги, Пико! Пико медленно опустил свое деревянное ружье. На веснушчатом лице застыла испуганная беззубая улыбка. Вдруг молниеносным движением он снова вскинул ружье и выстрелил: пах! пах! — и со всех ног кинулся вверх по склону, карабкаясь по каменным откосам и сверкая заплатанными штанами. Гвардеец следил за ним сквозь прорезь прицела. Он чувствовал, как у него пылают щеки. Когда мальчишка исчез за утесами, он поставил винтовку рядом и глубоко вдохнул. Ему не хватало воздуха. Пот лил ручьями. Он услышал отголосок раскатистого хохота. Железный Человек прогнал художника. Железный Человек смеялся над Эрбалем.

Что это у тебя за ухом?

Карандаш. Карандаш плотника. Память об одном человеке, которого я убил.

Богатый трофей!

Первого апреля 1939 года Франко подписал документ, официально закреплявший его победу.

Сегодня мы празднуем победу Господа нашего, сказал капеллан в своей проповеди во время торжественной мессы, которую служил в тюремном дворе. И произнес он это без всякого пафоса, самым обыденным тоном, как рассуждают о непреложном — например, о законе гравитации. В тот день охранники рассредоточились по рядам заключенных. На мессу явились высокие гости, и начальник тюрьмы принял все меры, чтобы не допустить неприятных сюрпризов вроде коллективных приступов смеха либо кашля, как случалось раньше, когда капеллан ранил им душу, благословляя войну, которую называл крестовым походом, и призывая их — падших ангелов воинства Вельзевулова — к раскаянию. Или когда молил у Бога помощи для каудильо Франко. Однако капеллан не был вульгарным

и грубым фанатиком, свое теологическое оружие он отточил в спорах с заключенными. А вот те в большинстве своем и вправду были фанатиками – фанатиками чтения. Читали они что угодно, вернее, все, что попадало им в руки, – хоть "Bibliotheca Sanctorum", хоть "Чудеса из жизни насекомых". И капеллан хотел бы полюбоваться на представителей курии, доведись им схлестнуться в споре о вере со здешними арестантами. Эти узники знали латынь, да что говорить, они знали даже греческий. Например, доктор Да Барка, который однажды затянул его в паутину рассуждений о соме, душе и пневме.

"Pneûma tes aletheias", Дух Истины! Понимаете? Это и есть Дух Святой. Дух Истины, падре.

Господь гневается на тех или иных людей не случайно, не по чистой прихоти, сказал капеллан. Для Бога нет нелюбимых творений. Только грех – ибо он от диавола – вызывает гнев Всевышнего. Да и что мы такое с высот Его? Булавочные головки. Дело Господа направлять воды истории, как мельник направляет речной поток. И Бог ведет сражение с грехом, а не с мелким грешком. Этим занимаемся мы – у нас имеются такие средства, как исповедь, раскаяние и прощение. Существует первородный грех – peccatum originale, его печать несет человек с самого рождения. Потом идут маленькие грешки – а то и грешищи! – человека per se, peccatum personale, ибо каждый на жизненном пути своем может оступиться. Но худший из грехов – он заслоняет собой все прочие, им в последние времена заразилась часть Испании, изменив самой глубинной сути своей, – это Исторический Грех, Грех с большой буквы. Грех такого рода особенно мерзок, и опорой ему служат прежде всего умственное высокомерие и тщеславие, а равно невежество людей самого простого звания, которые поддались соблазну, принявшему форму революций и безрассудных социальных утопий. Вот против этого Греха и ведет Господь сражение. Как не раз указывается в Священном Писании, гнев Божий существует. Гнев этот справедлив и неумолим. Ради победы своей избирает Господь особое орудие – этих-то людей и называют избранниками Божиими.

Капеллан зачитал телеграмму, которую только что, 31 марта, прислал папа Пий XII победителю Франко: "Вознеся сердца наши к Богу, искренне благодарим Ваше Превосходительство за победу католической Испании".

Вот тут-то и послышались первые покашливания.

Кашлял доктор Да Барка, рассказывал Эрбаль Марии да Виситасау. В этом я уверен, потому что стоял рядом с ним и строго на него глянул, призывая к порядку. Мы получили приказ пресекать любые попытки спровоцировать скандал. Глянуть-то я на него глянул – как на последнюю тварь, – да ему хоть бы хны, а что делать дальше, я не знал. Кашель у него получился сухим и притворным, какой случается у благовоспитанной публики на концертах. Поэтому для меня было едва ли не облегчением, когда в мгновение ока кашлем заразились и остальные заключенные. Звук получился такой, будто огромный колокол сорвался с колокольни.

Мы не знали, как поступить. Не дубасить же их во время мессы! Начальство беспокойно заерзало на своих местах. В душе все мы желали, чтобы капеллан, человек в подобных делах искушенный, погасил бунтарский шум, поскорее свернув свою речь. Но он, словно зубчатое колесо, которое соединено с другим, куда большего размера, завелся не на шутку – и стал шестеренкой в собственной проповеди.

И явил Господь гнев свой! Потому нынешняя победа — это победа Господа нашего!

Голос его потонул в общем кашле, только теперь это было не элегантное покхекивание, это был грохот морского прибоя. И начальник тюрьмы под стрелами взглядов высоких гостей вскочил с места, подлетел к капеллану и зашептал ему на ухо, чтобы он закруглялся, ведь нынче они праздновали день славной победы, а если безобразие не прекратится, отметить праздник придется побоищем.

Раскрасневшееся лицо капеллана побелело, наконец-то и он услышал водопадный грохот кашля. Он замолк, пробежал растерянным взором по рядам заключенных, словно приходя в себя, и процедил сквозь зубы какую-то латинскую фразу.

Какую именно? "Ubi est mors stimulus tuus?"[1] Но Эрбаль запомнить ее, конечно, не мог.

Завершить церемонию начальник тюрьмы должен был ритуальными лозунгами.

Испания!

Но откликнулись лишь голоса начальства и охранников:

Единая!

Испания!

Заключенные по-прежнему молчали. Крикнули те же, что и раньше:

Великая!

Испания!

И тут грохнула вся тюрьма:

Свободная!

Эрбаль узнал о победе много раньше. Узнал от побежденных. Вопреки общему мнению, рассказывал он Марии да Виситасау, тюрьма — это место, где можно получить самую надежную информацию. А новости, услышанные из уст проигравших, обычно самые достоверные. Барселона пала в январе, Мадрид — в марте, Толедо — 1 апреля, именно 1 апреля — хочешь верь, хочешь не верь. Сдача каждого города оставляла след на лицах узников — морщину, черные круги под глазами, о ней можно было догадаться по вялой походке, неряшливому виду. Под бомбами дурных вестей узники тащили на своих плечах по тюремным коридорам и двору усталость разгромленной колонны. И с новой силой, как вирус, ждавший своего часа в миазмах, по тюрьме пошли гулять болезни и эпидемии.

Доктор Да Барка брился по-прежнему каждый день. Тщательно умывался под краном и осматривал себя в маленькое зеркало с трещиной посередине, которая делила лицо надвое. Он каждый день причесывался, будто собирался на праздник. И чистил стоптанные ботинки, которые всегда сверкали — как сепия на старой фотографии. Он заботился о житейских мелочах, как шахматист о своих пешках. Доктор попросил Марису принести фотографию. Потом передумал.

Забери, пожалуйста, мысль эта была не слишком удачной.

Она не смогла скрыть огорчения. Кому приятно получить назад свою фотографию, особенно из тюрьмы.

Я не хочу, чтобы ты оставалась в этих стенах. Лучше дай мне какую-нибудь вещь. Чтобы я мог с ней спать.

У нее на шее была повязана косынка. Она протянула ее доктору. Их разделяло расстояние в метр. Но любые прикосновения были запрещены.

1. Где нашли смерть твои побуждения? (*лат.*)

Эрбаль вмешался. С напускным безразличием обследовал косынку. Хлопчатобумажная, с красным греческим орнаментом. Как бы ему хотелось вдохнуть ее аромат! Все красное запрещено, сказал он. И это было правдой. Косынка вернулась к Марисе.

Я ухожу от тебя, сказал Эрбалю покойник вскоре после окончания войны. Попробую отыскать сына. А ты о нем случайно чего-нибудь не знаешь?

Он жив, я тебя не обманул, ответил гвардеец, начиная злиться. Когда мы пришли за ним, он уже успел скрыться. Позднее нам стало известно, что он, прикинувшись слепцом, сел на рейсовый автобус. В черных очках и так далее... Хотя трупы по обочинам дороги он, надо полагать, отлично разглядел. Его след мы потеряли здесь, в Корунье.

Ладно, попробую все-таки поискать. Я ведь обещал дать ему несколько уроков живописи.

Не думаю, чтобы он теперь думал о кистях и красках, резко бросил гвардеец. Он, как крот, зарылся в какую-нибудь нору и сидит, боясь нос высунуть.

Как только художник покинул его, Эрбаль — чего он и опасался — снова почувствовал недомогание. С деверем он не сжился, поэтому переехал от сестры — попросил позволения ночевать в тюрьме. По утрам, едва встав с постели, он чувствовал головокружение, будто голова не желала подниматься вместе со всем телом. Теперь он вечно ходил с недовольной миной.

Доктор Да Барка выводил Эрбаля из себя своей самоуверенностью. Своей невозмутимостью. Улыбкой пророка Даниила.

Железный Человек не преминул воспользоваться отлучкой художника. И Эрбаль выполнил его приказ.

Он написал донос на доктора Да Барку. Вернее, доложил начальству о том, что знал не первый день.

У доктора имелся подпольный радиоприемник. Детали ему передали с воли — они были спрятаны в коробках, поступающих в лазарет. Пружинный матрас служил антенной. Организация заключенных тотчас придумала дежурства по оказанию срочной помощи больным — чтобы таким образом замаскировать истинную причину своих слишком частых ночных визитов в лазарет. Эрбаль застал доктора в наушниках. Тот с хитрющей улыбкой заявил, что это фонендоскоп. Но Эрбаль полным идиотом не был.

В своем донесении он упомянул еще одну вещь. У него имелись серьезные подозрения. Доктор Да Барка, по всей видимости, снабжал некоторых больных наркотиками.

Однажды ночью мы доставили в лазарет заключенного, который жаловался на страшные боли. Он кричал так, будто его распиливали пополам. Среди воплей можно было разобрать, что у него нестерпимо болит ступня правой ноги. Но дело-то вот в чем: у этого больного по фамилии Бикейра правой ступни не было вовсе. Несколько месяцев назад ступню ему ампутировали, потому что началась гангрена. Это тот самый Бикейра, который пытался бежать, если сеньор помнит, когда красили фасад. Я сам выстрелил ему в лодыжку. Пуля разворотила ногу. Наверное, болит другая нога, левая, сказал я этому самому Бикейре. Нет, он твердо показывал на правую и в отчаянии хватался за правую икру, так что даже ногти в кожу впивались. У него был деревянный протез — ореховый, который ему сделали в тюремной мастерской. Скорее всего деревяшка была плохо подо-

гнана к культе. И я снял протез, но он повторял: Ступня, кретин, пуля в лодыжке. Ну, мы его доставили в лазарет, а там доктор Да Барка очень серьезно заявил, что да, болит именно там, где он говорит. Там, где пуля засела. Мне это все уже начинало казаться каким-то театром. Но врач при мне сделал больному инъекцию, приговаривая, что сейчас, мол, тому станет легче, сейчас все пройдет. Спокойно, Бикейра, это крыло Морфея. И вскоре Бикейра утих, на лице заиграла блаженная улыбка, словно он видел сон наяву. Я спросил доктора, что же такое с ним приключилось, но он не удостоил меня ответом. Он человек заносчивый. Но я слышал, как он объяснял другим, что у Бикейры — фантомная боль.

А еще что? — наморщил лоб начальник тюрьмы.

История повторилась, сеньор. Я дознался, что морфий они извлекают из сейфа доктора Соланса.

Но мне никто не докладывал, что сейф был взломан.

Замечание начальника тюрьмы показалось Эрбалю на редкость наивным. Он сказал:

В нашей тюрьме, сеньор, сидит дюжина умельцев, которые могут в мгновение ока открыть этот сейф зубочисткой. И будьте уверены, они послушаются скорее доктора Да Барку, чем вас или меня. Потом Эрбаль церемонно положил на стол пакет из грубой бумаги. Это использованные ампулы, сеньор. Из мусорных ящиков в лазарете. Думаю, там был морфий.

Начальник тюрьмы внимательно посмотрел на ревностного служаку, явившегося к нему в кабинет, и словно только теперь сообразил, что тот находится в полном его распоряжении. И почему-то подумал о псе, которому привязали к хвосту связку консервных банок и который с диким грохотом несется по улице.

Но ведь от доктора Соланса жалоб не поступало.

У него есть на то свои причины, сказал Эрбаль, выдержав взгляд начальника тюрьмы.

Я не забуду ваше усердие, агент. Начальник встал. Показывая тем самым, что разговор окончен. Этим делом займусь я сам.

Эрбаль внимательно следил за развитием событий. Доктора Да Барку наказали — посадили в карцер, в одиночку. Радио конфисковали. Доктор Соланс долго отсутствовал, якобы по болезни. Что касается Эрбаля, то в один прекрасный день он получил извещение о повышении — его произвели в капралы.

Только вот чувствовал он себя все хуже и хуже. Дурное настроение вымещал на заключенных, которые с некоторых пор стали его люто ненавидеть. Он специально придумывал всякие пакости. Однажды сказал молодому рыбаку Вентуре: Нынче вечером поднимись на сторожевую вышку. Я позволю тебе заглянуть во двор женского отделения. Туда поступила молоденькая шлюшка, у которой груди как сыры из Асуа. Ты ей только знак подай, и она все тебе покажет. Но ведь нам запрещено туда подниматься, сказал арестант. Уж так и быть, я постараюсь тебя не заметить, успокоил его Эрбаль.

Как только Вентура узнал, что военные подняли мятеж, он схватил рожок из раковины и дудел день и ночь напролет, пока его не угомонили пулей. Пуля попала в предплечье, и — словно целились специально — как раз в татуировку, изображавшую пышнотелую сирену, теперь изуродованную шрамом.

В условленный час Вентура поднялся на башню. Во дворе он и вправду увидел молоденькую девушку, она сидела на корточках у стены. Па-

рень свистнул и сделал знак рукой. Девушка с трудом поднялась и неуклюже, словно на ходулях, поплелась к центру двора. На ней были потертое бежевое пальто с меховым воротником и синие резиновые сапоги. Она подняла глаза, и Вентура подумал, что в жизни своей не видал такого печального взгляда. Это была блондинка с очень бледной кожей и осунувшимся лицом, под глазами — глубокие ямы коричневого цвета. И тут девушка распахнула пальто. Под ним на ней ничего не было. Она распахнула полы, потом снова запахнула, как на представлении в ярмарочном балагане. У девушки были дряблые груди, волосатый торс и мужской член. А ты что тут делаешь? — спросил Эрбаль. Разве не знаешь, что сюда подниматься запрещено?

Сволочь ты.

Ха-ха-ха!

Каждый день он подходил к дверям карцера, где сидел доктор Да Барка, и плевал в дверное окошко. Какое-то время спустя гвардеец Эрбаль проснулся среди ночи от удушья. Сердце едва трепыхалось в грудной клетке. Он так перепугался, что дежурный поволок его в карцер к доктору Да Барке. Эрбаль привалился к двери и готов был молить о помощи. Но сумел совладать с собой, добрел до двора и тут, на свежем воздухе, смог вдохнуть всей грудью.

Именно тогда он заметил, что покойник снова сидит у него за ухом. И почувствовал чудесное облегчение.

Это ты? Куда ты, черт возьми, запропастился? — спросил он, стараясь скрыть радость. Нашел своего сынка?

Нет, не нашел. Но я слышал, как родственники говорили, что он жив и здоров.

Видишь, я тебя не обманул. Мог бы и побольше мне доверять.

В самом деле? — насмешливо спросил покойник.

Послушай, скажи мне вот какую вещь. Ты знаешь, что такое фантомная боль?

Да, кое-что слышал. Мне объяснял доктор Даниэль Да Барка. Он изучал этот вопрос в благотворительной больнице. И якобы не бывает боли страшнее. Эту боль вытерпеть просто невозможно. Память о боли. А почему ты спрашиваешь?

Просто так.

15

Мариса Мальо посмотрела на араукарию и тотчас, в свою очередь, почувствовала тяжесть ее взгляда. Это величавое дерево росло в усадьбе деда Марисы и царило над долиной, нацелив в небо огромные зеленые ветви.

Марису радостно приветствовали собаки. Они узнали ее по запаху и в диком ликовании скакали вокруг, словно с гордостью демонстрируя всем и каждому свою драгоценную добычу. Но никогда прежде Мариса не замечала, чтобы за ней исподтишка наблюдала араукария.

Ну что, вернулась, девочка? — спрашивала она сверху.

Приближаясь к усадьбе, Мариса уже не сомневалась: кроме араукарии за ней следят еще и усыпанные цветами деревья, что растут вдоль покрытой мелкими белыми камешками дорожки. Да и камелии тоже, казалось, перемигиваются с китайскими магнолиями и при этом что-то невнятно бормочут.

Весь этот мир принадлежал в какой-то мере и ей. Вот здесь она играла, здесь пряталась. А здесь состоялся невиданный во Фронтейре праздник — первый выход Марисы в свет, когда она впервые надела длинное платье. И дед придавал торжеству особое значение. При мысли о том дне Мариса грустно усмехнулась.

Дед Бенито Мальо сидел рядом с ней под навесом во главе длинного-предлинного пиршественного стола. Такого длинного, как ей теперь вспоминалось, что на дальнем его конце белизна скатертей растворялась в садовых зарослях. Бенито Мальо сидел рядом с внучкой, белокурой девушкой, в которой уже угадывалась красавица-женщина, и гордо улыбался. Ему впервые удалось собрать вместе все, так сказать, живые силы — всех самых-самых... Тут на почетных местах расположились те, кто больше всего презирал его, сливки местной знати, и теперь они покорно смеялись над его остротами. Тут были епископ и священники, в том числе тот самый приходский священник, который однажды с амвона назвал его первейшим в округе грешником. Тут сидели высшие чины пограничной охраны, те самые, что в прошлые времена, когда он еще был дерзким доном Никто, грозились повесить его под мостом за ногу, чтобы угри выели ему глаза. Да, что-то поменялось в этой жизни. Хотя на первый взгляд она вроде бы оставалась прежней. Прежние ценности, прежние законы, прежний Бог. Только вот Бенито Мальо перешагнул некую границу. Разбогател на контрабанде. По слухам, он занимался кофе, маслом и треской. Но людское воображение шло куда дальше. Тонны меди в виде электрического кабеля якобы тянулись к рукоятке, которая крутится день и ночь; драгоценности переправлялись в брюхе у скота; шелк перевозился легионом мнимо беременных женщин; а оружие путешествовало в гробах, словно кто-то воздавал последние почести покойникам.

Бенито Мальо разбогател до той степени, когда окружающие перестают задаваться вопросом, как ему это удалось. Он сотворил из собственной жизни легенду. Парень-деревенщина, который теперь носит костюмы, сшитые в Корунье. Который купил "форд" с обитыми кожей сиденьями, где нынче устраивают гнезда куры. Который поставил у себя дома золотые краны в умывальниках, но сам справляет нужду в кустах и подтирается капустным листом. И дарит любовницам фальшивые купюры.

Но что-то переменилось, когда Бенито Мальо купил усадьбу с большой араукарией. Неписаный закон гласил: кому принадлежит араукария, тот становится местным владыкой. Так что во времена диктатуры Примо де Риверы один из доверенных адвокатов Бенито Мальо был назначен местным алькальдом. Но из всего этого не следовало, что Бенито Мальо отказался от господства и в невидимом приграничном царстве. Днем и ночью сновал туда-сюда челнок — ткал прочный ковер. Бенито Мальо уверенно ступал по паркету в самых знатных домах, укрощал строптивых чиновников и судей, но с наступлением темноты его нередко встречали на пристани в Миньо — и узнавали по знаменитой шляпе с широкими полями, при этом каждому встречному он всем видом своим показывал: король здесь я. А потом в трактире, где отмечалось успешное прибытие груза, он сплевывал на пол и словно между прочим бросал: Меня тут не было несколько месяцев, я катался в Нью-Йорк, а? Купил на Сорок второй улице вот этот костюм и зажигалку. Его люди знали, что он не бахвалится. Отлично, шеф. Совсем как Аль Капоне. И смеялись над тем, над чем смеялся он. Он любил шутки, но далеко не всякие. А когда гневался, можно было разглядеть в самой глубине его

глаз всполохи жаркого пламени. Этот Аль Капоне — преступник, а я — нет. Кто же спорит, дон Бенито. Простите, тут я оплошал.

Бенито Мальо едва умел читать. Ведь в школу-то мне походить не довелось, говаривал он. И такое признание собственной необразованности в его устах звучало как вызов, и вызов этот звучал тем более грозно, чем прочнее становилось положение дона Бенито. Единственными бумагами, которые он уважал, были свидетельства о собственности. Их он читал медленно и громко, почти по слогам, не боясь показать, что чтение дается ему с великим трудом, читал так, как читают строки Библии. Затем ставил подпись — будто наносил решительный удар чернильным кинжалом.

Чтобы купить усадьбу во Фронтейре, Бенито Мальо пришлось одолеть сопротивление наследников владения. Они обитали в Мадриде, а сюда наезжали лишь в летнюю пору и на Рождество. В рождественские праздники устраивались живые картинки. Участвовали в них дети из бедных семей, только Пресвятую Деву и святого Иосифа изображали дочь и сын хозяев усадьбы. Именно они после завершения спектакля оделяли всех шоколадными рождественскими фигурками и сушеным инжиром. Как-то раз и Бенито Мальо довелось выступить в роли пастушка — в меховом жилете и с котомкой за плечами. Он держал на руках овечку и должен был принести ее в дар Деве Марии, святому Иосифу и младенцу Иисусу. А в яслях в тот год лежал новорожденный сын служанки, которого она прижила невесть от кого. Правда, злые языки отцом называли Луиса Фелипе, владельца этой земли. Бенито Мальо тоже был незаконнорожденным, но к той поре уже наверно знал, кто его отец — пиротехник-гуляка, которого на вербену зарезали ножом в пьяной драке. Годы спустя, уже став взрослым парнем, но еще ничем не прославившись, подвыпивший Бенито Мальо прямо на коне ворвался на хозяйский праздник и, начав палить в воздух, до смерти напугал танцующих. Все запомнили тоскливый крик Бенито, когда его уже втянуло в воронку ночного мрака:

Вот на таком же празднике, на вербену, погиб мой отец!

Когда же он перед приусадебной часовней должен был изображать вифлеемского пастуха, ему поручили спеть короткое вильянсико[1]. И накануне вечером мать выучила с ним один куплет. Она и сама от души смеялась, исполняя его для сына. И Бенито Мальо, опустив барашка к яслям младенца Иисуса, повернулся к публике, сделал шаг вперед и очень серьезно пропел:

Дай нам на бедность
хоть самую малость:
окорок целый
да все, что осталось.

Поначалу хозяин усадьбы и гости остолбенели от неожиданности. Потом принялись хохотать. Да так, что не могли остановиться. Бенито Мальо видел, как кое-кто даже слезы вытирал. Они буквально рыдали от смеха. А у него пламя рвалось из глубины глаз. Случись это темной ночью, глаза его сверкали бы не хуже, чем у горной кошки.

Посредники, которых Бенито Мальо посылал в Мадрид, возвращались ни с чем. И так и сяк подлезали к владельцам усадьбы — все впустую. Каждый раз, когда казалось, что дело слажено, обедневшие хозяева ставили новые условия. Однажды Бенито Мальо призвал шофера и велел

1. Вильянсико — народная рождественская песенка.

ему готовиться к долгому путешествию. Они погрузили в багажник два плоских бочонка, в каких принято здесь хранить копченую рыбу.

А я привез сеньорам подарочек, сказал Бенито Мальо, заявившись в их мадридскую квартиру.

Его провели в гостиную, и там в присутствии всей семьи он без лишних церемоний вскрыл один бочонок. Купюры были аккуратненько уложены концентрическими кругами — на манер деликатесной сельди.

Очень аппетитно. Гляньте, как они сверкают да как пахнут! Можете отведать. Пожевать. Очень вкусные копченые рыбки. Потом Бенито Мальо сказал: Коли желаете, пересчитайте, торопиться нам некуда. И он бросил взгляд на карманные часы, висевшие у него на цепочке. А я пойду сыграю в лотерею. Если согласны, зовите надежного нотариуса.

Но когда он вернулся, у сеньора нервно дергалась щека — от сардонического смеха. Жена его не проронила ни слова, только грудь ее вздымалась при каждом вздохе. А двое детей, мальчик и девочка, прикрывали родителей с флангов. Это семейство — надменное, с вытянутыми, как у встревоженных журавлей, шеями — всем видом показывало, что их жестоко оскорбили.

Ну так что?

Мы благодарим вас за проявленный интерес, сказал Луис Фелипе, но такой подход к делу кажется нам слишком поспешным. И речь идет не только о деньгах, сеньор Мальо. Есть вещи, не имеющие цены, они очень много значат для чувств.

Библиотека, папа, вставила дочка.

Да. Например, библиотека. Это замечательная библиотека. Из лучших в Галисии. И она бесценна.

Понятно. Бенито Мальо повернулся к шоферу: Коуто, неси второй бочонок.

Прошли годы, прежде чем Бенито Мальо обратил внимание на библиотеку: книги были расставлены в кабинете, гостиной и вдоль длинного коридора. Время от времени какой-нибудь гость, полистав старинный том, непременно бросал восторженный комментарий:

То, что у вас здесь собрано, это настоящие сокровища.

Знаю, кивал Бенито Мальо, и они бесценны.

В глубине кабинета хранилась иллюстрированная энциклопедия. Внушительных размеров одинаковые тома, переплетенные под мрамор, отчего кабинет имел суровый и торжественный вид мавзолея. Но каждый раз, когда Бенито Мальо поднимался со своего места и обходил стол с правой стороны, взгляд старого контрабандиста упирался в полку, где стояли книги разных форматов, некоторые без переплета. Над этими книгами красовалась деревянная табличка с надписью: ПОЭЗИЯ.

Однажды он вот так же поднялся, но потом снова сел. Но в руках он теперь держал книгу под заголовком "Сто лучших стихотворений на кастильском языке", составленную Марселино Менендесом-и-Пелайо[1]. С той поры каждый день в минуты отдыха он читал этот томик. Иногда клал открытую книгу на колени и замирал, глядя на тени, скользящие, как в немом фильме, по галерее, или опускал веки и словно грезил наяву. Он приучил прислугу к тому, что в такие моменты никто не должен его беспокоить, и у прислуги появилось новое выражение, звучавшее почти как старинная ритуальная формула: Сеньор сидит с книгой.

1. Марселино Менендес-и-Пелайо (1856—1912) — испанский историк культуры и литературы; среди его работ — многотомная "Антология лирической поэзии Кастилии".

Любая причуда деда воспринималась в семье как нечто священное, и никто не придал особого значения этой внезапно вспыхнувшей страсти, которую здесь отнесли на счет старческого размягчения мозгов. Но в один прекрасный день, когда вся семья собралась в гостиной, Бенито Мальо выступил вперед и прочел первую строфу из "Копл на смерть отца" Хорхе Манрике[1]. Произведенный эффект – смятение бабушки Леонор и удивление, вспыхнувшее на лицах остальных, – открыл ему, что такое настоящий триумф, чего он до той поры, как выяснилось, не знал. У него было настолько сильно развито практическое чувство, что он путал выводы, пусть и неверные, к которым сам же приходил, с реальным порядком вещей.

В день банкета по случаю первого выхода Марисы в свет, уже за десертом, дед поднялся и постучал ложечкой по бокалу, словно зазвонил в колокольчик, требуя тишины. Весь день накануне он просидел, запершись в кабинете, и было слышно, как он сам с собой разговаривает и что-то декламирует в разных регистрах. Он был из числа людей, презирающих пустые разглагольствования. То есть слова, которые уносит ветер. Но сего-

дня, возгласил он, я хочу сказать то, что идет из самого моего сердца, то, что подобно роднику, бьющему из моей души. И трудно найти лучший повод, чем этот, подаренный нам нынешним торжеством, когда мы не без грусти чествуем весну жизни, пробуждение цветка, переход от невинности в возраст, уязвимый для нежных стрел Купидона.

Послышались смешки, но Бенито Мальо тотчас пригасил их сердитым косым взглядом.

Знаю, многих из вас мои слова удивят, ведь настали такие времена, что я и сам не прочь посмеяться над чересчур, так сказать, чувствительными чувствами. Но, друзья мои, бывают случаи, когда человек делает остановку на жизненном пути и подводит итоги.

Создалось впечатление, будто голос его и глаза пробежали какой-то отрезок по двум разным тропкам, прежде чем встретиться в одной точке, и тогда и голос его, и взгляд внезапно посуровели. Я привык называть вещи своими именами и не умею лукавить. Кто смел, тот и съел. А не то сожрут тебя. Таков закон. И я никогда его не забывал, поэтому теперь, не боясь показаться нескромным, осмелюсь признаться, что близким своим завещаю состояние чуть большее, чем то, которое незадачливая судьба когда-то положила к моей колыбели. Но не хлебом единым жив человек. Нельзя оставлять без внимания и духовные потребности.

То есть культурные.

Пока он все это произносил, взгляд его, взгляд самого беспощадного из всех Бенито Мальо, медленно обегал собравшихся, и под этим взглядом на самых ироничных и насмешливых лицах появлялось льстиво-заинтересованное выражение.

Культура, сеньоры! И среди всего того, что к ней относится, самое утонченное из искусств. Поэзия.

Со всей возможной скромностью и смирением признаюсь, что поэзии посвящал я в последние времена самые задушевные часы своего досуга. Я засеял поля, которые держал под паром. Я отлично знаю, что в каждом из нас живет дикий зверь, правда, в ком явно, а в ком и скрытно. Но и самый закаленный человек дрогнет, если ему удастся настроиться на струны собственной души, совсем как ребенок, отыскавший на чердаке музыкальную шкатулку.

1. Хорхе Манрике (1440–1479) – испанский поэт.

Оратор неторопливо отпил глоток воды, откровенно довольный тем, что при гостях, то есть публично, упомянул образы зверя и ребенка, над которыми напряженно раздумывал всю минувшую ночь. В то же время эти самые гости, то бишь публика, хранили гробовое молчание, напуганные испепеляющими взорами Бенито Мальо. Но не в меньшей степени они были заинтригованы, не умея разгадать: сарказм или помутнение рассудка распечатали хозяину уста.

Все эти предварительные рассуждения не случайны, потому что я не хотел, чтобы то, что сейчас воспоследует, было для вас как снег на голову. Мне нелегко было решиться на сей шаг, но я подумал, что нынешний повод оправдывает даже самые рискованные затеи. И вот результат. Я выношу на ваш благосклонный суд свои стихи, хотя и сознаю, что энтузиазм новичка не восполнит недостатка умения и опыта.

Сперва я прочту поэму, которую сочинил в честь наших родителей и наших предков.

Бенито Мальо изобразил минутное колебание, словно его захлестнули эмоции, но, очень быстро обретя прежнюю уверенность и прежний апломб, начал декламировать с поэтической пылкостью:

Ведь наши жизни — лишь реки,
и путь им дан в океан,
который — смерть...[1]

Наконец-то прояснилось, в чем соль шутки, подумал кое-кто из гостей. И собравшиеся встретили аплодисментами коплы Хорхе Манрике, а потом даже посмеялись, давая понять, что сумели оценить розыгрыш. Но тут-то они как раз и попали впросак. Мало того, Бенито Мальо обжег их таким взглядом, что смельчаки втянули головы в плечи и рта больше не раскрывали — пока коплы не были дочитаны до конца.

А теперь, сказал он грозным голосом Нерона, последует сочинение, которое, не скрою, стоило мне большого труда. Я потратил на него целый вечер, не меньше, потому что первая строфа никак не давалась — я бился с ней как с неотшлифованным алмазом.

За нежный поцелуй ты требуешь сонета,
Но шутка ль быть творцом четырнадцати строк
На две лишь четки рифм? Скажи сама, Лилета...[2]

Никто больше не смеялся. Даже над Лопе де Вегой. Раздался было робкий шепот, но Бенито Мальо срезал его стальным клинком своего взгляда. В конце ему поаплодировали, но уже не бурно, а со сдержанным достоинством, как и положено на официальном концерте.

И в завершение — стихотворение, которое я посвящаю юным. В первую очередь моей внучке Марисе, ради которой, собственно, мы здесь и собрались. Чего бы мы только не отдали, чтобы вновь стать молодыми! Порой мы корим их за строптивость, но она так естественна для юных лет и так романтична... Размышляя о вас, самых юных, я вообразил героя, который воплощает в себе сам дух свободы, и у меня получилась такая вот пиратская песня:

1. Перев. О. Савича.
2. Лопе де Вега. Сонет. Перев. В. Жуковского.

Десять орудий...
попутный ветер,
парусник наш
море не режет — летит[1].

Тут уж грянули настоящие овации и крики, славящие дона Бенито-поэта. Но ему уже было не важно, насмехаются над ним или нет. Он поднял тост за будущее. И залпом выпил рюмку коньяка. Потом сказал: А теперь — веселиться! После чего покинул праздник, нырнув в заветное одиночество. Больше в тот день его уже никто не видел.

Ближе к ночи Мариса, все еще недоумевая, явилась к нему за разъяснениями. Но увидела, что он не способен внятно объяснить хоть что-нибудь. В одиночку он напился. На столе стояла пустая бутылка из-под настоянного на травах ликера. Золотистый осадок белой омелы в рюмке и в голосе.

Видела, девочка? Вот что такое власть!

Когда образовалась Республика, он сделался республиканцем. Но всего на несколько месяцев. Очень скоро его кумиром стал контрабандист, банкир и заговорщик Хуан Марч[2], прозванный Последним Пиратом Средиземноморья. Бенито Мальо с восторгом рассказывал о нем одну историю, которая казалась ему самым замечательным примером остроумия, какой только знали новые времена. Как и он сам, Хуан Марч плохо читал и писал, но с поразительной скоростью производил любые арифметические действия. Примо де Ривера восхищался этой его способностью. Однажды на совещании, где собрались министры, он повернулся к Марчу и сказал: Ну-ка, дон Хуан, сколько будет семь умножить на семь, еще раз на семь, еще на семь и плюс семь. И Марч ответил мгновенно, не задумываясь: Две тысячи четыреста восемь, мой генерал. И тогда диктатор обратился к министру финансов: Учитесь, сеньор министр!

В 1933 году Бенито Мальо послал Хуану Марчу в тюрьму мариска. Правда, из узилища Марч вскорости сбежал — на пару с самим начальником сего заведения. На гербе Бенито Мальо, как и на гербе Марча, значился девиз: Diners o dinars. Деньги или еда. Оба полагали, что за деньги можно купить все.

Собаки с необузданной нежностью пытались ухватить Марису за запястья, словно в чем-то упрекая. Мариса, ощутив внезапный прилив радости, громко поздоровалась с садовником:

Эй, Алирио! Как дела?

Окруженный облаком золы из костров, на которых сжигались опавшие листья, садовник плавным жестом, словно и сам был частью растительного мира, колыхнул рукой. После чего, опять уйдя в себя, продолжил подпитывать лесное кадило. Мариса знала, о чем болтали в округе — по секретному радио Фронтейры. Что Алирио был сыном бывшего хозяина ее дедушки — из тех времен, когда Бенито Мальо еще только начинал зарабатывать себе на жизнь, и что позднее дед не находил себе покоя, мечтая заполучить в работники хоть кого-нибудь из этого знатного рода — и, понятно, не из чувства благодарности, а чтобы таким вот заковыристым способом поквитаться с историей. По неписаным законам Фронтейры не было для человека клейма позорней, чем побывать в слугах у обита-

1 Хосе де Эспронседа (1808—1842). Пиратская песня.
2. Хуан Марч-и-Ординас (1884—1962) — *испанский финансист; широко известен фонд его имени, учрежденный в 1955 г.*

телей другого берега. И тем не менее в этом мире, окруженном высокими стенами, именно Алирио выглядел самым свободным человеком. Он жил, отъединясь от людей, и двигался по усадьбе подобно тени от стрелки солнечных часов. В детстве Мариса свято верила, что времена года в какой-то мере были творением их садовника — молчаливого, порой даже казавшегося немым. Он по своей прихоти гасил и зажигал краски в саду, словно под землей у него был протянут невидимый запальный шнур, который соединял меж собой все корни и луковицы. Правда, желтый цвет не умирал никогда. По велению зимы затухали последние золотистые огоньки китайского розария. Но именно той порой, когда вокруг воцарялась унылая печаль, созревали лимоны, и из густых зарослей мимозы лезли вверх стерженьки с тысячами свечек. Пока в горах искорками цвел колючий дрок, начинали примерять новый наряд ветви форситии. А потом у самой земли загорались фонарики первых ирисов и нарциссов. Весной во всей красе полыхал золотой дождь. И всю эту иллюминацию устраивал Алирио с помощью своей волшебной зажигалки.

Когда Бенито Мальо показывал важным гостям великолепные растения, украшавшие усадьбу, среди которых, словно герб его владений, выделялись всех сортов камелии, Алирио следовал чуть поодаль, сцепив руки за спиной, совсем как хранитель ключей от этого храма. Он подсказывал хозяину названия кустов или деревьев, если тот обращался к нему с вопросом, а случалось, и поправлял его, но всегда очень деликатно.

Алирио, сколько лет этой бугенвилее?

Этой глицинии, сеньор, по моей прикидке, лет столько же, сколько и дому.

Мариса обожала выслушивать диагнозы, которыми он определял состояние деревьев — и делал это всегда в самые неожиданные моменты, словно выписывая рецепты в воздухе. Что-то тут у нас листья бледноваты! Знать, это лимонное дерево тоскует. А рододендрон, он теперь чем-то слишком взволнован. У каштана одышка.

Каштан был для Марисы тайным убежищем: в вековом стволе имелось дупло, и, сидя там, она, словно через иллюминатор, могла незаметно наблюдать за тем, что происходит снаружи. И у нее с каштаном был по крайней мере один общий секрет. История шофера и тети Энграсии. Тсс!..

Когда она пересказала Да Барке то, что Алирио сказал о каштане, доктор пришел в полнейший восторг. Ваш садовник прямо профессор! Мудрец! Потом Даниэль задумчиво произнес: Деревья для него — отдушина. Он ведь рассказывает тебе о себе самом.

Алирио растворяется в облаке золы.

Дед ждал ее, стоя на самом верху лестницы. Поникшие плечи, руки висят плетьми, кисти почти скрыты под манжетами куртки, так что видны лишь крючковатые пальцы на набалдашнике трости. На металлическом набалдашнике в виде собачьей головы. Но по-прежнему жив ястребиный взор — особая примета Бенито Мальо, правда, теперь в его глазах затаилась еще и грусть — реакция острого ума на атаку склероза. Он спускается по лестнице.

Помочь вам, дедушка?

Я пока не умираю.

И сказал, что лучше будет, если они побеседуют, прогуливаясь по розовой аллее, — надо ловить зимнее солнце, оно помогает ему бороться с тем, что сам он называет проклятым ревматизмом.

Сегодня ты очень красивая. Впрочем, как всегда.

Мариса вспомнила, при каких обстоятельствах они виделись в последний раз. Она вскрыла себе вены и лежала в ванной комнате на полу, истекая кровью. Им пришлось выбить дверь. Дед сразу постановил, что ничего подобного никогда не было. Никогда.

Я пришла просить вас об одолжении.

Это хорошо. Выслушивать просьбы — моя профессия, так что просьбами об одолжении меня не удивишь.

Вот уже год и восемь месяцев как закончилась война. По слухам, к Рождеству будут помилования.

Бенито Мальо остановился и глотнул воздуха. Зимнее солнце трепетало в великолепном витраже, который образовали листья араукарии. Одышка, подумала Мариса, пытаясь по облаку дыма взглядом отыскать садовника.

Не стану тебя обманывать, Мариса. Я сделал все что мог, чтобы его убили. Поэтому самое великое одолжение, которое я могу вам оказать, — это впредь ничего не делать.

Ты можешь больше, чем говоришь.

Он обернулся и посмотрел ей в глаза, но без досады, а скорее с любопытством человека, увидевшего в реке отражение чужого лица. Стоит всколыхнуть воду — лицо ускользнет из твоих рук, ничем его не удержать, а потом появится вновь, как некая вторая реальность.

Ты уверена? А вот с тобой я не сладил.

Она хотела спросить его: Да поймешь ты наконец или нет, что на свете существует вещь по имени любовь? И напомнить, чтобы уколоть, как несколько лет тому назад сам он поддался безумной страсти к поэзии. Напомнить шутовскую сцену, когда он в первый и единственный раз декламировал чужие стихи, — сцену, которая уже никогда не сотрется из анналов истории Фронтейры. Правда, вскоре Бенито Мальо все книги с той колдовской полки отдал цыгану, который направлялся в Коимбру, и велел поставить на их место тома Гражданского кодекса. Но Мариса промолчала. Любовь существует, дедушка.

Любовь, прошептал он так, словно рот его был набит крупной солью. А потом сказал хриплым, исторгнутым из самого нутра голосом: Больше я ничего делать не буду. Решай сама. Вот тебе мое одолжение.

Мариса не стала спорить, потому что именно этого и хотела добиться. По неписаным законам Фронтейры хочешь получить что-нибудь одно — проси десять. Кроме того, любое обещание деда становилось приказом для всего их клана, начиная с ее родителей, которые с овечьей покорностью исполняли волю Бенито Мальо. Иначе говоря, она получила охранную грамоту от лица всей семьи. Что ж, впредь никто больше не рискнет подыскивать женихов для Пенелопы. Решай сама. Ступай своим путем. Я выйду замуж за любимого, который сидит в тюрьме.

Я выйду за него замуж, сказала она.

Бенито Мальо промолчал. Он бросил прощальный взгляд на витраж, составленный из листьев араукарии, и повернул к дому. Прогулка закончилась.

Послышался собачий визг. Шофер Коуто, который выполнял заодно и обязанности сторожа, робко приблизился к дону Бенито.

Простите, сеньор. Тут пришла жена Росаля. Беглец сумел добраться до Лиссабона. Она хочет поблагодарить вас.

Поблагодарить? Она должна заплатить уговоренное — а потом пусть катится на все четыре стороны!

Мариса знала, о чем речь. Дед принадлежал к лагерю победителей. Во Фронтейре репрессии были особенно жестокими. Здесь потеряли счет черепам с дырочкой от пули. Слишком их оказалось много с точки зрения ума практического. А у деда ум несомненно был практическим.

Послезавтра, сказал он, снова поворачиваясь к Марисе, из Коруньи отправляется поезд. Особый поезд. И там будет твой доктор.

16

Часы на перроне всегда показывали без пяти минут десять. Мальчику, продававшему газеты, порой казалось, что минутная стрелка, та, что подлиннее, слегка вздрагивает, но потом опять покоряется судьбе, не умея сладить с собственным весом, как курица с крыльями. По разумению мальчика, на самом-то деле часы поступали куда как правильно и эта вечная их поломка — решение, вполне соответствующее законам жизни. Ему и самому хотелось бы замереть без движения, только вот не без пяти минут десять, а часа на четыре пораньше, когда в их домишке в Эйрисе отец обычно приходит будить его. И зимой и летом там стоит облако тумана, плотное облако, которое год за годом будто сдавливает их дом, прогибая крышу и делая щели в стенах. Мальчик свято верил в то, что по ночам облако выкидывает щупальце и оно спускается по дымоходу вниз, присасывается к потолку и оставляет на нем круглые пятна, похожие на кратеры какой-то серой планеты. Это был первый пейзаж, который он видел спросонья. Потом мальчику надо было пересечь весь город — до Порта Реаль, где он забирал номера "Голоса Галисии". Зимой он нередко проделывал весь этот путь бегом, чтобы прогнать холод из ног. Отец смастерил ему подошвы для башмаков из кусков автомобильных шин. И когда мальчик бежал, подошвы его поскрипывали — рунн-рунн-рунн, прокладывая дорогу в тумане.

Все знали, что мадридский экспресс прибывает с большим опозданием. Мальчик не мог понять одного — почему это называют опозданием, если поезд всегда приходит ровно на два часа позже, чем указано в расписании. Но все вокруг — таксисты, носильщики, старик Гуталин — каждый раз говорили: Видать, опаздывает. Хотя на самом-то деле это они сами упрямо являлись на вокзал задолго до срока и ни за что не желали признать своей ошибки. Согласись они принять взаправдашний порядок вещей, мальчик мог бы спать подольше и не прорезал бы рассветный туман сигналами своего волшебного рожка.

Старик Гуталин сказал ему на это:

Да, оно, конечно, понятно. А коли однажды он вдруг возьмет да и прибудет в положенное время? Ну ответь, ответь, умник, а? Тогда что?

Мальчику очень хотелось продавать сигареты. Но ими торговал старик Гуталин, который раньше был чистильщиком сапог. Гуталин торговал сигаретами и много чем еще сверх того. Так что его пальто превращалось в настоящий склад с весьма неожиданным набором товара. Поэтому пальто он носил даже летом. А мальчик продавал одни только газеты. Нынешний день обещал быть удачным, если, конечно, хоть кто-нибудь из тех вон людей вздумает купить у него газеты. Он бы быстро распродал всю пачку — сперва им, потом пассажирам с экспресса, и ему не пришлось бы с криками бегать по перрону. И домой он шагал бы как король — руки в карманы, и еще купил бы бутылку газировки.

Но никто из мужчин, шагавших строем, на газеты его не позарился. Только один, в старом костюме без галстука и с черным кожаным чемоданчиком, потертым на углах, приостановился на миг и бросил взгляд на первую полосу. На заголовок, напечатанный большими буквами: "Встреча Гитлера и Франко". Мужчина в костюме без галстука и с кожаным чемоданчиком двинулся дальше, продолжая читать на ходу. Врезка к сообщению, выделенная особым шрифтом, гласила: "Сегодня Фюрер встретился с главой Испанского государства Генералиссимусом Франко, встреча состоялась на испано-французской границе. Встреча прошла в атмосфере дружбы, характерной для отношений между двумя нашими странами". Информация явно заинтересовала мужчину, и купи он газету, нашел бы там комментарий агентства ЕФЕ, где было написано, что "наш выдающийся и несравненный Каудильо во время исторической встречи с Фюрером подтвердил для сведения всей Европы, что наша Родина не отказывается от своих имперских амбиций". Но мужчина все равно не смог бы развернуть газету — по той простой причине, что шел он в строю, хотя и почти последним, и прямо за ним шагал охранник в треуголке и плаще, и еще с винтовкой, и этот охранник не остановился рядом с мальчиком, продававшим газеты, а, чеканя шаг, двинулся дальше.

В этот час не предполагалось отправления никаких поездов, но нынешним утром на одном из главных путей стоял состав. Состав был образован из наглухо обшитых досками вагонов, в каких обыкновенно перевозят всякие грузы или скот. Людей построили на перроне, и они тотчас опустили на землю, к ногам, свои крошечные узелки. Один из охранников принялся пересчитывать арестантов, громко выкрикивая номер каждого. Мальчик подумал, что, если бы вместо имени ему дали номер, он бы выбрал десятку, потому что под номером десять выступает Чачо, его любимый футболист, тот, который говорит: Нужно навесить мяч на ворота! Но тут появился еще один охранник, уже другой, не тот, что прежде, и пересчитал всех заново. И кто-то из вокзальных служащих тоже прошел вдоль строя, выкрикивая номера, но делал это куда быстрее, словно хотел утереть нос предшественникам. Видать, кого-то не хватает, подумал мальчик, завертел головой по сторонам и даже нагнулся, чтобы заглянуть под вагоны. Но увидел только старика Гуталина, который сказал ему:

Это тюремные, умник. Больные арестанты. Туберкулезники.

И плюнул на перрон, растерев плевок ногой, как расправляются с какой-нибудь букашкой, если случайно на нее наступят.

С того места, где он стоял, на одной линии с главным входом, так что кассовый зал располагался точно посередине, мальчик, продававший газеты, мог видеть всех, кто выходит на перрон. Ничего удивительного, что он сразу заметил и двух женщин, которые приехали на такси. Одна была постарше, но совсем еще не старая, другая помоложе, и одеты обе были очень похоже, словно у них были общими и одежда, и губная помада. Вот, подумал мальчик, у этих двух вид такой, что они непременно купят газету. Потому что он с первого взгляда умел угадывать, кто купит газету, а кто нет, хотя, понятное дело, и ему порой случалось ошибаться, и даже весьма сильно. Однажды, к примеру, газету у него купил слепой. Мальчик, кроме пассажиров, имел и постоянных клиентов, причем не совсем обычных: босая цветочница, торговка рыбой и продавец каштанов. Наверняка большинство журналистов понятия не имеют о том, какую пользу приносят газеты. Продавец каштанов, скажем, умел делать

очень красивые и ровные кулечки — такие же красивые, как белые каллы, которыми торговала босая цветочница.

Эти две сеньориты с хорошо вымытыми лицами, подумал мальчик, наверняка купят у меня газету. И ошибся. Возможно, виноват был он сам. Потому что та, что помоложе, сперва обернулась на его крик и даже зацепилась взглядом за первую страницу с исторической фотографией фюрера и Франко. Но быстро перевела взгляд на перрон, а мальчик зачем-то полез с объяснениями:

Это арестанты, сеньорита. Больные. Туберкулезники.

И даже хотел было сплюнуть на землю, как старик Гуталин, но заробел. К тому же женщина посмотрела на него вдруг помокревшими глазами, словно в них попал песок, и бросилась на перрон, как будто ее толкнуло туда пружиной. От стука не слишком высоких каблуков весь вокзал наполнился эхом, и даже минутная стрелка чуть встрепенулась, пробудившись ото сна.

Мальчик, продававший газеты, увидел, как та женщина, что помоложе, неуверенно пошла вдоль строя арестантов, правда, она их не пересчитывала и номеров не выкрикивала, и как под конец она кинулась к мужчине в старом костюме без галстука и они обнялись. И сразу на вокзале все точно замерло, никогда прежде такого не случалось, хотя обычно, когда проходит суета, связанная с прибытием или отправлением поездов, жизнь здесь приостанавливается и вокзал обретает вид тупика. Но тут все будто выпало из времени, оказалось во власти сломанных часов — все, кроме этих двоих, мужчины и женщины, которые стояли обнявшись. Пока какой-то лейтенант не очнулся от столбняка. Он кинулся к ним и грубо растащил, как обрезчик деревьев растаскивает охапки веток.

Потом подоспел еще один охранник, он пересчитывал арестантов очень медленно, словно ему было наплевать, что кто-то может вообразить, будто он плохо умеет считать. Пересчитывая арестантов, он тыкал в каждого кончиком толстого красного карандаша.

Ага, точно такой же карандаш есть и у моего дедушки, подумал мальчик, продававший газеты. Это плотницкий карандаш.

17

Они обнялись, рассказывал Эрбаль Марии да Виситасау. И стояли не шелохнувшись. А мы не знали, как тут быть. Тогда лейтенант подошел и растащил их. Растащил, как обрезчик деревьев растаскивает охапки веток.

А я уже видел однажды, как они обнимаются, но тогда некому было их разлучить.

Именно в тот день я и понял, что между ними любовь. Прежде я ни разу не встречал их вместе, и мне даже в голову не приходило, что Мариса Мальо и Даниэль Да Барка могут вдруг взять да и влюбиться друг в друга. Такое, конечно, бывает в романах, но в ту нашу жизнь ну никак не укладывалось. Ну, это... как если бы кто-то подсыпал пороха в кадило.

Честно признаться, я наткнулся на них по чистой случайности, уже ближе к вечеру, когда они вдвоем прогуливались по Росаледа в Сантьяго. Вот я и решил понаблюдать за ними. Дело было в конце осени. Они разговаривали очень оживленно, но даже за руки не держались, хотя их будто клонило или притягивало друг к дружке, когда порывы ветра поднимали стаи сухих листьев. На Аламеде они сфотографировались — такие фотографии делают в форме сердечка. Рядом с фотографом стояло вед-

ро воды, куда он окунал снимки. Начался дождь, и все кинулись под навес музыкальной эстрады, а я укрылся в общественном туалете, там же поблизости. И представил себе, как они смеются и как тела их словно ненароком соприкасаются, пока ветер сушит фотографию. Потом, когда почти совсем стемнело и дождь закончился, я снова двинулся за ними следом по улицам старого города. Это была долгая прогулка, но без всяких там обниманий и целований, и мне вся история стала надоедать. К тому же опять припустил дождь. Такой дождь, какой бывает только в Сантьяго, — он проникает тебе в самые бронхи, и ты превращаешься в настоящую амфибию. Даже у каменных коней вода изо рта льется.

А потом? — с нетерпением спросила Мария да Виситасау, которой было неинтересно слушать про то, как у каменных коней изо рта льется вода.

Потом? Потом они прямо под проливным дождем остановились посреди Кинтана-дос-Мортос. Оба, конечно, промокли до нитки, во всяком случае, с меня вода бежала ручьями, хотя я всю дорогу держался крытых галерей. Они сошли с ума, мелькнуло у меня, заработают себе воспаление легких. Чертов доктор! Вот тогда это и случилось. История с Беренгелой.

А кто такая Беренгела?

Не кто, а что. Колокол. Беренгела — это колокол на том соборе, который стоит на Кинтане. При первом ударе колокола они обнялись. И казалось, никогда больше не разомкнут объятий — ведь било-то двенадцать раз. А Беренгела бьет неторопливо. У нас даже говорят, что за это время можно успеть перепробовать вино из всех бочек, хотя трудно даже представить, как от такого боя не свихнулись все часы в округе.

А как они обнимались, Эрбаль? — спросила девушка из ночного заведения.

Мне доводилось видеть, как мужчины и женщины занимаются чем угодно, но эти двое словно выпивали друг друга. Губами и языком собирали друг с друга воду. Из ушей, из глаз, с шеи — начиная от самой груди и выше. Они были такие мокрые, что, должно быть, чувствовали себя почти голыми. И целовались, как две рыбы.

Вдруг Эрбаль нарисовал карандашом на белой бумажной салфетке две параллельные линии. Потом еще две — поперек двух первых, потолще и покороче.

Это поезд, поезд затерявшийся в снегах.

Мария да Виситасау только теперь обратила внимание на глаза Эрбаля. Вернее, на белки. Они отдавали желтизной, как копченое сало. И на фоне белков зрачки казались яркими, словно угольки. Если бы он отрастил волосы, то их белизна, наверное, выглядела бы весьма почтенно, но теперь они были подстрижены грубо, по-рекрутски, и голова была грязно-серой. Эрбаля всякий назвал бы мужчиной пожилым, если не старым. Но он был сухопар и жилист, как узловатое дерево. А Мария да Виситасау уже начинала призадумываться о возрасте, потому что самой ей в октябре стукнуло двадцать. Она встречала стариков, которые выглядят много моложе своих лет, потому что заключили со временем некий веселый и безрассудный пакт. Другие, вроде Манилы, хозяйки заведения, относились к своему возрасту нервно, даже с надрывным отчаянием и пытались скрыть его следы, но все попытки оказывались тщетными, потому что слишком обтягивающие наряды и обилие драгоценностей только подчеркивали необратимые перемены в фигуре. Но Мария да Виситасау знала только одного человека — и это был Эрбаль, — который выглядел моложе своих лет вопреки собственному хотению,

так сказать, по прихоти коварной судьбы. И подчас трудно было понять, отчего он вдруг начинает задыхаться: оттого, что хочет дышать, или наоборот – не хочет. Его лютая злоба на время, которое течет слишком медленно, выплескивалась наружу в ночные часы, когда работы было невпроворот. И тогда ему достаточно было прицелиться в кого-то своим взглядом из-за стойки, чтобы самый буйный и норовистый клиент тотчас заплатил по счету.

Бывает, я просыпаюсь от удушья, и мне чудится, будто мы опять там – стоим на заснеженных рельсах в Леоне. И на нас смотрит волк, смотрит на наш поезд, а я опускаю окошко и целюсь, оперев винтовку на раму, но художник говорит мне:

Эй, что ты делаешь?

Разве сам не видишь? – отвечаю я. Хочу убить волка.

Не порть картину, говорит он. Ведь я так долго и с такими муками рисовал ее.

Волк поворачивается и бежит прочь, а мы по-прежнему стоим в проклятом тупике.

Еще один, докладывает охранник лейтенанту. В девятом вагоне.

Лейтенант чертыхается сквозь зубы, словно столкнулся с невидимым врагом. Когда дело касается покойников, цифра три ему очень даже не нравится. Один покойник – он и есть покойник, и весь разговор. Второй – компания для первого. Ничего особенного, можно не волноваться. Но вот третий... Значит, их наберется целая куча. Проклятая судьба! Лейтенант был еще совсем молодым. И он проклинал это задание, которое к тому же не сулило ни наград, ни славы. Командовать забытым всеми поездом, поездом, груженным тоской, отчаянием и чахоткой, поездом, на который вдобавок ополчилась безумная, озверевшая природа. Нелепые лохмотья войны. Он отогнал кошмарное видение: Я не могу привезти в Мадрид похоронный состав.

Значит, уже третий? Что там, черт возьми, происходит?

Они захлебываются кровью. Они захлебываются собственной кровью во время приступов кашля.

Испепеляющий взгляд. Я знаю, что это такое. И незачем мне объяснять. А врач? Что делает врач?

Он работает без сна и отдыха. Мечется из вагона в вагон. И велел передать вам, что нужно освободить последний вагон – под трупы.

Ну так сделайте это. А мы с ним, он кивнул на Эрбаля, попробуем пешком дойти до распроклятой станции. Предупредите машиниста. Поезд должен тронуться с места, даже если придется кого-то припугнуть пистолетом.

Лейтенант раздраженно выглянул наружу. С одной стороны – белая-пребелая равнина. С другой – замороженные, оцепеневшие составы и ангары, пантеон железнодорожных скелетов.

Здесь хуже, чем на войне!

В этом поезде собрали арестантов, больных туберкулезом, причем в тяжелой форме, из разных тюрем Северной Галисии. В условиях послевоенной нищеты и разрухи чахотка распространялась, как чума, к тому же играл свою роль и сырой климат атлантического побережья. Пунктом назначения состава значился тюремный санаторий в горах Валенсии. Но сперва надо было добраться до Мадрида. В те времена пассажирский поезд мог восемнадцать часов тащиться от Коруньи до столичного Северного вокзала.

Наш поезд назывался поездом специального назначения, рассказывал Эрбаль Марии да Виситасау. Да уж, специальней не бывает!

Когда заключенные наконец разместились в вагонах, многие из них уже успели съесть свою пайку — банку сардин. Для защиты от холода им выдали по одеялу. Снег пошел, едва они доехали до холмов Бетансоса, и не прекращался до самого Мадрида. Поезд специального назначения прибыл в Монфорте, железнодорожный узел, связывающий Галисию с плоскогорьем, опоздав по крайней мере на семь часов. Но впереди их ожидало самое худшее. Надо было пересечь горы Саморы и Леона. Когда они остановились в Монфорте, уже смеркалось. Заключенные дрожали от холода и лихорадки.

Я тоже окоченел, рассказывал Эрбаль. Мы, отряд охраны, перешли в пассажирский вагон, где имелись сиденья и окна, этот вагон был прицеплен прямо к локомотиву. Наш паровоз еле тянул, словно и он тоже был чахоточным.

Да, я поехал туда добровольцем. Вызвался сразу, как только узнал, что формируется состав для отправки туберкулезников в тюремный санаторий в Левант. Я ведь был в полной уверенности, что страдаю той же болезнью, но скрывал это, избегая медицинских комиссий — без особого, надо заметить, труда. Я боялся, что меня отправят в запас с нищенской пенсией и что я навсегда выпаду из игры. Мне не хотелось возвращаться ни в родную деревню, ни к сестре. С отцом я в последний раз виделся, когда приезжал домой из Астурии. Мы долго переругивались. Я отказался работать, заявив, что у меня, мол, отпуск и потому я имею право на отдых, а он — грубая скотина. И тогда отец непривычно ровным тоном ответил: Я никого не убивал. Когда мы были молодыми и нас хотели забрить и отправить в Марокко, мы убежали в горы. Да, я — грубая скотина, но я никогда никого не убивал. Дай бог, чтобы в старости и ты смог сказать то же самое! Это был мой последний разговор с отцом.

Что касается поезда, то я, узнав о нем, опять поспешил к сержанту Ландесе, которого к тому времени повысили в должности. Я прошу вас об одолжении, сеньор. Помогите мне перевестись охранником в санаторий. Я хотел бы сменить климат. К тому же туда направляют доктора — помните, того самого доктора Да Барку? Сдается мне, он продолжает поддерживать контакты с Сопротивлением. И я, понятное дело, буду посылать вам донесения.

Лейтенант, Эрбаль и машинист добрались до вокзала города Леона. Снег налип на их сапоги, и, стоя на перроне, они топали, чтобы стряхнуть его. Лейтенант был в бешенстве. Он намеревался отыскать начальника вокзала и устроить ему выволочку. Но из кабинета вышел майор. Лейтенант от неожиданности растерялся и не сразу сообразил, как себя вести. Майор, прежде чем заговорить, строго глянул на него, ожидая предписанного уставом приветствия. Лейтенант щелкнул каблуками, встал по стойке смирно и с механической четкостью отдал честь. Жду ваших распоряжений, майор. Несмотря на холод, лоб у лейтенанта покрылся испариной. Я начальник поезда специального назначения...

Поезд специального назначения? О каком еще поезде идет речь, лейтенант?

Голос у лейтенанта дрожал. Он не знал, с чего начать.

Этот поезд... он везет туберкулезных больных, сеньор. И трое у нас уже умерли.

Поезд с туберкулезными больными? Трое умерли? Да о чем вы говорите, лейтенант?

В разговор вмешался машинист:

Позвольте объяснить, сеньор.

Но майор резким взмахом руки велел ему замолчать.

Сеньор, вот уже сорок восемь часов, как мы покинули Корунью. Это особый поезд. Мы везем заключенных, больных туберкулезом. И давно должны быть в Мадриде. Но, видимо, произошло недоразумение, какая-то путаница. В Леоне нас пропустили без задержки, но направили на север. И мы несколько часов ехали совсем не туда, куда надо. Поняв ошибку, двинулись обратно. Тут и возникли непонятные проблемы. С тех пор мы стоим в тупике. Нам говорят, что есть и другие спецпоезда.

Да, есть, лейтенант. И вы должны это знать, сказал майор язвительно. Сейчас укрепляется северо-западный берег. Разве вы ничего не слышали о Второй мировой войне?

Потом он вызвал дежурного по вокзалу.

Что там у вас происходит с поездом, который везет чахоточных?

Поезд с чахоточными? Мы пропустили его еще вчера, сеньор.

Произошла ошибка, начал было снова растолковывать лейтенант. Но тут же заметил, что майор, вытаращив глаза, глядит на рельсы.

Прямо по путям, шатаясь, неровно и тяжко ступая по снегу, к ним приближалась группа людей, они тащили на носилках мужчину. Прежде чем мозг успел осмыслить увиденное, Эрбаль догадался, что происходит. Первым шагал проклятый доктор, за ним — два солдата из охраны. Пока они приближались, лейтенант Гойянес старался включить и этот замедленный кадр в цепочку недавних эпизодов. Пылкое объятие на вокзале, которое он, смущенный бесконечным поцелуем, поспешил разрезать своими руками-ножницами, потому что этот поцелуй грозил разрушить некие основы бытия, как землетрясение разрушает фундамент зданий. Затем беседа в поезде, неудачная попытка сближения. Он хотел по-человечески оправдаться, но так, чтобы это не прозвучало извинением.

Ведь кому-то надо было оторвать вас друг от друга. Дай вам волю, все мы так и заночевали бы на вокзале. Хе-хе. Это была ваша жена? Вы счастливый человек.

Он сам тотчас почувствовал: каждое произнесенное им слово имеет второй и очень болезненный для доктора смысл. Да Барка ничего не ответил, словно слышал лишь постукивание колес, которое все больше и больше отдаляло его от недавнего жаркого объятия. Лейтенант позволил доктору занять место в одном с ним вагоне. В конце-то концов, Да Барка ведь тоже выполняет в этой поездке определенные служебные обязанности. Кроме того, им наверняка есть о чем поговорить.

Они вынырнули из большого туннеля, и словно кто-то одним взмахом руки стер городской пейзаж — поезд вонзился в сине-зеленую акварель побережья Бурго. Доктор Да Барка заморгал, как будто от такой красоты у него заболели глаза. Ловцы моллюсков, стоя в лодках, шарили своими раньо[1] по морскому дну. Один из них прервал работу и, приложив ладонь козырьком ко лбу, загляделся на поезд, при этом, несмотря на легкую качку, он твердо держался на ногах. Доктор Да Барка вспомнил своего друга

1. Раньо — приспособление для ловли марисков; похожее на широкий гребень на длинной ручке, его тянут по песку, чтобы поднять со дна берберечос или альмехас (съедобные моллюски), которые попадают в своего рода металлическую сеть. (*Прим. испанского издателя.*)

художника. Тому нравилось писать людей, занятых работой — будь то на море или в поле. Главным для него было избежать фольклорных штампов, которые неизбежно превращали подобного рода жанровые сцены в слащаво-приторные открытки. На полотнах друга Да Барки люди становились частью моря или земли. Казалось, лица их избороздил тот же плуг, что и пашню. А рыбаки попадали в сети, которыми ловили рыбу. В какой-то миг фигуры на его картинах начинали дробиться на фрагменты. Руки-серпы. Глаза-море. Лица-камни. Доктор Да Барка почувствовал симпатию к рыбаку, который, застыв в своей лодке, глядел на поезд. Верно, он спрашивает себя: куда это, интересно знать, мчится состав и что везет? Расстояние и грохот колес не позволяли ему расслышать ужасный нескончаемый кашель, летевший из наглухо забитых телячьих вагонов и похожий на монотонный бой кожаных бубнов, пропитанных кровью. Картина за окном разбудила фантазию доктора, подсказав поэтический образ: баклан, что кружит над рыбаком, своими криками — в телеграфном стиле — рассказывает этому самому рыбаку правду о проезжающем мимо поезде. Доктор вспомнил, как огорчался его друг художник, когда перестали приходить журналы авангардного искусства, которые прежде ему присылали из Германии: Худшая из болезней, которыми мы можем заразиться, это затмение совести. Да Барка открыл свой чемоданчик и вынул оттуда книгу в потрепанном переплете — "Биологические корни эстетического чувства" доктора Новоа Сантоса.

Лейтенант Гойянес уселся напротив. Будто ненароком глянул на обложку. Доктор Да Барка, прикинул он, наверное, чуть старше его, но совсем ненамного. После той сцены на вокзале, когда ему сообщили, что это врач, он стал обращаться с ним по-товарищески, но в тоне превосходства, какое проскальзывает в голосе гида, который ведет группу туристов. Теперь, не обращая внимания на то, что собеседник занят чтением, лейтенант принялся рассказывать: он тоже учился в университете и окончил несколько курсов философского факультета, но потом по контракту вступил в армию Франко — младшим лейтенантом. А по истечении срока решил продолжить военную карьеру. Философия! — воскликнул он с легкой иронией. Я тоже в свое время увлекался Марксом и зачитывался всеми этими пророками социального освобождения. Как, впрочем, и сам *duce* Муссолини. Он ведь был социалистом, знаете? Ну конечно знаете. До того благословенного дня, когда на свет родился философ-воин. Могильщик сегодняшнего дня. Он помог мне покинуть стадо рабов.

Доктор Да Барка продолжал читать, демонстративно не обращая на слова лейтенанта никакого внимания, но тот знал, как втянуть его в разговор.

Именно тогда меня перестали интересовать обезьяны и я начал размышлять о богах.

Он попал в точку. Доктор отложил книгу и впился взглядом в офицера.

Вы? Надо же, кто бы мог подумать, на вас это совсем не похоже, лейтенант.

Тот хохотнул и похлопал доктора по коленке.

Это мне нравится, сказал он, вставая, нравится, когда и среди красных попадается настоящий мужчина — я имею в виду, у которого и яйца, и все прочее присутствует на положенном месте. Что ж, продолжайте заниматься обезьянами.

Но очень скоро ему стало не до шуток. События начали развиваться так, словно этот поезд вел сам дьявол. В Монфорте они не получили по-

ложенных пайков для заключенных. А вскоре попали в снежный плен. Доктор бегал из вагона в вагон. В последний раз я его видел, когда он стоял на коленях и при свете фонаря вычищал сгустки темной крови из всклокоченной бороды первого покойника.

Пока доктор дошел до станции, волосы его выбелил снег. Один из охранников шагнул вперед и стал объяснять лейтенанту: Он сказал нам, сеньор, что речь идет о жизни и смерти и что вы разрешили...

Слышать такое здесь, на этом паскудном вокзале, исхлестанном порывами ветра, в присутствии майора... Лейтенант Гойянес посчитал, что просто обязан показать свою власть. Он вырвал из рук охранника винтовку и ударом приклада свалил Да Барку с ног.

Я не давал вам никакого разрешения!

Лежа на земле, доктор провел по щеке тыльной стороной ладони. Из того места, куда пришелся удар, сочилась кровь. Он невозмутимо взял горсть снега и приложил к ране, словно это был чудодейственный бальзам.

Картина маслом: кровь и снег, изрек художник у Эрбаля в голове. Бальзам истории. Почему ты не поможешь ему подняться?

Ты с ума сошел, пробормотал охранник.

Помоги ему, сам, что ли, не понимаешь: он ведь затеял всю эту историю с походом на вокзал только ради того, чтобы вытащить всех вас из проклятой ямы, из снежного тупика.

Капрал Эрбаль колебался. Но вдруг дернулся вперед и протянул раненому руку, помогая встать.

Доктор искренне удивился, рассказывал Эрбаль Марии да Виситасау. Знать, не забыл день своего ареста, когда я же его и избил. Теперь он не преминул нанести ответный удар лейтенанту — вернее, он лишь полоснул того лезвием своего взгляда. В чем равных ему не было. Он как никто умел унизить противника.

Кашель. Дежурный по вокзалу резко повернулся к больному, который лежал на носилках, повернулся с таким видом, словно там зазвонил переносной телефон.

Майор жестом велел лейтенанту молчать. Потом спросил доктора:

Так что тут, черт возьми, все-таки происходит?

У этого больного острый приступ кровохарканья, ответил доктор Да Барка. В любой момент он может захлебнуться кровью. Мы уже потеряли троих.

А зачем вы принесли его сюда? Я знаю, что такое туберкулез. Если он должен умереть, он умрет. Ближайшая больница бог знает где — скачи не доскачешь.

Тут может помочь только одна вещь. Если, конечно, не терять времени даром. Мне нужна хорошо освещенная комната, стол и кипяток.

Деревянный стол дежурного по вокзалу был покрыт стеклом. Под стеклом помещалась карта железных дорог Испании. Сверху бросили матрас и уложили арестанта. На примусе кипятился шприц. Бульканье воды напоминало дыхание больного. Помогая приготовлениям к экстренной операции, Эрбаль прислушивался к звукам, которые шли из его собственной груди. Щекотание моря в песчаной губке. Он языком растер по нёбу слюну, чтобы проверить, не чувствуется ли в ней сладкий привкус крови. Только художник знал его печаль, тайну скрываемой от всех болезни. Обычно Эрбаль старался не пропускать разговоров о симптомах туберкулеза. Подслушивал, изображая полное безразличие, на самом же деле ло-

вил любую реплику врачей касательно больной груди. И учился не пренебрегать ни одним сигналом, который подавало ему тело.

Больное поколение! Лучшие галисийские живописцы умерли молодыми, сказал ему однажды художник. Именно коса, коса смерти — символ галисийской культуры. Если ты и вправду болен этим, твоя хворь куда как знаменита. И знаешь, все они были очень красивы, красивы особой печальной красотой. Женщины сходили по ним с ума.

Вот спасибо! — сказал гвардеец. Ты меня утешил.

А к тебе это не относится, Эрбаль.

Теперь гвардеец посмотрел на больного, который лежал на столе дежурного по вокзалу. Это был совсем молоденький паренек, у которого и борода-то еще толком не начала расти. Но взор его уже затянуло пеленой — словно вековым лишайником. Эрбаль знал его историю. Звали его Сеан. Дезертир. Три года скрывался в горах Пиндо, жил как дикий зверь. Там, в пещерах, прятались десятки мужчин, будто кроты в норах. Гражданская гвардия устраивала облавы, но обнаружить их не могла. Пока не был разгадан тайный сигнальный шифр. Помогали беглецам прачки, которые с помощью разноцветного белья выкладывали на траве своего рода послания для них.

Ну и что вы собираетесь с ним делать? — спросил майор.

Пневмоторакс, сказал доктор Да Барка, пневмоторакс, так сказать, по-походному, на скорую руку. Надо, чтобы грудь наполнилась воздухом, и под давлением воздуха в легких остановится кровотечение.

Потом доктор взял шприц, очень спокойно посмотрел на Сеана и вдруг подмигнул ему, стараясь подбодрить.

Мы из этой истории непременно выкрутимся, слышишь, приятель? Ну, терпи, всего только один укольчик между ребер. Вот так. Только один укольчик. Пчелка кусает волка в грудь.

Но затем доктор умолк. Он так сосредоточенно смотрел на больного, что, казалось, глазами просвечивает ему грудь, следя за тем, как игла входит в тело. Эрбаль вместе с другими держал больного. А тот так крепко сжимал кулаки, что аж ногти впились в ладони. Врач замер, игла вошла в грудь, Да Барка прислушивался к шуму в мехах, скрытых под ребрами человека, который лежал на столе дежурного по вокзалу. И до Эрбаля доносились оттуда звон родников и органное завывание ветра.

Поезд отправился тем же вечером, рассказывал Эрбаль Марии да Виситасау. И без малейших задержек миновал все станции. Поезд, затерявшийся в снегах, теперь стал поездом-призраком. Никто не рисковал приблизиться к нему во время кратких остановок. А мы порой выскакивали на перрон, чтобы добыть еды. И возвращались с пустыми руками. Все станции пахли голодом, промолвил Эрбаль, глядя на баллончик с освежителем воздуха, стоящий на столе. Но был один случай, который я запомнил. В Медина-дель-Кампо какой-то человек постучал к нам в окно и поздоровался с Да Баркой. Потом исчез и, когда поезд уже трогался, вернулся с мешком каштанов. Я поймал мешок почти что на лету, высунувшись из вагонной двери. Тот человек крикнул: Это для доктора! Человек был огромного роста и говорил одышливо. Чингисхан. Среди каштанов лежал кошелек. Видно, тут на станции он все это и украл, мелькнуло у меня в голове. Я хотел было забрать кошелек себе. Но в конце концов вытащил оттуда только половину денег и вручил мешок с кошельком доктору.

А что стало с тем мальчиком, дезертиром? — тревожно спросила Мария да Виситасау.

Он умер в Портасели[1]. Да, умер в санатории, который прозвали Небесными Вратами.

[228]
ИЛ 11/2003

18

Доктор Да Барка писал любовное письмо. Поэтому так много черкал и исправлял. Ему вдруг подумалось, что язык наш для такой надобности слишком беден, и он пожалел, что самого его судьба не наделила той бесстыдной раскованностью, какая отличает поэта. Правда, этой самой раскованности доктору было не занимать, когда он писал письма за других заключенных. Потому что его терапия отчасти заключалась и в том, чтобы подбадривать их, заставляя вспоминать былые привязанности, а значит — и отправлять письма. Он охотно вызывался сочинять письма и старался от души. Ее зовут Изолина, доктор. Изолина? Изолина... "Аромат зеленого лимона и мандарина". Как тебе?

Ей понравится, доктор. Она такая бесхитростная.

Но когда дело касалось его самого, Да Барка начинал терзаться, ощущая, насколько смешны по сути своей любого рода любовные послания. Хотя иногда он только диву давался, как точно, хотя и без всяких затей, умеют выразить свои чувства заключенные. Доктор, напишите, чтобы она обо мне не беспокоилась. Что, пока жива она, и я тоже не умру. Что, когда мне не хватает воздуха, я дышу ее грудью.

Или вот: напишите, что я вернусь. Вернусь уж хотя бы для того, чтобы законопатить все дыры в крыше.

Доктор снова перечеркнул первую строку. Сегодняшнее письмо должно быть особенным. Наконец он вывел: Жена. И тут же услышал, как кто-то постучал в дверь его комнаты. По понятиям тюремного санатория час был поздний — уже пробило одиннадцать. Видно, что-то случилось. Постаравшись стереть с лица досаду, он открыл. Мать Исарне. В другой ситуации он не упустил бы случая бросить шутку по поводу облачения ордена мерседариев, которое было на монахине. Это вы?! А я-то решил, что это кусочек эктоплазмы! Но на сей раз его кольнуло ощущение ирреальности происходящего и почему-то сделалось неловко. Монахиня улыбалась с чисто женским лукавством. И вдруг, вместо приветствия, вытащила откуда-то из-под юбок бутылку коньяка.

Это для вас, доктор. У вас ведь сегодня свадьба!

И, оставив в комнате отблеск своих сияющих глаз, быстро удалилась по коридору, как убегают школьники после отчаянной шалости.

Синий серый зеленый. Глаза немного раскосые, складочка на веках в форме полумесяца.

Как у Марисы. Бога нет, подумал Да Барка, но есть Провидение.

Именно она, мать Исарне, светясь радостью, передала ему под вечер телеграмму, которая подтверждала, что свадебная церемония состоялась. В то утро во Фронтейре Мариса сказала в церкви "Да, согласна". Он знал точный час. В Портасели, на расстоянии в тысячу километров, доктор как раз в то же время сопровождал больных на утреннюю прогулку. Он надел белую рубашку и свой старый выходной костюм. И вот, застыв среди сосен и олив, закрыл глаза и произнес: Да, согласен, ну конечно же, конечно согласен.

1. Знаменитый картезианский монастырь, основанный в 1272 г.

Эй, ребята! Доктор-то наш вроде как бредит.

Друзья, я должен сообщить вам новость. Я только что женился!

Но арестанты уже успели кое-что проведать, рассказывал Эрбаль Марии да Виситасау, поэтому тотчас окружили его с криками: Поздравляем, Да Барка! Они вытаскивали из карманов пригоршни собранных по дороге цветов дрока и осыпали доктора этим горным золотом. Брак был заключен по доверенности. Знаешь, что это такое? Ее брат Фернандо занял в церкви место жениха. А еще прежде доктор в присутствии нотариуса подписал нужные бумаги. И в этом ему очень помогла настоятельница мать Исарне, которая кроме всего прочего поставила свою подпись под документами в качестве свидетельницы. Она приняла в деле столь горячее участие, будто сама собиралась выйти замуж.

А ты ревновал, а? — с улыбкой заметила Мария да Виситасау.

Монахиня была писаной красавицей, сказал Эрбаль. И очень умной. И без всякого сомнения была похожа на Марису. Невероятно похожа. С той разницей, что носила монашеское платье. Меня она ненавидела. До сих пор не знаю, за что она так сильно меня ненавидела. В конце концов, я был простым охранником, а она — главной над здешними монахинями, которые работали в тюремном санатории. Так что мы, как я полагал, принадлежали к одному лагерю.

Эрбаль посмотрел в уже открытое окно, словно хотел поймать далекий, едва мерцающий огонек воспоминания. Стемнело, и были видны фары машин, которые мчались по шоссе в сторону Фронтейры.

Однажды она застала меня врасплох — я вскрывал письма. Надо сказать, интересовали меня в первую очередь письма, адресованные доктору Да Барке. Их я читал с особым вниманием.

Чтобы донести? — спросила его Мария да Виситасау.

А как же, если встретится что подозрительное, то и донести. Я обязан был сообщать о всяких таких вещах. Мое внимание давно привлекла переписка доктора с неким другом по имени Соуто, где они толковали исключительно про футбол. Его идолом был Чачо, игрок "Депортиво" из Коруньи. Мне показалось довольно странным, что доктор Да Барка с таким увлечением рассуждает о футболе, хотя я никогда не слыхал, чтобы он был таким уж рьяным болельщиком. А вот в своих письмах — их я, разумеется, тоже читал, потому что проверялись как те, что уходили из санатория, так и те, что приходили, — он делал очень своеобразные замечания: скажем, когда надо было навесить на ворота, а когда прострелить, или ехидно замечал, что катиться должен мяч, на то он и круглый, а не игрок. Мне тоже нравился Чачо, поэтому поначалу я без всяких подозрений пропускал такие письма, не слишком в них вникая. На самом деле меня больше волновали письма Марисы. И мы часто говорили о них с покойным художником. Ему очень понравилось одно письмо, где было стихотворение про любовь и еще про дроздов. Это письмо я продержал у себя целую неделю. Носил в кармане и перечитывал. Мне-то самому никто никогда не писал.

Так вот, однажды эта самая мать Исарне зашла в комнату привратника, где я спокойно сидел перед кучей распечатанных и раскиданных по всему столу писем. Я даже не повернулся. Потому что был уверен: она наверняка должна знать, что корреспонденция арестантов проверяется. Но монахиня прямо вспыхнула вся от негодования. Я не без досады ей на это и говорю: Успокойтесь, мать Исарне, служба есть служба. Да не шумите так, не то всех вокруг переполошите. И тут она совсем разошлась и кричит: Не смейте прикасаться своими грязными руками к этому письму! Вырвала его у меня, да так неловко, что разорвала пополам.

Она посмотрела начало. От Марисы Мальо доктору Да Барке. Это было то самое письмо — со стихотворением про любовь и про дроздов.

И две половинки прямо задрожали у нее в руках. Но она прочла и дальше.

Я ей говорю:

Там нет ничего интересного, матушка. Ни о какой политике даже и речи нет.

А она мне отвечает:

Свинья. Свинья в треуголке.

С тех пор как мы туда переехали, я чувствовал себя хорошо. Там стояла вечная весна. Никакого сравнения с климатом Галисии. Но во время стычки с монахиней я опять ощутил прежнее, будь оно проклято, бульканье в груди и первые признаки удушья.

Она, видно, по глазам моим угадала, что приближается приступ. Потому что, как и любая из тамошних монахинь, в таких делах разбиралась.

И сказала:

Вы больны.

Ради всего святого, матушка, не говорите так. Это просто нервы. Нервы, и от нервов кровь ударяет в голову.

Это тоже болезнь, заметила она. И лечат ее молитвами.

Я молюсь. Да не помогает.

Тогда убирайтесь ко всем чертям!

Она была очень умной. И очень вспыльчивой. Она ушла, унося разорванное на две половинки письмо.

Я рассказал о случившемся полицейскому инспектору из Валенсии по фамилии Ариас, который время от времени поднимался к нам в горы, но о своем недуге я, понятно, и словом не обмолвился.

Никогда не вставай на пути у монашек, загоготал он, не то пропадешь со всеми потрохами.

У инспектора Ариаса были маленькие тщательно подстриженные усики. И он страх как любил порассуждать. В тот раз он сказал:

В Испании никогда не будет нормальной диктатуры, такой, как у Гитлера, где все слаженно и работает как часы. А знаешь почему, капрал? Из-за женщин. Да-да, из-за женщин. У нас в Испании половина женщин шлюхи, вторая половина — монахини. Я тебе сочувствую, потому что мне досталась из первой половины.

Ха-ха-ха. Старая казарменная шутка.

А я вот помню только некоторые занятные истории, но на шутки и анекдоты у меня памяти нет, отозвался я. Жила-была собака, и звали ее Шутка. Померла собака, вот и вся шутка.

Ха-ха-ха. У тебя и впрямь ума палата, галисиец! И мой тебе совет: никогда не вставай на пути у монашек.

Эрбаль воспользовался случаем и сказал инспектору, что будет лучше, если письмами займется кто-то другой.

Выбрось это из головы, ответил тот. Отныне их станут доставлять прямо нам в комиссариат.

А ты как считаешь, он и вправду ей нравился? — спросила Мария да Виситасау, возвращая разговор к той теме, которая задела ее за живое.

Что-то в нем было, я ведь уже говорил тебе. Женщины против него устоять не могли, с обожанием на него глядели, все равно как на ярмарочного фигляра.

Никто толком не знал, когда доктор Да Барка спит. На дежурствах он не выпускал из рук книгу. Иногда, не выдержав, засыпал в больничной палате или где-нибудь поблизости, накрыв грудь раскрытым томиком. Мать Исарне стала давать ему всякие религиозные сочинения, о которых они потом толковали. Беседы их обычно протекали в теплые вечера, когда больные выходили подышать свежим воздухом.

При свете луны эти двое ходили туда-сюда по дороге под соснами.

Но даже Эрбаль не знал, что однажды монахиня Исарне и самого доктора Да Барку тоже послала ко всем чертям. Это случилось в первую весну по их прибытии в Портасели, и виной тому стала Святая Тереса[1].

Монахиня сказала:

Вы меня разочаровали, доктор. Я знала, конечно, что вы нерелигиозны, но считала вас человеком чутким, восприимчивым.

Он сказал:

Чутким? В "Книге жизни" она пишет: "У меня болело сердце". Да, совершенно верно, именно так оно и было: у нее болело сердце, у нее болел конкретный внутренний орган. Она страдала грудной жабой и перенесла инфаркт. Доктор Новоа Сантос, искусный патолог, съездил в Альбу, где хранится реликвия, и осмотрел сердце святой. Поверьте, он был честным человеком. Так вот, он пришел к заключению: то, что считалось раной от ангельского копья, есть не что иное, как sulcus atrioauricular, ложбинка, разделяющая предсердия. Но он обнаружил также рубец, какие оставляет склеротическая бляшка, указывающая на перенесенный инфаркт. По словам учителя Новоа, глаз клинициста не может найти объяснения стихотворению, зато стихотворение может отлично объяснить то, что скрыто от глаза клинициста. Вспомните строки: "Живу, в себе я не живя, и столь высокой жизни чаю, что умираю от того, что все никак не умираю". Умираю от того, что все никак не умираю! Это стихотворение...

Оно чудесно!

Да. Но это еще и медицинский диагноз.

Фу, как это грубо и непристойно, доктор. Мы ведем речь о поэзии, о высочайших стихах, а вы, вы талдычите о внутренних органах, словно судебный врач.

Извините, но я патолог.

Да! Конечно! И совсем помешался на этом!

Послушайте, Исарне. Мать Исарне. Эти стихи великолепны. Ни один патолог не сумел бы так верно описать болезнь. Святая Тереса превращает недуг, медленную смерть — следствие грудной жабы — в высший образец искусства и, если угодно, духовности. Это вздох, преображенный в стихотворение.

Для вас "умираю от того, что все никак не умираю" — не более чем вздох?

Да. Вздох, но отметим, что вздох в высшей степени осмысленный и утонченный.

Пресвятая Дева! Вы столь холодны, столь циничны, столь...

Столь что?

Столь высокомерны. Вы не признаете Бога из чистой гордыни.

Наоборот. Из чистой скромности. Если Святая Тереса, подобно другим мистикам, и на самом деле обращается к Богу, то с таким высокомери-

1. Санта Тереса де Хесус (1515—1582) — известная испанская писательница, религиозный деятель, реформатор ордена кармелитов.

ем, что этим впору заниматься патологии. "Увидеть Бога пленником моим!" Честно говоря, я предпочитаю ветхозаветного Бога. Великого в своем величии, управляющего движением светил, словно он снимает голливудский фильм. Мне предпочтительней думать, что для святой Терезы Бог имел вполне реальное воплощение — некое неведомое нам человеческое существо, которое и знать не знало о страстных чувствах святой. "Как горька жизнь, в которой нельзя упиваться Господом!" Почему бы не допустить, что она просто-напросто влюбилась, сознавая полную невозможность этой любви? Кроме того, она была дочерью и внучкой крещеных евреев. И привыкла к скрытности, иносказаниям. Поэтому она говорит о темнице и духовных оковах. Описывает болезнь, то есть грудную жабу, и свою физическую немощь, но в то же время — невозможность земной любви. Некоторые из ее духовников были умны и очень привлекательны.

Я ухожу. Мне отвратительно слышать то, что вы говорите.

Почему же? Я верю в душу, мать Исарне.

Верите в душу? И говорите о ней, словно это продукт жизнедеятельности организма.

Не совсем так. Мы могли бы выдвинуть смелую гипотезу и утверждать, что субстанция души — клеточные энзимы.

Вы чудовище, чудовище, которое умеет прикинуться вполне милым и обаятельным.

Святая Тереса сравнивает душу со средневековым замком, который построен "целиком из алмаза, обработанного божественным мастером". Почему из алмаза? Будь я поэтом, чего быть не может, я использовал бы иной образ — снежинку. Ведь не существует двух одинаковых снежинок. И они тают, расстаются с жизнью, когда на них падают солнечные лучи, словно говоря: Ах, какая скука это ваше бессмертие! Тело и душа накрепко соединены в одно целое. Как музыка с инструментом. Несправедливость, порождающая социальные тяготы и страдания, — это на самом деле самый ужасный механизм разрушения душ.

А как вы считаете, почему я явилась сюда, в санаторий? Я ведь от мистики далека. Я борюсь против страданий, тех самых страданий, которые вы, герои с одной и с другой стороны, несете простым людям.

И опять вы ошибаетесь. Ко мне это не относится. Ни те, ни другие в святцы меня не занесут. Мою жизнь следует приписать, если воспользоваться выражением нацистских врачей, к числу жизней-балластов, то есть жизней, которые не заслуживают того, чтобы их прожили. У меня не будет даже того утешения, что есть у вас, надежды на то, что когда-нибудь я сяду одесную Господа. Но я скажу вам одну вещь, мать Исарне: ежели Бог существует, это шизоидный тип, нечто среднее между доктором Джекилем и мистером Хайдом. И вы принадлежите к доброй его ипостаси.

Почему вы насмехаетесь надо мной? Или просто дурите мне голову...

Дурю вам голову?.. Кстати... Это забавно, но ведь я даже не знаю, какого цвета у вас волосы...

Мать Исарне сняла белую току и тряхнула головой — рыжие кудри своевольно рассыпались по плечам.

И сказала она:

Теперь будете знать. И убирайтесь ко всем чертям!

И сказал он:

Может, даже в аду я нашел бы для себя какую-нибудь звезду.

А ты веришь, что и на других планетах есть живые существа? — спросил вдруг Эрбаль Марию да Виситасау.

Не знаю, ответила она с усмешкой. Я не здешняя. У меня и документов-то нету.

Монахиня и доктор Да Барка, рассказывал Эрбаль, часто рассуждали о небесах. Но не о тех небесах, где обитают святые, а о тех, где звезды. После ужина, когда больные лежали на свежем воздухе, эти двое, словно наперегонки, отыскивали знакомые звезды. Надо думать, минуло много лет с тех пор, как одного мудреца сожгли за то, что он сказал, будто на других планетах есть жизнь. В прежние времена таких шуток не любили, а с шутниками не церемонились. Эти двое действительно верили, что там, наверху, есть жизнь. Тут у них споров не возникало. И оба полагали, что это будет очень даже важно для нашего мира. А по-моему, так наоборот. Только больше народу, между которым придется делить добро. Эти двое были вроде бы и ученые, но словно чокнутые какие. Хотя мне очень нравилось слушать их разговоры. По правде сказать, чем дольше смотришь на небо, тем больше и больше звезд там находишь. Якобы есть и такие, которые мы видим, а их уже нет, они давно перестали существовать. Потому что свет идет до нас так долго, что, пока доходит, звезды успевают погаснуть. Во черт! Это надо же! Видим то, чего уже давно нет! Кто знает, может, это и взаправду так!

А что было дальше? — с нетерпением спросила Мария да Виситасау.

Дальше? А дальше раскрылись-таки его делишки и закончилась наша с ним жизнь в санатории. Для меня такой поворот был хуже некуда. Тамошний климат мне явно на пользу шел, да и жизнь там была вполне сносной. Я был охранником, но при этом охранять никого не приходилось. Никто и так не собирался убегать. Зачем? Вся Испания — тюрьма. Вот в чем дело. Гитлер завоевал Европу и выигрывал одно сражение за другим. Красным больше некуда было податься. Кто тут побежит? Только сумасшедший. Такой, как доктор Да Барка.

Мы прожили в санатории чуть больше года. И вот однажды явился инспектор Ариас в сопровождении полицейских. Вид у них был очень даже строгий. Они сказали мне: Тащите сюда этого доктора за уши. Я, конечно, понял, о ком речь. Но прикинулся дурачком: Какого доктора? Капрал, быстро доставьте сюда доктора Да Барку.

А тот только что закончил осмотр больных в большой палате. И обсуждал результаты с монахинями — сестрами милосердия, среди которых находилась и мать Исарне.

Доктор Да Барка, следуйте за мной. Вас ждут.

Белая свита тотчас притихла, монахини переглянулись.

Кто ждет? — спросил он, изображая тревогу. Угольщики?

Нет, ответил я. Лесорубы.

Первый раз в жизни я невольно пошутил. И доктор вроде бы даже был мне за это благодарен. Он впервые обратился ко мне так, как ко всем прочим, без всегдашней своей брезгливости. Только вот мать Исарне глянула на меня испуганно.

Привет, Чачо, сказал инспектор, когда доктор предстал перед ним. Как там удар левой?

Доктор не смутился и шутку подхватил, ответил в том же духе:

В нынешнем сезоне я не играю.

Инспектор вынул изо рта только до половины докуренную сигарету, швырнул на пол и медленно раздавил ногой, словно это был отвалившийся хвост ящерицы.

Вот мы в комиссариате и посмотрим. У нас там отличные травматологи.

Он схватил доктора Да Барку за плечо. Но силу применять не пришлось. Доктор послушно двинулся к машине.

Вам не кажется, что кто-то должен и мне объяснить, что тут происходит, сказала мать Исарне, обращаясь к инспектору.

Это главарь, матушка. Дирижер оркестра.

Этот человек мой! — воскликнула она, сверкнув очами. Он принадлежит санаторию. Отбывает здесь заключение.

Вы распоряжайтесь в своих владениях, матушка, сухо и даже не остановившись бросил ей через плечо инспектор Ариас. А вот преисподняя — наше хозяйство.

И мы услышали брошенные вполголоса слова одного из полицейских, которые сопровождали инспектора:

Ай да монашка! С характером!

Покруче, чем у папы римского, раздраженно бросил инспектор. Давай, трогай наконец!

Никогда прежде я не видел, чтобы монахиня плакала, рассказывал Эрбаль Марии да Виситасау. Очень странно ты себя при этом чувствуешь. Словно плачет скульптура Пресвятой Девы, вырезанная из ореха.

Успокойтесь, матушка! Доктор Да Барка всегда сумеет выйти сухим из воды.

По правде говоря, утешитель из меня никудышный. И она послала меня к черту. Во второй раз.

Обратно его привезли через три дня, и он приметно осунулся. Как рассказал Эрбалю один из конвоиров, доставивших доктора, полиция, видимо, какое-то время уже шла по следу некоего Чачо, не подозревая, что птичка эта пела свою песенку из клетки. Короче, участники Сопротивления придумали хитрую уловку. И комбинации игроков, которые доктор комментировал в своих письмах, и все рассуждения о футбольной тактике на деле являлись особым шифром, с помощью которого передавалась информация для подпольной организации. Еще с тех пор как он был республиканским лидером, да и потом, уже в тюрьме, доктор оставался своего рода живым архивом. Все помнил, все держал в голове. И его сообщения, его свидетельства о репрессиях публиковались в английской и американской прессе. Так что теперь его ждал новый суд.

Но ведь он уже был приговорен к пожизненному заключению!

Значит, приговорят еще к одному. На случай, ежели воскреснет.

Думаю, его там как следует обработали, рассказывал Эрбаль Марии да Виситасау, но доктор ни словом не обмолвился о том, что происходило в комиссариате, даже когда мать Исарне стала разглядывать его лицо, отыскивая следы пыток. На шее, за ухом, у него и вправду был большой синяк. Монахиня погладила синяк кончиками пальцев, но тотчас отдернула руку, словно ее ударило током.

Спасибо за заботу и сочувствие, матушка. Меня отправляют в другой отель, и он будет посырее этого. В Галисию. На остров Сан-Симон.

Она отвела взгляд к окну. Из окна была видна горная тропка, тянувшаяся на золотистом фоне цветущего дрока. И монахиня сказала с улыбкой юной послушницы:

Видите? Господь закрывает одну дверь и отворяет следующую. Теперь вы будете ближе к ней, к вашей жене.

Да. И это отлично.

Когда представится возможность, обнимите ее покрепче — и от меня тоже. Не забывайте, что и я поучаствовала в вашей женитьбе.

Обниму. Очень крепко обниму.

19

Даниэль Да Барка быстрым взглядом окинул цепочки окон в надежде хотя бы мельком увидеть там взмах крыльев белой голубки — монашеской токи. Но не увидел. Он простился с больными арестантами — с каждым по очереди за руку. У ворот его ждала стайка монахинь. Ее там не было. Мать Исарне молится в часовне, сказала ему самая старая из них таким тоном, словно передавала весточку. Он кивнул. Они смотрели на него выжидательно. Ветерок колыхал их одежды — белыми прощальными взмахами. Наверное, нужно что-то сказать, подумал он. Нет, не стоит. Потом все-таки улыбнулся.

Мое благословение, святые сестры! И перекрестил воздух жестом священника.

Они засмеялись, как девчонки.

А ты, что ты им сказал? — спросила Эрбаля Мария да Виситасау.

Я не сказал ничего. Что я мог сказать? Как приехал, так и уехал. Все равно как его тень.

Эта сцена, должно быть, произвела впечатление на сержанта Гарсиа. Я выполняю приказ, доктор, промолвил он, надевая на того наручники и словно испытывая неловкость от того, что таким вот образом нарушает обряд прощания. Согласно полученным инструкциям, им с капралом Эрбалем предстояло сопровождать заключенного — доставить его обратно в Галисию. Там также указывалось, что речь идет об "особо важном преступнике, противнике режима", приговоренном к пожизненному заключению. Так что сержант Гарсиа прибыл в тюремный санаторий, приготовившись к самому худшему и в сильном раздражении, ведь им предстояло проехать через всю Испанию на поездах, которые имеют обыкновение ползти не быстрее кающихся грешников с крестом на плечах. Но его успокоил вид арестанта, окруженного букетом монашек, с обожанием глядящих на него. Он вспомнил слова одного пожилого сослуживца: все эти образованные, они все равно как цыгане: упадут, отряхнутся и дальше идут... Куда хуже тот, что достался мне в товарищи, словно из могилы встал, подумалось сержанту Гарсиа, когда они сели в первый поезд — Валенсия—Мадрид. Сидит насупленный. Будто с жестокого похмелья. Похож на усердного гробовщика. Пока доедем до Виго, у него, чего доброго, глаза паутиной затянет.

Извините, что прерываю ваше чтение, доктор, но я хотел бы воспользоваться случаем и получить разъяснение по такому вопросу: есть одна вещь, которая давненько не дает мне покоя. Вы врач и должны в этом разбираться. Почему нам, мужчинам, всегда неймется? Ну, вы понимаете, о чем я говорю.

Вы имеете в виду секс?

Именно, со смешком кивнул сержант. И потер руки, сложив ладони крест-накрест — фру-фру. Именно о том и речь. У животных случаются перерывы, так? Вот я о чем. У них бывает течка, гон, а потом — перерыв. А у человека — ничего подобного. Древко нашего знамени всегда гордо поднято вверх!

Это вы о себе?

О ком же еще? Как увижу женщину, ни о чем другом уж и думать не могу. Да и со всяким мужчиной то же самое происходит, разве не так? Может, по-вашему, это болезнь какая?

Не совсем так. Это лишь симптом. Подобное чаще встречается в землях, где люди не слишком утруждают себя работой.

Он повторил жест сержанта, потерев ладони — фру-фру. Ну, вы понимаете, о чем я.

Сержанту Гарсиа такой ответ пришелся по душе. Он захохотал и глянул в сторону Эрбаля. Ловко срезал, а, капрал?

Я неважно себя чувствовал, продолжал рассказывать Эрбаль Марии да Виситасау.

Чуть больше года назад они проделали путь в тюремный санаторий. Теперь в Мадриде, на Северном вокзале, пересели на экспресс, отправляющийся в Галисию. Им предстояло в обратном направлении повторить маршрут того, заблудившегося в снегах состава. Дело было весной, и солнце играло бликами на наручниках доктора, так что их можно было принять за часы с металлическим браслетом. Но Эрбаль чувствовал себя неважно. Он вдруг ощутил собственную бледность, словно прилег на холодную и влажную подушку.

Все в порядке, капрал?

Да, сержант. Просто в поезде меня всегда укачивает.

Наверное, это у вас из-за пониженного давления. А что там, кстати, творится с этим давлением, доктор? Правда, что оно каким-то образом связано с сахаром?

Сержант Гарсиа был весьма словоохотлив. Когда беседа затихала и доктор Да Барка снова пытался найти укрытие в книге, сержант придумывал новую тему, словно желая отвлечься от монотонного стука колес. Они с доктором заняли места у окна, друг против друга, а Эрбаль дремал чуть поодаль, положив винтовку на колени. Больше в купе никого не было. На одной из станций, уже в сумерки, Эрбаля разбудил скрип двери. В их купе заглянула женщина, которая одного ребенка прижимала к груди, а второго вела за руку. На голове у нее был повязан платок. Она очень тихо сказала: Иди, сынок, иди. Нам не сюда.

Снова задремав, Эрбаль услышал, как доктор Да Барка разговаривает с той самой монахиней, с матерью Исарне. Он говорил: Воспоминания — это энграмы. А что такое энграмы? Это вроде рубцов или шрамов в голове. И Эрбаль тотчас увидел выстроившихся в очередь людей с зубилом в руке, и каждый сделал ему в голове по зарубке. А он почти всех молил: Не делайте мне в голове зарубок. Пока не появилась Мариса, девочка Мариса, и тогда он сказал ей: А вот ты сделай мне в голове зарубку. Потом возник Нан. Голова — словно из ольхи. Нан сделал ему лишь легкий надрез и сунулся туда носом, чтобы понюхать. Потом явился его дядя-охотник и занес над ним руку с ножом, промолвив: Мне очень жаль, Эрбаль. И тот ответил: Если надо ударить, ударь, дядя. Но потом оказалось, что голова его испачкана вроде как сажей, и дело происходит в Астурии, и женщина кричит, а офицер приказывает: Пли! Пли! Сукины дети! А он все повторял: Нет, не делайте мне этой зарубки.

Потом он увидел себя в лесу, у дороги, и была лунная августовская ночь. Перед ним стоял парень в форме с лицом дяди-охотника, и Эрбаль хотел спросить его: зачем? Зачем ты делаешь мне эту зарубку? Он вспомнил про карандаш. Карандаш плотника. Женщина, повязанная платком,

сказала: Иди, сынок, иди дальше. Нам не сюда. И он проснулся, обливаясь потом, и стал рыться в вещевом мешке.

Эй, капрал! А мы ведь уже едем по вашей галисийской земле. Разве не видите — вон какой дождь льет? Вы мне задолжали три ночных дежурства!

И добавил тихим голосом:

Охранник хренов! Хоть под бомбами будет дрыхнуть.

На дне вещмешка он отыскал карандаш.

Привет, Эрбаль! — сказал ему художник. Мы уже в Монфорте. Тут наши с тобой дорожки разбегаются. Я — на север, в Корунью, а ты — на юг. Смотри, береги этого человека!

А что я могу сделать? — пробормотал Эрбаль. Тут у меня добрых покровителей нету. В Сан-Симоне меня никто не оставит. Пошлют куда-нибудь в другое место.

Гляди, сказал художник. Вот и она!

И это на самом деле была она. Рыжеватые волосы и сияющие глаза, которые словно развеивали туман, устилавший перрон. Доктор поднял скованные вместе руки и принялся костяшками пальцев стучать в окно.

Мариса!

Не умолкавший ни на миг сержант Гарсиа разом онемел, как будто окно было и не окном вовсе, а экраном кинотеатра.

Ну прощай, Эрбаль, я хочу проведать сына, поглядеть, как там у него дела.

Это моя жена! — закричал доктор, тряся сержанта закованными руками, и с таким восторгом, словно возвещал прибытие королевы.

Она и на самом деле была королевой, точнее, королевой швей.

Такого поворота событий сержант Гарсиа никак не ожидал, сказал Эрбаль Марии да Виситасау. Да и я тоже. Когда она заглянула в купе, мы не знали, то ли дать в ее честь торжественный залп, то ли пасть на колени. Я скорчил недовольную мину.

Мариса держала корзинку, с какими у нас ходят в лавку или на рынок. На Марисе было платье в цветочек, красиво обтягивающее фигуру, без рукавов. Впечатление получалось такое, словно в тюремную камеру ворвался настоящий весенний сад — с пчелами и всем прочим. Надо ли говорить, что Мариса и доктор сразу кинулись друг к другу. Плетеная корзинка скрипела между их телами, как скелет какого-то фантастического воздушного существа.

Я глядел на это объятие, и что-то всколыхнулось в моей душе, рассказывал Эрбаль Марии да Виситасау. Цепочка, скрепляющая пару наручников, скользнула у Марисы по спине и замерла где-то у поясницы, над самыми ягодицами.

Поезд уже тронулся, и сержант Гарсиа посчитал, что пора вмешаться. На прежде дружелюбной физиономии вдруг появилось грозное, как стальной клинок, выражение. Мариса и доктор разомкнули объятия.

Это моя жена, сержант, сказал доктор Да Барка, как будто нарекая именем воду.

Мы с вами, доктор, уже тысячу лет едем в этом паскудном поезде, а вы и словом не обмолвились, что у вас тут назначено свидание с женой. Потом, указав на перронную толпу, воскликнул: Чего ради вы устроили весь этот спектакль?

Он ничего не знал, сказала Мариса.

Сержант глядел на нее ошалело, словно с ним заговорили по-французски, затем взял телеграмму, которую она ему протянула. Телеграмма

была подписана матерью Исарне и отправлена из санатория в Портасели, в ней сообщалось о том, каким поездом повезут доктора.

Не сочтите за неучтивость, доктор, сказал сержант Гарсиа, но откуда мне знать, что вы и на самом деле муж и жена? Вашего слова тут ни-

как не достаточно. Нужны бумаги.

А я в тот миг повел себя как последний трус, рассказывал Эрбаль Марии да Виситасау. Не знаю, что со мной приключилось. Я хотел было подтвердить: Да, они муж и жена, мне это доподлинно известно. Но слова почему-то застряли в горле.

Все бумаги у меня с собой, с достоинством произнесла Мариса. И вынула документы из корзинки.

После чего сержант Гарсиа повел себя уже совсем иначе. Впечатление, конечно, было сильным, что, собственно, меня совсем не удивило, сказал Эрбаль. Эта женщина ночь превращала в день, или vivecersa, как сказал бы Чингисхан. Сержант помотал головой, словно отгоняя последние сомнения, и снял с доктора наручники.

Можете сесть рядом, сказал он, указывая на окно. А сам завладел корзинкой. Поесть он, по всей видимости, любил.

Доктор Да Барка взял руки Марисы в свои, сказал Эрбаль, не дожидаясь, пока Мария да Виситасау спросит его, что же было дальше. Он перебирал ее пальцы, будто пересчитывал их, проверяя, не пропал ли какой. Она плакала, словно ей было больно видеть его.

Вдруг он встал и сказал: Сержант, не хотите ли выкурить по сигаретке?

Они вышли в коридор и выкурили не по одной сигаретке, а по полдюжине сигарет, не меньше. Поезд мчался по берегу Миньо, окрашенному в зеленый и сиреневый, а сержант с доктором оживленно болтали, будто стояли у стойки последнего кабака, завершая ночную гулянку.

Я сидел в своем углу, сказал Эрбаль, и глядел на нее с жалостью, мне нестерпимо хотелось отшвырнуть подальше винтовку и обнять Марису. Она плакала, не понимая, что происходит. Я тоже ничего не понимал. До следующей станции оставалось всего несколько минут. Потом — конец. Годы и годы тюрьмы, когда он даже прикоснуться не сможет к своей королеве, королеве швей. А они знай себе болтают с сержантом, словно два приятеля, встретившихся на ярмарке. И так до самого нашего прибытия в Виго.

Меня удивило, что сержант не надел на доктора наручников. Сержант отозвал меня в сторону.

Прошу вас держать язык за зубами и никогда никому не рассказывать о том, что мы сейчас сделаем. Если вы проболтаетесь, я отыщу вас даже в преисподней и пристрелю как собаку. Ясно изложил?

Во мне можете не сомневаться, сержант, я не подведу.

Вот, берите свою долю. Да прячьте поскорей, черт недоделанный!

Эрбаль почувствовал в руке купюры и не глядя сунул в карман брюк.

Итак, значит, договорились?

Эрбаль молча посмотрел на него. По правде говоря, он не понимал, о чем идет речь.

Ладно. Мы сейчас окажем этой паре услугу. В конце-то концов, они ведь муж и жена.

Эрбаль подумал, что сержант Гарсиа рехнулся, околдованный красноречием и гипнотическим взглядом доктора Да Барки. Этого следовало ожидать. Ну чем, чем, кроме денег, которые доктор, будь он неладен,

дал сержанту и которых не могло быть много, сумел он его обольстить?

Этот Даниэль — уникум, сказал художник на ухо Эрбалю.

А ты разве еще не ушел? — спросил Эрбаль удивленно.

Да я подумал-подумал... Не могу пропустить такой момент!

Ну, что будем делать, капрал? — спросил сержант. Доктор сказал мне, что вы хорошо знаете Виго... И дадите дельный совет.

Художник двинул ему кулаком в висок:

Пришел час истины, Эрбаль. Действуй! Покажи, что и ты чего-то стоишь!

Есть тут неподалеку одна гостиница, можно отвести их туда, сеньор. Пусть и у них наконец-то будет первая брачная ночь.

Выйдя на перрон, Мариса, ведать не ведавшая обо всех этих интригах, ускорила шаг. Она тихо плакала. Эрбалю она казалась очень красивой — как камелия перед осыпанием. Да Барка с нежностью во взоре приблизился к ней, но она сердито отпрянула.

А ты кто такой? Уж конечно не тот Даниэль, которого я ждала все это время.

Но тут он властно схватил ее за плечи, притянул к себе, заглянул в глаза, обнял и зашептал на ухо:

Тихо. Не задавай вопросов. И делай, что велят.

Мариса преображалась по мере того, как до нее доходил смысл происходящего. Вид у нее стал церемонным и торжественным, как у невесты, рассказывал Эрбаль Марии да Виситасау. Они молча дошли до улицы Принсипе. Тем временем вокруг загорались вечерние огни. Мариса и доктор изредка и с деланным интересом окидывали взглядом витрины. Мы остановились у дверей маленькой гостиницы. Доктор Да Барка посмотрел на сержанта. Тот кивнул. И пара с решительным видом переступила порог.

Добрый вечер. Я майор Да Барка, невозмутимо отрекомендовался он портье. Две комнаты, пожалуйста, одну нам с женой, другую — для сопровождающих. Хорошо. Тогда мы поднимемся туда. Нужные сведения вы получите у сержанта.

К вашим услугам, господин майор! Спокойной ночи, сеньора. Приятного отдыха.

Спокойной ночи, майор Да Барка, сказал Эрбаль, щелкнув каблуками, как предписано уставом. Потом слегка наклонил голову: Спокойной ночи, сеньора.

Сержант Гарсиа предъявил свои документы. Он сказал портье:

Просьба не беспокоить майора ни в коем случае. По любому срочному делу обращайтесь ко мне.

Это была очень длинная ночь, рассказывал Эрбаль Марии да Виситасау. По крайней мере для нас. А им она, надо полагать, показалась куда какой короткой.

Не думаю, что наши голубки захотят упорхнуть, сказал сержант, заходя к себе в номер. Но рисковать не стоит.

Так что всю ночь они по очереди подслушивали под дверью.

Я вызываюсь добровольцем — буду дежурить в первую смену, заявил сержант Гарсиа и многозначительно подмигнул Эрбалю. Три раза! — с довольным видом сообщил он, вернувшись. Жаль только, что в двери нет дырочки.

Если бы в двери была дырочка, конвоиры увидели бы на постели два обнаженных тела, а еще они увидели бы, что на шее у нее повязана та самая косынка, которую когда-то она приносила Даниэлю в тюрьму.

Мне показалось, будто кто-то плакал, рассказывал Эрбаль Марии да Виситасау. Правда, ночь была ветреной, и море громко играло на своем аккордеоне.

Потом и я услышал скрип пружинного матраса.

Очень рано, на рассвете, сержант постучал в их дверь. После долгой бессонной ночи он уже не был так твердо, как накануне, уверен в том, что поступил правильно. Под утро он нервно кружил вокруг собственной кровати.

Капрал, вы и вправду знали, что задумал доктор?

Кое-что знал, соврал Эрбаль.

Только не проболтайтесь об этом никогда и никому, даже собственной жене, предупредил сержант, вдруг сделавшись очень серьезным.

У меня нет жены, сказал Эрбаль.

Тем лучше. Пора!

Продолжая играть взятые на себя роли, они с видом заговорщиков покинули гостиницу. Если бы портье вышел следом за ними, то увидел бы, как Да Барка снова превратился в арестанта и как на него надели наручники. По улицам вяло слонялись рассветные тени, словно нелепый и унылый мусор, оставшийся после развеселой ночи, наполненной пением аккордеонов на набережной.

У пристани фотограф из эмигрантов, не успев сообразить что к чему, предложил им сфотографироваться. Сержант резко его одернул:

Не видишь, что это арестант?

Его везут в Сан-Симон?

А тебе какое дело?

Оттуда почти никто не возвращается. Позвольте я их сфотографирую.

Никто не возвращается? — переспросил доктор, и в улыбке его мелькнула неожиданная бесшабашность. А ведь этот остров — колыбель романтизма, сеньоры! Там написано одно из лучших стихотворений — лучших за всю историю человечества![1]

Теперь это могила, прошептал фотограф.

Ну? — прикрикнул на него сержант. Чего ты ждешь? Снимай побыстрей, только чтобы наручников не было видно!

Он обнял ее за плечи, а она повернулась так, чтобы заслонить наручники. Они словно срослись друг с другом на фоне моря. Круги под глазами — след первой брачной ночи. Неуверенно, будто выполняя непреложный ритуал, фотограф попросил их улыбнуться.

В последний раз я видел ее с якорной стоянки, рассказывал Эрбаль Марии да Виситасау. Мы поднялись на баркас. А она застыла там, на причале, одинокая, рядом с причальной тумбой. И ветер теребил длинные рыжие пряди.

Он стоял на баркасе в полный рост и не отрывал глаз от жены. А я, совсем пав духом, в состоянии, близком к отчаянию, сидел на корме. Должно быть, я единственный галисиец, не переносящий морских путешествий.

Когда мы достигли Сан-Симона, доктор бодро спрыгнул на причал. Сержант расписался в бумагах и вручил их конвоирам.

Прежде чем уйти, доктор Да Барка повернулся ко мне. Мы посмотрели друг другу в глаза.

1. Речь идет о единственном дошедшем до наших дней стихотворении галисийского средневекового хуглара, известного под именем Мендиньо. Оно начинается со слов: "Sedia m'eu na ermida de San Simon e cercaron mi as ondas que grandes son". Это красивейшее сочинение, в нем поэт воспевает любовные чувства женщины, которая находится на острове, в окружении волн, и поджидает своего возлюбленного. (*Прим. испанского издателя.*)

Он сказал:

У тебя нет никакого туберкулеза. Это сердце.

Вон те женщины на берегу, принялся объяснять лодочник, когда они плыли обратно, это никакие не прачки. Это жены арестантов. Они пересылают мужьям еду в корзинках — в таких корзинках здесь носят младенцев.

20

Они — лучшее, что было у меня в жизни.

Эрбаль схватил плотницкий карандаш и нарисовал крест на белом газетном поле, две жирные черты, словно вырезанные на каменной плите.

Мария да Виситасау прочла имя покойного: Даниэль Да Барка. Внизу имя его жены: Мариса Мальо, следом — сын, дочь и длинная череда внуков.

В самом начале, с правой стороны, в качестве эпитафии — стихотворение Антеро де Кентала[1]. Мария да Виситасау медленно прочла его с заметным креольским акцентом:

> Едва остановлюсь на миг, глаза закрою,
> как тотчас чувствую их рядом, снова рядом,
> всех тех, кого любил: они живут со мною...

Эрбаль, ты мне испортишь девочку, не забивай ей голову этой твоей литературой!

Манила, которая только что спустилась со второго этажа, наливала себе кофе у стойки. Сегодня она вроде бы пребывала в добром расположении духа.

Я знала только одного человека, который помнил стихи наизусть. Он был священником! И, помнится, читал что-то очень красивое — про дроздов и про любовь.

Ты — и поэт-священник? — осклабился Эрбаль. Славная парочка, да, славная.

Милейший человек. Настоящий кабальеро, не чета прочим типам в сутанах. Звали его доном Фаустино. А еще он полагал, что Бог должен быть женщиной. Когда этот священник надевал мирское платье, чтобы погулять и покутить вволю, он обычно приговаривал: Теперь Господу нипочем меня не узнать! Дон Фаустино был вроде как слегка простоватый! И, разумеется, жить спокойно ему не давали.

Она одним глотком выпила кофе. Ладно, хватит тут рассиживать, через полчаса открываемся.

И никогда больше мне не довелось с ними встретиться, рассказывал Эрбаль Марии да Виситасау. До меня дошли слухи, что у Марисы родился сын, когда доктор еще сидел в Сан-Симоне. Дитя той самой ночи! Доктора Да Барку выпустили только в середине пятидесятых. И они сразу уехали в Америку. Это последнее, что я о них слышал. Не знал даже, что они вернулись.

Эрбаль принялся крутить в руках карандаш, словно показывая фокус. Выходило, будто у него вырос еще один палец, и жил он независимо от остальных.

А у меня после того все как-то сразу пошло наперекосяк. Доставив арестанта на Сан-Симон, я вернулся в Корунью. Сестру я нашел совсем

1. Антеро де Кентал (1842—1891) — португальский поэт, критик, общественный деятель.

больной. Я хочу сказать, больной на голову. И я застрелил Салито Пугу, да, пустил в него пулю. Верней, три пули. Это меня и погубило. Я все как следует обмозговал. Решил объяснить это тем, что, мол, случайно выстрелил, когда чистил оружие. В те времена такое часто случалось. Но в последний миг я совсем рассудок потерял и выстрелил аж три раза. Меня выгнали из армии и посадили в тюрьму. Там я свел знакомство с братом Манилы. А потом и с ней самой — когда она явилась его проведать. У меня к тому времени из близких уже никого не осталось. Только одна Манила меня с внешним миром и связывала. Ну вот, пришел срок мне выходить, она и говорит: Сыта я по горло всеми этими мерзавцами-сутенерами. Мне нужен мужчина, который не знает страха.

Так я здесь и очутился.

А художник? Что стало с художником? — спросила Мария да Виситасау.

Однажды он навестил меня в тюрьме. В тот день я с трудом дышал, и тоска смертная навалилась. Но стоило покойнику заговорить со мной — воздух сразу пошел в легкие. Он сказал:

Знаешь? А я ведь нашел сына. У него отличное занятие — расписывает родильные дома.

Это добрый знак, ответил я. Символ надежды.

Очень хорошо, Эрбаль. Ты уже кое-что понимаешь в живописи.

А потом? — спросила Мария да Виситасау. Он больше не возвращался?

Нет, не возвращался, больше ни разу не возвращался, соврал Эрбаль. Как выразился бы доктор Да Барка, он растворился в Вечном Безразличии.

Глаза у Марии да Виситасау блестели. Она уже успела научиться не давать воли слезам, но таить свои чувства еще не умела.

Посмотри, как светятся камелии за дождевой завесой, сказал художник Эрбалю на ухо. Подари ей карандаш! Подари этой смутлянке карандаш!

Бери, я тебе его дарю, сказал Эрбаль, протягивая ей карандаш.

Но...

Возьми, сделай милость.

Манила, как обычно, похлопала в ладоши и распахнула дверь заведения. Снаружи уже ожидал какой-то клиент.

Этот тип был у нас и вчера, сказал Эрбаль изменившимся голосом. Голосом охранника: Нелегко тебе придется, девочка!

Он влюбился, сказала она насмешливо. Сказал, что журналист. И у него теперь депрессия.

Журналист с депрессией? Голос Эрбаля звучал брезгливо. Будь осторожней. Пусть сначала заплатит — и только потом в постель.

Куда ты? — удивленно спросила его Манила.

Выгляну на улицу. Воздуха глотнуть.

Оденься!

Да я только на минутку.

Эрбаль прислонился к дверному косяку. Среди ветреного и дождливого ночного мрака с унылым бесстыдством мерцала неоновая валькирия. Собака с автомобильной свалки облаивала нескончаемую вереницу фар. Монотонный скрежет зубила в темноте. Эрбаль почувствовал, что задыхается, и ему захотелось, чтобы порыв ветра проник к нему в грудь и наполнил ее. На песчаной дорожке, ведущей к шоссе, он наконец-то увидел ее. Смерть в белых туфельках. По привычке он поднял руку к уху, чтобы схватить плотницкий карандаш. Что ж, иди сюда, подлая, ничего у меня больше нет!

Почему она молчит? Почему не проклинает потаскуху Жизнь и веселого аккордеониста, который увел у нее сестру?

Эй, Эрбаль, сказала Манила, накидывая на плечи черную кружевную шаль. Чего ты там делаешь один, как бездомный пес?

Фантомная боль, процедил он сквозь зубы.

Что ты сказал, Эрбаль?

Ничего.

В*место послесловия*

Мануэль Ривас: из интервью разных лет

Я не жил в те времена, но чувствую боль. Что-то в голове у меня вырезали, и это место болит.

* * *

О войне написано много, но осталось ощущение некоторой пустоты... Осталась потребность еще много что о войне сказать — взглянув на нее с разных позиций...

И дело тут не только в исторической правде... Наша гражданская война и диктатура — это ужасная ситуация, это абсолютная крайность, это своего рода метафора, которая позволяет вести речь обо всех войнах вообще, о механизмах порождения ненависти, о затемнении сознания, совести. Вполне современные проблемы, привычные проблемы. Обращаясь к теме войны, я вовсе не собирался сводить счеты с историей, роман имеет прямое отношение к самой современной нашей действительности.

* * *

Войны, в данном случае испанская, — это предельная ситуация, где подвергается испытанию сама человеческая сущность. Взбесившийся мир... Критическая ситуация, где максимально проявились и подлость, и благородство.

* * *

...Ни наши родители, ни мы, ни наши дети никогда не видели по испанскому телевидению хоть что-нибудь о франкистских тюрьмах, концлагерях... а ведь их было немало.

Молодой испанец видел фильмы о нацистских концлагерях, об уничтожении евреев, но ему никогда не показывали, что то же самое происходило в Испании.

* * *

Это не исторический роман, это история одной любви во времена, когда все вокруг рушится.

* * *

Меня мало интересуют герои, мне интересны люди, которые не позволили историческим обстоятельствам раздавить себя, для которых понятия чести и совести остаются неизменными. Люди, которые превращаются в оплот гуманности среди царящего кругом террора.

* * *

Ясно, что совершенных людей не существует. Я не верю в абстракции, я верю в людей, у каждого из которых есть свои недостатки. Мои "хорошие" герои — это люди самые обычные, просто они стараются не превратиться в скотов в скотских обстоятельствах.

* * *

Мой роман — борьба против абстракций. Чем дальше, тем с большим отвращением я отношусь к абстракциям. В нашей жизни куда важнее оперировать конкретными понятиями милосердия и жестокости. Это очень просто и понятно... Я пытаюсь заново придумать реальность, перестроить ее и спасти.

Мой карандаш — оружие против абстракций. Он рисует, перестраивая мир.

Рассказы

Бабочкин язычок

— НУ что, Воробей? Думаю, уж в этом-то году нам непременно удастся поглядеть на бабочкин язычок.

Учитель уже давно ждал, что Управление общественного образования пришлет в школу обещанный микроскоп. И он столько раз рассказывал нам о том, как самые крошечные и незримые вещи при помощи этого аппарата увеличиваются в размере, что мы, дети, и взаправду стали их видеть, словно его восторженные описания сами действовали не хуже мощных линз.

— Язычок бабочки — это такой хоботок, скрученный на манер часовой пружины. Заметит бабочка цветок и, если он ей приглянется, тотчас раскручивает язычок, опускает в чашечку и начинает сосать. Вот вы, скажем, если сунете мокрый палец в банку с сахаром, то ведь сразу сладость во рту почувствуете, будто кончик пальца — это и есть кончик языка, так? Сходным образом устроен и бабочкин язычок.

И тогда все мы почувствовали зависть к бабочкам. Расчудесная у них жизнь! Летай себе по белу свету в праздничном наряде да присаживайся на цветы, словно это таверны, где тебя ждут бочки, полные фруктового сока.

Я очень любил нашего учителя. Поначалу отец с матерью не могли в это поверить. Точней, не могли взять в толк: как это так — любить учителя? Когда я был еще совсем мальцом, школой меня вечно пугали. Уже само слово "школа" грозно маячило перед моим взором в воздухе, словно ивовый прут.

— Вот пойдешь в школу, тогда узнаешь!

Двое моих дядьев, как и многие другие наши парни, уехали в Америку, чтобы их не отправили воевать в Марокко. Я тоже мечтал рвануть в Америку — лишь бы не ходить в школу. Да и на самом деле бывали случаи, когда дети, спасаясь от этой пытки, убегали в горы. Дня через два-

© 1995, 1999 Manuel Rivas

три их отыскивали, и они возвращались до смерти перепуганные, едва не разучившись говорить, совсем как дезертиры из Волчьей балки.

Мне шел шестой год, и все называли меня Воробьем. Дети моих лет у нас обычно уже работали. Но мой отец был портным, не имел ни земли, ни скотины. И ему не нравилось, когда я кручусь у него под ногами в маленькой мастерской. Лучше мне, считал он, держаться оттуда подальше. Вот я и носился день-деньской по Аламеде. Прозвище мне придумал мусорщик Кордейро, который еще и сгребал сухие листья: "А ведь ты похож на воробья!"

Кажется, никогда в жизни я не бегал столько, сколько в то лето накануне поступления в школу. Бегал как оголтелый, порой даже пересекал границу Аламеды и бежал дальше, дальше — устремив взор к вершине горы Синаи и мечтая о том, как однажды у меня вырастут крылья и я сумею улететь в Буэнос-Айрес. Но до волшебной горы я так ни разу и не добрался.

— Вот пойдешь в школу, тогда узнаешь!

Отец описывал как настоящую пытку — словно ему голой рукой вырывали миндалины — те способы, какими учитель искоренял из их речи звук "х", чтобы они говорили "гнездо", а не "хнездо", "гвоздь", а не "хвоздь" или "город", а не "хород". Каждое утро учитель заставлял их повторять фразу "Птицы с Гвадалахары проглотили по горошине".

— Эх, сколько палок мы получили из-за проклятой Хвадалагары!

Если отец и вправду хотел напугать меня, то вполне в этом преуспел. Всю ночь накануне первого школьного дня я не сомкнул глаз. Лежал съежившись в постели и с тоской смертника слушал, как тикают стенные часы в гостиной. И вот пришел этот день — светлый, как фартук мясника. Скажи я родителям, что заболел, я бы их не обманул.

Страх, как мышь, грыз мне нутро.

И я описался. Нет, не в постели и даже не дома, а в школе.

Помню все как сейчас. Прошло столько лет, а я еще чувствую горячую сырость, постыдные струйки, бегущие по ногам. Я сидел за последней партой, опустив голову пониже и притаившись — в надежде, что никто не заметит моего присутствия, покуда мне не удастся выбраться на волю и помчаться что есть мочи по Аламеде.

— А вот вы, встаньте-ка!

От судьбы не уйдешь. Я поднял глаза и, обмирая от страха, понял, что приказ относится ко мне. Учитель, очень некрасивый, прямо пугало огородное, указывал на меня линейкой. Маленькой деревянной линейкой, которая почудилась мне копьем Абд аль-Керима.

— Как вас зовут?

— Воробей.

Весь класс грохнул. Меня словно хлыстом полоснули.

— Воробей?

Я забыл все. Даже собственное имя. Все, чем я был до той поры, улетучилось из моей головы. Отец и мать превратились в две расплывчатые тени, но и они тоже растаяли в памяти. Я глянул в окно, отчаянно отыскивая взором деревья Аламеды.

Вот тут я и описался.

Когда мальчишки заметили это, хохот стал еще громче, и в нем слышался посвист розг.

Я убежал. Я мчался так, будто за спиной у меня и взаправду выросли крылья. Бежал и бежал, как бежишь во сне, когда за тобой гонится Человек с мешком. Я не сомневался, что учитель гонится за мной. Я чувство-

вал его дыхание у себя на затылке, а также дыхание всех мальчишек из нашего класса — стаи гончих псов, преследующих лису. Но когда я достиг эстрады для оркестра и оглянулся, то понял, что позади никого нет — я остался один на один со своим страхом, пропитанным потом и мочой. Эстрада была пуста. И никто вокруг, скорее всего, даже не обратил на меня ни малейшего внимания, но мне-то мерещилось, будто все эти люди только притворяются, а на самом деле дюжины глаз следят за мной из окон, и злые языки тотчас поспешат донести постыдную новость до моих родителей. Ноги сами выбрали путь. Они зашагали в сторону горы Синаи так решительно, как никогда прежде. Что ж, на сей раз я непременно доберусь до Коруньи и там зайцем прошмыгну на корабль, отплывающий в Буэнос-Айрес.

С вершины горы Синаи моря видно не было, только другую гору — куда выше этой, и скалы там напоминали башни неприступной крепости. Сейчас я со смесью удивления и грусти вспоминаю свой тогдашний подвиг. Один на самой вершине, я сидел на каменном троне под звездным небом, а внизу мелькали огоньки фонарей. Это взрослые искали меня. Имя мое летело в ночь на гребне собачьих завываний. Но мне не было до этого никакого дела. Я словно перешагнул границу страха. Вот почему я не плакал и не отбивался, когда рядом выросла огромная тень Кордейро. Он завернул меня в свою куртку и взял на руки.

— Успокойся, Воробей, все позади.

Той ночью я спал сном праведника, тесно прижавшись к маме. Меня не ругали. Отец долго сидел на кухне и молча курил, уперев локти в клеенку, а в пепельнице, сделанной из морской раковины, росла гора окурков. Точно так же он сидел, когда умерла бабушка.

Мне показалось, что мама всю ночь не отпускала моей руки. А утром меня, зажав под мышкой, словно вязанку хвороста, отнесли в школу. И только тогда, уже успокоившись душой, я впервые как следует рассмотрел учителя. Лицом он походил на жабу.

Жаба улыбалась. Учитель ласково потрепал меня по щеке.

— Мне нравится такое имя — Воробей.

Во рту у меня стало щекотно, как от кофейной тянучки. Но самое невероятное случилось потом, когда при полной тишине он за руку подвел меня к своему столу и усадил на свой стул. Сам же остался стоять рядом. Потом взял книгу и сказал:

— У нас появился новый товарищ. Это для нас большая радость, так что давайте поприветствуем его аплодисментами.

Я боялся, что снова написаю в штаны, но мокро стало только глазам.

— Отлично. А теперь перейдем к стихам. Чья очередь? Ромуальдо? Давай, Ромуальдо, выходи-ка вперед. И хорошенько запомни: читать надо не спеша и громким голосом.

Ромуальдо выглядел очень смешно в своих коротких штанах. У него были длинные темные ноги с болячками на коленках.

Пасмурный и стылый зимний вечер...

— Погоди, Ромуальдо, погоди... Так что ты собираешься нам прочесть?

— Стихотворение, сеньор.

— А как оно называется?

— "Воспоминание детства". Его автор — дон Антонио Мачадо.

— Очень хорошо, Ромуальдо, теперь начинай. Не спеши, читай громко. Не забывай о знаках препинания.

Ромуальдо я знал хорошо, он вечно таскал домой мешки с шишками, как и положено мальчишке с Альтамиры. А теперь он откашлялся, словно старый курильщик, и прочел несказанно прекрасным голосом — можно было подумать, что голос шел из радиоприемника, с радио Маноло Суареса, индейца из Монтевидео[1]:

Пасмурный и стылый зимний вечер.
Школьники сидят за партами.
Дождь мерно сеет за окном.
Идет урок. И на картинке —
бегущий Каин, рядом мертвый Авель,
алое пятно...

— Очень хорошо. А что, по твоему разумению, значит "дождь мерно сеет", Ромуальдо? — спросил учитель.

— А это значит, урожая не жди, раз сеет-то дождик, дон Грегорио.

— А ты молился? — спросила меня мама, утюжа то, что отец успел сшить за день.

На кухне в горшке готовился ужин, и оттуда шел горьковатый запах брюквы.

— Конечно, — ответил я без тени сомнения. — И мы читали про Каина и Авеля.

— Это хорошо, — сказала мама. — А то поговаривают, будто новый учитель атеист.

— А что такое атеист?

— Тот, кто утверждает, что Бога нет. — Мама скроила недовольную мину и сильно нажала на утюг, двинув его вперед по складке на брюках.

— А наш папа атеист?

— С чего ты взял? Что за глупости приходят тебе в голову?

Я много раз слышал, как отец богохульствует. Впрочем, как и любой другой мужчина. Когда у них что-то не ладилось, они сплевывали себе под ноги и говорили про Бога ужасную вещь. И еще про дьявола. Поэтому я считал, что в Бога по-настоящему верят только женщины.

— А дьявол? Дьявол тоже есть?

— Разумеется!

Крышка на горшке плясала. Из чудовищной пасти вырывались клубы пара и плевки пены. Ночная бабочка летала под потолком вокруг лампочки, висевшей на крученом проводе. Мама, как всегда, когда ей приходилось гладить, ворчала. И лицо ее напрягалось, когда она утюжила стрелку на штанине. Но теперь она говорила мягким и чуть печальным тоном, будто обращалась к недоумку:

— Дьявол прежде-то был ангелом и только после сделался дурным.

Бабочка налетела на лампочку, та слегка колыхнулась, и тени заплясали.

— Сегодня учитель говорил, что у бабочек тоже есть язычок — тоненький и очень длинный, он закручен, как часовая пружина. И учитель покажет нам этот язычок, когда из Мадрида пришлют аппарат. Враки, да? Как это — у бабочек да язычок?

— Раз он так говорит, значит, правда. На свете есть много вещей, в которые трудно поверить, но они существуют на самом деле. Тебе понравилось в школе?

1. Индейцами называли тех испанцев, которые вернулись из Латинской Америки, как правило разбогатев там.

— Очень. И он не бьет никого. Учитель не бьет...

Учитель дон Грегорио никого не бил. Наоборот, он вечно улыбался своим жабьим ртом. И если, скажем, во время перемены двое мальчишек затевали потасовку, он подзывал их и говорил: "Вы похожи на пару баранов", — а потом заставлял пожать друг другу руку. И сажал за одну парту. Так я познакомился с Домбоданом, который стал моим закадычным другом. Большой, добрый и неуклюжий Домбодан. Был еще один паренек, Эладио, с родинкой на щеке, вот кого мне хотелось отдубасить как следует, но я так и не решился — боялся, что учитель велит подать ему руку и отсадит меня от Домбодана. Надо добавить, что, когда дон Грегорио хотел показать, что очень сердит, он просто молчал.

— Если вы не прекратите шуметь, придется замолчать мне.

И он шел к окну, и невидящий взгляд его улетал к горе Синаи. Молчание бывало долгим, оно приводило нас в отчаяние, мы чувствовали себя так, словно нас бросили одних, на произвол судьбы в чужой стране. Вскоре я понял, что молчание учителя — худшее из всех мыслимых наказаний. Ведь о чем бы он ни заводил речь, все превращалось в чудесную сказку. Сказка могла начаться с истории листа бумаги, перекинуться на Амазонку, потом объяснить, как сокращается и расслабляется сердечная мышца. Все получалось складно и связно меж собой, все обретало смысл. Трава, шерсть, овца — и то, что мне бывает холодно. Когда учитель подходил к карте мира, мы затихали в напряженном ожидании, словно зажигался экран в кинотеатре "Рекс". Потому что мы испытывали тот же страх, что индейцы, впервые услышавшие конское ржание и залпы аркебуз. Вместе с Ганнибалом Карфагенским мы плыли на спинах слонов над альпийскими снегами, направляясь в Рим. Мы сражались палками и камнями на Понте-Сампайо[1], отбивая атаку наполеоновских солдат. Но были не только войны. В кузнях Инсии мы мастерили серпы и лемехи для плугов. Сочиняли любовные песни в Провансе и на берегу моря у Виго. Строили портик "Глория". Сажали картошку, завезенную из Америки. И в ту же Америку эмигрировали, когда бушевала картофельная чума.

— А картошку-то к нам из Америки завезли, — сказал я за обедом маме, когда она поставила передо мной тарелку.

— Из Америки? Скажешь тоже! Картошка всегда здесь была, — непререкаемым тоном возразила она.

— А вот и нет, раньше ели каштаны. И кукуруза — тоже из Америки.

Впервые у меня появилось отчетливое сознание того, что благодаря учителю я знаю о нашем мире кое-какие важные вещи, которых не знают они, мои родители.

Но самыми замечательными были те уроки, на которых учитель рассказывал о всяких тварях и букашках. Водяные пауки у него изобретали субмарины. Муравьи разводили скот и получали от него молоко и сахар. А еще они выращивали грибы. В Австралии жила птица, которая раскрашивала свое гнездо в разные цвета, пользуясь особым маслом — она его вырабатывала из растительных пигментов. Разве такое забудешь? Называлась птичка тилонорринко. Самец кидал в новое гнездо орхидею, чтобы привлечь самку.

Я так всем этим увлекся, что стал добывать для дона Грегорио насекомых, а он признал во мне лучшего своего ученика. Случалось, в субботу или в праздничный день он заходил за мной, и мы с ним отправлялись на прогулку — почти что в экспедицию. Бродили по берегам реки, поросшим бурьяном низинам, потом по лесу и поднимались на гору Синаи. Каждая

1. Историческое место в провинции Понтеведра; во время войны за независимость галисийские войска разбили здесь французов, посланных маршалом Неем. *(Прим. испанского издателя.)*

такая прогулка превращалась для меня в череду открытий. Возвращались мы непременно с каким-нибудь сокровищем. Мантис. Синяя стрекоза. Жук-олень. И всякий раз новая бабочка, хотя теперь я помню название только одной, той, которую учитель называл ирис: когда она садилась на грязь или навоз, крылья ее изумительно сверкали и переливались.

На обратном пути мы распевали песни, совсем как два старых товарища. А в понедельник в школе учитель говорил:

— А теперь давайте потолкуем о зверушках Воробья.

Для моих родителей внимание учителя ко мне было большой честью. В дни прогулок мама готовила нам с собой завтрак на двоих.

— Что вы, что вы! Я уже ел, — отнекивался учитель. Но по возвращении благодарил: — Спасибо, сеньора, завтрак был очень вкусным.

— Сдается мне, учитель наш еле сводит концы с концами, — говорила мама вечером.

— Учителя у нас не получают того, что заслуживают, — с пафосом провозглашал отец. — А ведь они — культура Республики.

— Республика, Республика! Еще посмотрим, что станется с вашей Республикой! И до чего она всех нас доведет!

Отец был республиканцем. Мама — нет. Иначе говоря, мама была из тех женщин, что каждодневно ходят к мессе, а республиканцы слыли врагами Церкви. Родители старались при мне не спорить, но порой кое-что до меня долетало.

— Ну что тебе сделал Асанья? Это все священник вам голову морочит.

— Я хожу в церковь молиться, — отвечала мама.

— Ты — да, а священник — нет.

Однажды, когда учитель зашел за мной и мы собирались идти ловить бабочек, отец спросил, не позволит ли дон Грегорио снять с него мерки для костюма.

— Для костюма?

— Дон Грегорио, вы только не примите это в обиду. Очень уж мне хочется сделать вам что-нибудь приятное. В знак признательности. Но умею я только шить костюмы. Больше ничего.

Учитель растерянно заморгал.

— Это мое ремесло, — с улыбкой добавил отец.

— Я с большим уважением отношусь к любому ремеслу, — после паузы сказал учитель.

Дон Грегорио носил этот костюм целый год, в нем он был и тем июльским днем 1936 года, когда я увидел его на Аламеде — он направлялся в городской совет.

— Ну как дела, Воробей? Надеюсь, уж в этом-то году мы непременно посмотрим на бабочкин язычок.

Вокруг происходило что-то необычное. Казалось, все очень спешили, но при этом с места никто не трогался. Те, что смотрели вперед, вдруг поворачивали и шли назад. Те, что смотрели направо, поворачивали налево. Мусорщик Кордейро сидел на скамейке у музыкальной эстрады. Я никогда не видел, чтобы Кордейро сидел на скамейке. Он смотрел на небо, приставив руку козырьком ко лбу. Если Кордейро вот так смотрел на небо и если замолкали птицы, это значило, что надвигается гроза.

Я услышал стрекотание одинокого мотоцикла. На мотоцикле сидел гвардеец, за его спиной к заднему сиденью был приторочен флаг. Гвардеец проехал перед зданием городского совета и скользнул цепким взглядом по людям, которые, тревожно переговариваясь, теснились в портике. Потом он крикнул: “Да здравствует Испания!” — и рванул дальше, оставив за собой шлейф дыма и треска.

Матери принялись скликать детей. А у нас дома словно опять умерла бабушка. Отец сидел перед переполненной пепельницей, мама плакала и делала какие-то бессмысленные вещи: открывала кран и мыла чистые тарелки, а грязные ставила в шкаф.

Кто-то постучал в дверь, и родители с отчаянием в глазах следили за тем, как поворачивается дверная ручка. Пришла Амелия, наша соседка, служившая в доме индейца Суареса.

— Творится-то что, а? В Корунье объявили военное положение. Обстреляли канцелярию губернатора.

— Спаси нас Господи! — перекрестилась мама.

— А здесь, — понизив голос, словно и у стен есть уши, продолжила Амелия, — наш алькальд, говорят, вызвал к себе капитана карабинеров, но тот и не подумал явиться — сказался больным.

На другой день меня не выпустили на улицу. Я глядел в окно, и все прохожие казались мне робкими тенями: как будто внезапно вернулась зима и ветер гнал с Аламеды воробьев, похожих на сухие листья.

Из столицы прибыли войска, они заняли здание городского совета. Мама отправилась было к мессе, но вскоре вернулась бледная и притихшая, за эти полчаса она словно на несколько лет постарела.

— Рамон, в городе ужас что делается, — всхлипывая, сказала она отцу.

Отец тоже постарел. Хуже того. Он вроде бы разом утратил последнюю волю. Сидел, глубоко провалившись в кресло, и не шевелился. Ничего не говорил. Не хотел есть.

— Надо побыстрее сжечь все, что может тебе навредить, Рамон. Газеты, книги. Все.

В те дни главной в доме стала мама. Однажды утром она велела отцу одеться поприличнее и повела его к мессе. Когда они возвратились, мама сказала:

— Послушай, Мончо, сейчас ты пойдешь с нами на Аламеду.

Она принесла мой праздничный костюм и, завязывая мне галстук, очень строго произнесла:

— Запомни, Мончо, папа не был республиканцем. Папа не был другом алькальда. Папа никогда не ругал священников. И еще одна очень важная вещь, Мончо. Папа никогда не дарил учителю никакого костюма.

— Но ведь он дарил...

— Нет, Мончо. Не дарил. Ты хорошо меня понял? Не дарил!

— Да, мама, не дарил.

На Аламеде собралось очень много людей, все в праздничной одежде. Были здесь и те, что спустились из горных селений: женщины в черном, старики-крестьяне в шляпах и жилетах. Перепуганные дети бежали за мужчинами в голубых рубашках и с пистолетами на боку. Два ряда солдат образовали коридор от лестницы городского совета до крытых грузовиков с прицепами — во время большой ярмарки в таких обычно перевозили скот. Но на Аламеде веселых ярмарочных криков слышно не было, наоборот, вокруг стояла гробовая тишина, как на Святую неделю. Люди друг с другом не здоровались. Словно друг друга не узнавали. Все напряженно смотрели на фасад городского совета.

Гвардеец приоткрыл дверь и обвел взглядом толпу. Потом распахнул обе створки и махнул рукой. Из темной пасти здания вышли арестованные, их охраняли другие гвардейцы. У арестованных были связаны руки и ноги, и между собой они тоже были связаны. Кое-кого я не знал по имени, но все лица видел не раз. Алькальд, люди из профсоюза, библиотекарь из

литературного общества "Рабочая заря", вокалист Чарли из оркестра "Солнце и жизнь", каменотес по прозвищу Геркулес, отец Домбодана... Последним в связке шел учитель, горбатый и некрасивый, похожий на жабу.

Раздались отрывистые приказы и крики — они понеслись над Аламедой, как взрывы петард. Из толпы тоже мало-помалу начал пробиваться ропот — люди начали подхватывать ругань гвардейцев:

— Предатели! Бандиты! Красные!

— Кричи, Рамон, и ты тоже кричи, ради всего святого, кричи! — мама тащила отца, ухватив за руку повыше локтя, словно изо всех сил старалась поддержать и не дать упасть в обморок. — Пусть они видят, что и ты кричишь, Рамон, пусть они видят!

И тут я услышал, как отец тоненьким голосом проговорил:

— Предатели! — А потом все громче и громче: — Бандиты! Красные!

Он вырвался из рук матери, подошел совсем близко к цепи солдат и, весь трясясь от гнева и возмущения, вперил взгляд в учителя:

— Убийца! Анархист! Душегуб проклятый!

Теперь уже мама пыталась унять его и тихонько дергала за пиджак. Но он словно совсем потерял рассудок:

— Мерзавец! Сукин сын!

Я никогда раньше не слышал, чтобы он кого-нибудь так обзывал, даже судью на футбольном матче. Обычно он говорил:

— Ведь его мать ни в чем не виновата, так ведь, Мончо? Хорошенько это запомни.

А сейчас он, обезумев, обернулся и подталкивал меня взглядом, налитым кровью и слезами.

— И ты тоже крикни, Мончиньо, и ты тоже крикни ему!

Когда грузовики с арестованными тронулись с места, я был среди тех детей, что бежали следом и швыряли в них камни. Я в страшном отчаянии отыскивал глазами лицо учителя, чтобы крикнуть:

— Предатель! Бандит!

Но грузовики уже превратились в далекое облако пыли. А я стоял посреди Аламеды со сжатыми кулаками и, задыхаясь от лютой злобы, шептал:

Жаба! Тилонорринко! Ирис!

Старая пчелиная царица пускается в полет

> С особым вниманием следует отнестись к ульям, чтобы не упустить рой, когда он соберется улететь.
> Здесь надо проявить особое тщание, потому что рой будет принадлежать тому, кто первым его обнаружит.
>
> *"Этнография", Хоакин Лоренсо в книге "История Галисии"*

ВЕСНА явилась рано и во всем своем блеске.

Попивая кофе, Чемин смотрел в окно, выходившее в сад, и наблюдал веселый переполох, который птицы устроили на старой, уже покрывшейся цветами яблоне. В пору угрюмого зимнего

затишья сюда прилетала одна лишь малиновка, прилетала и, как крошечный шахтер, долбила клювом высеребренные мохом виски дерева. И прыгала по голым веткам в своем веселом пестром плащике. Иногда прилетал еще и дрозд. Приносил с собой сумеречную печаль и словно ненароком возвращал наблюдающему за ним человеку его взгляд, а потом вдруг спешил прочь — черной пентаграммой расправив крылья.

В гостиной теперь тоже кипел праздник. Каждый год в этот самый день, третье воскресенье марта, в родительском доме Чеминов отмечали день святого Иосифа. И на самом-то деле это песни, которые пели его дети и внуки, заставили старого Чемина, сидевшего во главе стола, устремить взор к старой яблоне.

Предвечерний ветерок лениво овевал скрюченные артрозом руки яблони, которые словно приготовились лечь на чьи-то плечи перед началом вальса. А гроздья белых цветов на концах ветвей трепетали, как кружева невесты. Вокруг жужжали пчелы.

Теперь твоя очередь, отец, сказал Пепе, его старший сын. Пепе был хорошим гитаристом. Во времена битлов он первым в том краю отпустил длинные волосы и стал носить кошмарные брюки асфальтового цвета — очень узкие сверху и колоколом расходящиеся книзу. Соседям было о чем посудачить, и они прозвали его Йе-Йе. И до Чемина, уехавшего на заработки в Швейцарию, стали доходить кой-какие слухи. Видел я твоего Пепе на ярмарке в Байо, бросил ему через плечо один земляк из Тинеса, который только что прибыл из дома. Потом, смакуя издевку, добавил: Сзади я принял его за Марухиту Диас. Ночью, давясь злобой, Чемин решил написать сыну письмо с приказом немедленно сходить к парикмахеру. Он жевал и пережевывал гневные фразы, упреки жене за потворство, но они оставляли во рту горький привкус, привкус цикория. Он представил себе, как его Пилар покрасневшими пальцами — она всегда стирала, когда приходила почта, — берет письмо. Он прочел влажными глазами Пилар сердитое послание, которое уже успел сочинить в уме, и оно показалось ему бесконечно глупым, пьяной пощечиной среди ночи.

— Ну, папа, давай же, спой “Мои любови”.

— Да, да, пусть споет дедушка.

Он задумался: эти пчелы, что тянут нектар из белых яблоневых цветов, откуда они — из его ульев или из сада Гадона? Он любил горячий и очень сладкий кофе, но чашка остыла у него в руках, пока он отрешенно глядел на оконный экран.

“Мои любови”! Этой балладе его научил приятель, с которым в Швейцарии они жили в одном бараке. Обычно он с трудом запоминал песни, но эта к нему прямо приросла — не оторвать. Эта лилась у него откуда-то изнутри, все равно как молитва, как патриотический гимн, который исполняет сама утроба, оплодотворенная темными картофелинами, съеденными на ужин в иммигрантском бараке. После его возвращения из Швейцарии они каждый год все вместе отмечали день святого Иосифа, и он непременно пел “Мои любови”. Он уже превратился в патриарха, стал самым старым в клане Чеминов. И баллада обволакивала их всех туманной пеленой, объединяя с ними за этим столом даже тех, кого уже не было на белом свете, объединяя в чем-то вневременном и внеземном.

Dous amores a vida gardarme fan:
a patria e o que adoro no meu fogar,
a familia e a terra onde nacin.
Sen eses dous amores non sei vivir[1].

Дойдя до середины песни, он почувствовал, что в груди не осталось воздуха, как в сдутых мехах волынки. Что-то мне плоховато, сказал он под конец. Он знал: его слова омрачат праздник, как если бы кто-нибудь дернул за скатерть и разбил сервиз из Саргаделоса, который Пилар получила в приданое и берегла как зеницу ока.

Думаю, лучше будет, если я пойду прилягу.

Больше он ничего не смог выговорить. Во рту у него пересохло, и он решил, что виной тому остывший и слишком крепкий кофе. Что-то — какая-то чужая тоска сдавливала ему грудь, и ребра щипцами впивались в легкие. И еще: в голове у него с мучительным, нестерпимым зудением метался пчелиный рой.

Пепе сразу все понял. Его добрый сын, его Йе-Йе с сединой в жестких кудрях. Он начал перебирать струны гитары и запел одну из своих любимых — "Don't let me down!"[2] — на очень забавной смеси галисийского с английским и завладел вниманием самых молодых. Только Пилар, неусыпный часовой, стояла в дверном проеме, держа в руках поднос со сладостями, и цепко смотрела ему в глаза.

Прежде чем опустить штору у себя в спальне, он снова глянул в окно на яблоню, на этот цветущий магнит. Потом взгляд его метнулся к соседскому саду, саду Гадона. Как и обычно, рассмотреть можно было только самую малую часть неведомого и всегда затененного мира, скрытого густой изгородью из лавра и мирта. Было только одно место, где зеленая стена прерывалась узкой щелью, — в той стороне бузина, все еще продолжая зимовье, оставалась безлистой. Наверное, она была погружена в созерцание своей белой сердцевины. Через эту щель Чемин мог различить остовы заброшенных ульев.

В детстве они с Гадоном были закадычными друзьями. Он помнил, например, как они вместе ловили на удочку улейных ящериц — злейших врагов пчел. Дело нешуточное. Нужно было насадить на крючок кузнечика, хорошенько спрятаться и ждать. Он держал удочку, а Гадон, засев напротив, подавал ему знак, когда ящерица начинала примериваться к добыче. Пчелы и сами легко расправлялись с агрессором — убивали его и бальзамировали, чтобы не разлагался в улье. Но в то лето казалось, что ящерицы размножаются с невиданной скоростью, порождая огромное ненасытное войско. Чемин с Гадоном поймали целых две дюжины. Протянули им через глаза проволоку и гордо носили на шее, словно богатый трофей. Кожа такой ящерицы похожа на ленту, вырванную из радуги.

Семейства Чеминов и Гадонов между собой не разговаривали, но на мальчишек, пока те были маленькими, вражда не распространялась. Правда, домой друг к дружке они заходили не без опаски. Однажды, когда взрослые были заняты своими заботами, он играл с Гадоном вот в этом самом тенистом саду. В углу кучей лежали куски коры пробкового дерева, служившие ульями. Отец говорит, что у нас руки не так приделаны, чтобы пчелами заниматься, объяснил Гадон, вот они все и передохли от какой-то напасти.

1. Две любови привязывают меня к жизни: / родина и милый сердцу дом, / семья и земля, где родился. / Без этих двух любовей не сумел бы я жить (*галисийск.*).
2. "Не подведи меня!" (*англ.*)

Но наступил день, когда и Чемин с Гадоном вдруг перестали разговаривать. Никто им этого впрямую не приказывал, но все случилось так, словно оба они одновременно услышали непререкаемое повеление, исходившее откуда-то из самых глубин отчих домов. Дело было после конфирмации, когда помощник епископа явился в их приход и начертил им миром крест на лбу. По выходе из церкви они не обменялись ни словом и всю обратную дорогу старались держаться друг от друга поодаль.

Чемин, лежащий теперь на постели, поднес руку ко лбу и осенил себя крестным знамением. Крест, правда, не имел никакого отношения к вражде между семействами Чеминов и Гадонов. Но в памяти вражда эта связывалась со знаком креста. Молчание, повисшее меж ним и Гадоном, осознание того, что и они втянуты в семейные распри, начало обретать плоть, когда мальчишки почувствовали, что становятся мужчинами. В день конфирмации на них в первый раз надели длинные штаны. То есть разговаривать они перестали именно тогда, когда у них начал меняться голос и из горла вылетали петухи, с которыми никак невозможно было сладить. Чуть позже они, к большому своему изумлению, заметили, что им уже не запрещается крепко выругаться на людях. Тех двух мальчишек, которые когда-то слыли друзьями, навеки затянуло в сток памяти, ведь память служит как для того, чтобы помнить, так и для того, чтобы забывать. Старый Чемин, лежащий теперь на постели, от тех времен сохранил — словно впаянным в лед — один только образ: влажное сверкание радуги на коже ящериц.

Он, разумеется, по-прежнему часто видел Гадона. Мужчина, вызревший у того внутри, обладал взглядом, который ему самому казался суровым и мрачным, как сад, куда Гадон попадал, едва открыв калитку. Позднее Гадон начал работать на строительстве какой-то дальней дороги. И Чемин встречал его только по воскресеньям, но тот держался чужаком, будто они никогда прежде и не знались. Сталкиваясь, они спешили поскорей разойтись, словно не хотели даже теням своим дать соприкоснуться.

Лежа в постели, Чемин снова увидел двух мальчишек. Оба стояли у райских врат, пред ликом святого Петра. А тот с миной придирчивого таможенника поштучно пересчитывал принесенных ими ящериц. Но у него все будто что-то не сходилось. В конце концов он по-чиновничьи презрительно глянул на детей и сказал:

— Мало ящериц! Спускайтесь вниз и принесите еще!

И дети понуро побрели обратно по пологой тропке, спотыкаясь, цепляясь деревянными башмаками за булыжники и неся за спиной раскаленный груз — плиту-солнце.

— А знаешь, давай пойдем и наловин руками форели! — предложил маленький Чемин. — По мне, так одна форель должна стоить на небесах столько же, сколько три ящерицы.

Но маленький Гадон ничего не ответил. Он вдруг вырос. И превратился в грубого молчаливого мужчину, вечно погруженного в себя. От непогоды руки и лицо у него отливали смоляным лаком. Дойдя до перекрестка, он плюнул на землю, прямо себе под ноги, и, не простившись, зашагал в противоположную сторону.

Прощай, Гадон, с болью сказал Чемин.

Когда он приехал в Швейцарию, то первую работу получил на строительстве туннеля в Тицине. Не меньше трех сотен рабочих буравили брюхо горы. У Чемина бригадиром был вполне сносный итальянец. Когда к

ним направлялся инженер, он кричал: "Laborare, laborare!"[1] Когда инженер исчезал, бригадир подмигивал и говорил с хитрой ухмылкой: "Piano, piano!"[2] Однажды утром прибыла новая партия рабочих, и Чемин тотчас по выговору определил, что в большинстве своем они были галисийцами. И среди них, как счастливое видение, оказался Гадон. Чемин поспешил к нему и радостно поздоровался. Сосед минуту колебался, но потом отвел взгляд, словно демонстрируя презрение предателю, и двинулся следом за остальными. В течение месяцев они, понятное дело, часто встречались, но неизменно сторонились друг друга. Однажды Чемин обратил внимание, что давно не видел Гадона — словно перестал чувствовать рядом осенний запах опавшей сосновой хвои. Температура стояла минусовая. Перед пастью туннеля снежное полотно сверкало белизной, как саван. Чемин навел справки, и один знакомый из Камариньяса сообщил, что Гадона отправили в больницу. У него что-то случилось с зубами — или десны воспалились — от ледяной родниковой воды. Пей молоко, Гадон. Нет, ни за что. Он пил только воду. Говорил: у меня аллергия на молоко. А еще он не брал в рот ни сыра, ни масла, хотя они и составляли основу рациона в столовой этой фирмы. Он по-настоящему голодал, сказал человек из Камариньяса. У него даже кал стал белым, как у чаек. Думаю, ему сюда уже не вернуться.

В саду Чемина рос орех. Отец рассказал ему, что когда-то это дерево, еще молодое, каждый год прибавляло в высоту на человеческий рост, но плодоносить все никак не начинало. Орехи пошли, только когда родился он, Чемин.

В один прекрасный день Чемин по некоторым обмолвкам во время разговора с соседями узнал, что дерево-то и стало причиной вражды между Чеминами и Гадонами. И сам он был главной частью этой истории.

Отец Чемина уже в весьма преклонном возрасте женился на очень красивой девушке. Мария да Грасиа, мать Чемина, была дочерью незамужней женщины и с ранних лет работала в услужении, но при этом на недостаток женихов пожаловаться не могла. Она сама по себе была прекрасным приданым, о каком только дано мечтать крестьянину. Когда убирали кукурузу, она так хорошо пела танго и болеро, что люди под ее пение обрывали колючие и жесткие листья с початков, почти как лепестки с цветов на праздник Тела Господня. Когда старый Чемин и Мария да Грасиа поженились, самые разобиженные парни всю ночь пели под их окнами коплы и гремели зольниками и жестянками.

Миновало три года, а у Марии да Грасиа детей все не было. Это давало пищу для пересудов и шуток, но сами супруги всегда выглядели беззаботно счастливыми, как горлицы по весне. Именно тогда и случилась история с ореховым деревом. Дерево тянулось вверх настырно, как ива на берегу речки, но ни разу не дало ни одного ореха. Вот кто-то и научил Чемина, что в таких случаях, мол, дерево следует отхлестать прутом по веткам — еще до того, как на них проклюнутся листья. Хлестать надо крепко, но так, чтобы ничего не поломать. И дерево само уразумеет, если можно так выразиться, чего от него хотят. Этим он и занялся в солнечный весенний день, когда все будто замерло в тревожном ожидании. Он вернулся из церкви и как был, в белой рубашке и черном жилете, подошел к дереву и тряхануул его, готовясь отхлестать по ветвям. Он почувствовал капли пота на лбу, и тут со стороны соседского сада к нему приблизился старый Гадон. И громко сказал:

1. "Работать, работать!" (*итал.*)
2. "Тихо, тихо!" (*итал.*)

— Лучше бы ты свою жену потряс, Чемин, да как следует потряс. Глядишь, и плодоносить начнет, орехи появятся!

У самого Гадона было пятеро детей.

Старый Чемин ничего не сказал в ответ. Только прислонил прут к стволу дерева, вошел в дом и залпом осушил ковш воды, зачерпнув ее из дубовой кадушки с железными обручами. А потом сказал Марии да Грасиа:

— Не спрашивай почему, не могу тебе этого объяснить, но будь добра, милая, впредь с Гадонами — ни слова.

Мария да Грасиа поняла. Ее муж был человеком с достоинством. И ей очень нравилось это его врожденное благородство.

А год спустя родился маленький Чемин. Вся история снова всплыла в его памяти, когда случилась досадная промашка с пчелиным роем. Но в тот раз воспоминание пробудило в нем ненависть, какой никогда прежде он не испытывал. Словно гидра сдавила ему грудь, обвилась вокруг горла, так что оттуда вырывались лишь хрипы, шершавые односложные слова, которые падали, как камни в пруд — в тот всегда спокойный пруд, который окружал Пилар. Она сразу заметила перемену в настроении мужа, но приписала ее погоде, нынешней обезумевшей весне, когда лунные ночи так же светлы, как желтоватый день, из-за чего петухи орут за полночь и лихорадка бессонницы изнуряет крестьян.

Чемин никому, даже ей, не рассказал, что случилось с пчелиным роем.

Еще в конце минувшей недели он заметил: пчелы в одном из ульев забеспокоились. Это был очень хороший рой. Он давал темный мед с запахом багульника, а Чемин умел различать самые тонкие и нежные оттенки сладости, умел определить, в каких долях лес и цветущие луга присутствуют в каждой ложке меда. Ульи всегда считались очень важной частью семейного достояния. Как будто именно там изготовлялся волшебный эликсир, который якобы и обеспечивал долголетие этого клана. Отца Чемин похоронил, когда тому стукнуло девяносто лет, и убила его не болезнь, а тоска по Марии да Грасиа. Живи она, шептал он, и я бы никогда не умер. Но ее во время ярмарки сбила машина, будь она трижды проклята, за рулем которой сидел подвыпивший водитель.

Все воскресенье Чемин был настороже, потому что пчелы начали роиться. Они собирались у летка. Видно, появилась новая матка, новая царица, подумал он, и старая вот-вот улетит вместе со своей свитой из рабочих пчел.

Отец когда-то рассказывал ему, что долгое время люди не знали, откуда берутся пчелы.

— И знаешь почему? — спрашивал он. — Потому что считали, будто пчелами правит царь, а никак не царица. Даже великим мудрецам не приходило в голову, что может быть наоборот. Те писали всякие глупости: например, что рой зарождается в брюхе мертвого быка. Но наконец ученые признали свою ошибку. Правда, есть еще одна вещь, которую тебе надлежит знать, — сказал отец, с видом заговорщика перейдя на шепот. — Царица не рождается царицей. Рабочие пчелы выбирают одну личинку и кормят ее маточным молочком на несколько дней дольше, чем прочих. На самом-то деле любая из пчел могла бы стать царицей.

— А трутни? Зачем они убивают всех трутней? — спросил мальчик.

— Потому что трутни бездельники, все равно как канцелярские крысы в городе, — со смехом ответил старый Чемин.

В ночь на воскресенье он почти не сомкнул глаз. А когда ему удавалось задремать, видел сон: свившиеся в шар пчелы улетают прочь — не

очень высоко над землей, похожие на воздушный шарик, а он, Чемин, словно в комедии Чарли Чаплина, загребает и загребает в воздухе руками, пытаясь догнать пчел. Он проснулся рано, с чувством тревожного груза на душе, ополоснул лицо холодной водой и поспешил к улью. Пчелы и вправду сбились в кучу, образовав большой моток, готовый к полету. Он побежал за корзиной, но не успел протянуть руку к рою, как тот снялся с места и полетел, образовав довольно плотный, но в то же время лохматый клубок. Рой сел на первую же попавшуюся ветку — самую нижнюю ветку ореха. Чемин очень медленно приблизился, и сердце его при этом стучало, как мельничный жернов. Не от страха. Он знал, что пчелы, летящие роем, несут с собой столько меда, что ужалить не могут. Он поднял корзину, но она была еще только на полпути, когда Чемин увидел, как шар оторвался от ветки и вновь пустился в полет. Эти секунды, пока он стоял остолбенев, упуская драгоценное время, и решили дело. Рой перелетел через изгородь и сел на одно из деревьев в тенистом саду Гадонов. И тотчас возник хозяин — как охотник из засады. Не проронив ни слова, он снял с себя куртку из телячьей кожи, завернул в нее рой, словно пойма л в воздухе летучий сон, и зашагал к старым пустым ульям.

Чемин бодрствовал во сне. С первого этажа до него доносились песни. "Que o mar tamén ten mulleres, que o mar tamén ten amores, está casado coa area, dálle bicos cantos quere"[1]. Нынче днем он ходил в поселок. Хотел избавиться от мысли, которая с настырным и пронзительным жужжанием сверлила ему мозг. Он всегда слыл человеком здравомыслящим. И по дороге он размышлял. Да, Гадон поступил так, как велят неписаные законы. На его месте мог оказаться кто угодно. Рой, покинувший улей, принадлежит тому, кто его поймает. Это не воровство. Но жужжание в голове становилось все назойливей, оно просверливало лоб от виска до виска. Поступок Гадона нельзя счесть проявлением враждебности. Объявлением войны. Что знал Гадон о пчелах? Его семья не сумела сохранить свои ульи. Всякие напасти, сглаз, черт знает что еще — были чем-то вроде родового проклятия. Вспомнив о меде, который давали похищенные пчелы, Чемин почувствовал на губах неведомый доселе вкус. Вкус горького меда.

Он шел повидаться со старыми друзьями, поболтать и отвлечься от изводившего его жужжания. Но когда явился в таверну "Лозанна", выбрал столик в самом углу и поскорее отвел взгляд от шумных посетителей. Он раскладывал на мраморном столике пасьянс из невидимых карт. А что, интересно знать, творилось тогда в голове у старой пчелиной матки? Почему рой взял да и покинул ветку ореха, того самого ореха, который весь покрылся плодами, когда родился он, Чемин? Минутой раньше все имело свой смысл. Он глянул на часы. Пора. Верно, гости уже собираются. Будь на то его воля, он до самой ночи бродил бы по лесу. О собственном празднике он думал как о празднике чужом. Поднявшись, понял, что выпил лишку. Жужжание теперь сопровождалось еще и искрением — так горит отжившая свой век лампочка. Жужжание распространилось по всему телу, словно застарелая боль. Чемин подошел к стойке, чтобы расплатиться, и хозяин, в свое время тоже ездивший работать за границу, сказал, что Чемин ничего ему не должен. Все О. К., Чемин. А что, нынче угощает заведение? Нет, Гадон. Я его предупредил, что за тобой четыре стакана. И он ответил: не имеет значения, он заплатит за все. Такой, мол, сегодня день.

1. Ведь у моря тоже есть жены, ведь море тоже знает любовь, море обвенчано с песчинками и целует их сколько душе угодно (*галисийск.*).

Вместо того чтобы идти по шоссе, Чемин выбрал тропку, бегущую в деревню через лес и луга. Свежесть леса чуть пригасила жужжание, а необычное для этой поры, разящее наповал солнце гнало путника вперед, совсем как дымящаяся головешка гонит в нужном направлении пчелиный рой. Он поднес руку козырьком ко лбу и посмотрел в сторону деревни. Расстояние между деревней и поселком на протяжении его жизни непрестанно менялось. В детстве оно казалось ему бесконечным, как карта мира. Потом стало помаленьку сокращаться, пока не сжалось до отрезка, который может пролететь камень, брошенный его же, Чемина, рукой. Сейчас оно снова было таким же, как в детстве, но только булыжники, чудилось ему, торчат отовсюду, как обломки костей.

Посреди дороги лежал Гадон. Он не прилег, а как подкошенный рухнул на землю, хватая ртом воздух. Их взгляды встретились. Взгляд лежащего на земле человека, чья голова опиралась на бугорок, был полон тоски, белки его глаз покраснели и наполнились влагой. Руку он прижимал к груди, на уровне сердца, и тер это место, как гончар, который месит глину.

— Это все вино, — пробормотал Гадон, — в него стали подмешивать много химии.

На лице его застыла гримаса — насмешка над самим собой пополам с болью.

Не проронив ни слова, Чемин помог ему подняться на ноги, но едва Гадон попытался стряхнуть пыль с пиджака, как снова стал оседать вниз. Чемин с большим трудом обнял его за пояс, перекинул руку Гадона себе через плечо, и они, еле передвигая ноги, тронулись в путь. Прижавшись друг к другу, обливаясь потом, они, казалось, дышали — с жалобным свистом — одними мехами.

Когда они добрались до забора, за которым находился сад Гадона, сосед жестом показал, что дальше дойдет сам. Они постояли, прислонившись к ограде и переводя дух. Наконец Чемин, так и не нарушив молчания, двинулся к себе.

— Ты должен поучить меня, как надо ухаживать за пчелами, — вдогонку ему прошептал Гадон.

Чемин ничего не ответил.

Когда он пришел домой, внуки кинулись его целовать, а он равнодушно и вяло подставлял им щеку, устремив взгляд куда-то вдаль. Он занял кресло во главе стола, вернее, молча рухнул в него.

Теперь, лежа на кровати в туманной полудреме, он пытался восстановить в памяти то давнишнее сновидение.

Двое мальчишек спускаются по тропинке с небес, деревянные башмаки стучат по булыжникам.

— Знаешь, что мы сейчас сделаем? — вдруг говорит маленький Чемин. — Я отдам тебе моих ящериц, и тогда ты сможешь попасть на небо.

— А ты? — спрашивает маленький Гадон.

— А я попробую руками наловить форели. Если поймаю хоть одну, отнесу святому к райским вратам. Но ты ступай первым.

— Где же твой приятель? Почему он не воротился? — поинтересовался святой Петр, пересчитав ящериц.

— Он сказал, что хочет наловить форели, — с невинным видом объясняет маленький Гадон.

— Ага, значит, он решил наловить форели, так? — с загадочным видом произносит таможенник.

Лежа в постели, Чемин услыхал наконец колокольный звон. Очень медленно и монотонно, как слепой певец, приходской колокол повторял: "Га-дон, Га-дон".

Его сын, его дорогой Йе-Йе, открыл дверь и сказал в полутьму:

— Отец, знаешь, говорят, Гадон умер.

Он широко раскрыл глаза, чтобы взглядом обнять сына. Он слышал его голос все дальше и дальше, хотя тот подбежал к постели и закричал:

— Отец! Отец! Что с тобой? Господи, папа!

А он летел, летел, окутанный бархатом пчелиного роя. Почему они покинули улей? Почему пчелы не остались на ветке ореха? Он хотел спросить что-то еще, но старая пчелиная царица была глуха.

Она, проклятая душа

ЭТА поездка стала восприниматься как нечто реальное, лишь когда взору открылась груда камней за собором.

Был час, когда героический город устраивает себе сиесту. Сквозь отлитые из осеннего свинца небесные жалюзи солнце посылало на землю свои копья. Но копья никого не ранили, ибо зенитные лучи пронзали воздух лениво и даже с некоторой меланхолией.

Глядя на парящие вокруг и словно лишенные всякой тяжести пылинки, Фермин вспомнил — или это проснувшееся вдруг чувство иронии напомнило ему, — что говорил о душе Демокрит. А Демокрит говорил, что душа — это огненные атомы, гладкие и круглые, похожие на пылинки, которые видны в луче свете, сквозящем из щели.

Вот они, эти бесчисленные души, мерцают в воздухе, подумал Фермин с улыбкой. Но улыбка тотчас скривилась, быстро проделав краткий путь, отделявший ее от гримасы, стоило Фермину вообразить себя самого в виде круглой раскаленной пылинки, видимой лишь в нестойком световом луче.

Этот луч света имел имя и звался Аной.

Уже несколько лет они были счастливы вместе. Счастливы, уточним, как брат и сестра. Фермин был пастырем одной из общин, что ищут истоки, ищут то самое братское единение, которое отличало катакомбное христианство — Церковь, какой она была при основоположниках, защищенную тонкой, но несокрушимой броней веры и слова Божьего. Эту золотую ветвь позднее захватила власть, опирающаяся на меч и деньги. "Если не можешь одолеть их, присоединись к ним". Что и сделала власть по отношению к Церкви — и разрушила ее, превратила в омофор для богатых, для диктаторов. Именно об этом пылко говорил Фермин в своих проповедях во время неформальных месс, которые община называла "ассамблеями народа Божьего".

И с тех самых пор, заключал Фермин, обращаясь к братьям и сестрам, официальная церковь стоит на службе Империи. Если бы Христос, сын Божий, воплощенный в человеке, возвратился сегодня в наш мир со своими учениками, людьми простыми и необразованными, и со своими неблагонадежными друзьями — проститутками, прокаженными и бродягами, — официальная церковь, в этом можете не сомневаться, осудила бы Его. И со свойственным ей лицемерием позволила бы совершиться распятию. И все согласно кивали, потому что Фермин говорил вещи общеизвестные, и не один епископ втайне подписался бы под эти-

ми словами, потому что с церковью произошло то же, что происходит с чистым золотом, когда его смешивают с фальшивым, — новый сплав теряет всякую ценность.

Но они, то есть эта община, верили по-настоящему. Они были золотой ветвью. А среди прочих он и Ана — самые пылкие, самые горячие поборники обновленной веры.

Среди бесчисленных пылинок, парящих в воздухе, он пытается отыскать две, которые хоть чем-нибудь обратили бы на себя внимание, хоть чем-нибудь отличались бы от остальных. Он видит, как Ана встает. На ней красный пиджак, белая блузка с кружевами закрывает прекрасно вылепленную грудь, сквозь прихотливый узор просвечивает кожа. (Словно сантеро[1] украсил тело деревянной статуи Девы Марии.) Нижняя губа подрагивает в тике, как будто тело таким образом на что-то жалуется, и на губе мерцают некогда загадочные метафоры из "Песни Песней". Как лента алая губы твои, и уста твои любезны. Как половинки гранатового яблока — ланиты твои под кудрями твоими. Шея твоя, как столп Давидов, сооруженный для оружий. Ана идет решительно, пожалуй даже слишком решительно, к амвону и продолжает чтение Евангелия от Матфея.

И когда вошел Он в лодку, за Ним последовали ученики Его. И вот, сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами; а Он спал. Тогда ученики Его, подошедши к Нему, разбудили Его и сказали: Господи! спаси нас: погибаем. И говорит им: что вы так боязливы, маловерные? Потом встав запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. Люди же удивляясь говорили: кто Этот, что и ветры и море повинуются Ему?

Не покидать лодку — даже во время бури. К такому решению они в конце концов и приходили, когда во время месс, больше похожих на ассамблеи, спорили о том, следует или нет покинуть лоно официальной церкви и начать все заново — как он, Фермин, с облегчением сменил сутану на джинсы. Только в особых случаях, скажем посещая умирающего, дабы не оскорблять чувства самых консервативных прихожан, которые не принадлежали к базовой общине, он облачался как положено *clergyman*'у — и тогда жесткий воротничок металлическим обручем сжимал ему горло.

Как сейчас, в Ветусте.

Он приехал сюда, чтобы навестить умирающего. Своего дядю Хайме, больного раком.

В юности Фермин ходил с дядей на охоту. И теперь вспоминал эти походы как пытку. Всякая охота требует тишины, говорил дядя Хайме, но охота на птиц требует тишины абсолютной. Полнейшей. И, говоря это, он впивался в него ледяным, холодным, как сосулька, взглядом. За все то время Фермин так ни разу и не выстрелил. Он покорно, с бесчувственностью полена позволял водить себя по болотам и ложбинам. Но боялся, что, если выстрелит и промахнется, родной дядя разворотит ему пулей череп — с тем же хладнокровием, с каким убивал диких уток.

Почему же тогда он ходил с дядей, если никто другой на это не соглашался?

Дядя Хайме воплощал в себе все, что Фермин ненавидел. Он воплощал в себе жестокость. Фермин сталкивался с ней и в семинарии, но там она была иной — приукрашенной, циничной, изобретательной. Первый урок, самый памятный, он получил, когда только успел занять отведенную

1. Сантеро — хранитель церковной утвари.

ему комнату и неспешно расставил на полке самые дорогие свои сокровища. Книги Вильгельма Брауна, а также Эмилио Салгари, Жюля Верна, Марка Твена и Стивенсона. Но тут явился падре Эсколано, назначенный ему в наставники, и начал ругаться так, как умеет ругаться лишь разгневанный священник. И больше он никогда не видел своих любимых приключенческих романов. Возможно, причина, по которой он упорно, раз за разом, ходил на охоту с дядей Хайме, была каким-то образом связана с той сценой, пережитой в семинарии. Лучше быть рядом с откровенной жестокостью, чтобы с корнем вырвать тоску по чудесам и приключениям.

На пороге смерти дядя попросил позвать именно его. Они уже давно перестали встречаться. Для дяди — бывшего лейтенанта, а потом, в годы франкизма, нотариуса — Фермин был куда хуже любого красного священника. Он просто придурок! — орал дядя. — Вы что, сами не видите, что он придурок? Нельзя быть умным и добрым одновременно. Таких не бывает. А потом добавлял сквозь зубы: Я еще могу смириться с теми, кто притворяется, будто во что-то верит, но с теми, кто верит по-настоящему, — никогда. И эти слова вполне соответствовали тому представлению о дяде, какое сложилось у Фермина. Со временем он до такой степени возненавидел дядю, что однажды набрался храбрости и сказал ему: У тебя не душа, а прицел винтовки.

И теперь дядя ослабевшим голосом проговорил:

Да, это правда — то, что ты тогда бросил мне в лицо, — истинная правда.

Его ледяные глаза светились непривычной умиротворенностью.

Я всегда был порядочной скотиной, сказал дядя Хайме, но я хочу рассказать тебе одну вещь.

Это исповедь? — спросил племянник профессиональным тоном.

Нет, и заткнись! — воскликнул дядя Хайме, вдруг вернувшись к привычным своим манерам. Мне священники тут не нужны! Слушай, и все — больше от тебя ничего не требуется, только слушай! Слушать ты умеешь. Я ведь, знаешь ли, сделал в жизни и кое-что хорошее. Убил пятерых подонков.

Фермин смотрел на него с ужасом. Но думал он при этом не о пяти убийствах. Дядя был способен и на куда более страшные дела. Фермин думал о том, какое безумие признаваться в этом теперь. О том, как глупо прерывать таким вот неожиданным и непривычным образом естественный процесс перехода к смерти.

Ему хватило духа сказать: А мне-то, черт побери, какое дело до того, что ты сделал?

Слушай, Фермин, не будь дураком! — с трудом выговорил дядя Хайме. Ты всегда был чуток тронутым. Потому я тебе об этом и рассказываю — потому что ты дурак и добрый. Слушай. Это было во время войны. Я старался стрелять метко, можешь не сомневаться. Трудно сказать, сколько человек из лагеря врагов я убил. Наверно, много, сказал он и на какой-то миг стал похож на хвастливого охотника, рассказывающего свои байки. Зато точно знаю, сколько своих я убил. Пятерых. Тех пятерых, что всегда вызывались добровольцами, когда надо было идти расстреливать пленных. Так вот, я поджидал, пока придет их черед заступать в караул, и тогда, поздней ночью, каждого по-своему и приголубливал. Всех прикончил — одного за другим. Пятерых. Сам Господь Бог не догадался бы, что в преисподнюю их отправляет свой же офицер.

Фермин не отводил взгляда от стакана с водой, стоящего на столике.

Ипон утверждает, что душа — это вода. Аристотель в работе "По поводу души" подвергает эту теорию сомнению. На его взгляд, Ипон мыслит слишком грубо.

Скажи, чтобы они там перестали галдеть, или пусть убираются вон, проговорил дядя Хайме, глянув на дверь, которая вела в гостиную и за которой собралось много людей, пришедших справиться о его состоянии. Умереть спокойно не дадут.

Он скончался той же ночью. У дяди Хайме был сын, который ненавидел отца. Фермин испытывал душевное смятение, он подумал было, что признание дяди Хайме на самом деле адресовано сыну.

К числу тех, чей ум отличался грубостью, Аристотель относил также и Крития. Для того душа была кровью.

У твоего отца где-то глубоко в груди таилось доброе сердце, сказал Фермин, выражая соболезнования сыну Хайме Исааку.

Исаак глянул на него с недоумением. Я очень благодарен тебе за то, что ты приехал, ответил он. Отец хотел, чтобы именно ты совершил над ним панихиду. Очень на этом настаивал — сам знаешь, каким он бывал упрямым. Извини за беспокойство.

Да что ты, какое беспокойство! Да и поездка эта была мне очень кстати.

И тотчас пожалел о сказанном. Хотя из тона его ничего подобного не вытекало, но для всякого, кто, как Исаак, знал семейную историю, фраза прозвучала так, словно могильщик заявил: Я, конечно, выражаю вам свои соболезнования, но сегодня у нас прямо настоящий праздник.

Сын усопшего добавил без тени иронии: Ты очень добр, Фермин.

Когда годом раньше умер муж Аны, Фермин готов был расцарапать себе глаза, лишь бы из них пролилась хоть одна слезинка. Правда, в конце концов ему пришлось-таки смириться с реальностью: эта смерть его нисколько не огорчила. И Фермин попросил у Господа прощения.

Фалес Милетский говорил, что душа — движущее начало. Согласно такой гипотезе, магнит наделен душой, коль скоро он приводит в движение металл.

Трудно, конечно, в таком признаваться, но лучше уж быть честным. С того самого дня Фермин почувствовал, как между ним и Аной возникло магнетическое поле, а то препятствие, которое их разделяло и которое они уважали — совсем как брат и сестра, — это препятствие исчезло. Как пылинка в воздухе. Во время каждого причастия, когда он приближался к ней, теперь уже вдове, ее кожа-магнит излучала сигналы объявления войны, сигналы желания и жажды завоевать его. Нижняя губа ее подрагивала, и в этом тике, словно танцуя под бубен, возрождались все метафоры Песни Песней. Кобылице моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя.

Он поехал в Ветусту, чтобы проститься с умирающим, которого издавна считал своим злейшим врагом. То, что Хайме позвал его, он воспринял как победу. Он поехал с Аной. Они провели ночь в придорожном мотеле, за городом. Свою первую ночь.

Душа, думал он, сидя на кровати, пока Ана раздевалась, она как зеленый луг у речки, по берегам которой растут березы.

Потом тик с нижней губы перекинулся на все ее тело, на всю белую и робеющую плоть. В полночь, так и не заснув, он вдруг испытал счастливое ощущение, будто получил обратно все свои книги, но затем, по мере того как ранний свет вычерчивал линии предметов, изгоняя их из укрытий, его одолели угрызения совести — липкие и мутные, как болотная жижа. Ана догадывалась, что с ним происходит, и хранила молчание. В

их магнетическом поле возникло новое препятствие — непредвиденное и, возможно, неодолимое. Он сам. И в комнату снова врывался разгневанный падре Эсколано и снова отнимал у мальчика книги.

Далее следуют те, кто утверждает, будто душа — это нечто холодное, потому что душа — *psyche* — ведет свое название от *psychron*, что означает холод.

Исповедь Хайме смутила его. Он был вполне уверен в себе и даже доволен собой, но не до такой степени, чтобы не уловить горькую издевку, которая прозвучала в словах умирающего. На языке дяди быть дураком значило быть трусом. Да, ты добрый, Фермин, говорил он, но только из трусости, а не из храбрости. Твоя доброта начинается там же, где и страх.

Всплыло еще одно тревожное воспоминание. Воспоминание о Хистре, рыжей девушке из Анкареса. Какое-то время она прожила в Барселоне, работала там, и прошлое у нее, как легко догадаться, было бурным, поэтому, когда она вернулась, во взгляде ее сквозила некоторая обреченность, которую не могли скрыть даже искры жизнелюбия.

Душа Хистры, подумал он, это как колчан со стрелами, перекинутый через плечо попавшей в наше время амазонки.

Хистра открыла трактир как раз напротив церкви, в которую получил назначение Фермин. В каком-то смысле они вели меж собой борьбу за души прихожан. Но они подружились, что и вызвало скандал. Хотя, вопреки пересудам, их дружба оставалась чистой. Он не был влюблен в Хистру. Он восхищался ее дерзким, свободным нравом. Ему очень нравились ее рыжие вьющиеся волосы — по той же причине, по какой нравились ягоды остролиста, привольно растущего в лесных зарослях.

Епископ приехал к ним на праздник конфирмации. Был устроен богатый деревенский пир. Волынки звучали, словно песня самой земной плоти. Но за десертом, когда все отдавали должное персикам в сиропе, вдруг наступила тишина, и Мундо, местный патриарх, обратился к монсеньору:

У нас хороший священник, сеньор епископ. Жаль только, что не выхолостили его, как быка, в свое время.

На следующий день Фермин получил новое назначение.

А что будет с Аной? Он сбежал из мотеля, как беспутный муж, которого жена поджидает вечером, сидя перед телевизором и вышивая крестиком. Он схватил свою зубную щетку, белье и не сказал ни слова, чувствуя на нижней губе вкус селитры — вкус греха.

Моя душа, подумал он, это вон те камни, грудой лежащие за собором. Игральные кости Господа. Злосчастная партия в покер.

Он взмахнул руками, прогоняя пылинки. А потом зашел в базилику, чтобы отслужить панихиду.

Подняв чашу с вином, он заметил среди прихожан Ану. Шея твоя, как столп Давидов, сооруженный для оружий. Два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями.

Отпив крови Христовой, он увидел, как дрожит ее нижняя губа. Тик. Вот она где, подумал он. Эта самая душа. Проклятая душа.

Девушка в пиратских штанах

ОДИН из них забылся и несколько секунд что-то тихонько насвистывал, но потом сам же принялся крутить головой по сторонам, словно отыскивая щель, через которую залетел к ним свист ветра. Второй узнал мелодию и метнулся за нею куда-то ввысь, пока его глаза-крылья не увязли в скудном и снулом свете.

Aparta loureiro verde,
deixa clarear a lua,
que estou no medio do monte,
non vexo cousa ningunha[1].

Рта он, правда, не раскрыл и песню не подхватил. Такой предательской слабости он себе позволить не мог. И еще он ни слова не сказал о невыразимой муке — водяной игле, впивавшейся ему в висок всякий раз, когда из крана в гулкую раковину падала неумолимая капля воды. Скрывая тоскливую тревогу, он положил в раковину тряпку, чтобы приглушить капель, но водяная шрапнель уже успела пробить дырку у него в голове.

Оба курили черный табак. Тут же валялась пустая сигаретная пачка — она была смята и неровной округлостью напоминала сдутый кожаный мяч, забытый в углу сырой раздевалки.

Оба прежде были футбольными вратарями. Только это — и ничего больше — они узнали друг о друге, пробыв вместе пять дней, долгих, как пять лет. Разумеется, ни слова о том, за какие команды или районы они играли. Бывают же такие совпадения! Недоверчиво подняв брови, они обменялись изумленными взглядами. Но продолжать разговор было бы неосмотрительно. Знать, что оба курят один и тот же сорт сигарет, — вот предел доверительности, на какую они могли пойти. Они — товарищи по борьбе и вместе выполняют задание. Ничего другого им знать не положено.

Их объединял некий план. Все остальное теперь потеряло значение. Имя, профессия, прошлая жизнь. Даже подушечки пальцев им обработали кислотой, уничтожая все опознавательные признаки.

План лежал перед ними, на столе, рядом с цинковым ковшиком, полным окурков, которые остались с ночи. И больше ничего, никаких следов их присутствия здесь. В последнюю минуту они разгладили одеяла на убогих лежаках, словно гоня прочь отпечатки спавших тут тел.

Оба и на самом деле были футбольными вратарями. Потом кто-то и где-то остановил свой выбор именно на них, возможно принимая в расчет как раз такое совпадение. Потому что этот кто-то, кем бы он ни был, знал о них все — он был своего рода скрытой камерой в их жизнях. И наверняка представлял их именно такими, какими они были на самом деле, — молчаливыми, привычными к долгому одиночеству и всегда бдительными, даже если мяч улетал на другую половину поля. Хладнокровными и надежными, а еще — умеющими по-кошачьи подстерегать добычу, когда мускулы напряжены и готовы к прыжку.

Оба глянули на свои часы и оба разом кивнули, потому что за время долгого затворничества они приладились друг к другу, словно зубчатые колеса в машине времени, и ощущали у себя в животе механическое вращение шестерни Истории.

Пора.

Они собрали все, что у них еще оставалось, начиная с плана, и сожгли на медленном огне, готовясь покинуть свое убежище.

Был полдень, да, был полдень.

После долгой ночи, растянувшейся на целых пять суток, их ослепил солнечный свет и заставил насторожиться металлический стрекот сверчков, невидимого и шумного войска, которое, казалось, поджидало их,

1. Раздвиньтесь, зеленые ветви лавра, / не мешайте светить луне, / ведь я попал в лесную чащу / и ничего вокруг не вижу (*галисийск.*).

притаившись у земли. Но они быстро и решительно зашагали вперед, и весь мир для обоих отныне свелся к линиям плана, запечатленного в памяти. Там, слева, меж двух живых изгородей из лавра, тянулась тропка, когда-то бывшая дорогой — в былые времена по дороге ездили машины, а теперь ее устилал ковер из папоротника и сухих листьев. Они двигались так, как ходят по зыбкому морскому дну водолазы, и старались, чтобы испуг птиц, встреченных по пути, был беззвучным, как у рыб.

Казалось, что их миссия — это не человеческое дело, а нечто, вплетенное в темную причуду природы. И даже в стрекоте сверчков им теперь слышался грохот огневой поддержки, которую осуществляла пехота союзников. Всё давным-давно было подготовлено, прочерчено, вымечтано. Рабочие с железными, как лемехи у плуга, руками прокопали эту глубокую тропку еще много лет назад, потому что кто-то во влажно-навозном сне вообразил, что именно по такому вот зеленому туннелю однажды пройдут два храбреца, чтобы убить Зверюгу.

Так они и дошли, недоступные солнцу и посторонним взглядам, до старой заброшенной мельницы, окруженной высокими кустами ежевики. Но колючие ветки мягко поглаживали их, словно были бархатными. Ветки казались союзниками. Все точно соответствовало плану. Два каменных круга — мельничные жернова, а на стене рука того, кто рисовал план, начертила окно — открытое, на нужном месте, со стеклами, по краям затянутыми пылью и паутиной. Это был лучший и самый неприметный из всех возможных наблюдательных пунктов. Неподалеку, великолепный и четкий, словно нарисованный той же рукой, что чертила план, стоял мост. Даже два охранника, дежурившие на концах моста, казалось, стремились повторить строгость линий, которыми они были обозначены на бумаге.

На полу под окном лежали два конца провода, прикрытые куском дерна. Предполагалось, что Зверюга с сопровождением проедет по мосту через полчаса. В нужный момент им останется всего лишь соединить провода — и мост обрушится, как детский конструктор.

Непрестанно сверяясь с часами, они по очереди наблюдали за мостом — один смотрел, а второй, словно окаменев, безмолвно стоял у стены. Машины на мосту появлялись совсем редко. Порой возникал какой-нибудь автомобиль, но при виде охранников испуганно сбавлял скорость. Или трактор с прицепом, нагруженным скошенной травой, ехал с неспешной ленцой, как и положено деревенским машинам в знойную пору. Время тоже двигалось медленно — словно увязало в жужжании насекомых и трескучей возне, сотрясавшей заросли дрока. За пять минут до назначенного часа — в плане весь ритуал был четко описан — охранники перекроют движение по мосту и прикажут водителям прибиться к обочинам дороги, чтобы мост был пустым.

Но этот миг еще не настал, по мосту ехала на велосипеде девушка, и три пары глаз тайком следили за ней, словно хотели оказаться на месте колес. Волосы у нее были забраны в длинный хвост, одета она была в блузку с рукавами-фонариками и штаны, которые называют пиратскими, — черные, очень узенькие и оставляющие голыми ноги ниже колен. Два охранника и наблюдатель на мельнице увидели, что девушка повернула голову к реке, перестала крутить педали, потом притормозила, спустив одну ногу на землю. Она прислонила велосипед к ограждению и облокотилась о перила.

С того мига, как появилась стройная фигура велосипедистки, наблюдатель с мельницы почувствовал, что почва поплыла у него из-под ног. Такой ход событий планом не предусматривался. Там не было никакого значка, обозначающего женскую фигуру, которая стояла бы, опершись на перила, и глядела на бегущую воду, не было на плане и двух кружков — двух велосипедных колес — в том самом месте, где располагалась главная опора моста с прикрепленной к ней взрывчаткой. Наблюдатель с мельницы еще несколько секунд зачарованно смотрел на изящную красоту девушки-велосипедистки, но ему никак не удавалось понять, какая связь существует между ее неправдоподобным появлением на мосту и стрелками часов. Девушка скорее ассоциировалась у него с пятнами клевера и земляники, которые проглядывали под зарослями ольхи в береговых изгибах. Но была одна неувязка. Он почувствовал, как в животе у него что-то тошнотворно колыхнулось, стоило ему опустить глаза и заметить концы провода, которые так тесно соединяли его с девушкой.

Он подал знак товарищу, и тот потратил еще несколько драгоценных секунд, чтобы осознать, какую оплошность совершила реальность, вытолкнув эту нелепую куклу на сцену истории.

— Что она там делает, черт побери?

— Ничего. Смотрит на воду.

— Эти козлы должны были прогнать ее оттуда.

— Они всегда так и поступали. Согласно донесениям, никогда и никому не разрешалось оставаться на мосту.

— Гляди, перекрывают движение. Черт! А ее-то они почему не трогают?

Через пять минут они освободятся от Зверюги. Очень долго, в течение нескольких лет Организация с величайшими предосторожностями готовила удар, который отправит его прямехонько в преисподнюю. Сотни глаз следили за каждым шагом тирана, пока не обнаружили в паутине, которую вроде бы всякий раз плели заново, слабую точку — мост на второстепенном шоссе. И с той поры многие люди рисковали жизнью, не зная и не желая знать, кому пасуют мяч, — совсем как игроки-манекены в настольном футболе, которыми управляет некто неизвестный, тот, кто в неведомом месте с достаточной высоты наблюдает за всем сразу. И теперь итог всей проделанной работы, переплетения безымянных усилий зависел от них двоих.

Человек, который писал, теперь тоже смотрел в окно и курил черный табак, который тем двоим в тот решающий исторический миг был запрещен.

Его дочка, девочка лет восьми, заглянула в дверь.

— Что ты делаешь?

— Сочиняю сказку.

— Детскую?

— Нет. Для взрослых.

— Ага! Ты всегда обещаешь придумать сказку для детей, а сам все не сочиняешь и не сочиняешь.

— Как только закончу эту, непременно примусь за детскую. Честное слово.

— Ты всегда так говоришь.

Человек, который писал, глянул на часы, потом отыскал взглядом мост через реку — мост был виден за крышами, на которых сидели чайки и сушилось белье.

— Послушай, — сказал он девочке. — Есть один очень плохой человек, очень плохой, и он управляет страной так, как будто это тюрьма, а иногда даже убивает тех, кто не хочет этого терпеть. Он очень сильный, у него много солдат, которые делают все, что он велит. Этот человек, которого за глаза называют Зверюгой, скоро проедет на своей машине по мосту. А под мостом спрятана очень большая бомба. Только в этот миг случается вот что: на мосту вдруг появляется девушка на велосипеде, потом она останавливается и смотрит на реку...

— А потом?

— Ну, эти люди, те, что с бомбой, не знают, что делать.

— Глупости какие! Им надо...

Внезапно человек испуганно глянул в окно. Стекла задрожали, глухой раскат грома ухнул у него в голове и спугнул чаек с крыш. Человек выругался сквозь зубы.

— Что это? — спросила девочка.

— Ничего, — ответил он, посмотрев на часы. — Красивым девочкам пора отправляться в постель.

Шандор Каняди: "Все другие края для меня – океан; моя суша, моя земля – здесь"

Вступление и запись беседы Л. Васильевой

Шандор Каняди — один из самых известных современных венгерских поэтов. Он лауреат престижных литературных премий Венгрии и Румынии, нескольких международных премий. Его книги переведены на многие европейские языки. Шандор Каняди — уроженец Трансильвании, певец и печальник этого особенного края.

Трансильвания значит земля за лесами, но на самом деле — это земля за горами, поражающими своей величественностью и красотой. "Нет таких гор в нашей стороне, — восклицает в одной из своих повестей ("поэтических очерков Малороссии") Н. В. Гоголь. — Глаз не смеет оглянуть их; а на вершину иных не заходила и нога человечья".

За эти земли, богатые недрами, лесом, минеральными водами и целебными источниками, боролись Османская и Гамбургская империи. Здесь властвовали австрийские императоры, венгерские и румынские короли.

Население края всегда было многонациональным. Румыны преимущественно жили в западной и южной части Трансильвании, венгры (с XII века) — главным образом в восточной; немцы жили в так называемой "земле саксов" (тоже с XII века), здесь они основали свои города, развивали ремесла; трансильванские армяне селились в крупных городах — Сибине, Брашове, занимались они, как правило, торговлей, успешно конкурируя с евреями и греками. Цыгане всегда жили рассеянно по всей области. А еще на этой земле обитали чехи, словаки, болгары, сербы.

Трансильвания поистине представляла необыкновенную смесь "одежд и лиц, племен, наречий, состояний". Столкновение верований, языков, обычаев рождало не только противоречия, но и заставляло искать способы примирения, формировало особое духовное и культурное пространство. Многоликость культуры, отмеченная в частности Белой Бартоком, всегда была особенностью этого края.

У подножия Карпат в городе Черновцы родился и Пауль Целан — в еврейской немецкоязычной семье; но первые стихи Целан опубликовал на румынском языке, на румынском же и первые переводы с русского.

Принадлежность к этому краю, "дунайской Азии", "месильному корыту", "сеням Европы, распахнутым на все стороны", многое объясняет и в Эндре Ади, который здесь, на этой "усталой, но прекрасной земле" самоотверженно сражался с невежеством, предрассудками и "тысячеликостью национализма".

О своей "одержимости первоистоком" и "потерянным раем", которую не смогли погасить даже тридцать лет парижской жизни, не раз писал и Эмиль Чоран, еще один знаменитый уроженец этого уголка Карпатского бассейна. "Я трансильванец, стало быть чем дальше, тем острей я чувствую, что не только своими корнями, но всем своим складом принадлежу к Центральной Европе... По "образу чувств" я мадьяр, по видению мира, по складу ума — вала"[1]. Отсюда, из этого

1. Цит. по изд.: Эмиль Чоран. После конца истории / М.: Symposium, 2002 г. Перев. Б. Дубина.

региона, вынес Эмиль Чоран, философ и писатель, слабость к обреченным династиям, к распадающимся империям, к гонимым и жертвам в любом конце земли.

В XX веке в ходе мировых войн границы Трансильвании не раз пересматривались, не раз оспаривались и венгерской, и румынской стороной. В 1952 году Трансильвания была объявлена Венгерской автономной областью в составе Румынии, но просуществовала в этом статусе недолго — до 1968 года. Национальная политика Чаушеску была направлена на насильственную румынизацию края, и в первую очередь — против венгров, которых в середине XX века насчитывалось два с половиной миллиона и которые составляли самое большое национальное меньшинство в Европе. В Клуже был закрыт венгерский университет, резко сократилось количество венгерских школ. Прекратились радио- и телевизионные передачи на венгерском языке, венгерские печатные издания изымались, письма перлюстрировались. Тогдашняя политика "систематизации территории" на практике означала уничтожение многих тысяч сел, где проживали венгры, немцы, сербы и другие нацменьшинства, разрушение церквей, кладбищ, памятников старины. Десятки тысяч румынских венгров были вынуждены покинуть Трансильванию.

Шандор Каняди все эти годы оставался на той земле, где родился ("Все другие края для меня — океан; моя суша, моя земля — здесь"). Он много писал и много переводил: знакомил читающих по-венгерски с поэзией западноевропейских поэтов и тех, кто живет рядом, — румынских поэтов, трансильванских немцев, евреев. В годы апофеоза Чаушеску, в годы беззастенчивого восхваления любых его деяний, в том числе и "мудрой" национальной политики, Каняди нашел в себе силы выйти из Союза румынских писателей. В стихах Каняди тех лет остро ощущается тревога за страну, живущую в атмосфере оцепенения и страха, за людей своего края, которых теснят, сгоняют, выдавливают с родной земли:

в себя всмотревшись я постиг
как на индейцев мы похожи
и там и здесь одно и то же
согбенность спин бессилье рук
в глазах надежда и испуг
на то что происходит с нами
глядим индейскими глазами
как будто после похорон
мы впали в транс иль в полусон[1].

"Иностранная литература" несколько раз — в 1980, 1991, 2000 годах — обращалась к творчеству Ш. Каняди, публиковала его стихи, в том числе его знаменитый цикл "Есть край такой". А в конце 2002 года вышла в России и первая его книга "Мышонок, который повидал свет". Это сказка, третья из коллекции прекрасно иллюстрированных венгерских сказок, выпущенных издательством "Радуга" (вслед за сказками Дюлы Ийеша и Домокоша Варги). На презентацию "Мышонка, который повидал свет" Шандор Каняди и приезжал в Москву. Презентация состоялась в Венгерском культурном центре. В этом же Центре была и встреча поэта с маленькими венгерскими читателями. А их оказалось в Москве не так уж мало, многие пришли с родителями, которые выросли на стихах Каняди, знают их наизусть. С "юными потребителями поэзии" Каняди встречается очень часто и у себя на родине, и в Венгрии, а вот в России — впервые.

В редакции "Иностранной литературы" Ш. Каняди бывал и раньше. Он расспрашивает нас о наших читателях, о том, как нам удается выживать (журнальное

1. Перев. Н. Горской.

дело наш гость знает не понаслышке: почти всю свою сознательную жизнь он проработал в детском журнале "Напшугар" — "Солнечный луч" — аналог "Мурзилки" и "Веселых картинок"). А мы расспрашиваем поэта о его новых книгах, о новых замыслах.

Юные венгерские почитатели творчества Ш. Каняди на встрече с поэтом в Москве в Венгерском культурном центре

Шандор Каняди. Не могу не показать вам этот фолиант в кожаном переплете и даже в футляре. Это нумерованное издание, всего 50 экземпляров. В редакции "Иностранной литературы" я оставляю экземпляр под номером 10. Задумали книгу в Америке, в Иллинойсском университете, бумагу изготовили в Венгрии, в Сентэндре, ручным способом, по старинной технологии, а напечатали в Праге. Вы спросите почему? Причина, наверно, та же, по какой джинсы шьют по западным лекалам в Гонконге. Так дешевле. В книге напечатана моя поэма "День поминовения усопших в Вене", сначала идет венгерский текст, потом подстрочный перевод поэмы на английский и вслед за этим — четыре перевода поэмы на английский, выполненные американскими и английскими поэтами-переводчиками, и их комментарии.

"ИЛ". Расскажите о поэме. Ее сравнивают с "Бесплодной землей" Элиота, называют трансильванским реквиемом.

Ш. К. Это была моя первая поездка на Запад – осенью 1978 года. В День поминовения усопших я случайно оказался в маленькой августинской церкви в Вене, там в это время исполняли реквием Моцарта. Образы, вызванные музыкой, воспоминания о родном крае, размышления о тех, кто покинул страну, впечатления от увиденного в австрийской столице, эпизоды далекой и недавней истории, как, например, та ужасная бомбежка американцами Надьварада в 1944 году, – все это и стало содержанием поэмы. Есть в ней и вкрапления чужих поэтических текстов — Балинта Балашши, венгерского классика XVI века, и моего друга Иона Александру (его стихи по-румынски и по-венгерски), есть фольклор трансильванских саксов, молитвы отчаявшихся, шаманские заклинания.

“ИЛ”. Одного из исследователей вашего творчества поражает, что вы, будучи человеком, глубинно приверженным своим этническим корням, при этом находите — и открываете другим — ценности в поэзии самых малых народов, даже в поэзии исчезающих национальных меньшинств, таких, как говорящие на идише трансильванские евреи.

Ш. К. “Мы вместе живем на этой земле, мы должны знать и понимать друг друга” — эти слова моего школьного учителя стали для меня первым уроком добрососедства и интернационализма.

“ИЛ”. Выдающийся венгерский поэт Ласло Надь назвал свою книгу стихотворных переводов “Король-шмель”. В течение всей своей жизни Ласло Надь, как Король-шмель, собирал нектар с цветов, растущих в близких и далеких землях, и приносил его в свой дом. Вы — еще один такой Король-шмель?

Ш. К. Я предложил бы другое определение переводческого труда. Обычно я говорю, что переводчик — это завоеватель. Он делает достоянием своего народа то, что принадлежит другим. Но, завоевывая, он ничего ни у кого не отбирает. И еще я считаю, что переводчики — это опоры моста между народами. Дюла Ийеш посмеивался надо мной, называл меня наивным оптимистом и фанатиком наведения мостов, тем фанатиком, который или торчит посреди реки, как забитая свая, и даже не видит, что уже по горло в воде, или же стоит на краю пропасти и тянет руки к другому ее краю, а там до него никому и дела нет. Таких фанатиков и пристрелить не жалко, говорил Д. Ийеш. Мост надо строить, даже если стреляют, сказал я тогда с тихой решимостью, понимая, что выгляжу смешным. Но, прощаясь, Д. Ийеш все же попросил меня поостеречься, дабы не сгинуть в потоке. Честно говоря, и меня порой охватывало отчаяние, когда, к примеру, запрещали говорить на улицах Клужа по-венгерски, я думал: все, я уеду отсюда, если будет куда, и там буду переводить хороших румынских поэтов на венгерский язык. Это будет моя изощренная месть.

“У больших народов нередко чувство самодостаточности, — говорил Дюла Ийеш, — малые народы их не интересуют”. Англичане и вправду слабо интересуются другими литературами, да и во Франции не велик интерес к переводным произведениям. Но зато малые народы хотят

Шандор Каняди: “Все другие края для меня — океан; моя земля — здесь”

Ш. Каняди, Л. А. Кутепова и Н. В. Горская

быть как можно более информированными. Еще в 1984 году в Норвегии на норвежском языке был выпущен сборник стихов — Шандора Чоори и моих. Норвежское правительство заказало тогда эту книгу в каждую библиотеку своей страны. Вряд ли госпожа Тэтчер в те годы отдала бы по-

добное распоряжение относительно английских библиотек.

Но есть две страны, которые действительно всерьез занимаются переводами, — это Россия и Германия. Полное собрание сочинений Шандора Петефи вышло пока только на русском языке, да еще, правда, на китайском. Это поразительно, но во время тех трагических событий на площади Тяньаньмынь молодой человек шел против танков с транспарантом, на котором были начертаны знаменитые строки Ш. Петефи: "Любовь и свобода — вот что мне нужно".

Я испытываю большую радость от того, что на венгерский язык переведено все, что есть ценного у других народов. И еще мы гордимся тем, что ни на один язык в мире не переведено столько произведений румынской литературы, как на венгерский, и на таком уровне, как они переведены на венгерский.

"ИЛ". Как вам живется сейчас в Трансильвании? Изменилась ли ситуация после того, как "гений Карпат" сошел со сцены?

Ш. К. Я не могу сказать, что все в моей жизни было легко, но я не ропщу на свою судьбу. Положение сейчас несколько стабилизировалось. Трансильванские венгры, те, что остались, могут свободно ездить в Венгрию, издавать книги, создавать театральные труппы, были бы только деньги. Развивается малый бизнес, есть совместные предприятия, есть и венгерские школы. По закону, если 20 процентов населения в поселке — венгры, то венгерская школа должна быть обязательно.

В прошлый раз, когда я приезжал к вам в Россию, я представлял самое большое национальное меньшинство в Европе. Сейчас, как известно, самым большим национальным меньшинством в Европе стали русские, те, что оказались за пределами России. Но у русских есть великая русская культура, это тоже их родина, она остается с ними и объединяет их.

"ИЛ". На рубеже XIX–XX веков Надьварад[1] был одним из центров венгерской театральной и литературной жизни. Местная интеллигенция называла его "маленьким Парижем", а еще "трансильванской Ниццей". Этот город неразрывно связан с судьбой Эндре Ади. Сохранился ли дом, где он жил, сохранился ли его музей?

Ш. К. Сохранился и дом, и музей Эндре Ади. В Надьвараде выходит венгерская газета, венгерский журнал, есть школы и университет и отделение епископата. Венгерское население города составляет сейчас около 30 процентов, а раньше венгров здесь было 80 процентов. При Чаушеску шла плановая румынизация города, и партийные лидеры специально отмечали в своих отчетах как отрадный факт то, что соотношение в численности румынского и венгерского населения удалось довести до запланированной цифры.

Немцев в Трансильвании почти не осталось. Правительство ФРГ выплачивало Чаушеску огромные суммы в американских долларах за каждого сакса, которому разрешено было уехать. Это была серьезная статья дохода в тогдашнем бюджете страны.

Но вообще если говорить о национальном вопросе, то основная проблема в стране уже иная. В XXI веке в Румынии особенно острым будет цы-

1. Ныне Орадя.

ганский вопрос. Еще в 70-е годы прошлого столетия в Бухаресте на закрытых заседаниях обсуждалась эта проблема, быстрый рост цыганского населения вызывал у правительства тревогу. В соседних странах — в Сербии, на Украине — процент цыганского населения изначально был невелик. В Венгрии цыган несколько сот тысяч, но в Румынии их 7 миллионов из 21 миллиона населения. Уже возникает вопрос о национальной самоидентификации, о правовых аспектах их этнического сообщества. В Венгрии у цыган несколько иное положение, у них есть свои газеты, свои печатные органы, есть цыгане-литераторы, которые пишут на венгерском языке. В Румынии же цыгане — достаточно закрытая группа, замкнутая на себе, в общем литературном процессе они почти не участвуют. Сложность проблемы цыган еще и в том, что цыганский язык распадается на отдельные диалекты, и это не может не сужать круг читателей...

"ИЛ". Но возвращаясь к кругу читателей "Иностранной литературы"... Вы не будете возражать, если вслед за этой беседой мы опубликуем ваши "Куплеты о красном трамвае"? Натэлла Горская специально перевела эти стихи для вашего вечера в Венгерском культурном центре.

Ш. К. Для меня это будет большой радостью.

Шандор Каняди

Куплеты о красном трамвае,

или Восемь колес и

два запасных

заехал дребезжа в тупик
трамвай облезлый ярко-красный
исчез куда-то проводник
заехал дребезжа в тупик
трамвай облезлый ярко-красный

ведь не таким он был сначала
пылали пурпуром цветы
толпа восторженно кричала
он был битком набит сначала
пылали пурпуром цветы

он был багров но все понятно
понятно все лишь под конец
на нем горели крови пятна
а не зари багрец понятно
понятно все лишь под конец

© Kányádi Sándor, 1997
© Н. Горская. Перевод, 2003

так греческих трагедий суть
до времени внутри сокрыта
дорога стонами изрыта
так греческих трагедий суть
до времени внутри сокрыта

увы, sic transit gloria mundi
земная слава недолга
но разве понимают люди
что все ж sic transit gloria mundi
земная слава недолга

и *вновь* как перст мы одиноки
в бараний рог скрутил нас рок
на шкуре шрамами уроки
нет веры вновь мы одиноки
в бараний рог скрутил нас рок

и ждем мы в напряженье страшном
а вдруг возникнет тот трамвай
в зеленый или желтый крашен
и ждем мы в напряженье страшном
что вдруг возникнет тот трамвай

брат не толкуй мой стих с налета
не плач а только горечь в нем
не попади ты *вновь* в тенета
и не толкуй мой стих с налета
не плач а только горечь в нем

Два запасных колеса

но стал ли вправду тупиком
тупик для красного трамвая
не возродится ль он потом
и стал ли вправду тупиком
тупик для красного трамвая

и если вновь начнет он круг
не приведи господь дожить
ведь путь его на трупе труп
по трупам *вновь* начнет он круг
не приведи господь дожить

Перевод с венгерского Н. Горской

Меланхолический пророк

Сиоран. *Искушение существованием* / Перев. с франц. и предисл. В. А. Никитина. Общ. ред. и примеч. И. С. Вдовиной. М.: Республика; Палимпсест, 2003

Эмиль Мишель Чоран. *После конца истории: Философская эссеистика* / Перев. с франц. Б. Дубина, Н. Мавлевич, А. Старостиной. Предисл. Б. Дубина. СПб.: Symposium, 2002

Он родился в семье румынского православного священника в 1911 году, умер в парижской больнице в 1995-м. Родился в Австро-Венгрии, в состав которой входила тогда его родная Трансильвания, вырос и начал писать в межвоенной Румынии, а после Второй мировой войны, уже живя во Франции, сменил язык и фактически имя: по-румынски его фамилия Cioran произносилась "Чоран", а французы стали читать по-своему "Сиоран". Отсюда издательский курьез: на двух вышедших почти одновременно в России (в Москве и Петербурге) сборниках его прозы выставлены разные фамилии — можно подумать, что это два разных автора...[1]

Считать ли его эссеистику "литературой" или "философией" — вопрос сложный. Он обожал романы Достоевского (и вообще русскую литературу), но сам романов не писал и не вкладывал свои размышления в уста фиктивных лиц, как Достоевский или же Кьеркегор. С другой стороны, называл себя "врагом философии", ненавидящим "*индифферентные* идеи" (С., стр. 84), то есть идеи чисто интеллектуальные, оторванные от целостного личного опыта. Название одной из его книг "Силлогизмы горечи", использованное в заголовке предисловия к московскому изданию, — чистая метафора, на самом деле никаких *силлогизмов*, правильных умозаключений, у этого автора нет и в помине. Ему неведомы процедуры доказательства, различения понятий, логической самокритики, их заменяют убежденность и агрессивность интонации, настойчивое повторение заветных мыслей, обезоруживающая прямота интимных признаний. Когда-то Сьюзен Сонтаг думала разрешить эту проблему, объявив Чорана/Сиорана (как там они зовут его по-английски?) "крупнейшим представителем" — наряду с тем же Кьеркегором, Ницше, Витгенштейном — "нового типа философствования — личного по тону (а то и прямо автобиографического), афористичного, лирического, антисистемного"[1]. Может быть, это и так, но, на мой взгляд, не следует недооценивать другой традиционный тип языка, отличный как от любомудрия, так и от изящной словесности, который определяет собой стиль его прозы: это *пророчество*.

"То, что нельзя осмыслить в понятиях религии, даже и переживать не стоит" (Ч., стр. 381), — читаем в его записных книжках. Однако там же: "Тащу за собой лохмотья богословия... Нигилизм всех поповичей" (Ч., стр. 465). И в другом тексте: "Что мне прибавит вера, если я и сейчас понимаю Майстера Экхарта так, слов-

1. Соответственно и даются здесь ссылки — буква С с номером страницы обозначает издание «Сиорана» (московское), а буква Ч — «Чорана» (петербургское).

1. Сьюзен Зонтаг. Мысль как страсть. М.: 1997. С. 100.

но уже верую?" (Ч., стр. 184). Теолог-безбожник, неверующий мистик, "профессиональный еретик" (С., стр. 203), "лжепророк" (Ч., стр. 381), "отшельник в центре Парижа" (Ч., стр. 383) — вот кем был этот писатель. И дело не только в том, что поздние книги и записные книжки, в основном составившие петербургское издание его прозы, изобилуют религиозными размышлениями и образами; уже в книгах 40—60-х годов — "Трактат о разложении основ", "Соблазн существования", "Падение во время"[1], — где о религии как таковой говорится относительно немного, по сути речь все время о ней. Правда, это религия не веры, а скорее *невозможности верить*, постоянно возобновляемого отказа верить: поистине "нигилизм поповича", неустанно бунтующего против отеческой традиции и делающего это своей духовной жизнью.

Пророку не обязательно ведом божественный абсолют, главное, чтобы он резко, весь в целом, не принимал земной мир и громко заявлял об этом. Прежде всего, он осуждает жизнь плоти, изобличает ее бренность и мерзость: "Плоть разрастается по поверхности планеты, как гангрена" (Ч., стр. 31); "посмотрите в зеркало на ваше тело, и вы поймете, что вы смертны" (С., стр. 136); "ужас перед плотью, перед каждым органом, перед каждой клеточкой, первобытный, химический ужас" (С., стр. 255); "размножение наших собратьев граничит с неприличием, а долг любви к ним — с несуразностью" (С., стр 306). Действительно, людей любить не за что: ведь они столь же порочны душой, сколь и отвратительны телом: "государство родилось именно потому, что воля [людей. — *С. З.*] по своей природе зла; стоит государству исчезнуть, как тут же воцарится власть воли, творящей зло безо всяких ограничений" (С., стр. 334). Не дай бог назвать пишущего такое "гуманистом" — для него это как оскорбление, он убежденный мизантроп и антилиберал, и одного из своих любимых мыслителей Жозефа де Местра он ценит именно за реакционную "оголтелость" (Ч., стр. 309) и веру в первородный грех.

Эта человеконенавистническая риторика (в смутные 30-е годы заводившая автора далеко — в стан румынских фашистов) была бы мало интересна, если бы вражду к ближнему он, автор, не распространял и на себя. "Я не выношу других в той же мере, в какой не выношу себя самого" (Ч., стр. 409). Его записные книжки полны "достоевскими" признаниями в собственной извращенности, злобе, завистливости: "Встать рано утром, полным сил и энергии, готовым совершить что-нибудь отменно пакостное" (Ч., стр. 127); "когда целыми днями напролет читаешь тексты, где говорится о спокойствии, созерцании и самоотре́чении, хочется выйти на улицу и набить морду первому встречному" (Ч., стр. 130—131)... Эту моральную патологию он связывает то со своей болезненностью (особенно — с хронической бессонницей, заставляющей его узнавать себя во всех знаменитых тиранах, "от Калигулы до Гитлера" (Ч., стр. 420), не исключая и Ленина), то с несчастной, "внеисторической" судьбой своей родной Румынии; но главный мотив недуга — не физический и не социальный, а религиозно-онтологический, это *меланхолия*, чувство утраты смысла, "трагическая лень" (С., стр. 255), "гибельная певучая пустота в каждой клеточке тела" (Ч., стр. 421). Меланхолия может пониматься как чувство богооставленности, но в данном случае ее смысл сильнее: небесный творец мироздания — сам ничтожество, дурной демиург, "сумрачное божество" (Ч., стр. 107), и если библейские пророки бичевали грехи людей, грозя им божьим гневом, то современный пророк-

1. Некоторые названия даю в своем переводе.

меланхолик замахивается и на самого бога, который тоже — выдумка людей, созданная ими по образу и подобию своей ущербной природы и культуры. Перед нами не новая версия древнего гностицизма, к которому, казалось бы, отсылают многие упоминаемые имена: это типичная меланхолия современной эпохи, которую на свой лад выражали и постромантический персонаж Пушкина ("Все говорят: нет правды на земле. Но правды нет и выше..."), и постсюрреалистический герой сартровской "Тошноты"; хотя самого Сартра автор "Дурного демиурга", конечно же, ненавидел — и как левого интеллектуала, и как профессионального философа, "поставщика идей" (С., стр. 137).

Меланхолическая критика современной "выдохшейся цивилизации" (С., стр. 153) получается патетической, но явственно вторичной. Обвинять современную Европу в "декадансе", утрате жизненной силы, дряблой терпимости ко всем и всяческим ценностям значит повторять с запозданием зады европейского же пессимизма конца XIX — первой трети XX века, да еще, пожалуй, русского славянофильства, чьи клише несколько забавно читать ныне в двойном, румыно-французском переводе. Когда же пророк-меланхолик начинает пророчествовать в узком смысле слова, то есть делать историософские прогнозы, то это оборачивается настоящими провалами. Еще Сьюзен Сонтаг в 1967 году (году "шестидневной" арабо-израильской войны) смущенно писала о нелепости высказанной в "Соблазне существования" идеи, будто бездомность еврейского народа "продлится до конца времен" (С., стр. 193). А уж о предчувствиях скорого захвата бессильной Европы мужественно-энергичными русскими коммунистами нечего и говорить — разве что в извинение автору напомнить, что в 50-е годы о таком развитии дел думали на Западе многие, кто со страхом, а кто и с безрассудным оптимизмом...

Незадачливый пророк более убедителен на уровне своего личного, а не всемирно-исторического опыта. Так, глубоко и требовательно звучат его мысли о смерти и необходимости помнить о ней. "Между человеком, у которого есть чувство смерти, и тем, у кого этого чувства нет, разверзается бездна двух не сообщающихся между собой миров" (С., стр. 20—21). Это memento mori даже приводит — вопреки христианской традиции — к апологии самоубийства, к мечтам о мире, где люди *должны* были бы уходить из жизни в заранее намеченные сроки, к требованию иметь в душе опыт если не самого самоубийства, то по крайней мере готовности к нему: "Как приятно подумать о самоубийстве. Нет более отрадного предмета: представишь себе такой исход и вздохнешь с облегчением. Одна возможность дает почти такую же свободу, как сам поступок" (Ч., стр. 73). И несколькими страницами ниже: "Самоубийцы предвосхищают отдаленные судьбы человечества. Они провозвестники и потому достойны особого почитания" (Ч., стр. 81). Это, конечно, возврат к позднеантичной, стоической морали самообладания и непатетического, нежертвенного самоочищения от низости плоти — только такое и возможно для меланхолика, ненавидящего собственное плотское бытие, но не видящего в небесах божества, ради которого можно было бы принести себя в жертву. Вместе с тем идея воображаемого, отложенного самоубийства, "смерти как возможности" ("возможность дает почти такую же свободу...") неожиданно сближает мысль писателя с размышлениями его французского современника, во многом с параллельной судьбой, хотя и воспринимавшегося им как антипод, — Мориса Бланшо, который сравнивал бесконечное промедление перед *воз-*

можным физическим самоуничтожением с духовным опытом художественного творчества.

Что касается собственно творческого опыта, то двойная, румыно-французская национальная принадлежность дает повод для уникального переживания языка. Писатель, конечно, не доверяет языку, как и культуре вообще, и рад был бы вернуться от членораздельной речи к первобытному воплю: "неплохо было бы даже, чтобы для этих целей построили специальные *вопильни*" (С., стр. 402). Он яростно (как всегда!) возмущается "кощунственной манерой, в какой с ним обращаются лингвисты... кажется, охотно поддержал бы любой режим, распорядись он их официально повесить" (Ч., стр. 250). Не удивительно: лингвисты признают за языком самостоятельное существование, тогда как ему следовало бы знать свое место и не затемнять своими непрозрачными словесами чистоту духовных переживаний: "всякий человек, обращающийся к языку, отворачивается от абсолюта, даже если одновременно он умерщвляет свою плоть или отдает дань нелепостям веры" (С., стр. 257).

Однако наряду со словом расхожим, "соревнующимся в своей гнусности с самой гнусной шлюхой... грязным, избитым, обанкротившимся, приводящим в ярость" (С., стр. 126) — то есть *чужим* словом, от акта произнесения которого "просто тошнит" (С., стр. 127), существует и другое слово, которым пользуется сам писатель. Вернее, это слово тоже чужое, но по-другому, оно отчуждено не вниз, а вверх: это великолепное в своей "вызывающей, нечеловеческой ясности" (Ч., стр. 151) слово классического французского языка, выученного поздно, в зрелом возрасте и ставшего одновременно и стимулом литературных амбиций ("если я не могу произносить как *местные*, то не попытаться ли, по крайней мере, писать как они?" — Ч., стр. 375) и источником невротического беспокойства: "Как если бы я писал на мертвом языке... разница между живыми и мертвыми языками — в том, что на мертвом языке недопустимы ошибки. Навязчивый страх *ошибиться* портит мне всякое удовольствие от писания на французском... *Пророк, парализованный грамматикой*" (Ч., стр. 455). Что ж, в конечном счете "мертвое" французское слово все-таки стало живым для этого лже-пророка с Балкан, позволив ему во весь голос выразить свои страдания и искания; современной французской литературе явно недоставало такой истово-религиозной, но вместе с тем напряженно личностной речи.

О писательском стиле, возникшем на скрещении этих религиозных и геокультурных проблем, соединяющем проповедническую велеречивость с саркастическим паясничаньем (как в "Записках из подполья" Достоевского или в "Падении" Камю), сказано в "предисловии переводчика" Б. Дубина — глубоком, хоть и скромно озаглавленном исследовании, которым открывается петербургское издание. Это издание вообще сделано лучше, надежнее: в переводах почти не встречается ошибок[1], и претензию можно высказать разве что к плохо отредактированным подстрочным примечаниям — составленные независимо друг от друга разными переводчиками, они то по два-три раза повторяют одни и те же сведения, то, наоборот, противоречат одно другому (например, в переводах некоторых названий).

Хуже обстоит дело с московским изданием. Примечания к нему помещены в конце книги и внешне выглядят солидно, но, если присмотреться, затрагивают

1. Редкий пример обратного: на с. 204 переводчик словно не распознал названия одной из исторических областей Франции и стал неловко склонять его по падежам: «...в этой угрюмой, запертой на ночь Босе...»

лишь "вершки" — поясняются главным образом имена писателей, философов, исторических лиц, некоторых литературных персонажей, включая весьма известных: здесь можно узнать и про Сократа, и про Канта, и про Александра Македонского, и даже про Ивана Карамазова ("герой романа Ф. М. Достоевского"). Но и в рамках такой элементарно-популяризаторской задачи комментатор умудряется допустить ряд грубых ошибок, путая одних лиц с другими, причем в самых очевидных контекстах, — видимо, просто недосуг было лишний раз проверить, о ком шла речь у автора. Вместо *мемуариста* Сен-Симона комментируется *утопист* Сен-Симон (С., стр. 419), вместо знаменитого испанского короля и императора Священной Римской империи Карла V — одноименный, но мало чем примечательный французский король XIV века (С., стр. 422); а в комментарии о Бруте (да-да, о том самом, который "и ты, Брут...") сказано "один из военачальников Цезаря" (С., стр. 423) — судя по этой характеристике и неправильным именам, приписанным прославленному тираноубийце, его тоже с кем-то спутали...

Что уж говорить о менее известных лицах! Зачастую комментарий о них просто отсутствует, хотя в тексте книги остались отсылающие к нему цифры; в иных же случаях лучше бы он отсутствовал. На с. 129 (С.) перевод гласит (правильно): "Паскаль и его сестра Жаклин" — у Блеза Паскаля действительно была такая любимая сестра, но комментатор ему в ней отказывает, утверждая: "по всей вероятности, речь идет о Жаклине Арно... аббатисе Пор-Рояля" (С., стр. 416). А к с. 63 (С.) комментария даже и не обещано, и сплоховал здесь уже сам переводчик. Здесь тоже говорится о сестре другого знаменитого французского писателя — Lucile de Chateaubriand. Ее бы следовало просто транскрибировать русскими буквами — "Люсиль де Шатобриан", но вместо этого ее "перевели" и превратили в какого-то, надо думать вымышленного, персонажа: "шатобриановскую Люсиль". (Об упоминаемой рядом немецкой поэтессе Каролине фон Гюндероде тоже никакого комментария нет, впрочем, фамилия передана правильно.)

Вообще, перевод московского издания, несмотря на наличие научного редактора, заставляет то и дело обращаться за проверкой к оригиналу, и обычно в результате в нем обнаруживаются ошибки. Их было бы слишком долго объяснять в рецензии, но вот только несколько простейших примеров из книги "Трактат о разложении основ": должно быть не "основа мироздания", а "создатель миров" (то есть "миров" много) (С., стр. 63); не "подлинность всякого существования подтверждается его крахом", а "подлинность человеческой жизни заключается в ее гибели" (С., стр. 65); иронический "орден падших девиц" — это не знак, который предлагается носить на груди, а некий пародийный *монашеский* орден, наподобие тут же упомянутого ордена траппистов (С., стр. 67); не "отрешенные очи", а "еще более далекие очи" (в смысле "божественные") (С., стр. 69); не "я бы принес в жертву целую всемирную империю", а "я бы пожертвовал властью над миром" (С., стр. 79); fréquenter un poète означает по-французски просто "читать, знать" его, а не "наведываться" к нему на дом (С., стр. 87)... В общем, ошибок много, и по большей части элементарных, "на ровном месте", не говоря уже о ряде более мелких погрешностей, когда одни и те же выражения, важные для авторской мысли, на одной странице передаются одним способом, а уже на следующей — другим, и т. д. По отдельности они как будто и незначительны, но все вместе приводят к типичному эффекту посредственного перевода: текст ут-

рачивает связность, угасает риторическая энергия его образов, проповеднический жар подменяется шамкающим брюзжанием.

Порадуемся, что один из самых влиятельных французских эссеистов послевоенных лет наконец издан по-русски в достаточно большом объеме (кстати, оба его издания совершенно не совпадают по составу); однако, читая его печальные пророчества, будем помнить, что слова не прозрачны и способны подвести не только взыскательного писателя, но и, более вульгарным образом, неосторожного переводчика.

Сергей Зенкин

Русская сторона души

Рильке и Россия. Письма. Дневники. Воспоминания. Стихи / Издание подготовил Константин Азадовский. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2003

На протяжении долгого времени у творчества Райнера Марии Рильке в России были истинные приверженцы. Нет нужды говорить о Пастернаке и Цветаевой, открыто и многократно выказывавших свою любовь к немецкому поэту, но с 1910-х годов создался не слишком многочисленный клан менее известных широкой публике знатоков, переводчиков, интерпретаторов. Имена Александра Биска и Юлиана Анисимова, Михаила Цетлина и Владимира Эльснера, Татьяны Сильман и Владимира Адмони, Константина Богатырева и Леонида Черткова (если называть имена уже ушедших из жизни) невозможно не упомянуть, когда заходит речь об истории восприятия Рильке в России.

Однако вряд ли кто из них может сравниться по масштабности работы и размаху с К. М. Азадовским, который, будучи известным переводчиком поэзии Рильке, стал еще и составителем многих книг, в той или иной степени касающихся русских отношений немецкого поэта. Он (совместно с Е. В. и Е. Б. Пастернаками) издал тройственную переписку Рильке, Пастернака и Цветаевой, двумя изданиями вышла им подготовленная книга "Небесная арка: Марина Цветаева и Райнер Мария Рильке", его стараниями была приготовлена к печати и опубликована переписка Рильке с Александром Бенуа. И вот теперь в руках русских читателей оказывается книга, суммирующая, если не исчерпывающая, очень многие принципиально важные для творческого сознания Рильке черты его отношения не только к России, но и к миру вообще.

Из исторического далека нам кажется, что имя Рильке в немецкой литературе рубежа XIX и XX веков всегда было одним из самых громких, находящихся, что называется, на слуху. Однако такое впечатление обманчиво. На протяжении довольно долгого времени он был известен сравнительно немногим. Но, может быть, именно благодаря отсутствию шумной известности на родине Рильке мог чувствовать себя свободным в своих художественных пристрастиях и контактах.

Дружба с художниками и жизнь в Ворпсведе, парижские годы с погружением во французскую культуру позволили Рильке войти в тот ряд европейских интеллигентов начала XX века, который во многом определял культурную атмосферу эпохи. Будучи теснейшим образом связанными с культурой своей страны, эти люди с той же интенсивностью переживали историю и культуру других народов. В России человеком той же эпохи и такого же типа был Вячеслав Иванов, в чьей поэзии звучала не только полнота

смыслов русского глагола, но ясны были отзвуки эллинской речи, латинской меди, итальянского благозвучия, немецкой наполненности философскими смыслами, французской отточенности стиховых формул...

Одним из важнейших событий на пути к построению такого типа сознания для Рильке оказалась его связь с Россией.

Историки литературы, да и простые читатели, особенно русские, уже довольно давно, читая стихи и прозу Рильке, имели это в виду. Письма и стихи, написанные на чужом языке, привлекали внимание не одного исследователя, а два путешествия немецкого поэта в Россию уже были в основных чертах прослежены. Однако впервые книга, подготовленная К. М. Азадовским, делает возможным для русского читателя, не имеющего свободного доступа к немецким изданиям, создание картины, объясняющей причины такого пристального интереса и показывающей его эволюцию на протяжении приблизительно семи лет, с 1899 по 1906 годы. Более поздние документы в книге единичны: это письма из России 1909, 1911, 1912 и 1913 годов, потом вполне понятный перерыв — и в декабре 1925 года, несколько дней спустя после своего пятидесятилетия (и за год до смерти) Рильке получает письмо от художника Л. О. Пастернака со знаменательными строками: "Если б Вы знали, как мои дети любят каждую Вашу строфу, каждую строчку Вашу! Особенно мой старший сын Борис — прославившийся и ценимый в России молодой поэт — Ваш самый горячий поклонник, Ваш самый серьезный и искренний ценитель — пожалуй, Ваш ученик и один из первых пропагандировавших Ваши творения, когда в России Вас еще не знали". Этим письмом документальная часть книги заканчивается, и это вполне объяснимо: следом за ним идет один из самых напряженных, но уже хорошо исследованных моментов во взаимоотношениях Рильке и русских писателей, трехсторонняя переписка 1926 года между ним, Б. Л. Пастернаком и М. И. Цветаевой.

В этой же книге перед нами Рильке совсем иной: не знаменитый поэт незадолго до смерти, а полный энтузиазма молодой человек, для которого Россия так много значила. Когда мы читаем его признания в любви к России, его размышления об ее истории и грядущей роли в жизни человечества, бывает трудно поверить, что этот пафос искренен. Неужели наша страна могла заслужить от иностранца такие строки: "Огромная страна на Востоке — единственная, благодаря которой Бог и поныне не утратил связи с землей... Страшное расточительство — таков смысл нашей западной жизни, тогда как в соседней равнинной стране все еще словно скапливаются силы для начинания, коему не настал срок; словно именно в этой стране поднимутся однажды амбары, полные зерна, тогда как другие народы, нищая от все большей растраты сил, станут с алчущими сердцами покидать родные края"?

Это тем более странно, что С. Н. Шиль, во многом руководившая поездками Рильке и его спутницы по России, склонна была к гораздо более трезвому взгляду на русскую жизнь, рассказывая в воспоминаниях: "Они видели в народе все чистое и ясное, и это была истина. Но они не хотели видеть другой, столь же истинной правды о том, что народ гибнет в бесправии, в нищете, в невежестве; что в нем вырастают пороки рабов: леность, грязь, обман, пьянство". Даже жизнь в деревне, в простой избе, среди нищенского быта выглядит в записях и письмах чем-то удивительно возвышенным. Что уж говорить про впечатления от Волги, от Москвы, от встречи со Львом Толстым!

Но нужно честно признаться, что до сих пор эти слова и эти

факты чаще всего воспринимались как курьез, особенно знакомство и переписка Рильке с С. Д. Дрожжиным. Только сейчас, после внимательного чтения материалов самой книги и обширной, на 110 страниц большого формата статьи К. М. Азадовского, получаешь возможность понять глубокую закономерность таких впечатлений.

Прежде всего следует отметить, что в Россию Рильке был привлечен не только страстью к экзотике, но и чувством глубокой любви к Лу-Андреас Саломе, по праву становящейся героиней значительной части книги. Именно она, петербургская немка, подруга Фридриха Ницше, сама писательница, послужила тем связующим звеном между Европой и Россией, которое сделало возможными русские впечатления Рильке. Не случайно, что в третье путешествие он без нее не отправился, да и вообще интерес к России стал заметно уменьшаться, остановилось изучение языка, оскудела переписка. Россия и любовь остались в его жизни понятиями взаимосвязанными.

Второе, что следует понять, — это стремительное мифологизирование России, осуществлявшееся Рильке прямо "на ходу", сразу по мере знакомства. К. М. Азадовский пишет об этом много и совершенно справедливо. Но нам особенно хочется выделить ту случайность, из-за которой Рильке оказался связан не с той сферой русского искусства, с которой ему надлежало бы контактировать. По всему духу творчества Рильке принадлежал к тому, что неопределенно, но понятно называли и в России и в Европе "новым искусством". Потому логично было бы, если бы его руководителем в познании России стал кто-нибудь из писателей и художников круга "Мира искусства" или, к примеру, Иван Коневской. Однако уже упоминавшаяся С. Н. Шиль (на страницах книги сам собою рисуется очень симпатичный облик этой женщины) стояла в стороне от этого движения. Ее литературная, педагогическая, публицистическая деятельность никоим образом не могла совпасть с внутренним настроением Рильке, и во многом именно поэтому он попал не в такт художественному движению своего времени. Ему оказалась важна Россия как новое географическое пространство, как сгусток истории, где столь мало чувствовалось общеевропейских тенденций, как страна народа, в котором еще живо идеализированное прошлое. Рильке не принимал безыллюзорного взгляда на современность, разделявшегося Шиль, но противопоставлял ему только древность. Нового интеллектуального течения в русской культуре он в первый свой приезд не заметил, а во второй — успел ощутить лишь очень бегло и неполно. Знакомство, а потом и переписка с Александром Бенуа могли стать для Рильке определяющими, но не стали. Почему — об этом стоит почитать, помня, как точно попали в резонанс творчеству Рильке сердца поэтов последующих литературных поколений.

А в общем следует сказать, что эта книга относится к числу тех, без которых теперь будет невозможно всерьез говорить об отношениях европейцев к России и наоборот. Закономерности и парадоксы, которых хватает на ее страницах, заставляют чуткого читателя не только окунуться в историю, но и с особенной остротой чувствовать, как события столетней давности откликаются в наших днях.

Николай Богомолов

Бразилия

"Титаник" от культуры

Рио-де-Жанейро. Бухта Гуанабара. У причала — необычное судно. Оно напоминает гигантскую подводную лодку — 400 метров в длину, 85 в ширину, — которая наполовину погружена в воду. С берега на судно ведет стеклянный туннель, над которым плещутся морские воды. Вход украшает огромное панно из алюминия. Примерно такую картину увидят первые посетители бразильского музея Гуггенхайма в 2007 году.

Согласно проекту музей будет состоять из нескольких выставочных помещений. В первом разместятся произведения латиноамериканских мастеров, в шести круглых залах с прозрачными куполами займет место постоянная экспозиция, а для выставок будет отведен зал в форме гигантского цилиндра, который будет венчать квадратная башенка. В здании также предполагается оборудовать несколько суперсовременных аудиторий для международного мультимедийного центра.

Завершат ансамбль декоративные сады-джунгли, многочисленные подвесные дорожки, переходы и закрытые террасы.

Пока музей существует только в виде макета, над которым автор проекта, французский архитектор Жан Нувель, трудился почти два года по заказу американского фонда Соломона Гуггенхайма и мэрии Рио-де-Жанейро.

Фонд Гуггенхайма был основан в 1937 году. В конце 50-х годов при его поддержке в Нью-Йорке соорудили знаменитое здание в форме спирали, в котором и поныне находится музей Гуггенхайма (автор проекта — американец Фрэнк Ллойд Райт).

Затем музеи Гуггенхайма открылись в Венеции, Бильбао, Берлине и Лас-Вегасе. Последний интересен еще и тем, что напоминает гигантский ларец для драгоценностей.

Бразильский музей будет шестым по счету. Надо сказать, что в самой Бразилии совместный замысел фонда и мэрии далеко не всем пришелся по душе. Местные специалисты критиковали проект за "гигантоманию", находили конструкторские просчеты и недоработки. Директор Императорского бразильского музея, например, опасается, что вся затея окажется "Титаником" от культуры. Настораживают многих и огромные расходы, которые составляют изрядную долю городского бюджета: на данном этапе проект оценен в 190 миллионов долларов.

Великобритания

Любимые книги британцев

Каковы литературные вкусы жителей Альбиона? На этот вопрос взялась ответить корпорация Би-би-си, обратившись к телезрителям и радиослушателям с предложением назвать самые любимые книги. Начинание имело успех: в опросе приняло участие почти 140 тысяч человек, которые сообщили о своих литературных предпочтениях по электронной почте и по телефону. В течение нескольких месяцев организаторы акции собирали ответы, а затем на их основе составили список, отобрав сто книг, которые получили наибольшее количество голосов. Результаты оказались более или менее предсказуемыми: перечень возглавили романы Ч. Диккенса и фантастические сочинения Т. Пратчета, а почетное второе место заняла Дж. К. Роулинг с четырьмя книгами о Гарри Поттере. В список книг-победителей вошли произведения разных жанров: "1984" Дж. Оруэлла и

"Поправка 22" Дж. Хеллера, "Грозовой перевал" Э. Бронте и "Дневник Бриджит Джонс" Х. Филдинг, "Алиса в Стране чудес" Л. Кэрролла и "Винни-Пух и все-все-все" А. Милна. Опрос, кстати, показал, что Дж. Джойс пользуется популярностью не меньшей, чем Дж. Толкиен.

Неожиданным для организаторов мероприятия стало отсутствие в перечне имен многих крупных писателей как классиков, так и современников: Э. Хемингуэя, Г. Уэллса, П. Вудхауса, И. Макьюэна, М. Эмиса, У. Эко. Произведения зарубежных писателей составили лишь треть списка. При этом любовь англичан заслужила проза Л. Толстого и Ф. Достоевского, а также модные романы П. Коэльо и П. Зюскинда.

Не останавливаясь на достигнутом, корпорация Би-би-си намерена определить "самую любимую книгу" в Великобритании. Для этих целей устроители планируют организовать цикл телевизионных обсуждений произведений, которые вошли в первую двадцатку. В завершение будет проведено голосование среди телезрителей. Оно и определит книгу-победителя.

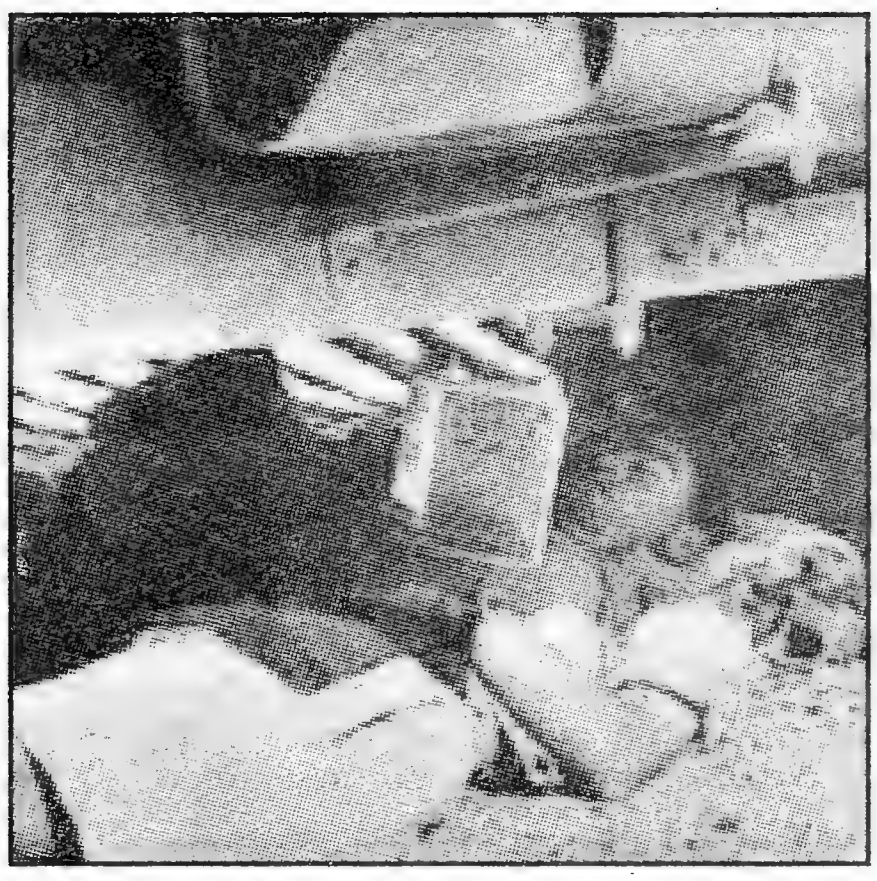
США

Книги в окопах

Как свидетельствует история, в солдатском рюкзаке всегда находилось место для книги — даже на войне солдаты ухитрялись читать. Например, во время Гражданской войны в США особой популярностью пользовался роман Виктора Гюго "Отверженные" — причем как среди северян, так и у южан.

В годы Второй мировой войны при Министерстве обороны США был образован специальный отдел, который наладил выпуск так называемой "Библиотечки солдата". Издания из этой серии печатались крупным шрифтом на дешевой тонкой бумаге и благодаря небольшому формату легко помещались в карман брюк или рюкзака. В магазинах они стоили всего 5 центов, а солдатам выдавались бесплатно. С 1943-го по 1947 год по заказу Пентагона было напечатано около 1300 наименований книг общим тиражом около 120 миллионов экземпляров. Диапазон авторов был весьма широк — от Гомера до Марка Твена и Вирджинии Вулф.

Недавно американцы решили возобновить выпуск подобных книг. Организатором выступил филантроп по имени Эндрю Кэрролл, а некий анонимный "корпоративный спонсор" вызвался профинансировать акцию. Большую часть тиража предполагается переправлять на Ближний Восток, где еще недавно находилось почти четверть миллиона американских солдат. Пока в списке изданий, одобренном Пентагоном, фигурируют четыре произведения: "Генрих V" Шекспира, "Искусство войны" Сунь Цу, а также два недавних бестселлера — "Медаль славы, или Рассказы о героях от Гражданской войны до наших дней" А. Микаэльяна и "Письма с фронта: переписка американских солдат" самого Э. Кэрролла. Издателям вряд ли удастся включить в серию "Уловку-22" Дж. Хеллера, "На Западном фронте без перемен" Э. М. Ремарка и "Бойню номер пять" К. Воннегута, поскольку, с точки зрения Пентагона, эти романы недостаточно патриотичны и вряд ли смогут укрепить боевой дух военнослужащих.



Солдат за чтением книги

Премия за самое худшее начало романа

Необычный конкурс ежегодно проводит американский университет в Сан-Хосе, присуждая премию за самое худшее начало художественного произведения. Премия названа именем английского прозаика Э. Дж. Булвера-Литтона (1803—1873), автора знаменитых "Последних дней Помпеи" (1834), который также прославился тем, что начал свой роман "Пол Клиффорд" (1830)

фразой: "Стояла темная ненастная ночь". Правила конкурса предельно просты: зачин должен состоять из одного предложения произвольной длины и ранее не публиковаться. Впервые пародийное состязание было проведено в 1982 году по инициативе преподавателя английского языка Скотта Райса, ныне являющегося бессменным председателем жюри. Тогда конкурс проходил в стенах университета и насчитывал всего троих номинантов. Замысел оказался настолько успешным, что мероприятие вскоре вышло далеко за рамки университета и даже приобрело международный статус. В настоящее время конкурс привлекает тысячи желающих, и его освещают крупнейшие американские, британские и канадские газеты и телеканалы. В 1984 году британское издательство "Пенгвин" начало издавать серию сборников под общим названием "Стояла темная ненастная ночь", в которые вошли стилистические упражнения, вышедшие из-под пера более десяти тысяч незадачливых писателей.

В этом году главную премию (250 долларов) получила Марианна Симс из Алабамы за фразу, в которой она сравнивала угасающую любовь с сыром: "Это была их последняя ночь, они крепко обнимали друг друга, их тела были точно два ломтика сыра, оранжевый и белый, чеддер и моцарелла..."

Как правило, присылаемые на конкурс начала романов представляют собой громоздкие конструкции (иногда более пятидесяти слов), перегруженные придаточными предложениями.

По наблюдению жюри, среди конкурсантов этого года часто встречаются авторы, которые имеют прямое или косвенное отношение к военной службе. Например, нынешняя лауреатка — жена отставного офицера американских ВВС, а Джон Дотсон, получивший вторую премию за описание загона для гусей, — морской офицер.

Конкурс выявил и еще одну любопытную закономерность: во многих текстах упоминались те или иные пищевые продукты. Особенно выразительным жюри нашло сравнение губ с вишней в коктейле и описание свинины как символа домашнего уюта.

Франция

Загадка последних дней Ван Гога

Портрет доктора Гаше

По случаю 150-летия со дня рождения Винсента Ван Гога в Овере открылся мемориальный музей в доме, где прошли последние дни знаменитого художника. В течение нескольких месяцев Ван Гог снимал комнату у доктора Поля Гаше, которого изобразил на двух картинах: одна хранится в парижском музее д'Орсе, другая находится в частной коллекции (ее приобрел некий японский бизнесмен за 82 миллиона долларов).

Последние владельцы дома, американские любители искусства, сохранили бóльшую часть обстановки. Теперь, после реставрации, посетители также смогут увидеть крошечную каморку, где художник написал более семидесяти полотен, а также тайник, в котором сын доктора Гаше прятал картины во время Второй мировой войны, в том числе несколько портретов Маргерит, дочери доктора Гаше, которая, по мнению некоторых исследователей, стала причиной роковой депрессии Ван Гога (эту гипотезу, правда, опровергает его переписка с братом Тео).

Ван Гог покончил с собой 29 июля 1890 года, застрелившись из пистолета в деревенской таверне. Сейчас там расположен главный офис Института Ван Гога, среди прочего пытающийся найти объяснение самоубийству, которое художник совершил в зените творческой активности. По мнению сына доктора Гаше Поля, Ван Гог страшился одиночества: доктор Гаше уехал в Париж, а брат Тео собирался отправиться в Нидерланды. Поль считает, что развитие душевного расстройства художника можно проследить, расположив его картины в хронологическом порядке: на них залитый солнцем летний Овер постепенно сменяют мрачные пейзажи.

По материалам агентства "Ассошиэйтед пресс" [США], газет "Гардиан" [Великобритания] и "Монд" [Франция], еженедельника "Обсервер" [Великобритания].

Авторы номера

Петер Эстерхази
Esterházy Péter
[р. 1950]. Венгерский прозаик, лауреат нескольких международных и национальных премий.

Автор книг *Фанчико и Пинта* [*Fancsiko es Pinta* 1976; рус. перев. 1990], *Производственный роман* [*Termelesi regeny*, 1979; рус. перев. 2001], *Дэзи* [*Daisy*, 1984], *Краткая венгерская порнография* [*Kis magyar pornográfia*, 1984], *Книга Грабала* [*Hrabal könyve*, 1987] и др., сборников рассказов и эссе *Введение в художественную литературу* [*Bevezetés a szépirodalomba*, 1986], *В папских водах не пиратствуй!* [*Pápai vizeken ne kalózkodj!* 1977], *Чучело лебедя* [*A kitömött hattyú*, 1988], *Записки синего чулка* [*Egy kékharisnya följegyzéseiből*, 1994; рус. перев. 2001]. В *ИЛ* публиковались фрагменты его романа *Harmonia cælestis* [2002, № 10], а также новеллы и эссе.
Публикуемый перевод выполнен по изданию *Javitott kiadás-melléklet a Harmonia cælestishez* [Budapest, Magvetö, 2002].

Бартоло Каттафи
Bartolo Cattafi
[1922–1979]. Итальянский поэт.

Автор сборников стихов *На середине ладони* [*Nel centro della mano*, 1951], *Отправление от Гринвича* [*Partenza da Greenwich*, 1955], *Нечто определенное* [*Qualcosa di preciso*, 1961], *Кость, душа* [*L'osso, l'anima*, 1972], *Сошествие на престол* [*La discesa al trono*, 1975], *Март и его иды* [*Marzo e le sue idi*, 1977], *Октябрьский жаворонок* [*L'allodola ottobrina*, 1979] и др. На русском языке два его стихотворения были опубликованы в переводе Е. Костюкович в сборнике *Для жизни рожденные. Стихи итальянских поэтов* [1986].
Публикуемые стихи взяты из книги *Poesie. 1943–1979* [Milano, Mondadori, 2001].

Дон Делилло
Don Delillo
[р. 1936]. Американский писатель и драматург, лауреат многих национальных и международных премий, в т. ч. Иерусалимской [1999].

Автор романов *Американа* [*Americana*, 1971], *Крайняя зона* [*End Zone*, 1972], *Грейт-Джонс-стрит* [*Great Jones Street*, 1973], *Звезда Ратнера* [*Ratner's Star*, 1976], *Игроки* [*Players*, 1977], *Бегущий пес* [*Running Dog*, 1978], *Имена* [*The Names*, 1982; рус. перев. 2000], *Белый шум* [*White Noise*, Национальная книжная премия 1985 г.; рус. перев. 2003], *Весы* [*Libra*, 1988], *Преисподняя* [*Underworld*, 1997], *Художник тела* [*The Body Artist*, 2001], *Космополис* [*Cosmopolis*, 2003], пьес *Инженер лунного света* [*The Engineer of Moonlight*, 1979], *Вальпараисо* [*Valparaiso*, 1999] и др.
Публикуемый роман печатается по изданию *Mao II* [London, Vintage, 1991].

Джерард Риди
Gerard Reidy
[р. 1958]. Ирландский поэт. Лауреат нескольких национальных премий.

Автор поэтического сборника *Картинки резервации* [*Pictures from a Reservation*, 1998].
Публикуемые стихи взяты из новой готовящейся к печати книги.

Мануэль Ривас
Manuel Rivas
[р. 1957]. Испанский писатель, журналист, лауреат многих литературных премий.

Автор поэтического сборника *Ночная деревня* [*El pueblo de la noche*, 1997], нескольких книг репортажей и эссе, сборников рассказов *Миллион коров* [*Un millon de vacas*, 1990, Премия испанской критики], *Едоки картофеля* [*Los comedores de patatas*, 1992], *Чего тебе надо, любовь?* [*¿Que me quieres, amor?*, 1996, премия Торренте Бальестера, Национальная премия по литературе], *Она, эта проклятая душа* [*Ella, maldita alma*, 1999]; романов *Дикой компанией* [*En salvaje compania*, 1994], *Пропавшие звонки*

[*Las llamadas perdidas*, 2003] и др.
Русский перевод романа *Карандаш плотника* сделан по изданию *El lapiz del carpintero* [Buenos Aires, Alfaguara, 1998].
Публикуемые рассказы взяты из сборников *¿Que me quieres amor?* [Buenos Aires, Alfaguara, 1996] и *Ella, maldita alma* [Buenos Aires, Alfaguara, 1999].

Лариса Николаевна Васильева
Переводчик с английского и венгерского языков.

В ее переводе издавались произведения Т. Вулфа, М. Голда, В. Морикони, Ф. Каринти, Ш. Каняди, К. Сакони, Я. Пилински, И. Сабо, Е. Сентивани и др. В *ИЛ* опубликованы в ее переводе рассказы И. Шаркади [1981, № 1], А. Йокаи [1984, № 4] и др.

Переводчики

Вячеслав Тимофеевич Середа
[р. 1951]. Литературовед и переводчик.

Автор статей о современной венгерской литературе. В его переводах издавались повести венгерских писателей П. Надаша, Ш. Раффаи, М. Мункачи, пьесы Д. Шпиро. В *ИЛ* в его переводе печатались фрагменты романа П. Эстерхази *Harmonia cælestis* [2002, № 10], а также новеллы и эссе Эстерхази [1992, № 4; 1995, № 6; 1996, № 7; 1997, № 8] и др.

Евгений Михайлович Солонович
[р. 1933]. Переводчик с итальянского. Лауреат Государственной премии Италии [1996] и премии *Иллюминатор* [2000].

В его переводе выходили книги избранных стихотворений Данте, Петрарки, Монтале. Переводил итальянских поэтов эпохи Возрождения, а также поэтов XVII—XX веков. В 2000 г. вышла книга его избранных переводов *Итальянская поэзия в переводах Евгения Солоновича*. Его переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Светлана Владимировна Силакова
Переводчица с английского и испанского языков. Лауреат премии *Странник*, присуждаемой издательством Terra Fantastica [Санкт-Петербург].

В ее переводах опубликованы романы Д. Адамса, Дж. Барнса, Б. Бетке, Э. Энрайт и др. В *ИЛ* печатались ее переводы эссе Т. Пинчона [1996, № 3], Д. Рэмптона [1996, № 10], Э. Саида [2003, № 1], рассказов Дж. Сондерса [2001, № 7], Р. Фернандеса, Х. Альварес, Т. Риверы [2003, № 1], а также перевод романа П. Теру *Коулун Тонг* [2002, № 4].

Анатолий Исаевич Кудрявицкий
[р. 1954]. Поэт, прозаик, переводчик с английского.

Автор семи книг стихов, в т. ч. *Поле вечных историй* [1996], *Граффити* [1998], *Книга для посетителей* [2001] и др. В его переводе изданы романы Дж. Голсуорси, Э. Гарднера, романы и рассказы С. Моэма, стихи Э. Дикинсон, С. Крейна, Дж. Моррисона, поэтов-имажистов и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Наталия Александровна Богомолова
Литературный критик, переводчик с испанского. Лауреат премии *ИЛ* [1991] и *ЗоИЛ* [2001].

Автор статей по истории испанской и латиноамериканской литератур. В *ИЛ в* ее переводе были опубликованы произведения Х. Л. Борхеса [1988, № 10], И. Альенде [1989, № 6], романы *Райские псы* А. Поссе [1992, № 8, 9], *Дон Хуан* Г. Торренте Бальестера [1999, № 1, 2], *Клуб Дюма, или Тень Ришелье* Артуро Перес-Реверте [2001, № 10, 11], эссе О. Паса [1991, № 1, 1997, № 7], М. Варгаса Льосы [1997, № 5], Х. Кортасара [1999, № 3] и др.

Натэлла Всеволодовна Горская
Поэт-переводчик.

В ее переводе публиковались стихи А. Мачадо, Х. Р. Хименеса, Х. Л. Пачеко, Х. А. Гойтисоло, Р. Богранда, Ш. Каняди, Фаиза Ахмада Фаиза, Р. Тагора, С. Камали, И. Арифа, Я. Пилински, К. Ковича и др. Переводы Н. Горской неоднократно публиковались в *ИЛ*.

rinet

Быстрый доступ
Надежная связь
Качественный сервис
Rinet

Internet servis provider **www.rinet.ru**

Услуги подключения к сети INTERNET

- ❑ **Доступ по телефонной линии (dialup)**
- ❑ **Подключение локальных сетей жилых домов**
- ❑ **Высокоскоростной Интернет по выделенным каналам**
- ❑ **Создание и поддержка корпоративных WEB сайтов**

Подключение, консультации, прием платежей: с 10.00 до 22.00
Телефоны: (095) 238-3922, 232-1730, 916-7009
Адрес: Москва, 1-й Хвостов пер., д.11-А, оф. 105,111
E-mail: info@rinet.ru

В формлении обложки
использован фрагмент работы
венгерского художника
Иштвана м. Молнара
[р. 1953] *Впечатление от восточно-европейских революций. I* [1990].

Художественное
оформление и макет
Андрей Бондаренко,
Дмитрий Черногаев.

Старший корректор
Анна Михлина.

Компьютерный набор
Евгения Ушакова,
Расимя Родина.
Компьютерная верстка
Вячеслав Домогацких.

Главный бухгалтер
Татьяна Чистякова.
Коммерческий директор
Мария Макарова.

119017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный
дайджест журнала
находится по адресу:
http://magazines.russ.ru/inostran

В Москве журнал
можно приобрести в редакции,
в Санкт-Петербурге — в магазине
издательства "Азбука" —
ул. Решетникова, д. 15,
тел. (812) 327-04-56

Журнал выходит
один раз в месяц.

Оригинал-макет номера
подготовлен в редакции.

Регистрационное свидетельство
№ 066632 выдано 23.08.1999 г.
ГК РФ по печати

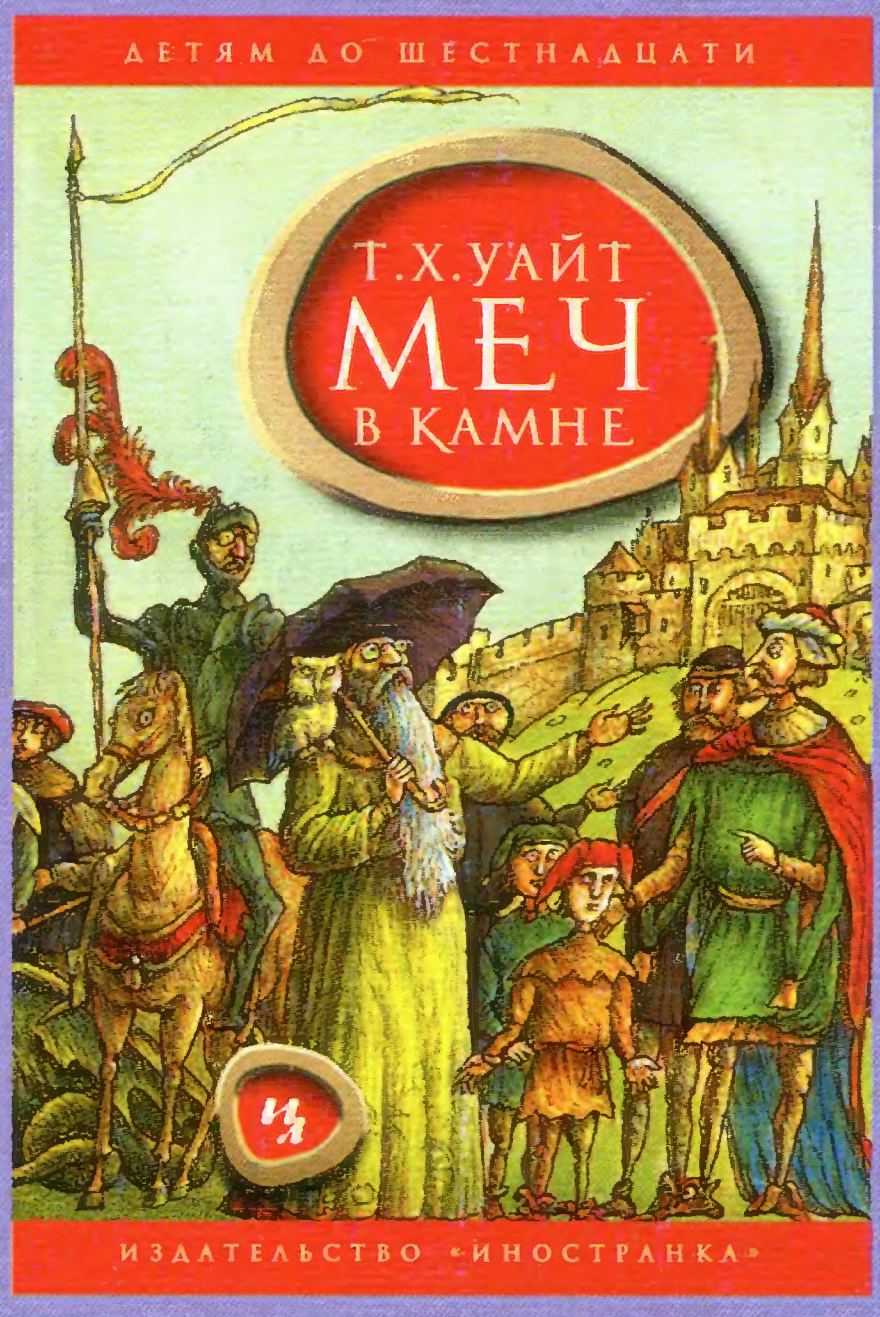
Подписано в печать 15.8.2003
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 26,78.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,64.
Заказ № 5978.
Тираж 8 700 экз.
Отпечатано с готовых
диапозитивов полиграфической
фирмой "Красный пролетарий",
103473, Москва,
Краснопролетарская ул., 16.

[12] 2003

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД "УСНУТЬ И ВИДЕТЬ СНЫ...": РАССКАЗЫ И ЭССЕ РОЖЕ КАЙУА, ТАТЬЯНЫ ТОЛСТОЙ, РАМОНА ГОМЕСА ДЕ ЛА СЕРНЫ, ГРЭМА ГРИНА, АНТОНИО ТАБУККИ, ЖОРЖА ПЕРЕКА, ДЕЛМОРА ШВАРЦА И ЛУИ ДЕ БЕРНЬЕРА / СТИХИ АНХЕЛЯ ГОНСАЛЕСА И ЛУИСА АРМЕНТЫ МАЛЬПИКИ / "ПРИВИДЕВШИЕСЯ РАССКАЗЫ" ИВА БОНФУА

«ДЕТЯМ ДО ШЕСТНАДЦАТИ»

ЕСЛИ ЧИТАТЬ, ТО ЛУЧШЕЕ!



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИНОСТРАНКА»

По вопросам оптовых закупок обращаться в издательство “Иностранка”
тел/факс: (095) 953 8814, e-mail: inostranka@rinet.ru
или по телефону в Москве (095) 289 0284

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 “ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА”, 2003, №11, 1-288